

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

51



ОЛЕСЬ ГОНЧАР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ ПЯТЫЙ

ТРОНКА

роман в новеллах

РАССКАЗЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТАТЬИ

Перевод с украинского

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

С(Укр)2
Г65

Художник
ЕВГЕНИЙ ГАННУШКИН

Г $\frac{70303-006}{028(04)-75}$ подписное

ТРОНКА

РОМАН В НОВЕЛЛАХ

— Ницто так не пахнет, как паша степь, — говорит молодой Горпищенко, летчик реактивной авиации, когда присаживается к отцу-чабану в отпуск.

И как-то так всякий раз получается, что отца он застает не в хате и не в кошаре, а в степи, прямо посреди пастбища. Старик обычно стоит возле отары с герлыгой, в солдатских ботинках и во всех своих чабанских доспехах: на нем пояс, а на поясе джермало, доставшееся ему по наследству еще от деда-чабана, и рог бараний с нафталином — раны овцам присыпать, и бутылка смеси креолина с дегтем — тоже для заживления ран, и, конечно же, ножницы, чтобы выстригать овцам шерсть вокруг глаз, а то, бывает, так зарастут, что, бедняги, не видят колючек и нередко выкалывают себе глаза.

Чабан Горпищенко собою неказист, но в степи замечен издалека. Низкорослый, коренастый, он весь прокален петрами; закопченное солнцем морщинистое лицо его как лоскут старой кожи, а глаза, слезы от старости, словно выгорели на солпце и стали цвета линялого степного неба.

Во всеоружии предстает перед сыном старый Горпищенко. Про таких, как он, недаром говорят, что это прирожденные чабаны. Природа не очень щедро одарила его ростом, зато он тем чувствительнее ко всему, что касается его отцовской чести. С суровым достоинством и даже пастороженностью ждет он, пока сын, выйдя из «газика», подойдет к нему, и зорко следит, не сделает ли тот какого-нибудь промаха, не обидит ли отца невзначай, не нарушит ли установившегося издавна обычая. И хоть сыном его все в совхозе гордятся, знают, что летчик он незаурядный, — сегодня он реактивный сокол, а завтра может

полететь на такие планеты, где ни отар, ни степей не будет, — однако отца это словно бы и не касается, он стоит и с достоинством ждет должной почтительности от сына, опираясь на свою герлыгу с медным, украшенным резьбой пабалдашником — брейцарой.

И только после того, как сын поздороваётся, не допустив никакого промаха в этикете, выцветшая текучая голубизна отцовских глаз наливается нежностью.

— Не забыл? — ставит он перед сыном свою герлыгу, наконецник которой хранит изображение знакомой сыну с детства кудлатой чабанской овчарки. — Из каких частей состоит герлыга, а ну?

— Брак, барнак, брейцара и держак! — четко отвечает сын, и этим ему уже обеспечена симпатия старика на все время отпуска.

Если бы кто-то поглядел на них со стороны, то не поверил бы, что этот невзрачный, до черноты опаленный солнцем человек дал жизнь такому светловолосому статному юноше, который сейчас вытянулся перед ним во фронт. Сын улыбается, разглядывая отцовские доспехи.

— Здорово, а? — обращается он к сержанту-водителю, с улыбкой выглядывающему из кабины «газика».

Кто-кто, а сын знает, что добрая половина этих доспехов в обычное время осталась бы лежать дома, чабан ничего лишнего не будет в такую жару таскать с собой по степи, и если уж он сегодня так снаряжился и даже начистил до блеска медную полустертую брейцару, то это только ради сына, чтобы в столь торжественный миг встречи отцу было чем потешить свое чабанское, не притупившееся и с годами честолюбие.

И вот стоят они вдвоем возле отары в степи: один всю жизнь ходит по земле пешком, а другой полжизни проводит в небе; один с герлыгой, этим жезлом пастуха, свидетельствующим о принадлежности к древнейшей человеческой профессии, а другой с крылатой эмблемой на фуражке, хотя даже и самым быстрым крыльям теперь недоступны скорости его полетов. Стоят они, а вокруг сбилась жарким кольцом отара, сбилась густо, вплотную. Грязновато-белые остриженные мериносы надсадно дышат, прячут головы от зноя в собственную тень, а за ними — степь и степь бескрайняя, а вдали то ли марево мерцает, то ли синева неба опустилась до земли и рассеялась мглою среди необъятных просторов.

Даже человека, чья жизнь проходит в пеще, эта степь поражает своею беспредельностью и ослепительным блеском, само солнце здесь такое горячее и яркое, как будто ты очутился на другой, более близкой к светилу планете.

И все тут пахнет. И хоть пахнет не каким-то особенно душистым степным разнотравьем — трава здесь почти целиком вытоптана, — однако сын говорит истинную правду, что нет запахов роднее и милее ему, чем в этой степи, даже когда она пахнет просто горячим жиром отары и отцовым чабанским духом или же открытою настезью сухой кошарой, которую вот сейчас усиленно дезинфицирует солнце.

Одна из овец вдруг тревожно заблеяла в сторону кошары, и летчик, посмотрев туда, заметил, как между кустами чертополоха прыгает что-то похожее на зайчонка. Прыгает неумело, натужно, вскочит — и опять упадет, как будто подстреленное, затем поднимается снова.

— Вот говорят, что бог есть, — заговорил отец. — А где же он есть? Пусть мы грешим, ну, а ягненок? Его он за что искалечил?

Живо, почти бегом, кинулся старый чабан к ягненку, взял его на руки, принес, положил к овце, и та сразу успокоилась.

— Вишь, как ножки ему скрутило. Другие бегают, выбрыкивают, а этого всякий раз приходится подносить к матери, сам он не успевает по следу...

— А почему он такой?

— Такой уж уродился, да еще и не один: трое калек нынешний год в окоте... — Старик вдруг насупился, помрачнел. — А в Японии, я слышал, тринадцать тысяч детей калеками народилось, это правда?

Сын промолчал. Заметив, что водитель ждет распоряжения, летчик отпустил его, сказав на прощание:

— До завтра.

Чабан насторожился: до завтра? Почему до завтра? Это такой отпуск? Старик насупился еще больше, но попытаться не стал — тот же чабанский гонор не позволял ему быть назойливым, лезть не в свое дело. Сын тем временем стал расспрашивать о жизни, и отец, поощряемый его вопросами, вскоре уже с жаром рассказывал о том, что больше всего волновало, — про настриг шерсти в этом году, про выпасы, которые все время сокращают,

попутно выругал начальство, что не прислушиваются к чабанам.

— Скота с каждым годом все больше становится, развели его столько, что фермы трещат, а придет зима — корми чем хочешь. Разве не было, что коров шлаггами подвязывали к перекладинам? Подвижут, да еще пробуют донты! Вот как хозяйствуем,— распалился старик.— Весной, когда совсем прикрутило, приезжает советчик из области. «Камкдй, говорит, кормите! Рубите ее помельче, сдаб्रивайте — пусть едят! А то спите тут, не ищете! Столько морской травы пропадает попусту на берегу, а у них скотина дохнет!»

— Так скотина ведь камку не ест! — удивился сын.— Огонь и тот ее не берет. Бензином, бывало, обольем, бензин обгорит, а камка вся цела.

— Такой «новатор»... Ну, я посмешищем быть не захотел, не стал дурную ихнюю камку собирать. Чуть было совсем с ними не расплевался, хотел уже бросить отару и перебраться жить на Центральную, даже герлыгу отнес директору в кабинет. «Кому, спрашиваю, передать?» Да только некому и передать, потому что не густо теперь вас, охотников, за герлыгу браться. Молодые? Они начабанят! Им бы верхом на велосипеде отару заворачивать! Не он овец, а овцы его пасут, бывает, что и потеряют... Такой напасет! У иного на каждой руке часы — одни спешат, другие отстают,— так он больше поглядывает на те, что спешат, по ним и пасет... А мы не вечны. Нас не станет, кому эту, — отец в сердцах стукнул о землю герлыгой, — кому ее передать?

— Так, может, мне? — усмехается сын на отцовские речи.

Старик пристально смотрит на сына, на его фуражку.

— Нет, ты — летай.

И после молчания снова:

— Тебе летать.

Не спеша направляются они к чабанскому жилью, прямо, плечом к плечу, ступают по этой твердой солончаковой почве, по которой летчик, кажется, еще совсем недавно бегал подпаском. Родная седая земля чабанская... Испокон веков по ней носились дикие кони... Тяжело груженные, двигались здесь чумацкие мажары с крымской белой солью... Полевица, тонконог-типчак струятся под ногами. Нет здесь ни болот, ни вечной мерзлоты с замороженными в ней мамонтами, одна твердь целинная, спрес-

сованная веками. Твердь такая, что могли бы отсюда и межпланетные корабли стартовать.

Поодаль от кошары, на пригорке, высится островок тополой, белеют чабанские домики; там уже беготня, суетится женщины-чабашки, пух и перья летят по степи, и слышится звонкий, неистово радостный крик:

— Ура! Петрусь приехал!

И навстречу мчатся сестра Тоня, летит, сверкая коленями, впереди всех, а за нею, как хвост за кометой,— гурьба малышей. Раскрасневшаяся, ошалевшая от радости, Тоня с разгона налетает на брата и виснет у него на шее. Наконец брат, весь жарко обцелованный, вырывается из объятий, как из пламени, и отмечает про себя, что сестренка здорово подросла за время его отсутствия, стала почти взрослой девушкой. Налитая, тугая, как вишня, глаза горят, стреляют искрами, а волосы уже накрутила на голове по-модному. Окинула быстрым взглядом степь.

— Где же такси?

— А я в этот раз не на такси.

— На «газике»? С полигона дали? Ну, а когда ты уже прилетишь к нам, Петрик, на своем? На том, что быстрее звука?

— Когда-нибудь прилечу...

— Разве негде сесть, погляди!

И она обвела рукой степь, по которой разлился светлый океан марева.

— Равнина такая, что арбуз на бахче тут — самая высокая гора!..

Вся трепетно-возбужденная, Тоня выхватывает у брата из рук его саквояжик и мчится с ним к дому, то и дело оглядываясь весело на брата, русые, с золотистым отливом волосы ее рассыпались и треплются по плечам.

— Хлопот с нею не оберешься,— говорит отец больше с напускным недовольством.— Ишь как накудляла... То конским хвостом поднимет, то распустит, как утопленница. Разве у нее экзамены в голове?..

На дворе много детворы, чабанчуков и чабанят бесштаных, полно утят, цыплят, кроликов, ластиятся чабанские собаки, всюду белеют перья, а над всем этим — над утятами-цыплятами, над перьями и над открытой летней кухней-плитой, которая все шипит и пышет,— сплет добрая, всепокоряющая улыбка материн.

Мама!.. Она улыбается, а солнце искрится в капельках слез на ее щеках, она торопливо вытирает о фартук полные, покрасневшие от жара плиты руки, губы ее дрожат от волнения и шепчут что-то самое ласковое, самое нежное, и, погрузившись в тепло ее груди, летчик на мгновение перестает быть летчиком, как будто нет за ним вдоль и поперек изборозженного неба, нет бешеных сверхзвуковых скоростей, нет ни команд, ни тревог, ни опасностей, а есть только покой, уют и радость вновь обретенного счастливого детства. Но это только на мгновение, а потом снова все становится на свое место, и вот он опять приезжий летчик, почти гость, и мать, подавив кипение своей радости, терпеливо ждет, пока сын не поздоровается с чабанами и чабанками. Он разговаривает, шутит с Демидом и Демидихой, у которых куча детей,— иные приезжие думают, что это внуки Демида, а оказывается, все они его сыновья. Потом летчик снова возле матери, и она получает возможность поводить его по двору, показать копнушку сена, которую отец недавно накопил и приберег специально для него,— оба хорошо знают, как любит их сын поспать на сене. Потом всей семьей осматривают топольки, с такой густой, сочной зеленью, какой не увидишь нигде в этой голой, рано выгорающей степи.

— Как там их с неба... видно? — спрашивает отец.

— Еще как,— отвечает сын, разглядывая тополиные ветви.— Славные топольки, хорошо подросли.

И на следующее лето он будет любоваться ими, мерить глазом, только к тому времени их кроны разовьются еще больше.

В том году, как пошел сын в авиационное, были посажены эти топольки. Нелегко их выходить тут, в степи, на ветрах. Но вырастил чабан Горпищенко, поливал, поил колодезной водой...

Разрослись тополя, зазеленели. Поднялись выше хаты, на всю степь стали видны, и летчики сельскохозяйственной авиации хорошо знают этот чабанский тополиный островок, используют его как ориентир.

А к вечеру между тополями, где тень держится в течение дня и степная трава волнистым рупом стелется по земле, накрыты столы в честь летчика, а за столами сидят чабаны.

Уже выпили первую чарку, и молодой, сваренный по-чабански барашек дымится в мисках, в тех самых мисках,

с которыми старый Горпищенко никак не может примириться, потому что издавна у чабанов принято есть тузлук только из деревянного корытца. Чабанский ватаг и сегодня долго пререкался с женщинами, грозил смести прочь со стола их тарелки и вилки и только после того, как убедился, что дедовское деревянное корытце уже рассохлось, вынужден был пойти на уступки цивилизации. Он и сам теперь, наравне с другими, ест из тарелочки, которую ему, словно в шутку, подставила Тоня.

А мать не перестает угощать сына.

— Вот тебе хрящик... вот ребрышко... Ты же любишь,— подкладывает она горячую нежнейшую баранину, подливает юшку, в которой плавают разваренный лук, нарезанный кольцами. Летчик, лакомясь тузлуком, смакуя солоноватое густое варево, почтительно слушает отцовские рассказы.

— Я человек давнишний,— говорит старый чабан.— Я оттуда, где пешком ходили. Где на волах ездили. На конях скакали. Ветер! Птица! Вот что было самым быстрым. А ты вот теперь в сталь завернешься — и в небо, как снаряд. Сверкнешь, как та ракета, — и нет тебя.

— А разве вы, тату, видели ракету? — лукавит Тоня.

Чабан покосился на дочь сурово, выждал тишины.

— Видел.

И хотя присутствующие здесь впервые это от него слышат, но нет у них недоверия: раз говорит — значит, видел.

— Какая же она, тату, ракета?

— А такая, как и его самолет, — кивает старик на сына. — Толстая, блестящая... Вылитый самолет, только крылья обрублены.

Корней, чабан правой руки, сутулый, сморщенный, как стручок, хотя годами и не старый, считает, видно, что сейчас самое время пожаловаться летчику на соседа — полигон (у Корнея это уже стало привычкой — на все подряд жаловаться).

— Скажи ты им, Петро, у тебя там полно дружков на полигоне, пусть не запрещают нашим отарам подальше на их землю заходить, — говорит он, с трудом разжевывая пищу. — Потому что раньше все-таки было немного повольготнее, а теперь вот уже с месяц бомбят или не бомбят, а между переступать не смей. Уралову, начальнику полигона, скажи, он же тебе друг.

— Что же я ему скажу? — усмехается летчик. — Чтоб позволил вам с овцами под бомбы лезть?

— А ты слушай Корнея, он тебе паплачется, — весело вставляет отец. — Ему отовсюду притеснения да обиды, а как чарку выпьет, так сам первый в драку лезет.

— Даром что голова инеем покрывается, — добавила Корнейха, — а на Центральной недавно так разбушевался, что дружинники даже седого хотели остричь, мне уж пришлось отбивать.

— Через то, Корней, и на полигон тебя не пускают, что ты забияка, а там люди мирные, — говорит чабан Горнищенко, и все смеются.

Тоня между тем, наклонившись к матери, шепчет в восхищении:

— Гляньте, мама, ей-же-ей, у нашего Петруся гагаринская улыбка! Это у них теперь, видно, такая мода...

— Тебе уже сразу и мода... Он всегда так улыбался, — тихо отвечает мать, а сама не может отвести глаз от сына.

А тот, сняв китель, сидит в своей зеленой летпой рубашке и с таким же зеленым галстуком, который он разрешил себе чуть ослабить только за столом.

Улыбка улыбкой, а эти ранние запылинки, появившиеся на лбу, сильно тревожат мать. Говорят, что летчики и подводники рано лысеют. — верно, не от легкой жизни. Как он живет? Какая у него работа? Куда он летает, что его радует и что печалит — ничего об этом матери не известно. Как отголосок беспокойной жизни сына, слышит она только ежедневный грохот в вышине, грозный, могучий, будто кто-то рвет, разламывает небо. До сих пор мать никак не может привыкнуть к тому, что небо, ясное, приморское, все время над нею грохочет. Летом и зимой. Днем и ночью. И людям всего совхоза, всех отделений (которые она по старой памяти называет хуторами) приходится вечно жить под этот тревожащий гул. Другие, может, к этому успели привыкнуть, считают естественным — ведь рядом полигон, к которому издалека летят чьи-то сыны на свою грозную работу, — по она, сама мать летчика, никак не может привыкнуть к громыханью, взрывам, сотрясениям. Она ведь помнит и иное небо, то небо, которое человек знал лишь по громовым раскатам, а все лето в нем только орлы да коршумы парили тихо, беззвучно. И если, бывало, забеспокоится вдруг пасада, а цыплята комочками покатаются по двору, так и знай — в небе повис орел или коршун.

— Спутники... Ракеты... А у меня еще в памяти, как мы увидели первый ероплан,— говорит мать Демида, старая костлявая женщина, к которой с обеих сторон жмутся внуки.— На паиском току как раз молотили, а он летит... И молотилку остановили, крестимся да все глядим, как он медленно, потихонечку по небу пролетает.

— А теперь: сверкнул, загрохотал — и уже он там, где мороз сизый, хоть на земле в это время жарыща в сорок градусов,— как будто немного хвастаясь сыном, произносит Горпищенко-чабан.— У меня, чабана, и то дух перехватывает, когда он вверх карабкается. Стоишь смотришь, а он полез и полез куда-то прямо на седьмое небо... Растет сила, растут скорости, да только чем оно все это кончится, сынок?

— А тем,— сдерживает улыбку сын,— что летать будем еще быстрее. И дальше. И выше. Может, даже совсем без крыльев. А крылья нам останутся лишь на память, как вам брейцары. Или как морякам остались паруса на память о былых временах.

Чабан левой руки Деמיד, контуженный в войну и с тех пор глуховатый, хлопает глазами, что-то хочет спросить.

— А это правда, Петро, что кровь из кожи выступает, так тебя прижимает на тех скоростях? — наконец спрашивает он.— И что, бывает, и сознание теряет ваш брат?

— Со мною не случалось. Если бы случилось, то с вами бы тут чарку не пил,— сказал гость шутливо, но после этого какая-то тень промелькнула на его лице, как будто вспомнил что-то совсем не шуточное и для других непонятное. — Бывают, конечно, перегрузки, так тебя тяжестью наливает, даже в глазах темнеет, но потом... Если летчик уже влетался и хорошо чувствует самолет, ничто ему не страшно. Был, правда, у нас один курсант, намучились мы с ним: земли боялся. Ему приземляться, а он схватится за ручку и прямо сок из нее выжимает.

— Ну, и что же с ним? — спросила встревоженно Корпесва жена.

— Отчислили.

— Может, и тебя, сынок, отчислят? — невольно вырвалось у матери.

— Не те ветры дуют, чтоб отчислять,— возразил отец.— Да и чего ради? Молодой, здоровый, смекалостый... Я вот на что уже, и то порой душа възграет:

хоть бы раз! Разок бы подняться туда, где и птица никакая не бывала. А ты, старая, гордись сыном! Подумать только: каждый день в небе!

— И каждый день... на волоске.

— Кто не рискует, тот шампанского не пьет,— вставил Корней, а молодича его, в сторонке кормившая грудью младенца, так покосилась при этом на мужа, что он даже съежился, потому — все знали — рука у Корнеихи тяжелая и не раз она вытаскивала мужа из чайной на Центральной.

Тоня пересела поближе к брату.

— Серобаба рассказывал, что когда впервые без инструктора вылетаешь, то в воздухе петь хочется. Каждый курсант, говорит, в первом полете поет, это правда?

— Кто поет, сестричка, а кому и не до песен,— усмехнулся брат.

И, погасив усмешку, он опять стал серьезным, сосредоточенным. Сидит и молча смотрит сквозь тополя на чабанские герлыги; подобно алебардам, они висят рядом под крышей на белой, освещенной заходящим солнцем стене и слегка покачиваются от дуновения ветерка.

Отец над чем-то размышляет, потом говорит сокрушенно:

— Деды и прадеды пешком ходили, хоть, наверное, не один в душе сокола носил... А раз уж ты, Петро, на крыльях...

Мог бы еще добавить, как эта сыновняя крылатость скрашивает и его будничную чабанскую жизнь, мог бы порассказать, как ночами, когда звезды в полете рассекают темноту над степью (даже не сразу разберешь, звезда это или самолет), он, ведя отару, ищет в звездном пространстве и летучую звезду своего сына; как по утрам, когда серебристые реактивные, вырвавшись откуда-то с приморского аэродрома, стремительно идут ввысь и тянут за собой ослепительно-белые ленты, думается отцу, не сып ли то, случаем, пролетел и расписался в небе над родной утренней степью. Мог бы рассказать, как ждет он своего сокола в отпуск и как ликует наконец душа его, когда сын вот так, как сейчас, сидит под тополями в кругу чабанов, самым своим появлением нарушив однообразие их жизни.

— Кроме тебя, Петро, все мы тут собрались такие, что никогда в жизни не летали,— окинул взглядом своих побратимов Демид.— Тот глухой, тот кривой, тот ребер

исдосчитывается, куда нам до полетов!.. Люди, которые не летали,— это, наверно, диво для тебя, Петро, а?

— Среди тех, кто пешком ходит, тоже разные люди есть: и бескрылые и крылатые.

— Это правда. Все мы, пехота, войны хлебнули,— подтвердил Демид не совсем в лад и опять за свое. — А расскажи хоть, какие мы есть оттуда, с высоты? Видно хоть нас? Или как букашки? Как кузьки какие-нибудь ползаем по земле?

«Не кузьки вы и не букашки,— хотел бы ответить им летчик.— И с самой большой высоты впью я ваши руки загрубевшие и ваши лица, опаленные ветрами, вижу вас в пыли черных бурь и в холодной измороси осенью... Сызмала знаю ваш труд. Знаю, что работа чабанская совсем не такая, как кое-кто ее себе представляет. Быть чабаном — это не просто прогуливаться с герлыгой в степи да кашу чабанскую есть. Чабан — это тот, кто всю жизнь на ногах, кого зной продубливает, осенние ненастья пронизывают до костей. И когда другие еще спят, вы уже с отарами выходите из кошар в мокрую степь, на свои целодневные вахты...»

— Чабаны тоже рабочий класс, — говорит он им.

— Слышите? — живо подхватывает отец.— Мы тоже рабочий класс! А разве ж нет? И не только потому, что платим взносы профсоюзные, а потому, что рабочий день наш кончается в полночь, а всташь, когда еще и черти на кулачках не дерутся.

— Каждый ягненок через твои руки пройдет.— Демид оживился, куда и глухота девалась.— Отару ведешь — не присядешь, всегда впереди! Все следишь, чтобы она у тебя из-под пяты траву брала.

— А когда стрижка наступает! — воскликнул Корней.— Пота не меньше прольешь, чем иной возле домны!.. А спецодеждой нас обидели,— пожаловался он Петру.— Выдали чеботы на два сезона, а в кошарах навоз ты же знаешь какой — огонь!.. Там чеботы, будь они хоть железные, за месяц сгорят!

— Так-то вы своего добиваетесь! — выкрикнула Демидиха, люто краснея.— Директор трос для колодца никак вон не выпишет! Весь посекея, порвался. На днях как зацепило моего тетерю, чуть самого с ведром в колодец не утянуло!

— Да и про пещип пора бы подумать,— буркнул Демид.

— Кому? Нам? — ястребом пакинулся хозяин. — Нам до пенсии еще как до Москвы на карачках!

Женщины хохочут, заливаются чабапята, и Тоня смеется, зорко поглядывая на брата, следит, как он ко всему этому относится.

— Ну, а в высоту... далеко вы летаете? — спрашивает немного погодя Корней, с покрасневшим уже носом.

Летчик щурится в веселой загадочности.

— Возьмите расстояние, которое вы пройдете с отарой за сутки, да поставьте его стоймя — вот это и будет паша высота.

Представив себе такую высоту, мать даже охает:

— Ой, божел..

— Что ты божкаешь? — косится на нее муж. — Не бог теперь, а Гагарин!

Он снова наливает стопки. Всем обществом выпивают за здоровье летчика: «Лебединого тебе века!»

А за летней кухней-очагом, за крольчатником солнце садится на краю степи. Растет, разбухает, превращаясь в багрово-красный туманный шар. Взгляды чабанов какое-то мгновение прикованы к нему. Бывает вечерняя зоря золотая, бывает алая, а эта багрянисто-туманная, пурпурная, густая.

— Задует, видно, завтра, — говорит Корней.

— А вот для нас эти приметы уже устарели, — замечает летчик с легким налетом грусти.

— Почему же устарели? — удивляется он. — Разве уже не веришь?

— Не в том дело. Такие приметы имеют силу только до этого видимого глазу горизонта. А у нас иные радиусы. Нам что синоптик скажет.

На некоторое время за столом воцаряется тишина. Слышно, как самый маленький Корнеев посапывает на руках матери.

Прямо от отары подошел с герлыгой еще один чабан — Микола Карнаух, высокий, худой, без левого глаза, вытекшего на фронте. Слегка пригубив и закусив, Карнаух подсаживается к старшему чабану, и слышно, как он приглушенным голосом рассказывает ему про какую-то «вон ту», что «опять не пасется», что «заскучала чего-то», — речь, очевидно, идет о больной овцематке. Карнаух вскоре ушел к своей отаре, а у Горпищенко после этого переменялось настроение, он все потягивал сигарку и больше молчал.

Тоня придвинулась к брату, нагнулась к нему и с таинственным видом зашептала на ухо, чтобы другие не слышали, хотя про ее тайны тут знали все, вплоть до чабанят.

— Как хорошо, что ты приехал,— слышит брат ее горячий шепот.— Поможешь мне разгадать одну загадку... Вместе с твоей телеграммой я письмо получила.— Тоня при этом показала ему из выреза платья кончик измятого конверта и снова спрятала его глубже на груди.— Чудо, а не письмо: одни точки да тире!

— Азбукой Морзе? Это здорово!

— То из космоса письма нашей Тоне идут,— шутит Демидиха, развеселившись.— Кто же он?

Лицо Тони так и вспыхнуло:

— Будто я знаю!

— Это, видно, тот, что по радио Тоню вызывал,— укачивая ребенка, сказала Корнеева молодница летчику.— У нас же тут целая история была, Петро... Сидим вот так вчерком, слушаем радио, как вдруг оттуда, из приемника, голос мальчишеский: «Тоня! Тоня! Ты слышишь меня? Какую тебе пластинку поставить?» Кашлянул, засмеялся и поставил «Верховину»...

— Знает, разбойник, чем Тоне угодить,— вставил Корней.

— Баловство это все,— сказал отец строго.— Лучше бы про науку думала.

А мать тоже укоризненно кивнула на Тоню.

— Такие теперь ученицы пошли. Экзамены подходят, а ей хоть бы что!.. Гулянки уже на уме.

— Ну да, я виновата, что кто-то мне написал! — воскликнула Тоня обиженно.

— Такие письма, да еще зашифрованные, это тоже наука,— вступился за сестру брат.— Хочется прочитать?

— Ой, хочется,— вспыхнула Тоня.

— Давай сюда, попробуем разгадать твою шифровку...

— Нет, нет, нет! — вскочила Тоня и, прижимая письмо к груди, бросилась наутек.

Вскоре она, покрасневшая, стояла за тополом и смотрелась в зеркальце. Мать и там сквозь листву увидела ее.

— Вишь, опять прихоращивается. Гей, девка!

— Что ты все гейкаешь на нее,— защитил отец свою любимицу.

— Защищай, защищай, а она только и знает, что перед зеркалом вертеться. Все выщипывается — брови ей не такие!

— Птицы полжизни только и делают, что выщипываются, — примирительно сказал Демид. — Сидит себе где-нибудь на кургане и часами выщипывается, чистит перо... Это и для красоты им нужно, и для здоровья.

— Недолго теперь выщипываться, раз уже пишет какой-то, — сказала жена Корнея, а старая молчаливая чабанка, мать Демиды, добавила:

— Не браните девчошку. Может, то ее судьба ей пишет.

— Не успеете опомниться, как после Клавды и у этой свадьбу сыграем, — сказал Корней смачно, как бы наперед предвкушая будущее угощение.

При упоминании о старшей дочери, замужество которой сложилось не совсем удачно, Горнищенко помрачнел.

— Рапо болтать о свадьбе. Еще от той похмелье не прошло!

— Довольно, — поднялась мать. — Наговорились. Отдыхать Петрусью пора...

И вот убирают столы, пустеет двор, одна за другой исчезают со стены чабанские алебарды...

А стена спит, сиреневой становится, гаснет. Вечерняя звезда, далекая, неведомая красавица, алмазно светит с неба, заглядывает на чабанский двор, где в задумчивости похаживает летчик.

Мать готовит постель сыну не в хате, стелет ему там, где он любит: на дворе, на сухом душистом сене — копенку эту отец недаром приберег. Раздевшись в хате, сын выходит во двор в одних трусах и майке. Без мушкетера он такой близкий, такой свой! Топя опять вертится около него.

— Ну, давай теперь расшифруем, — говорит брат.

Еще достаточно светло, чтобы можно было прочесть эту азбуку из точек-тире, и Петро читает ее свободно, как обыкновенный шрифт: *«Пишет тебе тот, кто в просторы эфира шепчет твоё имя, чтоб долетело оно и до других планет. Но ты не задавайся. Твой навеки!»*

— Что ж, поздравляю, — весело говорит брат, возвращая письмо. — Только ты теперь сама овладевай морзянкой. Впрочем, следующее письмо он тебе наверняка напишет уже знаками древних ишков...

— Но кто ж это, кто? — Девушка даже кулачки сжала в радостном смятении.

— Ты опять за свое,— прикрикнул на Тоню отец, подходя к ним со своей герлыгой.— Марш отсюда! Матери помоги вон посуду убрать...

А сына ведет к копнушке, ждет, пока он уляжется. Подходит мать, спрашивает:

— Не жестко? Не колется?

— Нет.

— Тогда спокойной ночи.

И оба тихо оставляют Петра с глазу на глаз со степью, со звездным небом.

Южные ночи почти без вечеров, чуть только закат отпылал, и уже темнеет, сразу, внезапно. Небо — сплошной космический мрак с разбросанными крупинками звезд. Любит он такие безвечерные ночи, и эту тишину, и какую-то таинственность, гармонию во всей природе. Такие ночи, верно, любили созерцать древние мудрецы — и халдеи и эллины...

Отдыхает степь, набирается прохлады после дневного слепящего зноя. Взошла луна, прадавнее казачье солнце, на котором теперь лежит наш выпел... Лежит и ждет кого-то... Кто найдет его? Кто первым туда долетит? Тишина, тишина, как на дне океана. Океан лунной ночи разливается вокруг. И глубину тишины не уменьшает ни стрекотанье кузнечика где-то в траве, ни шелест тополиных ветвей... Как он любит эту ночную звездную степь! Где-то песня тает, далекая, еле слышная, будто сквозь сон. Воздух чистый, душистый... А над тобой бесконечный простор, усеянный звездами; светлой порошей тянется Чумацкий Шлях¹, шлях твоих пращуров — чумаков, проходивших тут в черных дегтярных рубахах... Проходили и не знали, что над ними скрутились в спираль галактики, а теперь и до них, этих непостижимо далеких галактик, долетает твой разум. Но действительно ли долетает? В самом ли деле наш разум так всемогущ и всемогущ? Да, да!.. В самые сокровеннейшие космические глубины луч твоей мысли проникает...

Повеял ветерок, и задрожали сухие стебельки, зазвучал тонко ковыль; даже скошенный, даже ставший уже сеном, он продолжает петь по-степному.

— Петрусь, ты еще не спишь?

Это Тоня. Разве могла она в такой вечер успокоиться? Томилась, сновала по двору, а перед сном все же еще раз

¹ Чумацкий Шлях — Млечный Путь.

заглянула к брату. Юркнула лисицей, присела на край постели.

— Ты только не подумай плохо про это письмо, Петрик, ничего такого не подумай... Я порвала его. Это кто-то просто пошутил.

— Ну, а кто же все-таки автор?

— Не знаю, ей-ей. Чутьочку, правда, догадываюсь, да только я ноль внимания в ту сторону... Вот ты мне лучше про себя расскажи. Про какие-нибудь случаи необыкновенные, приключения...

Услышав песню, доносившуюся откуда-то издалека, брат спросил:

— Где это поют?

— Наверно, на Пятом участке... Девчата с фермы идут.

— Хорошо поют. Ты спрашивала: правда ли, что мы поем в полете. Был у нас случай, Тоня... Сейчас мне эта песня о нем напомнила. Один наш летчик забыл кислород перед полетом включить. Щелкал в домино до последнего, а тут вдруг команда, вскочил, побежал — знаешь, как это бывает... Набрал высоту, а кислорода нет, стал терять сознание. С земли посылают ему команды, не отвечает, ничего не слышит и... поет! Это бывает в таком состоянии. А при снижении снова пришел в себя, посадил самолет, даже не повредил. Ну, конечно, за кислород кому следует нагорело, летчику — само собой, а мы после всего спрашиваем: «Что это ты там напевал, откуда ты песню такую выцарапал, совсем какая-то незнакомая...» — «А это, говорит, мама когда-то мне в детстве пела... Я и сам уже этой песни не помню, а как стал сознание терять, она сама по себе выплыла, родилась откуда-то из самых недр памяти...» Так что, Тоня, летчики не только от восторга поют.

— Ну, а в такие ночи вы летаете?

— Конечно. Тихо, светит луна, ночь как раз для полетов.

— И над морем ты ночью летал? В звездную тихую ночь?

— Летал.

— Красиво?

— Нам не нравится.

— Почему?

— Потому именно, что звездная: над тобой небо и звезды, под тобой такое же небо и звезды. Не знаешь,

какие звезды настоящие... Просто в фантастике звездной летишь... Опытному летчику, конечно, ничего, а если новичок: неведомые места, вокруг звездный хаос, линия горизонта потеряна, он начинает «выправлять» самолет, хотя на самом деле тот идет ровно, «выправляет» и заваливает... Не любят наши хлопцы полигонов на воде. Лететь в звездную ночь над морем для нашего брата, считай, не менее хлопотливое дело, чем фронт грозы пробивать...

— А разве вы и в грозу летаете?

— Вообще-то не выпускают, слово синоптика — закон, но ведь и синоптик всего не предусмотрит...

И, помолчав, словно колеблясь, стоит ли рассказывать об этом Тоне, брат стал вполголоса вспоминать какого-то, видно, близкого ему летчика, который перед вылетом спросил своего старшего: «А там же гроза?» И указал на тучу, могучую, синюю, стоявшую над горами (потому что аэродром их там, где леса, где высокие горы). «Эта гроза еще неделю стоять будет», — успокоил его старший.

— И впрямь, нередко бывает, что тучи чуть не неделю стоят там, в горах, а мы летаем. Но на этот раз случилось иначе...

И дальше брат рассказывает, как тот летчик попал в страшную грозу над горами и фронт этой грозы оказался настолько могучим, что пробить его было невозможно. В самолете стало темно, только вспышки молнии сверкали совсем рядом, все приборы отказали. Выход один — катапультироваться. И он катапультируется, то есть выстреливает себя из самолета вместе с сиденьем... Но довелось это сделать при такой большой скорости, что и шлемофон сорвало, разделило летчика и разуло — одни лохмотья остались на нем от его бріджей, от сапог... А хуже всего, что руку повредило. Этого он, правда, сразу не почувствовал, обнаружил травму, только когда потянулся к парашюту. Не слушается рука! Перелом! Вторая, к счастью, послушалась. Дернул парашют — и душа замерла: парашют раскрылся, но изодранный весь, одни лоскутья над головой! (Нет, не бойся, Тоня, это просто система парашюта была такая: купол не сплошной, а полосками-лентами...)

— И вот вообрази себе: летит этот оборванный, в лохмотьях человек в тучах, и рука у него переломана, и жизнь его держится если не на волоске, то только на тех парашютных полосках, дождь льет, темнота, электрические разряды бьют совсем близко... И все же человек

тот чувствовал себя человеком: он побеждал и темноту, и грозу, и все силы стихий...

— Ну, а где же приземлился тот летчик?

— Приземлился в каком-то межгорье, в ущелье... Нашел его там чабан (в горах тоже есть чабаны!), спрашивает: «Ты наш?» А сам глядит на него, как на пришельца из других миров...

Затаив дыхание, слушает Тоня брата. Сидит, не шелохнется, положив голову на поджатые колени. А когда брат умолк, через какое-то мгновение спросила:

— Ну, а теперь... Он снова летает?

— У нас пословица: «Больше летаешь — больше живешь»... Немного отлежался, рука срослась — и снова в полет! Правда, он теперь временно на других самолетах, на тяжелых машинах утюжит небо...

И в его голосе Тоня уловила нечто похожее на печаль или сожаление.

— Скажи, Петрусь, летчик тот, что катапультировался... то был ты?

Брат засмеялся, слегка толкнул ее в плечо.

— Иди. Отбой. Спать пора.

— Знаю, знаю: это был ты! — воскликнула Тоня, вскапывая и убегая к хате. — А после такой катапульты в космос послать могут?

— Могут, — успокоил он весело.

И снова тишина, безмолвие степи, только стебелек сена ровно пост, тронутый ночным ветерком, убаюкивает... Сладостно слушать летчику эту навечную музыку степи, что ни на какой другой планете не услышишь... Улегся поудобнее, закутался в легопькое одеяло, и — тело растаяло.

А по степи медленно движется отара, и необычный этой ночью ведет ее чабан. Объездчик встретил бы — не узнал. Не в шапке сегодня старый чабан, не в картузе затасканном, а в бравой фуражке летчика, на которой крылья есть! В руках герлыга, на голове роскошная летная фуражка, отражающая лунный свет... Догадался бы объездчик: приехал, значит, сын Горпищенко в отпуск.

Спит сын, отдыхает на сене; одежда его лежит в хате, аккуратно сложенная на стуле, а фуражка с крыльями целую ночь будет ходить по степи при отаре, и только на рассвете, когда первые реактивные загрохочут в небе, возвратится она снова в хату и тихо ляжет сверху на ладно сложенный летный мундир.

Начиная с рассвета и все утро над совхозом грохочут самолеты.

Самолеты владеют поднебесьем, а внизу, над совхозными землями, белокрылая армия чаек наступает на кузьку. С ранней весны увидишь птиц в степи — трактор пашет, а они вьются за ним белой метелицей, пасутся за плугами, собирают на пашне червей. Но больше всего работы у них сейчас, когда хлеба стоят в наливе, когда ненасытные кузьки пластмассово поблескивают всюду на колосьях, высасывая из них молодое молоко. Ни свет ни заря летят чайки в поля, в глубь суходола, летят, как на работу, и трудятся, пока жара не припечет. Работали б еще, если б было где напиться.

— Чтоб их жажда не томила, вы бы расставили в степи корытца с водой, — посоветовал как-то Горпищенко-чабан председателю рабочкома Лукии Назаровне Рясной. — Они тогда вам будут целый день трудиться... Без зарплат. И без трудодней. Не то что мы, сребролюбцы.

В обязанности Лукии Назаровны не входит шефство над пернатыми, однако не осталась она глухой к мысли чабана. Дома Лукия Назаровна рассказала об этом своему сыну Виталию.

— Можно попробовать, — сказал на это хлопец.

Что касается корытец для водопоя, из чего и как их делать, то это, по его мнению, разрешалось очень просто...

На другой день старшеклассники в часы производственной учебы уже готовили в мастерских корытца для чаек. Ребята брали изношенные автомобильные шины, разрезали вдоль круга пополам, и из каждой шины получалось две оригинальной формы посуды; если какая-нибудь протекала, ее тут же на ходу вулканизировали.

Сампи же старшеклассникам пришлось и отвозить корытца, расставлять на землях Третьего отделения, среди хлебов.

Переполненный грузовик мчится в утреннюю степь. От высоких хлебов еще тень прохладная лежит на дороге, солнце только поднимается. Оно еще красное, не слепящее, не расплавилось от собственного жара, оно еще как бутон, и такое красивое, как и эта степь и небо, умытое росой! Все тебе улыбается вокруг, особенно когда ты сидишь в кузове, где полно смеха, шуток, где жарко и тесно от твоих друзей-одноклассников, для которых эта экспедиция в степь обернулась веселой прогулкой.

После школы, после классных комбат очутиться среди такого раздолья!.. Это та степь, где человек с герлыгой еще недавно был как царь, где элеватор, что виден на горизонте, кажется совсем близким, хотя до него два дня ходьбы; это край равнины необозримых, где природа развернулась широко, привольно, с океанским размахом... Зеленые валы посадок. Темные далекие скирды, что, будто головы китов, на протяжении дня будут выныривать из океана марева. Чабан на краю неба... А дальше, на север — хлеба и хлеба, смуглая густая пшеница, радующая своим полным колосом глаза старшеклассников.

Более двадцати тысяч гектаров земли в одном хозяйстве, тридцать тысяч тонкорунных овец бродят отарами по степным отделениям — такие здесь масштабы, такие просторы. Бывает, летом дождь над одним отделением пройдет, а над другим его в тот день и не видели, только детвора попрыгает на дороге в пыли, покричит в небо: «Дождик, дождик, пущел!» Когда-то на таких просторах могло бы разместиться целое княжество, а сейчас все это одно трудовое чабанско-земледельческое хозяйство, и руководят им такие, как мать Виталпя, депутат и председатель рабочкома, да вечно озабоченные управляющие отделениями, да гроза их — директор совхоза Пахом Хрисанфович, поджарый, страдающий язвой желудка человек, который и днем сидит в своем кабинете при свете лампы, как Диоген в бочке, ибо окна снаружи заслоняет зелеными лапами широколиственный веселый виноград. На стене у директора карта совхозных земель, что вытянулись сапогом на десятки километров от моря в глубину материка, и когда Пахом Хрисанфович показывает приезжему этот сапог на карте, то не забывает добавить:

— Видите, мы по форме, как Италия.

Италия не Италия, а простор такой, что петь хочется, и песня вот уже сама собой взметнулась над мчащейся машиной с десятиклассниками.

Поют все, кроме Лины Яцубы, дочери майора-отставника, которая сравнительно недавно в их школе и то ли еще не знает всех здешних песен, то ли у нее какие-то нелады дома, потому что под глазами у Лины синева, будто она плакала всю ночь. Когда Лина не в настроении, ее лучше не трогать — пускай сидит себе нелюдимкой в самом углу кузова и созерцает степь.

Зато звонкоголосая Тоня Горпищенко, взбудораженная веселым, заливистым пением, так и сверкает своими орехово-карими глазами, так и играет ими, постреливает на хлопцев, не замечает, кажется, только соседа своего — Виталика Рясного, хотя они и сидят оба на одной шине.

А Виталик достоин куда большего внимания. Даром что хлопец с виду невзрачный, неловко ежится возле Тони и прячет растерянную улыбочку в ладонь, но ведь не раз вытаскивал он Тоню за уши по физике и математике... На диво смекалистый парнишка: и учится хорошо, и руки золотые — для домохозяек своей улицы он в технике авторитет павысший. Наладить примус, керогаз, заменить розетку? Беги, зови Виталика Рясного! Нужно кому-нибудь поставить антенну над хатой, заглянуть в радиоприемник, снова кличут своего покладистого механика, и он идет на эти приглашения безотказно, сидит да работает молча, пока не сделает что нужно. Таков уж он. Нравится ему копать во всем да выдумывать разные штуковины. Дома у него просто чудеса — этой весной сконструировал какую-то особенную телевизионную антенну: она ловила даже неуловимое; со всей улицы стали бегать к Виталику смотреть на это диво; на те случайные блуждающие изображения, которые одно за другим вдруг промелькнули по экрану, неизвестно откуда взявшись, — кто говорит, греческое, кто — итальянское, а кто полушутя высказывает предположение, что это, может, с Марса. Так было, пока об этом не узнал товарищ Яцуба, отставник.

— Ты, милейший, лови, да знай что, — однажды заметил он юному механику.

Парню промолчать бы, а он огрызнулся:

— Вы мне не указ.

— Вот как! А кто ж тебе указ? Тебя не одерни — ты, чего доброго, станешь весь мир ловить.

— Если удастся, почему же не ловить?

— А разрешение? Кто дал тебе на это право, милейший?

— А кто вам дал право цепляться ко мне?

— Не тебе спрашивать меня, молокосос. Я по праву старшего с тобою говорю! И настоятельно советую: поверни антенну куда следует...

Виталий заупрямился, совета не послушал. Однако кончилось тем, что майор кому-то позвонил, куда-то написал и все же добился своего: хлопцу пришлось-таки переделать антенну и направить ее на свой областной телецентр.

— Пой, пой, милейший! — подмигивает Виталию Грицько Штереве́ря, втиснувшись меж девчат, и всех расшемило это его «милейший», они ведь знают, в чей огород камушек; одна Лина, оскорбившись за отца, посмотрела на Штереверю отчужденно, серьезно.

— Ты хочешь, чтобы я сошла?

И смех тотчас прекратился, а Тоня, чтобы погасить размовку, выкрикнула:

— Смотрите, ведьма нас догоняет!

«Ведьма» в ее устах — это пузатая цистерна-молоковоз, которая еще от самой Центральной усадьбы пылит за грузовиком, издавела сверкая сквозь пыль надписью «Молоко», хотя сейчас она везет обыкновеннейшую воду.

В воздухе уже много чаек, они мчатся словно залпы с грузовиком. Большие, ослепительно-белые, летят вперед размашисто, голко: снemat в стeнь, торопятся на работу.

— Вот они, наши труженицы, — говорит Алла Ратушная, подняв к губам маленькое веснушчатое личико. — Я читала, что в каком-то городе стоит даже памятник чайке.

— Чайкам памятник? — недоверчиво вытаращился Штереверя. — За что такая честь?

— Они тамошним людям спасли однажды поля от саранчи.

Летящих чаек все больше. Зрелище поражающее: безбрежные хлеба, а над ними — множество белых крыльев в полете... Блестят опереньем на солнце, мелькают, пикируют, на лету склевывают кузку с колосков. А грузовик, наверно, кажется им суденышком, ловким, быстроходным; без страха проносятся над ним белокрылые черноголовые красавицы.

— Знаете, как их называют? — спрашивает Марийка Ситник, живая, курпосепьская. — Средиземноморскими!

— Что они, родом оттуда? — Тоня едва ли не в первый раз за дорогу поворачивается к Виталику.

Хлопец отвечает глухо:

— Они и у нас на Смаленом гнезятся.

При упоминании о Смаленом все хлопцы и девчата со смехом обращают взгляды на Кузьму, своего одноклассника, парня атлетического сложения.

— Вот кому запомнился Смаленый!

— До новых веников Кузьма будет его помнить!..

Остров Смаленый, ближайший из целого архипелага, принадлежащего Государственному заповеднику, они посетили еще малышами-пятниклассниками во время одной из экскурсий, которые любит организовывать бессменный их биолог Василий Карпович. Он и сейчас едет с ними, только сидит не в кузове, а рядом с водителем, в кабине. А тогда пешком, походом повел их на Смаленый, названный так потому, что некогда там бакланы устраивали свои птичьи ярмарки и когда садились, то остров становился в самом деле будто опаленный, — от множества птиц с черным, металлического отлива оперением. Во время той экскурсии на острове бакланов уже не было, зато чашек и кричек не счесть, они гнездились там огромными колониями. Когда баркас причалил к острову и юные экскурсанты высыпали на берег, то над головой у них поднялась целая туча — белая, крикливая! Солнца не стало видно за птицами, которые летали и кричали все время, пока детвора находилась на острове. Кроме чаек, были там утки-крохали, и утки серые, и галагазы, и морские голуби... Идешь, а на земле пегде ногой ступить: гнезда, яйца, голенькие птенцы путаются в траве, одни уже пухом покрылись, а те лишь вылупляются, пробиваются клювиками из скорлупы в этот мир, чтобы со временем подняться и полетать над ним, посмотреть, каков он есть.

Экскурсанты разбрелись по острову, а там лебеда татарская — выше человека. Виталий, самый меньший в классе, чувствовал себя как в лесу, продирался сквозь щавель конский, сквозь бурьяны — в небе сердитая, крикливая туча птиц, а под ногами — шурх! шурх! — гадюки. Вот этот Кузьма, что сейчас сидит себе да хохочет, как взрослый дядька — косая сажень в плечах, — тогда в зарослях наступил на гадюку, и она ужалила его в ногу.

Ох, как он вопил! Василий Карпович мигом прилег на землю, сам высосал из ноги яд, а за учителем и Тоня припала, высасывала да сплевывала в сторону, и всех поразило, что она не боится, и в школе об этом потом в стенгазете писали, а она только плечами пожимала:

— Э! Что ж тут такого? У меня отец чабан, он меня научил.

И хотя Кузьма после того все же переболел, температуру ему нагнало, и нога была как бревно, однако, вишь, выжил, и видно, что укусы впрок пошел ему: силач, в плечах шире учителя.

— Кузьма, ты бы хоть «Красную Москву» Тоне подарил,— шутит Марийка Ситник.— За неотложную помощь в чертополохе...

— От него дождешься! — наигранно хмурится Тоня, хоть глаза искрятся смехом.— Боится даже в кино сводить.

— И свожу!

— Еще пойду ли? Сперва усы отрасти! А то и пу-ха нет!

— Ишь жалит! Видно, правду говорят, что в каждой жинке три капли гадючьей крови есть...

— А сколько в тебе осталось? Ох, как ты тогда орал. Аж ноздри зеленели!

На повороте их силой инерции сваливает в кучу, они падают друг на друга, визжат, смеются, а Виталию хочется, чтобы больше было таких поворотов, чтобы дорога не кончалась, чтобы Тоня чаще вот так валилась на него горячим тугим телом.

Но вот машина останавливается среди хлебов, и все участники экспедиции высыпают из кузова, летят на землю латанные шины, и Василий Карпович, седоусый, бодрый, восклицает весело:

— А ну-ка, разбирайте ваши колеса фортуны!

И Виталий хватает ту самую шину, на которой они сидели вместе с Тоней, хватает и хомутом набрасывает через голову на себя. Колесо приятно пахнет горячей резиной и пылью тех неведомых дорог, по которым оно прокатилось, а пшеница, что стоит от горизонта до горизонта, тоже пахнет, пьянит.

Василий Карпович распоряжается, что кому делать, куда идти, а Виталия и Тоню, возможно, потому, что они стояли рядышком, посылает вместе:

— Несите воп туда, по межполосью, там и поставите.

Подхватив бидон с водой, Тоня пошла впереди, а Виталий со своей ношей за нею. Он несет шину, перекинув через плечо, как спасательный круг, но и круг не спасает хлопца от волнения, которое охватило его, едва они отдалялись от дороги и остались вдвоем. Пока сидел с Тоней в кузове, чувствовал себя так, будто на одной парте с нею сидит, а сейчас и слов не находит, собственная неловкость сковывает его, и горячая кровь то и дело приливает к лицу.

А Тоня как ни в чем не бывало идет да идет впереди, все дальше в глубь хлебов, только шелестят в упругом порыве ворсистые ее шаровары, а поверх них развеивается легонькое ситцевое платице. Тоня вертит головой, осматривается вокруг, русые волосы сверкают на солнце, они перехвачены лентой, поднялись конским хвостом, который непокорно выгнулся на затылке и делает Тоню сейчас похожей на римского воина. Доставалось ей уже за это подражание моде, хвост критиковали на школьном комсомольском собрании, но к ней и критика не пристает — она всегда веселая, беспечная; кажется, только и ждет аттестата зрелости, чтобы уже ни от кого не зависеть и свободно крутить себе прически, какие захочет.

А межнику нет ни конца ни края, куда-то потянулся он за горизонт, и лишь колосья клонятся из стороны в сторону да полевая вика синее, выюнок вьется под ногами, и алыми капельками росно нылает мышиный горошек...

Наконец Тоня останавливается. Ставит бидон и оглядывается вокруг. Высокая могила-курган поднимается невдалеке, среди хлебов, опашанная, нетропуемая, заросшая седой полынью. Нигде никого, только кузов грузовика да верх цистерны виднеются над пшеницей, да отдаленные голоса доносятся — будто где-то далеко за краем земли перекликаются хлопцы.

Небо чистое, лишь на горизонте еле заметно проступают неподвижные перламутрово-белые облачка. Коротка их жизнь: как незаметно появились, так незаметно и пропадут, растают до полудня. А сейчас еще белеют, будто ветрила далеких фрегатов, окружают по небосклону этих двух, что на межнике, плетя взор своими полпогрудыми небесными парусами.

— Ну, клади же, — первой опомнилась Тоня. — Стоишь, как очумелый... Сбрасывай свой хомут.

Это она о шине, с которой хлопец так и стоит перед нею, будто забыл, зачем принес ее сюда.

Хлопцу становится жарко, как-то даже томительно под ее взглядом, словно это перед ним не Тоня, а какая-то незнакомая девушка, разглядывающая его почти критически. Словно бы ее глазами Виталик посмотрел в этот миг на себя и увидел фигуру свою незavidную и как уши горят, а эта дурацкая шина, думается ему, делает его еще меньше; кажется, что Тоня глядит на него из-под черных бровей как бы с пренебрежением и ее, остроглазую, словно бы удивляет, что это за мальчишка напил на себя шину и стоит перед нею, растерянно переминяясь. Там, где должен бы стоять красавец, полигонный лейтенант какой-нибудь, понуро стоит пацан с пучком соломенного чубика, нависшего надо лбом, с глазами буднично-серыми, маленькими, с лицом худым, в пятнах веснушек, будто в солончаках.

— Здесь давай положим! — выводя хлопца из оцепенения, указывает Тоня.

Виталий, однако, замечает, что и Тоня сейчас какая-то не такая, настороженная, как птица, серьезная, не улыбается Виталию беззаботно, как бывало в школе на переменах.

— Да живее поворачивайся! Не позавтракал?

Хлопец, чувствуя себя косноязычным и ничтожным, молча сбрасывает разогретую резину, послушно кладет колесо в пырей, куда указала Тоня, потом, наклонившись, еще зачем-то и поправляет его, будто это имеет какое-то значение. Тоня деловито наливает в корытце воду для чаек, оставив малость, чтобы и самим напиться, и сразу же припадает к бидону, пьет жадно. И пока она пьет, Виталий неотрывно смотрит на нее, на вытянутую к бидону тонкую смуглую шею. Тоня вся облилась, вода за ворот ей потекла, стало щекотно, и она, утратив строгость, звонко рассмеялась.

— Хочешь? — глянула она на Виталия, когда напилась.

И, передавая бидон, невзначай или нарочно коснулась рукой его руки. Чуть-чуть прикоснулась, а хлопец от того прикосновения так и вспыхнул, затрепетал, им овладела какая-то неведомая доселе нежность ко всему.

Собственно, пить ему не хотелось, но он тоже принял-ся тянуть уже теплую воду, набрапную сегодня на Центральной из артезиана, а когда напился, остатки воды

осторожно вылил в резиновый круг, в это распластанное среди пырея их колесо фортуны. Теперь воды в нем было почти до краев, отныне в жару из него будут пить чайки. Оба стояли под колесом притихшие, ждали, пока вода устоится. Постепенно стало проступать из нее глубокое-преглубокое небо, их полуосвещенные солнцем, склоненные над колесом лица. Чайка пролетела в небе, и ее тоже было видно в воде.

— Только найдут ли они этот наш водопой, Виталик, а? — спросила Тоня задумчиво.

Он прогудел каким-то не своим, осипшим голосом:

— Найдут...

Оба еще некоторое время смотрели на это разостланное под ногами небо и уже и сами себя не узнавали в нем — они и словно бы не они.

— Крейсер!

— Крейсер в заливе!

Кто-то кричит — оповещает с кургана: там, уже на самой верхушке, собиралась гурьба хлопцев и девчат, смотрят куда-то в сторону моря, а к ним остальные сбегаются отовсюду, даже Василий Карпович в своем белом картузе взбирается по крутому склону.

— Айда! — крикнула Тоня и первой бросилась в пшеницу.

Вскоре оба были среди одноклассников.

Если взбежать на курган, на самую вершину этого покрытого седыми травами степного глобуса, то увидишь, как марево колышется над степью, а вдали, далеко-далеко на южном горизонте, ракетным ослепительным металлом сверкает полоска моря, морской лиман. Обычно воды лимана блестят пустынно, лишь время от времени, чаще всего летними утрами, появляется там белое крыло рыбацкого парусника, который потом долго-долго, целую вечность, проплывает по линии небосклона...

А теперь вместо крыла парусника Тоня и Виталий видят вдали, прямо посредине залива, какую-то темную неподвижную гору.

Крейсер? Откуда он взялся? Даже не похож на корабль, дикой темной скалой стоит среди сверкания воды, неподвижно громоздится в просторе моря и неба. Ни Виталий, ни Тоня не припомнят, чтобы в эти воды заходили суда такого типа. А этот зашел. И встал. Как загадка. Как сфинкс их далекого, мерцающего моря. Пришел словно бы для того, чтобы взбудоражить их молодое вообра-

жение, привлечь любопытные взгляды всех — и подростков-старшеклассников, что затаили на кургане, и даже вон тех трактористов, удивленно остановившихся у обочины дороги, и чабанов всего совхозного побережья.

— Пожаловал гость, — говорит Василий Карпович. — Давно не было. В тридцатых годах заходил такой, а после не припомню.

Уму непостижимо: военное судно таких размеров вошло в тихие, неглубокие воды их залива и бросило якорь на виду у всей степи.

Рассматривая судно, Виталий и Тоня переглядывались, обменивались улыбками, в которых сейчас было что-то похожее на тайну, сближавшую, никому, кроме них, не доступную. Это загадочное появление крейсера казалось им сейчас не случайным, тот крейсер был тоже словно бы причастен каким-то образом к душевному сближению, что так неожиданно возникло между ними и поновому осветило их друг другу. Чувство близости не проходило, певучий настрой души как бы увенчивался теперь еще и прибытием морского гостя, его величавым визитом; и, кажется, не удивило бы их, если бы он сейчас из всех своих орудий прогреготал салютом, посылая привет с лиманных разливов солнца их настроению, тайному цветению нового для обоих чувства.

А их друзей интересовало другое.

— Долго он будет здесь стоять, Василий Карпович?

— А какой на нем экипаж?

— Это крейсер или эсминец?

Василий Карпович пожимал плечами. О судне, о намерениях этого судна он знал не больше, чем его ученики. Они сгрудились стайкой, до боли в глазах всматривались в морское диво, тщетно пытаясь разглядеть то, что было скрыто расстоянием.

— Может, там и сигнальщик стоит, — пускался в догадки Кузьма, — сигналы на берег передает азбукой Морзе? Но разве же отсюда разглядишь?

При упоминании об азбуке Морзе уши одного из хлопцев покраснели. И от одной девушки это не укрылось: она прикусила губу, чтоб не рассмеяться.

— Ну, друзья, пора и домой, — напомнил Василий Карпович и, скользя по траве, по серебристой нехворощи, первым стал спускаться с кургана.

— Будьте внимательны, под ноги смотрите, — предупредил он своих воспитанников. — Здесь все может быть,

ведь еще до сих пор одна важная бумага не подписана — акт о безопасности наших полей... Минеры были, разные комиссии, а заактировать пока никто не решился.

Тревога учителя невольно коснулась души каждого, все сразу увидели, что курган подозрительно изрыт какими-то рвами, рвы уже позарастила травой — это, видно, были солдатские окопы да траншеи; здесь, на этом кургане, во время войны, кажется, стояла зенитная батарея... Земля в таких местах и впрямь могла таить в себе мины, а то и бомбы, начиненные смертоносной взрывчаткой. Полынью порос курган, овсюгом да седую нехворощью, ветерок овеивает траву, и она блестит, течет, как вода... Кроме Василия Карповича, никто из них войны не изведal — ребята знают ее только по рассказам и кинофильмам, — но всем вдруг начали приходить на память разные несчастные случаи с совхозными детьми — много их было покалечено в полях после войны... Вспомнилось, что один учитель, молодой фронтовик, в первые годы после войны погиб вот так в степи: спасая школьников, отбросил от них мину, а сам погиб.

Сходя с кургана, ступали осторожно — после предупреждения учителя каждый чувствовал себя так, будто и вправду идет среди заржавевших неззорвавшихся мин, — и, только очутившись внизу, снова зашумели, с веселым гомоном направились к дороге.

Возвращаясь домой, Тоня и Виталий сидели в кузове порознь, в противоположных углах, словно стеснялись друг друга, хотя ничего между ними как будто и не произошло.

Товарищи не докучали им, в кузове снова царило веселье, а когда на поворотах их сваливало в кучу, то из этой кучи раздавались озорные выкрики парней:

— И тепе! И тепе!

Довольно бессмысленные выкрики на слух постороннего, а для них это излюбленное учительницей русского языка выражение «и тому подобное» было как пароль, как призыв к веселью, вместе с тем словечком они будто бы слышат и выразительно-размеренный голос своей Марии Алексеевны, которая диктует им контрольную, слышат из ее суровых уст и свой шутливый, самими же коллективно выдуманный текст диктанта: «Он ее обнимал, при-жи-мал, брал за талию и тому подобное...»

— И тепе! И тепе! И тепе! — скандируют они уже все вместе, и в кузове снова взрывается хохот.

В другой раз Виталий тоже смеялся бы, а сейчас от грубоватых этих дурачеств стало ему даже неловко: наверно, хлопец все еще был полон той особой нежностью, что пробудилась в нем. Тоня, эта непоседа, эта смуглянка, была виновницей всего, она наполнила его новым, ни с чем не сравнимым чувством. Просто удивительно: столько лет проучились вместе, и Тоня была для него, ну как все, только приходилось чаще ее выручать — ведь училась она кое-как и всегда клявчила, чтобы подсказывали; кроме того, ей просто, наверное, нравилось получать тайком записки во время контрольных или быть в центре внимания всего класса, который сплился ее выручить. Вызванная к доске, Тоня развлекала всех своими героическими увертками, и хотя ребята дружно подсказывали ей подмигиванием и жестами, но она и жестов тех не могла взять в толк, с недоумением разводила руками за спиной учителя, невпопад хватая на лету подсказки, покуда и сама не расхохочется. Ровесница своих подруг, она, однако, раньше всех в классе расцвела, похорошела; выровнялся девичий стан, налилась тугая грудь; хлопцы говорили, что она на свидания бегают, что и военные, приезжая с полигона, уже заглядываются на нее. Замороченный своими антеннами, соседскими примусами и техническими журналами, Виталий до сих пор всего этого не замечал, а теперь вдруг заметил. Тоня стала для него лучше всех. Что-то теперь будет? Захочет ли Тоня дружить? Или только поманит, вскружит голову и отвернется? Ведь для нее одно удовольствие — кружить головы парням, даже сами девчата говорят: «Наш вихрь! Не знает, на ком и остановиться...»

Машина приближается к Центральной. Дождевальные установки в огородной бригаде гонят в небо высоченные струи, водяной прохладной пылью так и овеяло всех. Девчата завизжали. Сразу после этого сверкающего дождя пришлось вылезать из кузова: приехали.

Тоня соскочила с машины возле подворья старшей сестры, у которой жила во время занятий, а Виталик прыгнул у радиоузла — не мог же он проехать, не повидав своего закадычного друга Сашка Литвипенко. В конторе пусто, как раз обеденный перерыв, дверь в радиорубку открыта настежь, но Сашка нет, лишь наушники лежат на столе да инструментов брошенных грудя — признак, что хозяин где-то поблизости. Контральтовый голос Сашка слышен откуда-то из комнаты бухгалтерии, он там

балагурит с девочками, а здесь только птенцы пищат в гнезде, прилепленном в углу, под самым потолком. Надо же было додуматься прилепить его там к пучку проводов, среди рисованных виноградных листьев на обоях... Белогрудые ласточки, не боясь ни аппаратуры, ни человека, так и сверкают, влетая и вылетая через окно, только слышно — вжик да вжик! Усевшись на Сашковом месте, Виталик сосредоточенно изучает гнездо, ласточки всегда удивляют его своим инженерным мастерством — нужно же суметь так сделать, чтобы гнездо не отлепилось от переплетенных проводов, не упало! Над засохшим илом, который ласточки будто цементируют своей слюной, еще и конский волос протянут, как антенна, — этим волосом ласточка птенцов своих обвивает, чтоб не вывалились из гнезда. Такая заботливая мать!

От ласточкина гнезда взгляд Виталия переносится — уже в который раз! — на грамоты и дипломы, развешанные по стенам. Эти дипломы в разное время присуждены Сашку за победы в соревнованиях радиолюбителей-коротковолновиков. Получить их было триумфом не только для хозяина, но и для Виталия, ведь с тех пор как Сашко Литвиненко, закончив школу, начал работать радистом на совхозном радиоузле, эта радиорубка стала для Виталия вторым домом, и все, связанное с пею, дорого его сердцу. Сколько вечеров провел он здесь вдвоем с Сашком, налаживая приемники да изучая статьи в технических журналах, сколько раз, склонив головы, до поздней ночи разбирали они за этим столом разные схемы и решали задачи, которые получает Сашко как заочник!.. Среди дипломов бросаются в глаза не совсем обычные, полученные из стран народной демократии: земной шар, опоясанный лентой с надписью «авиа», грамота в виде полусвернутого папируса с красной сургучной печатью — эта пришла из Варшавы, Сашко и там известен...

Одна беда — на костылях прыгает Сашко. Мина искалечила его еще мальчишкой (в тот день, когда погиб фронтовик-учитель), ногу повредило, остался на всю жизнь калекой. Но каков характер! Другой в таком положении пал бы духом, стал бы нытиком, пессимистом черным, а Сашко вот не сдался. Из всех своих друзей Виталий не знает человека жизнелюбнее, человека такой чистой и светлой души. К костылям Сашко относится насмешливо, с каким-то веселым презрением. Вот и сейчас, влетев в радиорубку, он с порога швыряет оба костыля

в самый угол, будто хочет забросить их на край света. Схватившись одной рукой за спинку стула, он другой радостно бьет Виталика по плечу.

— Здоров!

— Здоров.

— Майора поборол?

— Да ну его... недоборол.

И при этом — для пробы силы — крепкое рукопожатие.

От пожатия друга у Виталия слипаются пальцы, — летая на своих костылях, Сашко патренировал мышцы, руки у него как у спортсмена. Виталик тоже не какой-то там белоручка, в ответ стиснул руку друга так, что радист даже удивился:

— О, да ты сегодня, брат, силен!

Усаживаясь, Сашко по привычке встряхивает мягким волнистым чубом — он умеет вот так артистически взмахивать этим чубом, отбрасывать всю волну назад легким, лихим движением головы. Черты лица у него тонкие, глаза синие, веселые, полны горячего блеска. За время их дружбы Виталий сегодня, кажется, впервые обратил внимание, что друг его просто красив, впервые подумалось: «Такой синеглазый парень должен нравиться девчатам».

— Слышал новость?

— Ты о крейсере? — Сашко надевает наушники. — Да, событие. Всех тут взбудоражил своим появлением. Я даже пробовал связаться с ним — не отвечает.

В наушниках Сашко сразу же становится серьезным, официальным, сосредоточенным — он теперь уже весь там, в эфире. Скупые привычные движения рукой, и некоторое время он слушает, нахмурясь.

— Нет, молчит, — говорит Сашко, и Виталий догадывается, что он снова пытался ловить радиорубку крейсера.

После этого, сняв наушники, Сашко сразу же погружается в свою стихию, выкладывает другу все, что думает об идее космического ретранслятора — чью-то статью об этом он только что прочитал в журнале. Сашко распаляется, он словно бы видит перед собой автора статьи, жарко полемизирует, ловит его па чем-то, высмеивает, а Виталий тем временем думает: «Зачем ты мне все это говоришь, друг? Зачем мне твой ретранслятор, и статья, и вся эта музыка, когда есть на свете Тоня и мы сегодня с ней вместе были в степи среди колосьев, стояли над

резинным колесом с водой и видели себя в нем, вместе в глубоком-глубоком небе...»

— Ты не слушаешь? — удивился Сашко. — Тебе это неинтересно? Ну, марш отсюда! Терпеть не могу людей рассеянных! Ты ему о серьезных вещах, а он потолок изучает, на птенцов уставился со своей идиотской улыбкой...

— Неужели я улыбался? — удивляется Виталик. — Извини.

И улыбается снова.

После того как они договорились вместе пойти вечером в кино, после того как вынутый Сашком из ящика стола свежий номер журнала «Радио» оказался в руках у Виталия и взмахом карандаша была очерчена статья, которую «непременно, непременно нужно прочесть», после этого:

— Будьте здоровы, граждане!

— Я вам не гражданин!

— А кто?

— Я начзаготскот!

И под этим «начзаготскот» опять-таки нужно подразумевать не настоящего заготовителя, а отставника Ядубу, который в сражении с Виталиком из-за антенны вышел пока победителем.

Шагает домой Виталик. Идет, с счастливой улыбкой блуждает на мальчишеских устах. В задумчивости хлопцет трогает пышные ветви туй, гладит поздраватый горячий камень оград, пока рука не коснется каменной скифской бабы, что стоит у двора старой Дорошенчихи, приспособленная вместо столбика для калитки. Наткнувшись на нее, Виталий даже отпрянул, поглядел на каменную бабу так, будто не видел ее тысячу раз прежде. Седой, изъеденный временем камень, грубая работа, следы стертой вековыми ветрами улыбки. Столетиями где-то на кургане в степи стояла идолом скифским или половецким, а ныне едва сохранились следы какого-то узора на каменном уборе, обыкновенным столбиком стоит, для калитки приспособленным... Кто-то придумал, вкопал у двора, и теперь даже если пьянчуга какой, возвращаясь ночью из чайной, наткнется на этот приметный столбик, он сразу определит свои координаты.

— Виталик!

В глубине двора, на ступеньках веранды, сидит и сама Чабаниха Дорошенчиха, она тоже будто из камня

высечена. Целыми часами сидит вот так — спиной к степи, глазами к морю, — высматривает сына, который где-то в дальнем плавании. Загадочно улыбается, молчит скифская баба в своей каменной узорчатой одежде, молчит целыми днями и Чабаниха в суровой грусти, в старческой неподвижности вечного своего ожидания. Сына из плаваний ждет. А если он не явится, то, кажется, она тоже превратится в камень и будет тогда вдвоем со скифской бабой безмолвствовать здесь у ворот, будет и тогда ожидать сына.

Опрятная, припаряженная, сидит Дорошенчиха в белом чистом платочке, завязанном по-старушечьи.

— А подойди-ка сюда, сынок...

— Когда хлопец подходит, старуха спрашивает, видел ли он то судно в лимане да что слышал о нем, и, узнав, что хлопец своими глазами видел, начинает с необычайной живостью допытываться, какое оно из себя, то судно. Может, белое? С высокими мачтами? Такое, как то океанское, фотография которого висит в хате и которое водит ее сын... Для нее не было б, кажется, дивом, когда б это именно он, ее сын, капитан Дорошенко, прибыл из дальних плаваний прямо домой, прибыл и бросил бы якорь на виду у родной степи, вблизи от материнского дома.

Хлопец, однако, должен разочаровать Чабаниху. Не белое оно. И не с высокими мачтами. Темная железная гора застыла среди моря. Боевое судно, на котором в бинокль, наверно, можно заметить и жерла орудий.

Вечером Сашко и Виталий спешат в кино. Сашко даже не подозревает, как друг его ждет этого вечера. Не было сомнения у Виталия, что Тоня непременно прибежит в клуб: она же бегаёт на все фильмы подряд, хороший фильм или плохой.

По дороге к ним присоединяются еще несколько хлопцев, и они идут к клубу целой ватагой. Сашко размашисто прыгает между ними на своих костылях, рьяно критикует название фильма:

— Посмотрим еще одну любовь. «Любовь в сентябре», «Любовь в марте» — это уже было... Уже я видел поменьше как тысячу и одну любовь!

Все смеются, и Сашко тоже. Посмотреть со стороны, для него будто даже развлечение скакать на этих косты-

лях, так привычно-размашисто бросает он себя вперед, встряхивает буйным чубом.

Были они уже возле клуба, когда Виталик вдруг, к удивлению хлопцев, круто сменил курс, рванулся в сторону.

— Ты куда?

— Идите без меня.

— Гражданин!

— Идите!

И, залившись краской, кинулся от пих в парк, в заросли туи. Хлопцы не успели даже спросить, какая муха его укусила.

А муха эта была здесь, неподалеку... Хлопцы, кажется, и не заметили, а Виталий тотчас отыскал глазами в толпе ту, которую видеть хотел. Обожгло парня, ошеломило то, что он увидел. Тонька стояла возле клуба! Стояла в окружении сержантов с полигона, выкаблучивалась беззаботно перед ними, слышны были ее хиханьки-хаханьки. А они, brave, красовались перед ней, как на параде, — куда Виталию до них! — хлопец до боли ощутил свою ничтожность, готов был сквозь землю провалиться, убедившись, что он лишний.

В парке безлюдно, весь парк еще накален после знойного дня. Опьяняюще дышит жарко-душистый тамариск, туя дурманит своим ароматом так, что голова кругом идет. Тонцелями протянулись аллеи можжевельника и туи, оставшиеся еще от давнишней планировки. Высокий пирамидальный дуб, а внизу вокруг него — поясом снова туя, скрюченная, мускулистая, в ее по-тропически густых кустах детвора любит собираться вечерами, и Виталик еще недавно здесь носился, играл с мальчишками в прятки. Частенько озорники залезали в кусты и ревели «тарзанами», стараясь перекричать громкоговоритель, который днем и ночью надрывается возле чайной, а за ними гонялся директор — он ревностно охраняет этот парк. Вот софора, диковинное южное дерево, цвущее в июле душистым белым цветом. Внешне софора немного похожа на акацию, только молодые ветки софоры нарочно скручивают да вяжут, и она тогда растет, как плакучая... А плоды софоры — сочные ягодки, ими можно чистить обувь, кожа от них блестит, как покрытая лаком, — вот чего, видно, еще не знают форсистые сержанты с полигона, закупающие в совхозном магазине весь гу-талиш.

Как затравленный блуждал Виталий по закоулкам парка, места себе не находил. Который же из тех сержантов его соперник? Которому из них она воровато-счастливо пожмет руку в темном кинозале? Кто же с нею рядом? Наверно, этот, цыганистый, что в «газике» к рабкоопу еженедельно подкатывает как раз за гуталином, весь гуталин забрал... Даже возле клуба стоит, стоит, а потом — раз! — за кустик, вытащит сукопку из заднего кармана и уже паяривает свои хромовые, а затем, оглянувшись, еще и присадит голешнице, чтобы гармошкой было... Однако Тонька тоже хороша: изменница, ветрогонка, как она могла так легко сменить паруса? Если б знал, ни шагу сегодня не ступил бы за ней на межнике... А то сама подсела к нему на шину, глазки строила, а он и растаял...

Дома Виталика никто не встретил. Мать еще не вернулась с работы. Заглянул в кастрюли, перехватил того-сего и присел к приемнику, окунулся в звуковой хаос эфира. Музыка, позывные, мешанина языков, джазы, церковные богослужения... Живет планета своей жизнью, веселится, молится, и нет ей никакого дела до того, что творится у какого-то там хлопца на душе. Что человечеству до переживаний Виталика, что ему до этой маленькой, микроскопической драмы, которая разыгрывается где-то в овцеводческом степном совхозе?

Тоня сейчас в клубе, сидит в темноте между своими сержантами. Виталий отчетливо представляет, как горит Тонино лицо, как возбужденно сверкают во тьме глаза, как дышит она взволнованно... Однажды, еще в седьмом классе, были они вместе на детском сеансе в кино, и тогда Виталию выпало сидеть рядом с Тоней; когда потушили свет, она была непривычно притихшая и, кажется, не дышала, а потом, уже когда фильм шел, наклонилась к Виталику и в темноте вдруг хватить его за руку! Его так и обдало жаром! И фильма уже не видел, и не слышал ничего... И после того пикогда больше не сиделись рядом в кино и ни разу не вспоминали о том, похожем на сновидение случае, хотя где-то, словно бы в подсознании, эта их тайпа между ними жила. Казалось, забыли о ней, отошли от того детского, но все же тайна существовала, и, быть может, как раз с той поры что-то и теплилось в душе, чтобы сегодня так молниеносно вспыхнуть во время поспоздки в степь на том разрезанном колесе фортуны.

Представляя Тоню в клубной тесноте, Тоню, что так п тает от счастья, вбирая обоими ушами горячее пашеп-

тывание сержантов, Виталлий и не подозревал, что сержанты томятся сейчас в клубе с довольно-таки кислыми минами, потому что место, где должна была сидеть между ними Тоня, безнадежно пустует.

А Тоня в это время была уже дома, сидела в грустном одиночестве, притаившись в темноте сестриной, увитой виноградом веранды, и взгляд девушки был обращен через Чабанихино подворье на окна Виталиковой хаты. Потом и свет в его окнах погас, а Тоня все сидела, как та Чабаниха, мать капитана Дорошенко, которая и до сих пор маячит на ступеньках крыльца, тускло освещенного ущербной луной.

Поздно уже, тихая, наполненная стрекотом ночь вокруг, а Чабаниха сидит, ожидает. Вот так всегда ей не спится перед приездом сына. До глубокой ночи не заходит старуха в хату, ей кажется, будто в хате постоянно что-то тикает, вроде бы ходики считают время (а ходиков в доме и нет).

— Тикает и тикает где-то, а не найду где,— иной раз жалуется она Тоне.

Как же нужно любить сына, чтобы вот так сидеть день за днем, по ночам звезды считать и все смотреть да смотреть на дорогу!..

Наверное, уже сто лет Чабанихе — так она стара и о ней еще при жизни сложены в совхозе легенды. Откуда-то она из тех невероятно далеких для Тони времен, когда степь была еще совсем дикой и чабаны жили в землянках, где в окнах вместо стекол натягивали овечьи пузыри. А посреди степи стоял дворец белоколонный, окруженный парком, а в парке был бассейн для панского купания. Летом в степь из города приезжали панычи и, разгулявшись, наполняли тот бассейн не водой, а настоящим виноградным вином и ночью при луне заставляли горничных купаться. Голые, как русалки, девочки с пьяным визгом барахтались в вине, а панычи удили их удочками, для приманки нацепив царские трешки да червонцы. Кто съест деньги с железного крючка губами, тому они и принадлежат — такое было правило. Пьяный гам и визг в парке не утихали всю ночь, не давали спать сторожам, весело было пьяным рыболовам-слютяям под яркими южными звездами, но степные горемычные русалки выбирались из купели залитые кровью, с порванными, окровавленными губами. Была будто там и молодая Домаха, вот эта Чабаниха: если днем присмотреться, можно заметить рубчик

у старухи на губе. И оттого еще суровой выглядит ее скуластое, смуглое, почти черное лицо. Рассказывают, будто один из панычей поглумился над нею, опоив зачерпнутым из бассейна вином, и она исчезла потом из имения и в степи, в чабанской землянке, стала женою чабана-вдовца...

Вот из какой дали она, из тех времен, когда людей удочками удили, когда железными крюками хватали окровавленную девичью молодость и красоту...

— Уплыли мои годы, что вешние воды,— иной раз вздохнет старуха, рассказав Тоне что-нибудь из той давней давности.

«А мои как пронесутся? — думает Тоня, впервые в жизни охваченная душевным смятением, измученная, внутренне распаленная всем, что сегодня произошло. — Как буду жить я? Будет ли счастье?»

Тоня думает о старшей своей сестре, в чьем доме почув. Клава вышла замуж за демобилизованного шофера, с которым теперь то скапдалит, то мирится трижды на день, передко втягивая и Тонию в свои семейные неурядицы. Неужели и ей попадется такой грубиян да ругатель, хотя, пока не вышет, он симпатяга-человек, душа параспашку... Вспоминается Тоне и таинственная, туманная история отношений председателя рабочкома Лукии и капитана Дорошенко, между которыми, поговаривают старшие, в молодости что-то было, но то ли война, то ли другое что помешало, так и не сошлись, так и носят свою любовь порознь — однажды взлетела в поднебесье их песня, да и осталась там, чтобы звенеть всю жизнь...

Ну, а где же он, ее Виталик? Почему не пришел в кино? Снова отдал предпочтение своим приемникам, винтам да шурупам, над которыми вечно сидит? А она его так ждала. Шутила и смеялась с сержантами, хотя в душе все горело, ждала только его! Не до фильма ей было, все стало немилым, когда он не явился, и до сих пор еще не знает она, что с ним случилось. Неужели все, что произошло между ними в степи и по дороге и что так много сказало сердцу, неужели все ей только показалось? Неужели это только ее собственная пылкая фантазия?

Совсем внезапнохватило сегодня Тонию новое это чувство и жарко всколыхнуло душу. Нет, это не назовешь игрой в любовь, еще одним минутным увлечением, легкомысленной девичьей прихотью. Это и вправду для нее что-то новое, прежде неизведанное, такое, что может весь

мир вдруг тебе сиянием озарить или же болью раздирать, жечь душу, как сейчас. И если ей хочется, чтобы поскорее настал новый день, так только для того, чтобы встретиться, увидеть Виталика, его соломенный чубчик, к которому так и хочется прикоснуться...

А следующий день начинается для них снова работой, только на этот раз десятиклассники трудятся на школьном винограднике — подвязывают виноградную лозу.

Широколистный чауш, или «бычий глаз», как его здесь называют, буйно разросся этой весной, завязь на нем богатая, обещает крупные кисти, большущие гроздья, а сейчас ягодки мелкие, зеленые. Это еще только будет — виноградины туго нальются соком, покроются седой пылью, подернутся туманом, и потянут весь куст к земле налившиеся гроздья, выглядывая из-под листьев и тускло лоснясь на солнце. А пока — нежная веточка и на ее разветвлениях — зеленые шарики, как схема формулы сложной молекулы. Нужно прикасаться к этой завязи-молекуле осторожно, чтобы не обломить.

Старшеклассники, хлопцы и девчата, разбрелись, скрылись в зеленых виноградных зарослях. И, конечно же, было чистой случайностью, что Тоня с Виталиком обрабатывают один ряд, девушка сама как-то оказалась в этом ряду в последний момент. После вчерашнего они словно бы сердились друг на друга и работали молча, хлопец приподнимал куст со всеми его листьями, со всеми теми зелеными пушырышками, что потом нальются соком и станут полными гроздьями, а Тоня подвязывала куст шпагатом. Руки у нее полные, смуглые, тугие. Юная грудь, по-девичьи упругая, сквозь виноградные листья видна ему. Губы запеклись у него и у нее — жарко. И вдруг девушка улыбнулась ему как-то особенно, необычно.

— Что же вчера в кино не был?

— Я был... Возле кино.

— Как же это я тебя не видела?

— Разве тебе до меня было... Все со своими сержантами кокетничала. — В голосе его послышалось нечто похожее на ревность, и Тоню это даже обрадовало. — Интересная картина была?

— А я в кино не пошла.

— Почему?

— Да так, расхотелось. Передумала. В последнюю минуту передумала.

Это многое ему сказало. И она видела, какую радость этими словами принесла ему, как он ожил, просветлел сразу. Чтобы скрыть волнение, хлопец с озабоченным видом выбрал из множества хвостиков ровно нарезанного шпагата один кусочек и долго, старательно подвязывал старую крепкую лозу.

Давно подвязан куст к бетонному столбику, а Тоня все не двигалась, смотрела сквозь листья на Виталия так, словно сожалела, что они разделены кустом.

— Признайся, Виталик... Это ты прислал письмо?

— Какое письмо?

— Азбукой Морзе.

— Я тебе еще и иероглифами напишу...

Она засмеялась, и рука ее, будто ненароком, как вчера, возле бидона, коснулась его пальцев. Руки их сблизились между листьями, слились в нервно-горячем пожатии и сжимались все крепче и крепче. Жарко ему стало, закружилась голова. А глаза ее, приближаясь, сияли уже близко, ошалело, влажно... И хотя парнишка перед нею был и незавидный — тощий да вихрастый, с худым обветренным лицом в белесых пятнах, и хотя губы у него тоже были сухие и жесткие, она вдруг привлекла его, прижала к себе и так и прикипела к этим губам!

Потом сама и оттолкнула, в смятении огляделась вокруг: не увидел ли кто?

И, залитая жарким румянцем, перебежала к другому кусту, схватила тот куст и, не зная, что с ним делать, все крутила и вертела в руках, пока Виталий не догадался наконец его подвязать, и они молча, неумело счастливо снова взялись за работу, обнимали, подвязывали уже новый куст чауша-винограда, а он, бурно разросшийся, ласково шелестел им листьями и тянулся к ним молодыми побегами.

Неподалеку от Горпищенковой кошары, на развилке степных дорог, стоит чабанский колодец; издалека краснеет на нем ведро странной конической формы. Ярко-красная точка, жаркий уголек среди бесцветности, среди величавой безбрежности степных просторов.

После каждой войны колодец чистят. Собираются чабаны, по очереди обвязываются веревками, становясь похожими на затянутых в лямки парашютистов, и спускаются во влажную колодезную глубину, чтобы извлечь оттуда разную нечисть, ил, железо... После первой мировой войны выбрасывали из колодца одни железки, после второй — ипыс, а после третьей... «Да пропади она пропадом! — думает Горпищенко-чабан, работая у колодца. — Пускай лучше никто ее не увидит — после нее, пожалуй, и чистить было бы нечего, все колодцы на земле повыгорали бы...»

С самого рассвета трудятся они вдвоем с Корнеем, заменяют трос, который удалось наконец раздобыть у директора, прилаживают к нему свое необычное, красное, как жар, ведро, сделанное из морской торпеды. Издалека заметно оно в степи, цветком горит, невольно привлекая взгляды прохожих, и когда на Центральной рассказывают новому человеку, как найти в степи кошару знатного чабана Горпищенко, то говорят:

— Там, где колодец с красной торпедой.

Целое лето льется из этой торпеды вода в желоб, и чабаны пьют из этой торпеды; еще и проезжий — какой-нибудь механик с автолетучки, или агроном, или зоотехник, разъезжающий по степи на своей двуколке, случается, специально завернет сюда, сделает изрядный крюк, чтобы напиться. Вода здесь и вправду вкусная,

сладкая, не отдает, как в иных степных колодцах, тухлыми яйцами, в жару ее пьешь не напьешься. Весь день пересохшие губы, мужские и женские, припадают к этой торпедке, тяжелое ведро на стальном тросе то и дело опускается в тенистую, прохладную глубину колодца, черпает и черпает свежую родниковую воду. И чем больше ее берут, тем она, кажется, еще чище и холоднее становится.

А чабан Горпищенко только радуется в душе, глядя, как люди наслаждаются его водой, ведь ее нисколько не убывает от того, что все лето берут и берут. После Отечественной войны он попыхтел-таки, очищая колодец, доискиваясь заилленного родничка, пока не нашел наконец, не дал ему волю. Только от военной грязи вычистил, как пошли черные бури — пришлось еще чистить и после них; ведь они здесь такие, что тысячи тонн пылицы в воздухе висят, пруды засыпает, степные лесополосы заметает до самых верхушек, а с хат, случается, крыши срывает — летят, как аэропланы... Наметет, навалит и в колодец, не один день потом минет, пока ведро за ведром вытаскиваешь, выберешь весь тот ил, и снова пойдет вода, как слеза.

Никто доподлинно не знает, как появился этот колодец, в наследство от дедов, прадедов достался он теперешним чабанам. Только глухое эхо преданий говорит, что когда-то вырыли колодец чумаки, чьи дороги пролегали в этих седых степях. И когда молодой Горпищенко спрашивает у отца: «Кто этот колодец, тату, рыл?» — то старик, не колеблясь, отвечает:

— Чумаки, сынок, чумаки. Пращуры твои.

Летчику странно слышать, что пращуры его были чумаками, хотя знает об этом еще с детства. Те усатые, под горшок остриженные люди в полотняных, пропитанных дегтем (против чумы!) рубашках, что из года в год ходили через слепящие степи на своих круторогих, были для летчика где-то в смутной дали прошлого, терялись для него в такой исторической древности... ну, как античные какие-нибудь Гомеры и Демокриты. Но еще труднее, наверно, было бы представить самим чумакам, что кто-нибудь из их потомков станет крылатым, будет летать в воздухе, прыгать ночью с парашютом с таких высот, где лютует мороз, в то время как земля дышит теплом зрелого лета и кузнечики стрекочут в траве... Разве ж прадеды могли бы вообразить, что оп движением руки станет при-

водить в действие фантастические силы, станет раскалывать небо адским грохотом двигателей и что и собственный организм будет подвергать неслыханным испытаниям, ощущая такие перегрузки, при которых в полете на какой-то миг теряешь сознание, не видишь никаких приборов, а потом придешь в себя — глядь, есть скорость! Есть нужная скорость... А раз есть скорость — есть и жизни! — у летчиков это так.

Расстояние, которое чумаки проходили за целое лето, он пролетает в один рейс — бывает, хлопцы не успеют сыграть и партию в шахматы... И все же в душе он глубоко гордится своими предками, мужественными людьми, которые через чуму, через безводье, через степные стремительные пожары прокладывали дорогу на крымские озера, рыли по пути колодцы, несли сюда жизнь. Будто древний эпос, звенит ему с детства легенды чумацкие... Как ходили, как чумаковали, как открывали эту степь... «А путь свой определяли днем по солнцу, и по кряжам, и по курганам; ночью — по звездам и по ветрам». И в полетах не раз вспоминаются Петру эти слова: по звездам и по ветрам... И когда приезжают товарищи с полигона и после зноя наслаждаются свежей водой из чабанского колодца, не забывает молодой Горпищенко помянуть добрым словом неведомого своего пращура, который вырыл этот колодец в степи, а отец, бывало, и от себя добавит:

— Доброе дело люди не забывают. Доброе дело навек.

Какое наследство лучше, какое богатство больше может быть для чабана, чем колодец, круглый, просторный, с венцом желтого ноздреватого камня, плотно уложенного, слежавшегося, будто высеченного из одной глыбы...

И чабан бережет его. Внимательно следит старый Горпищенко, чтобы все здесь было в порядке — и в колодце и у колодца. Закончив возиться с тросом и ведром, они с Корнеем принимаются чинить желоб-корыто, в который иной раз, бывает, овцы заскакивают, так он осел, врос в землю от собственной тяжести, ведь сделан из тяжелой двутавровой балки, ее в свое время трактором тащили сюда с Центральной усадьбы. Пользуясь домкратом, чабаны приподняли сперва один конец корыта, подложили кирпичи, потом подняли другой таким же способом, выровняли, и тогда Горпищенко выпрямился, потный, веселый.

— Видал, Корпей, не так силой, как умом подняли такую тяжесть. Недаром же говорят: «Дай мне точку

опоры земпой шар всколыхну!» Стоять теперь нашему желобу век. Еще, может, когда-нибудь и нас вспомнят...

— Таких, как мы, не вспоминают,— бубнит Корней, держась рукою за щеку: снова разболелись зубы.— Мы — трава.

— Чепуху городишь! — возразил Горпищенко.— Почему трава? А что без нас было бы тут? Пил бы кто воду из этого колодца? Давно бы затянуло, замело... А так вся степь пьет.

— Пить пьют... А нам какая польза? Разве так человеку жить? Из молочай — в чайную, а оттуда снова в молочай, слова к герлыге...

— А что герлыга? — вскипел Горпищенко. — В наше время герлыга и ракета рядом стоят!

Это он имеет в виду серебристые те самолеты, что сверкают в степи полигонной, да тех командиров, которые порой оттуда заезжают к нему и почтительно здороваются со стариком за руку, и не только потому, что он знатный чабан и награжден — еще до войны — за свой труд орденом да умеет, как никто, варить «кашу в козухе», более всего за мудрость они почитают старика, за характер да еще, конечно, за сына. Никого из чабанов так далеко не пускают с отарами на территорию полигона, как Горпищенко, лишь ему (когда там тихо) разрешают заходить с овцами туда, куда другим заказана дорога. Так, по крайпей мере, Корнею кажется. И его чуть-чуть даже ревность берет к бригадиру, который водит дружбу с военными.

— Отчего ж тогда, по-вашему, — обращается он к Горпищенко, — так мало охотников идти к нам, чтобы век с герлыгой маяться?

— А давай вот Мишутку спросим,— улыбается Горпищенко и подзывает Демидова сынка, что неподалеку воюет с гусаком: — А ну-ка, Мишко, вытри нос да отвечай: хотел бы стать, вот как я, чабаном?

Мальчуган молчит, сопит носом: видно, вопрос застал его врасплох.

А Горпищенко думает тем временем о своих вечных чабанских стычках с дирекцией, о сапогах, что горят всю зиму от навоза в кошарах, да о лихорадке, что трясет чабанов, когда начинается стрижка овец. В трудовом чабанском сезоне стрижка — это работа самого высокого накала, весь совхоз тогда будто в штурме, стригальями идут и комбайнеры, и шоферы, и чабанские жены, так как

чабанов для этой работы не хватает: ведь овец тысячи! Каторга, ад, тяжелейший труд, даже при механизации. Целый день — бляение, духота, запах серы, жиропота, крови, карболки... Стригали, мотористы, точильщики — все угорают от спертых воздуха, от овечьей серы, пот заливает глаза, не раз в течение дня люди должны бегать к этому колодцу, обливаться водой, как прокатчики на заводе... Их комбинезоны — сплошной мазут, никто и стирать не берется, темп работы такой, что некогда и слово вымолвить, некогда шуткой перекинуться.

Ни единого лишнего слова, ни единого лишнего движения.

— Нож! — кричишь, и это означает — давай нож.

— Руно! — и это означает — забирай руно.

Если ты специалист неважный, то, как только электромашинка загудит, овечка у тебя рвется, бьется под руками, ты вынужден ее вязать. А самый высокий класс — это когда стрижешь и не вяжешь. К таким принадлежит он, Горпищенко. Снимает руно, а оно как шелк, все в блесках золотистых... Со стороны может показаться — легкая работа, а как вымотает она тебя за день! Так вымотает, что выходишь из кошары, и даже пошатывается тебя... «чабанский вальс» невольно танцуешь... Зато как хорошо весной, когда степь тюльпанами цветет, а ты выведешь отару на простор, стоишь возле ягнят, а ветер струится, овевает тебя, поет в травах... Разве эта работа не может сделать жизнь человека полноценной, а его самого — счастливым? Герлыга? Ну и что же? Колодец этот — мое богатство, небо — моя светлица. Такова моя жизнь на этой планете! Пускай другой живет иначе, а я так ее проживу!

— Ну как, Михаил? Будешь чабаном?

Мальчонка пятится от Горпищенко.

— Я летчиком буду... Как Петро ваш...

— Ага! — хихикает Корней. — Под стол пешком ходит, а уже и оно разобралось, где сливки, а где снятое молоко.

— Зачем же тебе летчиком? — допытывается Горпищенко. — Куда ты летать хочешь?

— На Луну.

— О! Ты что там забыл?

— Не знаю.

— А очень хочешь?

— Очень!

И малыш, считая разговор исчерпанным, пускается наутек к своему гусаку.

— Летать, всем летать,— размышляет вслух Горпищенко.— Само не знает, чего ему пужно на той Луне, а уже замахнулось... Уже что-то его тянет туда, куда-то оно порывается...

— Меньше б порывались, легче б жилось на свете,— бубнит Корней.— Для школьников и студентов — все эти порывы, пока узнают почему фунт лиха да поумпеют... Покой, достаток, тишина — вот что человеку нужно! Сколько живу — то одно, то другое людей баламутит. Одних только посыльных сколько за жизнь перебивало под моими окнами, перед сколькими начальниками Корней навзрыд стоял... Тот тебя учит, тот приказывает, тот повестку вручает... А вы мне покой дайте. Хочу быть уверенным, что ночью никто не постучит и не прикажет собираться... Ничего не прошу, вы пришли на свет, чтобы пожить, и я пришел пожить, так не трогайте меня. Дело делаю, профсоюзные плачу, а что я думаю... какое кому дело? Может, моя чабанская радость — это просто вон такой тополь, а под тополем стол, а на столе бутылка... Холодок, тень, и я там после работы сижу, пью свою честно заработанную рюмку...

— Мало этого человеку, мало, Корней! — говорит Горпищенко.— Вот они, сыновья наши, их стограммовым счастьем не удовлетворишь, им тесно на земле, к другим планетам порываются, в ореоле хотят землю свою увидеть. Спроси у него, зачем ему тот ореол? Зачем ему планеты? Ты счастья ищи, правды доискивайся во всем, а не новых миров. Да только, быть может, в том поиске как раз и счастье его самое большое... Такая уж, видимо, природа людская: отпер девять замков, хочется отпереть и десятый... На что вот я, в каком уж возрасте, а и то иногда в степи, засмотрюсь в небо, и — сознаться даже стыдно — самого полетать подмывает. Хоть бы один-единственный разок там, где они летают, и мне побывать... Ну, пускай бы парубком был — оно бы и не диво, а то вот сколько живу, столько и смятение в душе, и куда-то тебя тянет, чего-то жаждет душа... Живешь здесь, а влечет тебя нездешнее, края далекие, и хочется узнать, как люди далекие живут.

— А очутишься там — обратно домой потянет.

— Это верно. Во время войны, когда в Будапеште да в Вене я снаряды подвозил, ох, Корней, как оттуда сюда

порывался, в эти наши степи! Окаянные солончаки, а и по ним скучал. Эти просторы, это небо, разве их забудешь...

Старик выпрямился, взгляд у него растревоженный, он заметно взволнован: чабан издавна чуток к ней, к этой извечной красоте степи.

— Крутит, ой, и крутит же, стерва! — Корней сокрушенно мотает головой: это зуб у него ноет. — Хотя бы капельку спиртомицину на корень, может, занемел бы... Да, видать, забыли про нас. — Это он о том, что завтракать долго не зовут.

Ряди летчиков, которые приедут завтракать, кажется, будет сегодня чабанская каша, хотя, конечно, женщины вряд ли приготовят ее так, как сам Горпищенко. Собственно ручно варить кашу вожак чабанский берется лишь в редких случаях, и уж когда начнет, то будет колдовать возле нее, никого не подпуская, присолит, приправит, отхлебнет, а сняв с огня, еще и в кожух завернет, чтобы томилась-допревала; а в самом конце еще и похвалить сумеет, гордый своей работой:

— Такой каши не отведаешь ни в каком ресторане, она в кожухе варена!

А покамест у Корнея кишки играют, и настроение у него явно портится. Отставив лопату, он начинает привычно жаловаться на солнце, которое уже печет с самого утра, на климат, что заметно меняется к худшему.

— Донгрались с природой: лето придет — дождь не брызнет, зимой снега не увидишь... Буйные зимы, какие были раньше, где они теперь?

— Всех перевоспитали. Говорят, и солнце активнее стало, — шутит Горпищенко и подзадоривает напарника: — Давай уж добьем.

И они снова берутся за лопаты, засыпают грязь вокруг желоба сухой землей, выравнивают — овцы даже яму выбили на том месте, где был когда-то бугорок. Хоть какие маленькие копытца, а пылинку за пылинкой разнесли от колодца землю по степи, и приходится снова подсыпать, заравнивать. Зато когда придет отара, то и не узнают овцы своего водопоя: где вчера месили грязь, сегодня стало сухо и опрятно, а перекошенный стальной их желоб кто-то приподнял да закрепил, и ветерок теперь под ним провеивает.

Но вот наконец можно и пошабашить: хозяйка, жена Горпищенко, идет с ведрами к колодцу набрать воды, а заодно велит и чабанам собираться на завтрак.

— А то Петрусь что-то задержался. Может, опять только вечером вернется, — невесело говорит она, медленно опуская торпеду в глубину.

Вытяпула, налила свеженькой из торпеды в ведра, взяла их на коромысло, понесла, все время на ходу словно бы разыскивая кого-то взглядом в степи.

С той поры, как сын приехал, еще и не нагладелась на него, сын дома почти не живет — за эти три дня больше был на полигоне, чем здесь. Отпуск и на отпуск не похож, хотя, правда, и сам он говорит, что очутился здесь по делам службы, только проездом. Авось еще отпустят его, и, освободившись от хлопот, он сможет отдохнуть как следует, приедет на несколько недель, целыми днями будет читать или играть под тополями в шахматы со своим другом Серобабой, летчиком сельскохозяйственной авиации, который при случае прилетает с Центральной проводить друга и сажает свой полотняный аэроплан у самой чабанской хаты. В свое время они вместе были в училище и еще там дружили, а потом, когда была сессия и был принят закон о миллионе двухстах тысячах, то Серобаба попал в тот миллион под сокращение, переквалифицировался и теперь возит почту в совхоз, подкармливает посевы и опыляет виноградники. Веселый такой этот Серобаба, со всеми шутит, и она рада, что Петро с ним дружит. Сидят себе, играют в шахматы или просто беседуют, а она что-нибудь делает поблизости и краешком уха слушает их разговор, тогда сын раскрывается больше, чем когда-либо, в каких-то тайпах своих, в чем-то малопонятном матери. Она слышит о каких-то перегрузках, когда даже глаз пельзя закрыть, и мышцы на лице перекашиваются, и кровь становится тяжелой в жилах... Или, наоборот, слышит от них о красоте полетов, о том, как бывает им приятно, когда рано утром полный штиль, «колбаса-зебра» над аэродромом опускается, утро погожее и ты — «летишь, как в масле!». Но не всегда они там купаются, как в масле. Она уже привыкла, что отец без конца дирекцию критикует и управляющего отделением разносит на все корки, думала, что хоть у сына там согласие во всем, а выходит, и у них по-разному бывает, чем-то их «намордники» Серобабе не нравятся, «не та, говорит, система», хотя и более новая. Серобаба до сих пор плюется, вспомнив, как однажды взял старый кислородный прибор, он якобы удобней, а начальник увидел — из рук

выхватил, разорвал... И не потому, что начальник тот плохой, а потому, что аппарат не для самых больших высот, с таким, мол, нельзя... ка-та-пуль-ти-ро-вать-ся! А сын в том — «наморднике», тяжелом, неудобном, иногда летает по многу часов, не вылезая из самолета, на железе сидит, одетый железом. Да ты иного заставь в ресторане за столом высидеть, не вставая, двадцать часов, так и то навряд ли выдержит, а тут — еще и работай! Такова его жизнь! Не удивительно, что уже и лысеет малость, — совсем молодой, а чубчик стал как шелк. Но сам ведь выбрал себе такую жизнь, согласен изо дня в день через аппарат дышать, лишь бы только быть на тех высоченных высотах. Говорят: соколы! Куда соколам до них! Когда здесь вот, в степи, черная буря идет, клубится, и небо все от нее черное, и кажется, что ввысь конца нет этой черной метели, они, летчики, оказывается, и над нею, над бурей, ходят.

— Неужели тебе, сынок, не страшно там, когда под тобой вся земля бурей окутана?

— Десяти тысяч метров высоты достигают эти песчаные бури, мама, а выше — там небо чистое, солнце светит, мы там по приборам идем.

Такой он у нее. Больше всего беспокоится она о его здоровье, пускай бы без аппаратов здесь полнее надышался чистым степным воздухом. Пока он тут, и на душе спокойно. А когда в полетах, тревожно на сердце и часами не выходит из головы та женщина, у которой тоже был сын летчик, а в позапрошлом году разбился. Как она кричала на все село, когда приехали за нею товарищи сына, летчики из части! Рассказывала потом, что видела лишь цинковый ящик-гроб, а в нем наглухо запечатано все, что осталось от ее сына на девяносто третьем его вылете... Девяносто два было счастливых, а из девяноста третьего — цинковый ящик запечатанный. При отце о таком не говори, сердчает, потому как несчастные случаи — только случаи, всюду они, мол, могут быть, а сколько их, соколов, целое лето носится под самым небом, и даже зимой слышишь их грохот за тучами, там, где вечно светит солнце!

Сегодня за сыном еще до рассвета заезжали летчики с полигона, все в офицерских чинах, один командир, седоватый уже, с майорскими звездами на погонах, а, однако, все между собой как равные, как братья, — шутят,

смеются. Тот для них просто Павлук, этот Петрусь, тот Королек.

Она, мать, сказала им:

— И не узнавать, кто между вами старший.

— В небе, мамаша, мы все равны, — улыбнулся командир. — Сколько бы ни было нас в самолете, а крылья одни на всех.

Они торопились, выпили наспех по стакану молока, сказали — приедут на завтрак...

Взгляд матери то и дело обращается туда, в сторону полигона, который давно уже стал частицей чабанской жизни, властно пошел в нее своим грохотом, загадочностью, суровым распорядком... Сын все шутками отделывается, говорит, что приехал с товарищами из своего полка вызывать здешних, полигонных, на соцсоревнование... Шутит он или, может, и вправду по такому делу прибыл — матери до этого нет дела, а вот почему сейчас его так долго нет...

Только поставила ведра возле хаты, как, глядь, — катит из стены машина, открытый «газик» военный, и в нем полно: начальник полигона Уралов, и Петрусь, и товарищи его, а между офицерскими фуражками и Тонины волосы развеваются. Летчики все веселые, один Уралов между ними темного грустный: видно, потому, что уже не летает, хотя по возрасту еще молодой. Роста невысокого, щуплый и все время словно бы напряжен — лицо белое, острое, худощавое, почти мальчишечье; и каждый раз, когда мать видит Уралова, ей почему-то становится жаль его, как родного сына.

— Как там ваша девочка? — спрашивает она Уралова про его маленькую дочурку.

И тот сразу смущается от счастья:

— Растет. Уже смеется...

Старый Горпищенко не успел и переодеться, предстал перед летчиками в обыденном рабочем: ситцевая, серая от пыли рубашка да заляпанные штаны, сандалии на босу ногу; и никаких на нем не было сегодня чабанских доспехов — ничто не отягощало его коренастую фигуру.

Тоня, соскочив с машины, сразу подбежала к отцу, защебетала, еще и под руку демонстративно взяла, чтоб показать летчикам, что не стесняется отца, хотя он и в таком виде. «Ну и пусть он в этой незавидной рабочей одежде, а я горжусь им!» — словно бы говорит девушка, уцепившись за отца. У Тони с отцом дружба своеобраз-

ная, без нежностей лишних, до сих пор еще с ремнем наготове, но знает девчонка, что хотя отец у нее и строгий, а защитит, если нужно. Как-то, еще в восьмом классе, подружки обидели ее: задавака, длинными ресницами кичится, думает, если ресницы длинные, так уж и на экран. Была в этих нападках доля правды, и, может, потому девушку задело за живое, прибежала из школы в горячих слезах и скорей к ножницам.

Из-под рук отца схватила чабанские ножницы и уже готова была одним махом отхватить, укоротить дарованные матерью ресницы.

Мать всплеснула руками:

— Ты что, с ума сошла?

А отец отнял ножницы, дал подзатыльник. Дочь огрызулась:

— А чего же они дразниться! — и разрыдалась безудержно.

Отец, как ни перегружен был работой, бросил все и сразу же отправился в дорогу, чтобы в школе, аж на Центральной, восстановить справедливость.

Впрочем, порой раз любовь к дочери проявляется у него и по-другому: прошлый год довела до того, что закнул схватился, отстегал ее при людях возле кошары, не посмотрел на то, что уже большая, почти невеста. Он на арбе стоит, силос сбрасывает, оглянулся, а старшеклассница его внизу, как на качелях, на рогах вола колышется. Получила тогда от него изрядно... Однако и это их дружба не поколебало: сама знает, что заслужила. И сейчас Тоня радушно — отцу первому — поливает из кружки.

— Умойтесь, тату, чтобы еще красивее были!

Корней тем временем к чабанкам подмазывается:

— Не будет ли там, хозяйшки, капельки лекарства на зуб?

Когда на столе появилась бутылка с белой головкой и старый Горпищенко попытался было наполнить летчикам рюмки, они дружно один за другим отказались:

— Я пас.

— И я пас.

— Кого это вы пасете? — пошутил старик.

Летчик с седыми висками, поблагодарив, объяснил:

— Сегодня мы непьющие.

Чабан удивленно посмотрел на сына. Тот подтвердил:

— Правду, тату.

— Чего же это?

— Мы, тату... летим.

Было это как гром среди ясного неба. Однако отец и виду не подал, только утерся молча.

А у матери и ложка выпала из рук.

— Вот так отдых! Только на порог — и назад! Как же это? Отзывают вас, что ли?

— Так нужно, мамо,— сказал сын, спокойно разрезая на сковородке яичницу, а старый Горпищенко взглянул на жену сурово-успокаивающе: не суйся, мол, не в свое дело, так нужно, ясно тебе? Не стал и сам допытываться, неприлично: всю свою чабанскую жизнь он прожил и живет под знаком этого «так нужно». Старый солдат, он хорошо знает, как много подчас кроется за этими словами и сколь важен для человека долг — невидимый командир его жизни. Мыслями, опытом, душой старого солдата, чьи кони не раз влетали под артиллерийским обстрелом на огневую и, беснуясь от ужаса, вихрем проносились через пылающие мосты Европы, тяжким солдатским опытом он сразу понял скупое объяснение сына, и, хотя душа его тоже сжималась от боли и досады, внешне он оставался спокойным, сумрачно-невозмутимым, только насунилсь больше да еще прикрикнул на Тоню, когда она сболтнула что-то неуместное о «ракетном отпуске» брата.

Из солидарности с летчиками хозяин не налил стопку и себе. Пришлось Корнею лечить свой зуб в одиночестве, а выпив стопку, приложил он ладонь к щеке и долго мотал головой.

— Еще сильнее крутит,— виновато заговорил он среди тишины под уничижающим взглядом своей молодичи и, держась за щеку, пожаловался летчикам: — Вот как нас лечат! Приехала из самой области на санитарной летучке какая-то вертихвостка: «Товарищи чабаны, ежели у кого пеньки, подходите». Вот это, думаю, внимание к чабану: всех чабанов по кошарам навещает, на месте зубы рвет, без отрыва от производства. А у меня как раз пенек коренного зуба давал о себе знать... «Начинайте с меня»,— говорю. Приглашает меня в свою летучку, велит хвататься за какую-то перекладницу: «Держись, чабан, покрепче!» А сама тем временем зажгла спиртовку, щипцы туда — раз! два! Все чин чинном, и хотя сама тонкорукая, а как ухватила за корень, скрутила, как добрый мужик. Аж затрещало, всю челюсть, казалось, выворачивает... А болит — криком кричал бы... Отплеываю кровь да ругаюсь — чего, мол, не заморозила, или, может, думаете,

как чабан, так ему и не больно? А она: «Простите, забыла захватить то, чем замораживают, сейчас поеду, мигом привезу». Да как махнула, так и по сию пору везет... Ну что про такую сказать, а?

— Потому что хлопцы у нее в голове, а не ваши чабанские зубы,— говорит Демидиха сердито.

— Не один же ты у нее, Корней,— заступает за врача Демид.— Сколько тех больных теперь... Фропты, окопы, голодовки — все вылезит боком... Приехала, попрактиковалась — и дальше.

— Не имеют права на мне практиковаться! — возмущенно воскликнул Корней, шепелявя.— Потребую теперь, пускай вместо пенька целую челюсть вставит. Вот только как ее найти? Тоня, ты там не видела на Центральной эту вертихвостку?

— Не до нее было, — сверкнула Тоня на всех ореховокарими глазами.— У меня экзамен был.

— Ну и как? — поинтересовался отец.

— Можете поздравить. Хоть и жарко было, а сдала!

— Что ж ты сдавала? — в тон ей заметил брат.

— Сочинение,— засмеялась Тоня и подмигнула многозначительно: — На свободную тему!

— И написала его, видно, азбукой Морзе?

Тоня залилась румянцем.

— Ты угадал.

Матери не нравилось, что они разговаривают намеками да загадками, и, строго взглянув на дочь, она обратилась к сыну:

— Ты, сынок, хоть пиши почаще. Да больше описывай про себя. А то и в госпитале лежал, и рука была в гипсе, а мы вон когда узнали... Так и не рассказал толком, что у тебя с рукой.

Летчик молча переглянулся с седоватым своим командиром.

— Ничего страшного, мама. Рука нормальная. Срослась как следует. Видите, пальцы все работают.— Повеселевший, он шевельнул в воздухе пальцами, демонстрируя матери руку.— Рука как рука. Такая, как и до того была. Не длиннее и не короче.

— И взятки не берет,— весело подбросил один из летчиков.

Все за столом засмеялись, а более всего эти слова пришлись по душе отцу. Он был польщен. Он даже плечи расправил от гордости за сына, за его руки, что могут

ломаться, но не обесчестят отца, как бывает у других... Ежели у кого бездельники да хапуги подчас вырастают, ресторанные лоботрясы в разрисованных рубашках, то у него сын знает, для чего живет, не даром ест хлеб народный.

— А своему командованию передайте, — нахмурившись, говорит отец, — что мы здесь тоже не трава, не заглохли нам свет овечьи хвосты... Видим, что к чему. И трудимся тоже на совесть. Потому как лучше уж согреть па работе, чем заржаветь от безделья.

Демид тем временем придвинулся к своему соседу-летчику, молчаливому, белобровому, которого товарищи называют просто Павликом, начал назойливо допытываться, не знает ли он чего-нибудь о теперешней судьбе какого-то генерала Иваничева, с которым он вместе в сорок первом в окружении воевал... Едва ли не с каждым приезжим заводит Демид речь о том своем генерале и удивляется, что никто о нем не слышал и не знает, хотя генерал был настоящий, не покинул солдат в беде. Не слышал о нем и Павлик. Слушая Демида, он не сводит глаз с его сынишки, который как заколдованный стоит перед ним, уставившись глазенками в одну точку, а точка та — значок у Павлика на груди, значок в форме маленькой бомбы, что, будто капля, вот-вот сорвется наземь.

— Чего смотришь? — наконец не выдерживает Павлик.

— Скажите, а бомба тяжелая?

— Нелегкая.

— Это у нас мудрец, — замечает Демидиха с лаской в голосе. — Вчера подошел ко мне, в одной руке птенец, а в другой ржавый патрон, еще и пуля торчит в нем... «Скажите, мама, что тяжелее: пуля или голубь?»

— Действительно, вопрос, — чуть улыбнулся Уралов своими бледными губами. — Не сразу и ответишь...

Еще не поднялись из-за стола, как задрезжал в воздухе над самой хатой пропеллер, качнулись крылья, приветствуя товарищество авиаторским приветом: Серобаба прилетел. Уже все видят в кабине голову в шлеме, и черные усы, и белозубую улыбку.

Летчики встали из-за стола, оживленно зашумели:

— Можайский прилетел!

— Батя отечественной авиации!

Королек закричал в воздух, указывая Серобабе прямо на стол:

— Садись! Садись!

Для Тони это было сущее кино — смотреть, как Серобаба, посадив неподалеку свой кукурузник, вылезает из кабины, прыгивает на землю, срывает с головы шлем и вразвалку идет к товарищам, широко улыбаясь, а в обеих руках блестят, как гранаты, бутылки шампанского. Красавец летчик! Весь пышет здоровьем, щеки цветут, как мальвы, а усы пышные, пушистые, что называется, благородные. Такие усы лишь в кино можно увидеть за двадцать копеек!

— Я же говорю: кто не рискует, тот шампанского не пьет! — приободрился Корней, словно бы замороженный Серобабиными бутылками.

— В том-то и дело, что этот как раз не рискует, — засмеялся летчик с монгольскими глазами, а старший, командир, добавил с добродушным превосходством:

— Этот только при солнце летает... Когда «чуден Днепр при тихой погоде».

— А когда черные бури?

— Тогда сидит и не шелохнется...

Отдав кому-то из женщин бутылки, Серобаба пошел обнимать летчиков: все они, оказывается, его знакомые да приятели по прежней службе.

— Цыплят возишь? — деловито спросил Серобабу Королек, когда снова сели за стол.

— Не только, — возразил Серобаба, бесцеремонно накладывая себе в тарелку яичницу с салом. — Разный бывает груз. И цыплят из яркубагора, и сперму в термосах из лаборатории, а то еще бабку какую-нибудь с заворотом кишок к хирургу. На носилки ее и в кассету под крыло вместо бомбы. А чаще всего, братцы, с гербицидами имею дело. Вы же тут все невежды, откуда вам знать, что такое гербицид? А гербицид — это, братцы, такой препарат, которым бывший военный летчик Серобаба ведет химическую прополку полей. Беда только, что гербицидов этих покамест больше нет, чем есть.

— Вы же и почту возите, — подсказала Тоня.

— И почту влюбленным, это верно, и первую клубнику! Кроме того, я еще и горох опыляю, и по виноградникам химикатом сыпануть — это тоже мое амплуа. Имейте в виду, что перед вами человек широчайшего трудового профиля, летчик-универсал, — продолжал он, завладев беседой. Выстрелив из бутылки пробкой, поналивал всем кипящей пены с такой уверенностью, что даже летчики

не решились отказаться. — Ну, поживем! Полетаем! За тебя, Уралов! За здоровье твоей дочки, — поднял стакан Серобаба. — У него ж там такая степнячка растет...

Уралов снова расцвел при упоминании о дочурке, а Серобаба стал аппетитно закусывать, расхваливая на все лады:

— Вот еда так еда! Это вам не спецконсервы, которые сто лет на складе лежали, а потом их бортовому дают...

— Вы видите, он здесь здорово акклиматизировался, — промолвил старший из летчиков.

— А что же теряться? — глянул на него Серобаба большими, как у вола, чистыми глазами. — Бывшему истребителю теряться не к лицу. Да и чем у нас плохо? Климат как раз по мне. Тут ежели жара, так уж жара! Ежели ветер, так ветер! Раздолье, простор, где хочешь, там и садись. А народ степной — где еще встретишь людей такой широкой натуры! Где красавицы такие, как наши? Вишь, какая мулатка! — взглянул он на Тоню, и девушка вспыхнула. — Усы мои, вижу, тебе нравятся, — провел Серобаба рукой по своим пушистым усам. — Нравятся, да?

— Да...

— Только мала ты еще для этих усов, — сменив тон, строго бросил он девушке, и она зарделась еще больше.

А Серобаба уже говорит летчикам:

— Сначала, когда отчислили, ох, как кисло было, братцы, вашему Серобабел! Ну, как это гордый реактивный летчик-истребитель да станет истребителем комаров? Приехал домой, места не нахожу. Мама, правда, радуется, на седьмом небе старушка!

— Да как же и не радоваться ей, — тихо заметила Петрова мать.

— А мне, чувствую, без крыльев жизни нет, — вел Серобаба дальше. — Иду на аэродром, на ближайший аэродромишко, где отряд эс-ха авиации базируется. Тихо, все в разлете, лишь кое-где самолеты, как цикады, дремлют по степи да под кустами пассажиры клюют носом на котомках. Наш пассажир, знаете, непривередливый, долго-терпеливый, берет с собой торбу с харчами. Туман? Нелетная погода? Он и побрел к автобусу... Сначала гоняли меня по наземным работам. Глянешь, как самолет взмлет в воздух, и здесь вот засосет-заноет... Потом курсы по переподготовке таких гавриков, как я. Были среди нас

и майоры и капитаны — все переучивались на гражданский манер... Представляете, реактивнику, скоростнику на полотняном Ан-2 очутиться! Полное с моей стороны презрение. Однако потом, как присмотрелся... Да ведь он трудяга! Да на нем ведь полетать утром над полем — одно наслаждение! Цыплят возить? Ну и что же? Да вдравствует цыпленок, утенок и индюшонок — вот мой девиз.

— Что ни говори, а трудно в тебе узнать бывшего военного летчика, — заметил подтянутый, подобранный Королек.

— Ну, ты не думай, что Серобаба стал здесь как-нибудь баптистом, — быстро отпарировал Серобаба. — Он ценит и твое дело, но и в свою кашу плюнуть не даст. Ежели хочешь знать, здесь летчик тоже должен быть не шалый-валяй, а классный! Тут у тебя ни штурмапа, ни радиста, сам за всех — и швец и жнец. Зато уже трепнешь глаз в ориентации, налегаешь на технику пилотирования, на дядьку не надеешься — только на себя. Это тебе не просто слетал, отбомбился, попал не попал, и возвращайся назад... Мы тоже бомбим, но не по пустому месту, не по макетам, а по живым врагам — по осоту, сурепке, по гусенице, по плодояжке!

— После этого, друзья, — посмотрел старший на своих летчиков, — нам остается подать командование рапорты да переходить на переобучение к Серобабе. Возьмешь?

— Придет еще время — все вы на мирные крылья пересядете... Еще вместе будем доставлять цыплят на Марс...

— На таких вот таратайках? — улыбнулся Павлик в сторону зеленовато-серого самолета Серобабы, возле которого уже вертелась чабанская детвора.

— Ничего ты не понимаешь, — возразил Серобаба. — Ежели по сути разобраться, так это у меня как раз и есть настоящий самолет. Он тебе не болванка какая-нибудь, он с крыльями, создание действительно крылатое! И хотя с высоты моего полета земля не круглая и не в голубом ореоле, но, уверяю вас, она прекрасна! Летишь и любишься всем — и серебристой нехворощью, и лесополосами, и ворохами золотыми на токах, и белой девичьей косышкой, что мелькнет, будто чайка. Ну и, конечно же, — он подмигнул чабану, — этими вашими тополями, что так упрямо в небо растут. Земля да небо — нет ничего лучшего на свете...

— Серобаб! Да ты поэтом стал! — восклицает Королек, а Павлик спокойно замечает:

— Это он здесь, а у нас ему, помните, сколько раз попадало... Сколько взбучек получал за озорство в воздухе.

— И все же ваши самолеты красивее, — говорит Тоня брату, словно бы утешая. — Верно ли, что вы могли бы через океан — туда и назад — без заправки?

— Тебе это зачем? — покосился на дочь чабан Горпищенко и, отодвинув стакан с недопитым шампанским, тяжело положил на стол свои узловатые руки.

А Демид курил сигарку за сигаркой и грустно размышлял:

— Расточительство какое на свете, ох, расточительство!.. На одни бомбы сколько денег зря идет!..

— Одни только он и занят настоящей работой, — кивнул Корней на Серобабу.

Летчик с поседевшими висками, видно, обиделся, окинув Корнея строгим взглядом, спросил:

— Вы были на фронте?

— Был.

— Скрежетали зубами в окопах, что авиация вас не прикрывает? Молчите? То-то!.. Хотелось бы и нам, как Серобабе, штурмовать плодоядку да бурьяны, а приходится вместо этого тяжелые бомбардировщики в небо подымать. И поднимаем, потому что пужно, потому что мы из тех летчиков, — голос его зазвенел, — которые на фанере летали, в сорок первом лоскутка брони не было на нас. Зубы крошились от ярости, а что мы могли? Сколько нас, охваченных пламенем, на глазах войск в воздухе взрывалось, на деревьях повисало, белеет где-нибудь на опушке только комок оплавленного дюралья, — резко закончил летчик; от внутреннего возбуждения он даже побагровел.

— Да я что? — пробормотал Корней. — Нужно так нужно.

— Детей жалко, — вздохнула Демидиха.

После этого все прнумолкли.

Старший летчик оперся щекой о стиснутый кулак, затуманился невеселым раздумьем, будто говоря: снова полет. Но и быть не может иначе, ведь где-то там чужие летчики готовы по первой команде поднять в воздух ядерный груз... А может, дума его была о фронтовых летчиках, — скольких он знал за войну! — полетят вот так днем или в лунную ночь — и нет их, не возвращаются. Мерт-

выми оп их не видел, и потому иногда по почам кажется, что где-то и до сих пор летают они, молодые, вечные, в лунном звездном небе...

Секунды идут. Командир посмотрел на часы, другие — тоже, и, обменявшись взглядами, летчики встали, поблагодарили хозяйку.

Снова бортовой саквояжик у Петра в руке.

— Ты там межу не перелетаешь? — напутственно посмотрел отец на сына.

— У нас, тату, без нарушений.

— То-то же!

И уже, как в пелегом, слепом сне, идут отец, мать и Тоня с летчиками к колодцу, чтобы напиться воды на прощание. В земную глубину, где виднеется клочок степного неба, медленно-медленно опускается ведро-торпеда и так же медленно поднимается оттуда, тяжело раскачиваясь. Вот уже она стоит сверху на бетонном круге, и ключевую воду, добытую из глубины, пронизывает солнце. Глаза режет ведро ярко-красным своим цветом, мокро сверкая на солнце. Молча пьют все, пьет Петрусь на прощание, чтоб не забывалась дорога домой, пьют друзья его летчики, пьет и Серобаба, обняв ведро руками, и капельки остаются на черных пушистых усах.

Потом Серобаба запускает свой биплан. Все смотрят, как пыль вздымается вместе с его самолетом, и потом уже в воздухе из этого пыльного хаоса вдруг выныривает — крылатое! Помахав крыльями всем стоящим у колодца, он берет курс на столицу совхоза — Центральную, а летчики, откозыряв, садятся в свой открытый повенский армейский автомобиль, и голос матери прерывается от волнения, когда она говорит:

— В добрый час!

И уже дорогами разгонными стелется перед ними степь. Помчались в направлении полигона, и пока едут, отдаляясь в глубь степную, молодой Горпищенко, оглядываясь, все видит у колодца мать в ливнях полуденного солнца, и Тоню возле нее, и взлохмаченного, без картуза, отца. Он стоит на возвышении около сруба, а над ним на стальном тросе ярко горит, полыхает на всю степь красная, как сердце, торпеда.

ЛУКИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАБОЧНОМА

Океан степей застыл в полуденном блеске. Все живое спряталось в тень, только на северной меже совхозных земель, там, где пролетает трасса будущего канала, стоит железный грохот бульдозера. Могучие, подвластные человеку механизмы то и дело появляются на валу с надсадным ревом и, грозно сверкнув ножами на солнце, снова проваливаются, разом глохнут, исчезают в земляном хаосе своих циклопических работ.

Пройдет время, и будет здесь русло, будет сверкать до самого горизонта светлая вода, тихо плывя в степь, утоляя жажду окрестных полей. А пока здесь лишь свежий котлован, похожий на воронку после чудовищного взрыва, нарушил извечную дремоту земли. Нелегко покамест угадать будущие берега канала, между которыми еще только ходят бульдозеры и рыхлители, выбирая грунт с того места, где будет русло, рассекая его поперек глубоочепными траншеями-штреками. Бульдозер за бульдозером появляются сверху, чтобы за минуту уже ринуться стремглав в глубокие забои, а оставленные между ними валы рыхлой необваленной земли все поднимаются, растут. Кажется, к такой стене лишь прикоснись, разом и обвалится, но попробуй — там тонны грунта. Были, правда, случаи, что и заваливало людей, как-то придавило двух рабочих, усевшихся в тени позавтракать, — так и откопали их с разрезанной надвое буханкой хлеба, с надкусанной колбасой в руках. Долго потом следствие велось, все искали виновных...

Духота здесь. Сверху на валах хоть ветерком тебя оветет, а в котловане, на дне бульдозерных траншей, жара налита до краев, ветерок не дохнет, непривычный человек

там просто сварился бы, а ты еще ведь и в кабине бульдозера, в пылице, в грохоте, в испарениях горючего, тебе еще и рычагами работать все время. И ты стараешься, переворачиваешь степь, ведь нормы за тебя никто не даст.

Одни еще трудятся, а другие, пользуясь обеденным перерывом, вывели своих роботов из канала, выстроили их вдоль вала в ряд, и ножи их теперь сверкают, как один нож. Бульдозеристы же тем временем сгрудились в тени под полевым вагончиком, который заменяет им здесь все: и общежитие, и буфет, и клуб. Тень от вагончика такая куцая, что не может прикрыть всех: сидят кто в тени, а кто на солнышке, кто хлеб жует с краковской колбасой, а кто сосет из бутылки пиво «Жигулевское»; тот раскинулся — спит, похрапывает уже, а тот, прилепив на губу сигарету, просто лежит, разморенно отдыхает, поставив себя немилосердному солнцу, будто оно ему еще мало осточертело там, в духоте и безветрии канала.

А над совхозной степью тем временем выхрился клубочком пыль, мчится вылинявшая директорская «Победа», подкатывает, останавливается перед табором капалостроителей. Только из машины выходит не директор, а председатель рабочкома Лукия Назаровна Рясная, высокая, полнолицая женщина привядшей красоты. Косы, уложенные на голове тугими витками, делают ее еще выше. Подходит к рабочим, здоровается. В движениях, в разговоре у нее природное достоинство, непринужденность. Она не улыбается рабочим угодливо, как иной раз бывает с другими начальниками, ей ни к чему так улыбаться. Впрочем, она для них и не начальство, у них свое СМУ — строительно-монтажное управление, приютившееся где-то в курортном городке у берега синего моря, где меньше пыли, оттуда руководить якобы удобнее. Прямое начальство не очень балует их своими посещениями, а она вот приехала, потому что они избирали ее, голосовали за нее — она их депутат.

Стройная, с густыми бровями степнячка, лицо, как у большинства здешних женщин, обветрено, щеки горят вишневым загаром. Только взглянула на их трапезу, сразу все поняла:

— Всухомятку?

Рабочие, разморенные солнцем и пивом, отвечают неохотно:

— Да ведь канал-то не готов...

— Воду не подвели...

— Сами виноваты... Стрелочник всегда виноватый.

Опа мимоходом заглянула в вагончик, в их холостяцкое логово. Видно, пересчитала постели и прикинула в уме, что далеко не на всех хватает даже этих спартанских коек.

— Где спите?

Снова отвечают лениво, со скрытой насмешкой:

— В будке.

— На будке...

— Под будкой...

— Кой-кому правится сидя.

— Кой-кому па кулаке.

— Правда, еще вагончиков подбросить обещают.

— Одип обещал, да умер, теперь другой обещает.

И хохот. Тяжелый, неторопливый. Смеются зубы белые, и глаза искрятся смехом из-под запыленных бровей, смеются их майки просмоленные и руки, пропеченные в мазуте. А за их спинами беззвучно хохочут их бульдозеры сверкающим блеском пожей. Они, как и хозяева, тоже отдыхают.

Шутки Лукия выслушивает без улыбки.

— Что-то парторга вашего не вижу...

— У него отгул. Вчера две смены ишачил.

— А там что? — кивает Лукия на вал и неторопливо идет туда, поги ее проваливаются в вязком грунте.

Вся компания, в которой никто и не шевельнулся, следит из-под вагончика, как Лукия Назаровна останавливает на валу одного из бульдозеристов, что как раз выгреб землю, перекидывается с ним словом, после чего открывается дверца и Лукия Назаровна садится рядом с водителем под тент — бульдозер сразу же со скрежетом исчезает из глаз в пыли, в бурлящем кратере изрытой трассы. Без привычки в той яме можно сомлеть, но председатель рабочкома не сомлела — сделав несколько ходок, она снова появляется на валу, идет, глубоко увязая в сыпучем грунте, зато не с чужих слов знает теперь, как бульдозерист зарабатывает на хлеб, какой у него труд и как необходимо ему после смены отдохнуть по-человечески, на кровати, а не на собственном кулаке.

Речь заходит снова о вагончиках для ночевки, да о кухне, которой вовсе нет, да о том, что после смены даже умыться негде. Она слушает внимательно, запоминает их жалобы и чувствует, как постепенно сокращается

расстояния между ними и ею, как словно бы смягчаются, отходят душой эти люди, которым, кажется, и жаловаться надоело.

— Попробую что-нибудь сделать, — говорит она почти хмуро; знает, что сдержать слово будет ей нелегко.

Столкнется со лбами крепче железобетона, с бездушными людьми, которых ничем не проймешь. Разве мало этого железобетона в кабинетах, где ей приходится бывать по своим депутатским делам? Ей ли в диковинку холодные глаза, ледяное равнодушие или те пустые, казенные улыбки, что появляются автоматически вместе с обещаниями, которые тебе дают, хотя и не собираются выполнять?

Развелась целая порода пустозвонов, закованных в панцирь инструкций, служаков, которых голыми руками не возьмешь, с которыми нужно уметь воевать, и Лукия воюет! Когда она выступает на совещании, не одного из присутствующих бросает в жар, не один из ответственных втягивает голову в плечи: знают, что Лукия, поднявшись на трибуну, оглядываться не станет, выдаст по заслугам хоть кому.

С комсомольских времен сохранилась в ней бурная горячность и острое, бескомпромиссное отношение к людям, сохранилась чистая вера ее молодости — вера, что жизнь, которую она строит, которую со всей страстью утверждает, эта жизнь может и должна быть совершенной, дающей человеку радость и полное счастье. И какую же вызывает досаду, как возмущает ее всякий беспорядок, что еще так часто встречается!.. Хоть бы и канал, это стойбище, куда люди с чудесною новейшей техникой выведены, брошены и забыты. В годы войны она сама была трактористкой, знает, что такое высидеть смену за рулем... И вот негде умыться, отдохнуть, похлебать горячей пищи. Разговаривая с рабочими, Лукия внешне спокойна, скупа на обещания, но внутри у нее все клокочет. Такое строительство, самый большой в Европе канал, в газетах о нем пишут, и такое безразличие к этим поистине героическим людям!.. Она уже прикидывает, куда пужно обратиться, с кем говорить, чтобы были здесь кухни, жилые вагончики, газеты, радио, уже зреют в ней те настоятельно-убедительные слова, которые она скажет где следует.

А покамест говорит строителям:

— Будем поправлять. Однако вы тоже ушами не хлопайте. Вместе с вами будем поправлять. Ну, пока!

— Спасибо, что проведали,— слышит она вдогонку, и в этих словах нет уже ни капли насмешки.

— Ох, орлы! — говорит водитель Федя, когда «Победа» снова мчится по совхозным землям. — Механизмов нагнали, а умывальник за три копейки прихватить забыли... Ну, это похоже на нас...

Федя отличается тем, что частенько выбирает направление совершенно самостоятельно и все-таки привозит печальство как раз туда, куда нужно. Секрет своей интуиции Федя объясняет очень просто:

— Где непорядок, туда и везу. Хлеб залеживается на токах — директора туда. Где силосуют — туда обязательно. Если мы вчера, скажем, были с директором на Третьей ферме и Пахом Хрисанфович давал кому-то нагоняй, нужно его везти туда и сегодня, пускай проверит, как выполнили распоряжение.

Вот только у Лукии Назаровны бывают такие душевные завихрения, что даже и Федя не угадает. Доярок где-нибудь увидит — к ним; увидит чабана, что стоит среди поля, — не мишет и его, велит свернуть — не обидит человека, ведь он один-одишешенек в степи весь день, живое слово рад услышать.

Сейчас Лукия распорядилась ехать прямо на Центральную. Дорогой она расспрашивает Федю о его сыне: Федя один из самых молодых отцов в совхозе, сын его начинает уже лепетать, говорит «баба» и «мама», а батенька называет покамест не «татом», а просто «есть», это потому, что отец забежит на минутку домой, и тогда он в самом деле есть, а так все больше в разъездах.

Лукпю Назаровну Федя возит с особым удовольствием. Ему нравится ее манера разговаривать с людьми, с которыми она держится словно бы даже сурово. Ей не нужно подбирать какие-то там ключи к людским душам, искать доверия, все и так знают, что она справедлива, не даст человека в обиду, заступится за честного работника перед кем угодно. Чего-чего, а хлопот у нее хоть отбавляй. Если муж запил, жена бежит с жалобой прежде всего к ней, к депутатке. Если тебе нужна путевка на лечение, тоже, кроме врача, и к ней пойдешь еще, к председателю рабочкома, и она выслушает не менее внимательно, чем лучший врач. На что уж грызется с директором, никогда, казалось бы, нет мира между ними, а если б не она, то Пахом Хрисанфович с треском слетел бы в прошлом году весною, когда начался падеж скота из-за

пехватки кормов. Лукция Назаровна тогда, даром что на собраниях мочалила его, первой же и заступилась в области:

— Если спимать, то сразу всех нас снимайте, потому что не один он в этом виноват.

Директор — трудяга, только болезнь замучила; у него застарелая язва желудка, а все некогда поехать подлечиться. Как только скажет ему Лукция Назаровна о курорте, он тотчас же подскакивает, руками отмахивается, будто перед ним закружились осы:

— После силосования! После жатвы! После обмолота! И этих «после» у него не счесть.

— Ох, и дает она ему, эта язва! — рассказывает сейчас Федя про директора. — Бывает, в степи упадет на землю и катается возле машины, извиняюсь, аж воет, аж корчит его, прямо доходит, а чем я помогу? Пошлите вы его в конце концов!

— Ты же знаешь, сколько раз ему путевку выделяли: не хочет — и все... Упрямый, несносный человек!

Ни с кем у нее не бывает столько стычек, сколько с директором, ни с кем в жизни она не ссорилась столько, сколько ссорится с ним, но и уважает она Пахома Хрисанфовича, как немногих. Из тех он, кто надрывается на работе, из тех, кто, не дожив до пенсии, падает на ходу. Вся душа его в хозяйстве, о чем бы ни шла речь, а на уме у него силос, механизмы, скаты, корма... Сейчас та самая пора, когда он от множества хлопот чумеет, глохнет: он не слышит тебя, если только твоя речь не про силос, не про шерсть. Он, так сказать, рыцарь силоса и жертва его. Директор совхоза-гиганта, а ходит в костюмчике потертом, никогда не поест вовремя, не отдохнет по-человечески, а дочери, которые, казалось бы, должны прежде всего о нем позаботиться, словно бы и не замечают, что отец валится с ног, что после приступа болезни, когда глаза ввалятся и желтоватую бледность щек покроет черная щетина, на него и глянуть страшно — будто из Освенцима.

Целое лето у него во дворе не умолкают радиола, гомон и смех — одни зятя выезжают, другие приезжают, им здесь хорошо, здесь вроде курорта, во всем достаток. Влюбленный во внуков, Пахом Хрисанфович ни в чем дочерям не отказывает. Дошло было до того, что дочери сами и в бухгалтерию стали приходить, получать за отца зарплату (правда, потом, когда Лукция пристыдила, пере-

стали). Дочери и зятья у Пахома Хрисанфовича вполне современные, поклонники модерна, читают модных поэтов, разбираются в музыке и живописи и вполне резонно требуют внимания и чуткости к себе и своим вкусам. Вот только им самим как-то не приходит в голову поинтересоваться здоровьем отца, обедал ли он нынче, какое у него настроение. Никто и не подумает об этом, когда вся компания весело, будто в ресторане, садится за щедрый родительский стол, в то время как отец, посеревший от пыли, на себя не похожий, где-то под колючей лесополосой, в степи наспех глотает позапрошлогодние консервы из банки — какую-нибудь «салаку» или «печень трески», — чтобы после этого снова впрячься в работу, снова — в разгон...

А самая большая радость его во внуках, в которых души не чает, да еще, быть может, в том, что на полях Пятого отделения кукуруза стоит как лес, аж лоснится... Ведь бывает и совсем не так. Возвращалась Лукня как-то с сессии раннею весною, над югом как раз шла черная буря, или, как говорят здесь, «наш черпый степной дождь»... Курит, метет, замсает посадки, и видит Лукня, у дороги стоит по колеса заметенный «газик», а чуть дальше в посевах, которые губит буря, ссутулился какой-то человек. Подошла — Пахом Хрисанфович! Ветер бьет, сечет его пылью, а он, согнувшись, стоит, и черные, как грязь, слезы текут по щекам... Никогда не забудет Лукня этих его черных слез, ведь и у самой подчас горло перехватывает от ярости, когда задуют, накатят неотвратимыми валами эти пыльные бури, эти азиатские самумы... Когда же наука их обуздает?

Бывали черные бури и раньше. Сызмальства помнит их Лукня, выросшая в этих степях, но сейчас стихийные бедствия участились, бури пдут неслыханной силой. «Откуда они? — порой невольно возникает мысль. — Не отзвук ли это атомных ураганов, загадочных тайфунов, берущих начало где-то там, над Тихим океаном, в тех атмосферных ямах, где от бомб выгорел воздух?»

Машина мчится краем степи, во всю ширь видны морской залив и крейсер, скалой возвышающийся в ослепительной дали.

Слыхала она, что совхозные сорвиголовы уже донуга раздели это списанное судно, ходят туда рубить свинец для грузил да раздобывать всякую всячину, слыхала, что и ее Виталик уже успел там с трактористами побывать,

хотя про свои походы не сказал матери ни слова, совсем случайно узнала она об этом. Последнее время сын вообще словно бы отдаляется от нее, и Лукия замечает, как постепенно утрачивает свою материнскую власть над ним. Для нее становится неуловимым то, чем сын живет, что думает, что замышляет, все это каждый раз как-то выскальзывает из-под ее контроля. Может, и вправду она уже не в силах дальше его удерживать, нужны мужской опыт, отцовская рука... Многим Виталик тревожит се, тревожит все острее, потому что нет для нее на свете никого дороже, чем он, ее нежный, тихий, душевный Виталик. Когда получила извещение о гибели мужа, сама себе поклялась: «Для сына буду жить. Для него, для него... Сама воспитаю, сама выведу в люди, как бы тяжело ни пришлось!» Не столько для себя жила все эти годы, сколько для него; он был окружен ее лаской, любовью, он рос в атмосфере любви. Так быстро вырос! Еще словно бы вчера мастерил модели игрушечных кораблей, детекторный приемник собирал, а теперь вот уже десятый класс заканчивает и антенны такие для телевизора ставит, что только неприятности из-за них, майор Яцуба даже в район нажаловался, а Лукия с досады, может, и слишком круто с сыном обошлась — наложила запрет на телевизор до конца учебы. Неугомонный хлопец... В позапрошлом году, еще совсем подростком, подвозил летом воду трактористам, а чтобы веселее было, на бочке написал мазутом: ТУ-104. И до сих пор как только увидит Лукия эту бочку, так и улыбнется.

Плывут и плывут думы материнские... Одни веселят Лукию, другие навевают грусть, наполняют грудь теплым волнением... Вот Виталик совсем еще маленький, идет она по улице с ним, откуда ни возьмись — гусак! Шипит, норовит уципнуть! Люто наступает гусак, а мальчонка, стиснув кулачки, храбро идет на того гусака. И хотя сам побледнел, бонтся, да только любовь к матери сильнее страха... Белоголовый, нахохлившийся, кулачки стиснул, а в кулачке — что там у него? Гвоздь! С гвоздем на гусака!..

Вот так был совсем малышом, а теперь за один год подрос, вытянулся, выровнялся с хлопцами-ровесниками... Сколько радости материнскому сердцу оттого, что он хорошо учится, что учителя его хвалят, говорят, у него есть математические способности, а то, что у него есть склонности ко всякой механике, радиотехнике — это она

и сама знает; когда едет на сессию, от сына поручений не счесть: «Зайди, мама, в радиномагазин, купи то да купи это». И как привезет ему разных шурупов да винтиков — нет для него лучших гостинцев. Целыми днями во дворе толкуются школьные друзья, которым он помогает, особенно по физике и математике; он делает это всегда будто шутя, с улыбочкой, поглаживая рукой подбородок (и никогда не обидит товарища, даже если тот и туповат), и только когда решает задачу пелегкую, вдруг становится серьезным, нахмуренным; в тот момент Лукия как бы видит его совсем взрослым, в будущем, в завтрашней самостоятельной жизни. Кем он станет? Выдающимся математиком или обыкновенным бухгалтером? Пройдет ли его жизнь здесь, в совхозе, или будет он в далеких, быть может, даже космических странствиях, и она станет высматривать его, как высматривает Дорошенчиха своего сына Ивана из дальних плаваний?.. Лукию детство лаской не баловало, родителей потеряла еще в первую голодовку, испытала всякое, когда батрачила у кулаков, работала в коммуне, училась в агротехникуме, оттого и хочет, чтоб молодость Виталика не знала лишений: Лукия убеждена, что умного ребенка недостаток не испортит, даже мотоцикл сыну купила, пускай катается, лишь бы только учился хорошо... Лежит сейчас, наверно, где-то там на спорыше-траве среди товарищей, среди разбросанных учебников, помахивает ногами, задумавшись над какой-то задачей, а когда уже очень устанет, тогда поднимет голову:

— Ну, антракт. Может, малость попохочем?

И кто-нибудь из хлопцев уже откликается в ответ:

— Ха!

А второй его поддержит:

— Ха! Ха!

И вскоре они уже катаются по траве от озорства, от искреннего молодого смеха. Нахохотавшись, спохватятся:

— Ну, довольно! А то уже кишки болят.

И снова примутся за работу.

Захваченная своими материнскими думами-заботами, Лукия и забыла о шофёре, который застыл над баранкой, пока он сам не напомнил о себе.

— Слыхали, Лукия Назаровна? — Водитель улыбнулся, видно представив что-то потешное. — На территории нашего совхоза радиосверчок появился.

— Что, что? Какой сверчок?

— Знаете, как вот, бывает, в хате заведется: свистит и свистит. Вы — к нему, а его нет... Вот так и он, радиосверчок.— Федя снова улыбнулся.— И так по коленца откалывает по своей программе, что будь здоров! Вчера, к примеру, передал: «Граждане пчелы! Будьте бдительны! На улице Пузатых окопался трутень...»

— Я и не знала, что у нас такая улица есть...

— А как же! Та, что шлагбаумом перекрыта... Где Пахом Хрисанфович живет...

— Вот уж нашли пузатого. Живот к спине присох! Ходит как с креста снятый...

— Да не о нем же... Завпочтой пузатый? Пузатый! Главбух толстяк? Толстяк! Ветврач тоже на витаминах брюшко отпустил. А Яцуба, отставник наш? За хвост быка еще удержит — это же про него сказано... Ох, и бесится же он! «Чтобы какой-нибудь, говорит, сморчок да меня в эфире трутнем обзывал? Я его и под землей найду!» И уже ищет...

Мчится автомашинка. По сторонам появляются домики переселенцев — стандартные коттеджики, которыми разрастается по степи усадьба Центральная. Председателю рабочкома приходится заниматься и переселенцами. Немало усилий приложила Лукия, чтобы эти аккуратные домики наконец поднялись здесь... Скоро их будут заселять, а пока большинство переселенцев с семьями ютится у старожилов совхоза в тесноте. Только успевай улаживать конфликты между соседями... Ткачуки, старая и молодая, уже сторожат у ворот, ждут, когда Лукия подъедет, чтоб пожаловаться на какие-то новые несправедливости. Молодая — здоровая носатая молодичка — работает на свиноферме и уже завоевала там уважение, а мать, хоть тоже еще не старуха, вынуждена сидеть дома — есть кого нянчить, внук на руках, его они тоже привезли с Западной Украины. Нет только отца у малыша, отец где-то скрывается от алиментов.

Лукья останавливает машинку возле насупленных переселенков, выходит к ним, пытаясь разгадать, чем они на этот раз обозлены, на кого посыплются жалобы. Она уже мирила Ткачуков с их соседями Кухтиями, которые принялись было всячески выживать переселенцев со двора; после того как будто были приняты надежные предупредительные меры: чтобы не путать кур (они и были причиной ссоры), их выкрасили в разные цвета. Вот теперь и бегают по двору белые леггорны, как войско, что

перемешалось на поле битвы: у одних крылышки помечены чем-то красным, а у других шейки обведены ученическими фиолетовыми чернилами... Так что ж у них еще?

— Не зря нынче курица пела... Курица всегда поет к беде! — говорит старая переселенка.

— Что случилось? Снова соседи?

— Не от соседей пынче крийда...

Лукия заходит с жепцинами в хату: грязно, воздух спертый, постель не убрана, только и веселят глаз яркие рушнички на стенах. Миловидный ребенок спит в колыбели.

— Так чего же курица пела?

— А пела... Яцуб с обыском приходил... Вот как Ядзю отблагодарили за то, что из свинарника днем и ночью не вылазит!

Лукия удивлена: «Обыск? С какой стати? И по какому праву? Откуда у него такие полномочия?»

Жепцины, захлебываясь, наперебой изливают ей свое возмущение. Ну да, обыскивал! Зашел, под печку заглянул, и в корзинку, и на лежанку — радио какое-то искал. Стасик (у них есть еще и Стасик, ровесник Виталика, в одном классе учатся и даже дружат), возмущенный самоуправством отставника, что-то сказал наперекор ему. И уж как они сцепились здесь, хоть людей зови на помощь! Нашему — «берисвец», а он нашему — «бандеровец». Может, попади хлопцу что под руку, то и без греха не обошлось бы, все мог бы сделать за такую тяжкую обиду... Однажды Кухтий тоже обозвал было Стасика этим бранным словом, так мальчик всю ночь содрогался в рыданиях. Каково ему было слышать такое, когда именно бандиты-бандеровцы отца его замордовали насмерть!.. А Яцуба еще и рану растревляет. «Все вы, говорит, такие, никому из вас верить нельзя...»

«Что-то разошелся наш отставник, — с досадой думает Лукия. — Нужно вызвать на бюро да объяснить, что время произвола миновало!»

Она еще некоторое время говорит с переселенками, слушает односложные ответы молодой об отце ребенка, который снова куда-то переехал, замечая следы, хотя его, постылого, она не хочет и разыскивать. Упрямая, гордая, видать, эта Ядзя... А старуха тем временем лопочет о своем, о том, что ей здесь «не по нутру», потому как «криницы глубокие» да «ветры лютые», из-за того она постоянно хворает.

— Скорей бы уж в новую хату, — заканчивает она певуче, а Лукция, недовольно оглядывая неубранную комнату, отвечает:

— Только не забудьте веник туда прихватить, чтобы мусор не заводился.

И переселенки поняли намек, покраснели обе от стыда, провожая ее к машине.

Надеялась Лукция застать сына дома, а увидела его еще издалека на металлической вышке, которую он сооружает с хлопцами во дворе бабки Чабанихи для телевизионной антенны. Сидит на самом верху, белеет чубчиком и что-то клепают.

Отпустив машину, Лукция вошла во двор.

— Эй, верхолаз! Это так ты к экзаменам готовишься?

— Мама, труд облагораживает!

Кузьма Осадчий и Грицько Штереверя, которые вьются внизу у лебедки, начинают выгораживать Виталика, весело рассказывают, что он на этот раз изобрел антенну совсем особенную: ничегошеньки не ловит! Стасик-переселенец тоже здесь, сидит в сторонке, молча сверлит сверлом металл и лишь изредка поглядывает на Лукцию, поглядывает как-то затравленно; глаза у него грустные, а голова втянута в плечи, она у него всегда так немножко втянута, словно бы ждет откуда-то удара. А сам он хлопец славный, покладистый, со склонностью к музыке, в приливе откровенности как-то стыдливо признался, что очень любит скрипку и дудку и что после переселения с гор сюда, в степи, ему еще долго по ночам слышались звуки трембиты...

Лукция с любопытством осматривает вышку. Действительно, сооружение! Всю весну хлопцы строят и никак не достроят. Последнее время и вовсе работа прекратилась из-за недостатка материалов — все, что только можно было использовать из утиля, который валяется возле мастерских, уже использовано — целыми секциями таскала оттуда бригада Виталия сваренные автогеном ржавые трубы и угольники от старых культиваторов. Вышка высокая, когда разгулялся сильный ветер, ее стало раскачивать, и была угроза, что упадет и хату старой Чабанихи развалит. Сбежались сюда любопытные посмотреть, что будет с вышкой, а хлопцы и при таком ветре клепали, спасая свое сооружение, крепили болты, связывали узлы покрепче. Теперь, чтобы было надежнее, они натянули

тросы, закрепили их для оттяжки, и вышка стоит, распятая на них, будто мачта корабельная. Внутри вышки проходит труба длинная, и где-то там, вверху, на конце трубы, узором застыла сама антенна.

Виталик, спустившись с вышки, показывает матери все, что, по его мнению, должно ошеломить ее:

— Смотри, мама, вот это лебедка и трос: нужно выше поднять антенну — пожалуйста! Нужно ниже — даем ниже... Хочешь повернуть антенну? Поворачиваешь трубу и вместе с нею, вот так, поворачиваешь антенну...

— Поворачивай, да на Яцубу оглядывайся, — шутит Осадчий. — Он подскажет, что можно ловить, а что нельзя.

— А это вот стержневая труба, — словно бы не слыша, объясняет дальше Виталик. — Стальную раздобыли у бурильщиков, потому что простую водопроводную ветер сгибает. А сама антенна, знаешь, мама, из чего она?

— Из чего же?

— Из старого генератора... Медь! — восклицает он, и видно, что все это увлекает его.

Затея ребят в самом деле заинтересовывает Лукию — мастера, да и только! Она и не представляла себе, что здесь такой размах... Еще сын объясняет ей, почему их башня высокая: низкая здесь не примет, хотя и степь. Буря? Теперь и буря не страшна, все сооружение надежно закреплено: в них, в этих тросах, вся сила, вся мощь против ветра. Почему так много антенн? Ее вопрос смешит Виталия.

— Антенна, мама, одна, а то — приемные рамки! Чем больше их, тем чище она принимает.

Лукция чувствует, что Виталий просто счастлив своей работой, своей башней.

— Будет как Эйфелева, — говорит он.

Рада Лукция за сына и его друзей, приятно ей знать, что эта смонтированная из разного утиля «Эйфелева башня» расширит мир для старой Чабанихи — для того и строится, чтобы могла старуха по вечерам видеть на маленьком экране те далекие моря, где плавает ее сын, капитан дальнего плавания. Виталик с капитаном в давней дружбе, и эта башня сооружается — Лукии хорошо известно — не только из уважения к матери капитана, но словно бы и в его, капитана, честь. А где же старушка? Ага, вон за хатой, на пасеке!.. Среди кустов винограда

у Дорошенчихи несколько ульев стоит, и сейчас старуха суетится там, между ульями, в сетке металлической, что, подобно парандже, закрывает все лицо и придает Чабанихи несколько зловещий вид.

— Салют космонавту! — говорит Виталик, когда старуха выходит из виноградника в своем скафандре и направляется к ним.

Подошла к Лукии, сняла сетку, стала без нее доброй, улыбающейся.

— Все потешается над бабкой Виталик. Уже и бабка ему космонавт... Ну, а ты, Лукия, не брани его, что все здесь да здесь... Кто же без него наладит? Целый вечер сижу, а в том окошечке только волны да волны бегут...

Лукии известна эта страсть Чабанихи — каждый вечер сторожить перед экраном телевизора, до поздней ночи может она неподвижно смотреть на слепые волны света, которые текут, бегут, мелькают без конца — пускай бегут, а старуха сидит да ждет чего-то, ждет, видно, что вот-вот среди этих волн появится родное лицо сына — капитана Дорошенко!

С таинственным видом старуха отзывает Лукию в сторону.

— Приезжает же... Я вот ему и медку хочу собрать...

Лукия чувствует, как буйная горячая волна обдает ее. Ни с того ни с сего зарделась перед старухой, чувствует, как пылают щеки, и оттого совсем теряется, как девушка.

— Когда он приезжает?

— Про день еще не пишет...

— Что же, рады будем, — говорит Лукия с напускным спокойствием и, позвав Виталика обедать, быстро уходит со двора.

Затейливыми узорами легли на дорогу тени акаций. Лукия торопливо шагает по этим узорам, ощущая, как внутренний огонь жжет щеки.

Сбоку из зарослей сада ее окликает настороженный, сдержанно-властный голос:

— Лукия!

Опершись локтями на зубчатый забор, стоит Яцуба. Лицо аскета, вытянутое, заостренное. Голодная длинная шея с выпятившимся кадыком. Голова топорщится серой, как сталь, сединой... Взгляд глубоко запавших темных глаз тяжелый, сверлящий. Сколько знает Лукия Яцубу, всегда в этих глазах что-то тяжелое, тревожно-напряженное, будто человек все время ждет беды.

Переждав, пока Виталик отдалился, Яцуба с суровой доверительностью наклоняется к Рясной:

— Следи за сыном, Лукия.

Глаза его словно бы делаются еще глубже, загораются каким-то тяжким блеском, и Лукия невольно вспоминает, что в молодости, когда Яцуба еще разрушал церкви в этих краях, его называли «фанатом». Уже был он почти забыт людьми, как вдруг, выйдя в отставку, снова появился в совхозе с намерением навсегда осесть здесь. Лукия вспоминает, как пришел их «фанат» в дирекцию требовать для себя работы, «соответствующей» работы, как подчеркнул он. «Что же ты умеешь делать?» — спросила она, и он даже обиделся: «Я умею держать людей в руках». И хотя дали ему тогда полезное дело — пожарную охрану, он, однако, считает, что этого для него недостаточно.

— Чем мой сын провинился?

— По-дружески советую тебе, Лукия: следи. Школьник, а уже на мотоцикле девку по степи катает...

— А от меня тебе, Григорий, тоже совет: брось самоуправство. От беззакония пора отвыкать.

— Это о чем ты?

— Бродить по хатам, обыски устраивать у людей — кто тебе дал право на это? Кто тебя уполномочил?

— Но никто и не говорил, что нужно о бдительности забыть.

— Всех подозреваешь... Уймись ты наконец.

— Вот как! Стало быть, не нужен? В тираж Яцубу? — Грозный баритон его пабирал силу.

На громкий Яцубин голос прибежал серый породистый пес: высунул голову над забором, лапы положил на ограду — совсем как человек!

Лукия ушла, не дослушав Яцубу.

Дома у нее тишина, бархатистый мотылек прилип к двери, в комнатах солнечно и почти пусто — попробуй здесь купить путную мебель! В самой большой комнате стол да диван и, как всегда, беспорядок, всюду журналы «Радио», книжки и Виталиковы шурупы. На кухне, правда, чистенько, а обед не очень роскошный: утром только и успела приготовить борщ (доваривать его должен был уже Виталик).

— Борщ доварен, — докладывает сын. — А на второе у нас будет... салат! — И он бежит в огород за салатом.

— Попробуем, что тут у тебя вышло,— сама себе улыбается Лукия, наливая борщ в тарелки.

Обедают на веранде. И хотя борщ у Виталика совсем разварился, да еще и пересолен, но оба охотно его хлеблют, мать даже похваливает, так что Виталий, ободрившись, заявляет решительно:

— Ей-ей, пойду учиться на кока! Есть такое училище в Симферополе... Как дальнего плавания, это же дело?

Она воспринимает его слова только как шутку. Ведь настоящая его дорога — в институт, в кораблестроительный, это она решила раньше него. Осенью Виталик будет студентом... Сын — студент, даже самой не верится. А покамест сидит перед нею за столом просто мальчонка сероглазый, лицо обветрено, и губы детские, еще никем не целованные, хотя вот этого она павсерняка и не знает... Следить? А может, больше доверять — это лучше?

Она любит смотреть на сына, любит слушать его шутки, в которых искрится ум; Лукия чувствует, что и сама она сейчас, несмотря на стычку с Ядубой, чем-то удивительно ободрена. И душа будто молодеет... То ли сын радуется, то ли еще, быть может, и... тот приезд? Хотя подумать, что ей от того, что капитан приезжает? Ведь есть такое в жизни, чего не вернешь. Это только степь даже после черной бури ярко зацветает по весне дикими тюльпанами, разливается за горизонт океаном красоты...

Приедет... Как за утренними туманами проступает в светлеющем небе утренняя заря, так проступает сейчас в воспоминаниях Лукии о далеких годах юности то, что когда-то связывало ее с капитаном. Был он тогда, правда, еще не капитаном, а молодым штурманом Черноморского флота. И в один из его приездов взошла та звезда, которая еще и до сих пор светит и, наверное, будет светить Лукии до конца жизни. Словно вчера было, так отчетливо помнит Лукия, как ее позвали:

— Приходите в рай!

А «рай» у степняка — это когда ребенок родится; тогда у людей в хате и в самом деле как в раю, и они зовут на радостях гостей. По такому случаю пришла она к трактористу Мамайчуку, у которого сын родился, и увидела там молодого Дорошенко в штурманской форме, с ласковой голубизной в глазах. Была и она тогда молодой, незадолго перед тем приехала сюда после агротехникума...

Веселье затянулось, Дорошенко провожал ее домой. Ночь была лунная, светлая. Они остановились на

школьной площадке у турника, и Лукия, веселая, хмельная, все пыталась допрыгнуть, ухватиться за металлическую перекладину. Он помог ей достать до турника, и она качалась и смеялась от полноты счастья, а Дорошенко стоял сбоку, смотрел на нее и тоже смеялся.

— Ой, падаю!.. Ой, упаду! — кажется, что-то такое она крикнула тогда, и до сих пор помнит, как штурман подхватил ее на руки и нежно, осторожно поставил на землю.

Несколько вечеров провела она тогда с Иваном. Это были самые счастливые часы ее жизни. И никогда уже после того не было таких ясных, таких бесконечно лунных ночей! Допоздна бродили они по совхозным околицам, заходили далеко в степь и возвращались домой, когда все уже в совхозе спали, и темные заросли совхозного парка встречали их ночной росой. Кто мог подумать тогда, что эти вечера будут для них и прощанием, что останутся они потом друзьями на всю жизнь, но уже никогда вслух даже не вспомнят ни о том счастливом турнике, ни о ясных ночах лунных, когда бродили они в песнях да в туманах!..

К тому времени Дорошенко был уже связан браком, у нее тоже жизнь сложилась по-своему: войну Лукия встретила замужней женщиной с ребенком, хорошенькой дочуркой, которая потом, в годы лихолетья, так у нее на руках и угасла, как свечка, под открытым морозящим небом на одной из заволжских станций. Муж ее, совхозный комбайнер, в это время уже был на фронте. И увидела она его только через три года, когда возвратилась из эвакуации домой, а он приехал из госпиталя долечиваться после ранения. Было это раннею весной, в растаявшем черноземе всюду торчали немецкие танки, погружившиеся по брюхо в грязь, из всего хозяйства в совхозе сохранилось лишь несколько шелудивых, подобранных на фронтовых дорогах лошадей, в каждом доме гнездились пшца и неуютность, и вот в это время вернулся из госпиталя ее муж. Раньше у них жизнь как-то не клеилась, он был не в меру ревнивым — даже на расстоянии ревновал к моряку и совсем чужим мужчинам, каждая ее поездка в район вызывала у него подозрение: подчас Лукия казалось, что разрыв неминуем. А тут было какое-то возрождение — возможно, потому, что и он настрадался, и она нагоревалась одна, и когда настало время снова провожать его на фронт, то разлука была тяжелее, чем

в первый раз, будто предчувствовала Лукня, что теперь он уйдет и не вернется. Последнее письмо прибыло откуда-то из Венгрии. Муж писал, что лежат они в грязи среди осенних виноградников, туман и изморось вокруг, и видна ему в сумерках только скирда мадьярской соломы среди поля да винодельня, которую нужно к утру взять... Мадьярские виноградники, скирда, туман — это был тот мир, который он видел в последний раз. Больше писем не было, а она родила мальчика и назвала Виталием. И вот теперь он заканчивает десятый класс. Сыном, его будущим наполнена вся ее жизнь. Подлинным счастьем стало для Лукни видеть его веселую молодость — собственная молодость прошла как сон, промелькнула так быстро, что порою даже странно становится: в самом ли деле все это было — и девичество, и тот светлый райгулянка у молодого тракториста Мамайчука, который теперь мотается без ног по совхозу на скрежещащих — душу режет! — колесиках...

После войны снова стал приезжать Иван (теперь он уже был капитаном дальнего плавания). И хотя он стал к этому времени одиноким — его семья погибла в море во время эвакуации на Кавказ, — к прошлому Лукня теперь не могла вернуться. С живым развестись могла бы, но с погибшим...

— Нет, Иван, — сказала она как-то, когда речь зашла об этом. — Моя судьба на войне убита.

И больше они к этому не возвращались.

Однако с каждым приездом капитана на нее словно бы ветром молодости веет, и сын вот уже замечает зарево материнских щек... Чтобы избежать расспросов, мать первой переходит в наступление:

— Говорят, ты вчера с кем-то на мотоцикле носился по степи? Что это значит?

— Я совершил большой грех?

— Грех не грех, а во время экзаменов... Знай я, получил бы ты у меня мотоцикл!

— Что ты, мама! Мотоцикл на то и изобретен, чтобы на нем ездить, мчаться, летать, давать самую высокую скорость... Это же просто здорово: руль да два колеса, а само едет, не едет — летит! Представляешь, если бы на таком да влететь куда-нибудь... и очутиться, скажем, среди шатров древних скифов! Появиться вдруг между их кибитками на деревянных колесах! Цари, кони-тарпаны, гепарды — все перед тобою врассыпную!

— Что такое гепарды?

— Это, мама, дикие обученные кошки... С ними на охоту ходили в степях; может, как раз здесь, где мы с тобой обедаем, гепард раздирал свою добычу. И вот на новеньком мотоцикле — да в этот палеолит... Сколько было бы удивления, переполоха! Богом бы сочли, не иначе!

— Еще был бы, пожалуй, и культ твоей личности? — невольно улыбнулась Лукия его фантазии.

— О, без этого не обошлось бы!.. Ну, я хоть кое-чему полезному их научил бы: вот это вам, товарищи скифы, наука алгебра. А это вам теория Эйнштейна. А это мудрейшая наука — не играть с огнем, жить на планете без глобального хулиганства... Ну, конечно, я им радио открыл бы...

— Хватит фантазировать, — оборвала Лукня, убирая посуду со стола. — Садись за книжки. зубри!

— Мама, эпоха зубрежки миновала. Я не начетчик.

— Смотри ты, как заговорил! — Лукня подошла и села возле сына, рассматривая его даже удивленно. — Это что-то новое, дружок. зубрить не хочешь. Может, и учиться не желаешь?

— Учиться хочу, но по-настоящему.

— Как это по-настоящему?

— Не по катехизисам. Не по-бурсацки. А так, чтобы своим умом до всего доходить, больше собственным котелком варить...

— Это, конечно, хорошо. Котелок твой варит, других критиковать уже умеешь, а вот сам-то как будешь жить? Чего ты хочешь от жизни?

— Не так уж много, просто жить, работать, как все. Хочу, чтобы вранья от меня не требовали, очень не люблю вранья. Не хочу голодовок, про которые ты рассказывала, войны не хочу, арестов, тюрем... Работать — это да! Труд — мой бог, его люблю.

— Так вот и работай, хлопче, а не разъезжай по степи. Отныне никаких мотоциклов! Слышишь?

— Мама, ты деспот!

— Кого ты вчера по степи катал?

— Одноклассницу, мама. Не бойся, она хорошая.

— Хорошая не села бы в такое время кататься. Порядочная, видно, ветрогонка.

— Ты не имеешь права, мама, так обзывать девушку!

— Кто же хоть она?

Хлопец многозначительно улыбнулся, поняв, что ему расставили силки.

— Говорю ж тебе — девчонка славная, самая лучшая на континенте, — отбился шуткой, а мать думай теперь. Ведь он же еще совсем дитя, мальчишка доверчивый, а какая-нибудь такая подвернется, что с ума сведет, забаламутит, и где уж ему тогда думать об институте, о науке... Правда, Лукия немного догадывается, кто мог его заманить на эти степные катания, но она и в мыслях даже не допускает, чтобы сыном ее верховодила эта школьная вертушка, которая из троек не вылезает, зато уже научилась хаханьки разводить с взрослыми хлопцами возле клуба.

— Выбрось все это из головы, слышишь? Рано еще!

— Тс-с!.. — настороженно поднял Виталий палец вверх. — Позывные вечности!

Мать прислушалась, но ничего особенного не услышала. Только где-то за виноградными листьями веранды кузнечик тонко, монотонно стрекотал.

— «В полуденной духоте кузнечик, ошалевший от солнца, кричит...» Знаешь, кто это сказал? Товарищ Аристофан. Более двух тысяч лет тому назад... Две тысячи лет, мама, этот его кузнечик кричит!

— Ты мне зубы не заговаривай, я без твоего Аристофана кузнечиков слышала...

— А вето на мотоцикл... Это же ты, мама, пошутила?

— Нисколько. Пока не сдашь всех экзаменов, со двора выводить не смей!

Это был для хлопца удар. Ни слова после этого не проронил. Обиженно прикусив губу, взглядом на улицу уставился, где на столбе при дневном свете забыто сверкала электрическая лампочка.

Впервые хлопец открыто не покорился материнской воле. Не за учебники взялся, а, словно бы наперекор матери, побрел в свой угол, уставился в какую-то схему, затем стал со звоном рыться в своем радиохламе, перебирал, соединяя, какие-то провода в металлической большой коробке.

«Вот уже и поругались», — думала Лукия, но на этот раз она ошибалась: хоть и наговорила только что Виталику резких слов, хоть и жестоко наказала, запретив ездить на мотоцикле, сын, однако, не сердился, он прощал ей эту, как всегда, бурную вспышку. Разве ж хлопец не

понимает, кто он для матери, разве не способен оценить ее самоотверженную любовь? Возможно, и замуж не вышла из-за него, убежденная, что никто, даже лучший отчим, не заменит сыну родного отца. В душе он гордится своей матерью, ему приятно, что ее уважают рабочие. Как любил Виталик, еще мальчонкой, ждать вечером, пока она, наездившись по степным отделениям, не возвратится, накаленная солнцем, горячая, и от нее пахнет пылью, зерном, бензином, нектарным духом подсолнухов. Он так и окунался в эти запахи. Мать еще и поныне считает его мальчишкой, не принимая всерьез, для нее он просто Виталик, она словно бы не успевает понять, что он уже перерос ее представление о нем, что мир его знаний и чувств сложнее, чем она думает. Иногда Виталику кажется, что он понимает мать больше, глубже, чем она его. Да, за спиной у нее нелегкая жизнь со своими утратами, горестями... Он знает, на какие жертвы мать шла ради него...

Вот она сейчас хлопчет, вытирает на окнах пыль в своей комнате, где через раскрытую настежь дверь видны этажерка с книгами да высокая кровать с горой белоснежных подушек, которую мать редко и разрушает, — летом чаще всего она спит на этом диване, а Виталик во дворе, на раскладушке. Остановилась у этажерки, перебирает какие-то книжки, Виталика так и подмывает пошутить: «Мама, ты, наверно, «Блокнот агитатора» снова перечитываешь?» Однако он промолчал, увидев: стоит она сейчас в глубокой задумчивости и на ладони у нее... белоснежный обломок коралловой ветки!

Это подарок капитана Дорошенко. Сколько удивления было в хате, когда капитан привез однажды из своих плаваний этот обломок чего-то белоснежного!.. По форме ветвистый, как рог оленя, только белоснежный. И тяжелый, будто металлом внутри налит. Кусок настоящего кораллового рифа, вот что он ей подарил! Дар океана, дар синих тропических вод...

Преподнося матери коралловую ветку, капитан сказал тогда:

— Бывают они розовые, голубые, а эта, видишь, белая... Много на таких судов погибло... Ведь это сверху цветочки, а внизу — монолит!

— Какая красота! — тихо воскликнула мать. — И это в воде растет? Белая как снег? — И стояла, будто завороченная, а капитан добавил шутливо:

— Только у нас тут пылица, черные бури, коралл у тебя быстро потемнеет... Ну, тогда выбросишь.

— Не потемнеет,— сказала она, и это было сказано с особенной интонацией, и посмотрели они друг другу в глаза тоже как-то необычно.

И в самом деле, хотя прошли с тех пор месяцы и годы, проносятся над степями пыльные черные бури, а подарок капитана все стоит в материнской комнате, белоснежный и чистый, будто только что омыт океанской волной, будто только что добыт с океанского дна.

...Белеет, цветет коралловая ветка снова на этажерке, на своем постоянном месте; матери уже нет. Поправив на затылке тяжелый узел волос, она ушла со двора, не будет ее теперь до самого вечера. Поездки, заседания, конфликты, ссоры, бесконечное мотание по отделениям, где она о ком-то заботится, кого-то отчитывает, кого-то мирит — такова ее жизнь. Изю дня в день отдает себя на растерзание обыденщине, кипит в лихорадке дел, ломает голову над чьими-то хлопотами, и нет ей передышки, нет никогда покоя...

Целый вечер она будет совещаться, вести заседание рабочкома, но и там сквозь дым, сквозь заседательский чад нет-нет да и промелькнет перед ее взором образ сына: «Конечно, для тебя я деспот, конечно, тебе это кажется диким, что вот и вечером я заседаю, и речь веду о таких вещах, как валухи, да шерсть, да нормы выработки... Но как же без этого, Виталик? Без наших будней разве были бы праздники?»

Ей и невдомек, что хлопец в это время бродит возле школьного виноградника, там, где недавно они с Тоней кусты подвязывали, где будто нечаянное прикосновение девичьих рук перевернуло его жизнь; потом он прошел мимо клуба, где ничего сегодня нет, мимо домика, где сестра Тони — Клава — в этот момент ссорилась со своим муженьком, а Тони нет, Тоня у родителей, и Виталий, еще немного побродив в парке, послушав чей-то влюбленный шепот в кустах, наконец возвращается домой. Жаль, что Горпищенкова кошара далеко и на мотоцикл паложено вето, — и ничего тебе не остается, как только идти вот так в одиночестве по улице Пузатых да посвистывать возле забора товарища Яцубы, где темнеет его виноградник, который со стороны поля весь обтянут колючей проволокой и напоминает в миниатюре то, что майор строил на Севере... Днем улица перекрыта шлагбаумом, а сейчас

шлагбаум кто-то оттянул, и ребята из младших классов, беззвучно, как летучие мыши, носятся по темной улице на велосипедах, нарочно пугая девочек-подростков, что, взявшись за руки, вольно ходят здесь и тихо напевают, и словно бы слышат уже те таинственные, возбуждающие призывы-шепоты любви, которыми полнятся заросли садов и, кажется, напоен этот вечерний воздух. Ходят девушки, трепетные, как сама юность, и, как она, слегка окутанные грустью. Идут в обнимку, и песня плывет за ними, негромкая, задумчивая, немножко грустная. Их песня-дума, и чистая ранняя грусть, и это ожидание чего-то неизведанного манящего так гармонируют со степным покоем вечерним, и звездным простором неба, и с настроением Виталика... Мать сердится, что он не корпит над учебниками, а как он может зубрить сейчас, в такой вечер, когда все вокруг поет и сам он переполнен чувством новым, ранее не изведанным. Как после черной бури, когда всеенная степь пламенеет до самых горизонтов дикими тюльпанами и будто вся планета цветет красотой, так сейчас на душе у Виталика. Все стало второстепенным, неважным в сравнении с тем, что он приобрел, что у него есть теперь в жизни — Тоня.

Экзамены? Они его не беспокоят. Медаль отличника? Луна на небе — вот его медаль. У каждого человека, наверное, есть своя белая коралловая ветка, раньше или позже, а каждый находит ее, и вот он тоже нашел... Если бы только Тоня была сейчас здесь, рядом с ним! Не попала ли она после вчерашнего катания под домашний арест? Сидит да зубрит девчонка в своей чабанской ссылке, а он еще и до сих пор будто летит на мотоцикле, чувствует на себе ее горячие руки, слышит смех ее серебристый, залихватский, до сих пор ощущает на губах огопь ее поцелуя, которым она обожгла его там, на винограднике... Остановившись, Виталик сам себе улыбается в потемках, видит руку девичью смуглую, что так нежно подвязывает широколистный куст чауша-винограда... Живая, шустрая такая — от куста к кусту, куст за кустом обнимает... Смотрел бы не посмотрелся, как она делает что-нибудь или просто улицей идет: лицо поднято, грудь вперед и руками широко размахивает, аж за спиной залетают. И походка такая же размашистая, упругая.

Брезентовая раскладушка ждет своего хозяина в саду. Виталик расставил ее, опробовал, прилег. Ветерок, сорвавшись, нежно шелестит листьями вверх, и среди

листьев то и дело сверкает девичья, чуть-чуть лукавая улыбка. Спать? Как можно спать в такую ночь? Звездная высота притягивает взор, как тогда, когда Тоня закричала на всю улицу: «Спутник! Вон он!» И никто в совхозе не спал, в самой природе было что-то необычайное, со всех дворов смотрели, как вдруг появился в небе светлячок, появился и движется прямо по небу, ритмично поблескивая.

О чем бы ни думал, а перед глазами Тоня... Ну пускай и учится кое-как, из троек не вылезает, а разве всем непременно нужно пятерки хватать? Зато она целый год вожатой в третьем «Б». И как малыши ее любят, гурьбой ходят за ней!.. Лучшая девушка на свете! У него и сейчас кровь жарко горит, душа тает от счастья; и он снова видит перед собой те смуглые руки, которые словно бы впервые увидел сквозь куст винограда, и глаз, живой, веселый, орехово-карий, что так светло и доверчиво улыбался ему между листьев; уже не мог бы Виталик теперь поверить ни единому злomu слову о ней, о ее легковесной щедрости в чувствах, о способности влюбляться едва ли не в каждого встречного... Кого угодно за такое оборвал бы, заставил умолкнуть! Тот глаз, сверкавший сквозь ливной град на него, не мог бы ни на кого другого с такой печалью смотреть — в этом он уверен.

Ну, как же ты там, Тоня? Может, припугнутая отцом, сидишь и зубришь, а может, украдкой у приемникаловишь музыку — это больше на тебя похоже! Или, быть может, слушаешь вместо музыки сухие директорские распоряжения, которые передает на отделения в этот момент Сашко Литвиненко? Взять бы да шепнуть в микрофон Тоне что-нибудь, одно имя ее, прошелестеть, как ветерок, что по верхушке яблони пробежал. Шепнешь, а она там в чабанской своей бригаде уже слышит тебя; не может же быть, чтобы она спала в такую ночь! И если у тебя есть хоть кое-как слепленный, но честно, своими руками сделанный передатчик, работающий на частоте одному тебе известных мегагерц, то...

Соскочив с раскладушки, Виталик в три прыжка пересекает двор, вбегает на веранду. Вот он уже в комнате, включает свет, бросается в свой заваленный радиохламом уголок, и через некоторое время весь звездный степной эфир принимает взволнованные, нежностью налитые слова:

— Той, которая меня слышит!.. Той, что лучше всех на свете... Тоня! Слушай меня!

А через некоторое время в накуренное, задымленное сигарками помещение рабочкома вбегает запыхавшаяся семиклассница Нина Чумак и с порога бросается к Рясной:

— Тетка Лукня, скорее домой!.. Виталик ваш... за... за... запеленгован!!!

Не чуя под собой ног, примчалась Лукня домой. Стоит чей-то «газик», во дворе гомон, во всех окнах свет горит, в открытых настежь дверях видны фигуры военных, и между ними торчит стриженная под ежик голова Яцубы в стальной седине.

— Так вот, милейший,— слышит она баритон Яцубы, и в ответ ему откуда-то из угла звенит протестующе:

— Не называйте меня «милейший»!

— А кто же ты есть? — И, заметив Лукню плп, быть может, просто ощутив на себе пламя ее гнева, Яцуба обращивается к ней: — Вот, полюбуйся на своего... Настоящий радионарушитель, хотя и несовершеннолетний... Оп со своими штучками в эфир... Ну, а мы его, голубчика, и запеленговали.

— Не так вы, как мы,— поправил Яцубу офицер с полигона и улыбнулся своим товарищам, которые окружали Виталика, но, видно, вовсе не собирались хватать да вязать этого парушителя.

Кое-кого из военных Лукня знала в лицо, ведь не раз они появлялись в совхозе на запыленном «газике», а с их старшим она встречалась на шефских собраниях. Теперь все они были официальными, исполненными сознания своих прав,— постороннее вторжение в эфир не могли никому разрешить,— но их загорелые лица снова озарились улыбками, когда они, наклонившись, стали рассматривать передатчик Виталия, примитивное кустарное сооружение в грубой коробке, которая, однако, давала возможность хозяину посылать слова привета и музыку в степь той, недоступной для других, девушке Тоне.

— Акт составлен. А это мы конфискуем,— говорит Яцуба и обеими руками берет со стола Виталиков передатчик.

— Поставь на место,— остановила Яцубу Лукня.

— Нет, прости, милейшая, конфискуем,— с ударением повторил Яцуба, нацелив на нее черные сверкающие скважины глаз.— Если уж ты малолетку разрешаешь лю-

бовные шуры-муры, то пускай себе на мотоцикле и мчит-ся на свидание, а эфир засорять посторонними словами... нет, шалишь, парены!.. Много ты, Лукия, своему малолетку позволяешь! Любовные шуры-муры по радио разводить, эфир засорять никому не позволим!

Лукия посмотрела на сына: «Это правда?»

«Да, он говорит правду,— открытым взглядом ответил ей сын,— я обращался к ней через эфир, я говорил ей слова любви, и этот передатчик еще полон моей нежности, моих признаний...»

Яцуба, нагруженный вещественным своим доказательством, сделал было шаг к порогу, но Лукия преградила ему путь, приблизилась почти вплотную к его худому, поволчьи вытянутому лицу — чуть не обожгла его пылающими щеками.

— Дай сюда!

И не успел Яцуба опомниться, как Лукия выдернула передатчик у него из рук и со всего размаха трахнула об пол.

Это был конец. Разбежались понятые, поспешили попрощаться военные. Их «газик» как-то даже весело рванул от двора, сделал разворот возле конторы, поднял пыль на улице Пузатых и пропал в степи.

Все затихло. Прошло немного времени, и свет погас в окнах Лукни, но долго еще и после этого — мать из темноты веранды, а сын со своей раскладушки в саду — слышали, как ровно, неумоимо стрекочет где-то в кустах кузнечик, тот самый, которому две тысячи лет...

— Что, милейшие, зажимают вас? Не пускают даже в эфир? — говорит Гриня Мамайчук, молодой киномеханик, появляясь на следующий день на пороге радиоузла, или «цептробреха», как он его называет. Насмешка его обращена к Виталию Рясному и Сашку Литвиненко — этим радиоорлам с подрезанными крыльями, которые, склонившись лоб в лоб, оживленно шепчутся: наверно, обсуждают вчерашнее свое фиаско. Есть из-за чего переживать обоим — ведь этот запеленгованный передатчик, так безнадежно уничтоженный бурей человеческих страстей, был их совместным творением, которое по первоначальному замыслу для того, собственно, и создавалось, чтобы эти орлы, разделенные комариным расстоянием, могли перекликаться по утрам через дорогу, здороваться в эфире. Стоило ли ради этого в эфир вторгаться — это уж другое дело... И вот напес им поражение товарищ Яцуба. Недаром человек полжизни руководил лагерями где-то за Полярным кругом, умеет выслеживать, ловить, брать за жабры разных, как он выражается, «людишек». Никто и не заставляет его — по собственной инициативе Яцуба накрыл этого «дикого» коротковолновика.

— Если и в эфир нельзя, то куда же можно? — сокрушенно говорит Гриня, усаживаясь верхом на стуле.

Сейчас рабочая пора, и Гриня должен куда-то ехать (автофургон стоит у конторы, снаряженный для дороги), однако Гриня не спешит, он должен сначала излить душу.

-- Или, может, мы и вправду «людишки»? Может, с нами иначе и нельзя? Сунешься в институт — осади назад, браток; в столицу подашься — не прописывают;

казалось бы, хоть небо остается, а теперь вот и туда, на эфирную целину, не пускают.

— В эфире, к твоему сведению, тоже должен быть порядок,— спокойно возражает Мамайчуку Сашко-радист.

— А что такое порядок? — задирает рыженькую свою бороденку Гриня.— Вон у тебя под потолком ласточки вылепили гнездо, для безопасности мать волосинкой птенцов обвила, это, я понимаю, порядок. Это не то что человек, который бьется в тенетах бессмысленных инструкций... Ласточка своих птенцов кормит, она их бережёт, нестует, пока крылья у них не отрастут, а когда крылья есть, тогда пожалуйста: дарю вам небо, дарю вам простор, живите, летайте на равных со мною правах!

— Можно подумать,— улыбается Сашко,— что тебя кто-нибудь ограпичивает.

— О! Цепью прикован к земле... Ведь отцы в наше время пошли такие, что не могут своих детей до конца жизни прокормить! В поте лица я должен добывать свой хлеб, ежедневно выколачивать презрепный металл, которого мне, братцы, частенько не хватает, точно так же, к слову, как и холодильника... Хотел бы ваш друг быть добродетельным, великодушным, щедрым, но при таких пенёнках, как у Грипи Мамайчука, поддерживать честность незапятнанной пелегко, ох как нелегко!.. Но успеешь и опомниться, как в агитфургоне у тебя среди коробок с кинолентами, среди гениальных произведений человеческого духа очутится вдруг... корзина с виноградом, который юридически тебе не принадлежит. Или, скажем, мешок арбузов и дынь, этих наших украинских ананасов... Ты везешь эти дары природы домой, чтобы усладить ими не совсем сладкую жизнь своих ближних, а вместо благодарности родной твой батя готов гнать взашей свое дитя из дому... Не принимает даров!

— Твой батя после этого еще больше вырастает в моих глазах,— замечает Виталий, перелистывая за столом какой-то журнал.

— Не возражаю: мудрый у меня наставник, но о том-то и речь, что я хочу жить вовсе без наставников,— покачивается Гриня вместе со стулом.— Хоть бы попробовать без них. Неужто погибну? А может, и нет? С домашними, скажем, я бы еще мог кое-как примириться, по ведь, кроме них, и некий отставной субъект лезет в твою грудную клетку своими лапищами...

— Ты глина, подлежащая формовке,— говорит Сашко, роясь в одном из приемников, которые со всего совхоза припосылают ему в ремонт. — По крайней мере, у Ядубы такой на тебя взгляд.

— Ты считаешь, что у него есть взгляды? А по-моему, у него есть только зубы, клыки. Это обыкновеннейший диплозавр культовой эпохи, пища его непритязательна — он употребляет одни цитаты. Зубами дробит камни готовых истин. Мыслить он не умеет, да и зачем это ему? Зато он умеет разрушить церковь — памятник архитектуры, окружить определенную территорию колючей проволокой, нацарапать современной авторучкой анонимку...

— Нужно отдать ему должное,— говорит Виталий.— Анонимки свои он рассылает за собственной подписью. «Я, говорит, не боюсь, не прячусь...»

— На редкость самоуверенный тип; не сомневается, что жизнь его стопроцентно правильна, дистиллирована, безупречна, а что, наоборот, я вот, Мамайчук, неправильно живу, много лишнего болтаю. Если б ему хоть на миг вернуть прошлое, меня первым он спровадил бы туда, куда Макар телят не гонял... А за что? Я работаю. Я не отравляю себя алкоголем. { очковтирателям не принадлежу. Кроме того, активно защищаю спортивную честь нашего совхоза, выходя в бутсах на поле стадиона и пробуждая в вас кровожадные инстинкты. Так в чем же я неправильный, братцы мои?

— Ты правильный, только «неуправляемый», — смеется Сашко.

Есть на свете управляемые снаряды, есть управляемые ракеты, но есть и неуправляемое живое существо, и ходит оно по свету в образе Грини Мамайчука. «Неуправляемый Мамайчук», — бросил кто-то, и пошло гулять по совхозу это прозвище, и Гриня не сердится, хотя и не считает себя виновным в том, что жизнь его складывается именно так. Начиналось вроде бы здорово: по случаю его, Гринино, появления на свет когда-то была устроена шумная гулянка-рай, и отец новорожденного — лучший в то время в МТС ударник-механизатор — был просто на седьмом небе оттого, что в жизнь приходит еще один Мамайчук, прошелся впрыскалку через весь совхоз, а теперь ему не до веселья: возвратился с войны без ног; постарел, осунулся. «На Сапун-горе, на Малаховом кургане отцвела его молодость», — говорит иногда Гриня о своем суровом батя. А батя, однако ж, не сдаётся: сейчас он газорезчи-

ком в мастерской. Стиснув зубы, изо дня в день режет железо, латает комбайны, вырезает проржавелые болячки и опухоли на тракторах, а его Гриня тем временем доискивается сущности жизни... Закончив десятилетку, хлопец многое успел изведать, не раз обжегся, как он говорит, у костров житейских. Поступал в кораблестроительный, но не прошел по конкурсу, куда-то вербовался, но недовербовался, очутился потом на курсах киномехаников в областном городе, по вечерам утюжил проспект вместе с тамошними хандрящими юнцами и в конце концов возвратился в совхоз приличным киномехаником с львиной рыжей шевелюрой, в разрисованной рубашке навыпуск, в которой красуется и поныне.

— Пускай «неуправляемый», пускай неподдающийся... А какое ему, отставнику, до меня дело?

— Ты все на отставников. Это племя тоже неодипаковое...

— А я что говорю: среди них много людей стоящих, такие засучили рукава и — давай работу. Орловский не один! Где-то я читал о прославленном генерале, который после отставки пошел работать к директору совхоза. Ну, наш отставник тоже, видно, надеялся занять Пахомово кресло, да не выгорело, пришлось браться за пожарную кишку... Но я же не пожар, чтобы меня тушить! Что за преступление, если все хочешь сам, без толмачей, обдумать? Для чего живу? Для чего жить буду? Это меня занимает. Конечно, у меня есть недостатки, я покамест еще не похож на положительных героев тех комедий, которые вожу по кошарам в металлических коробках и остерегаюсь близко допускать к ним чабанов с сигарками, потому что очень уж мои комедии горят... Я рядовой жизни — не больше. Понемногу работаю, понемногу мыслю, ибо кому же хочется быть придатком к собственному своему желудку... Это первобытному человеку приходилось с утра до ночи охотиться, чтобы чем-нибудь набить свое неандертальское брюхо, а для современного человека необходим другой режим, труд его — только основа для мысли... Идем к тому, чтобы вообще по два часа в день работать, да еще, говорят, и с перерывом на обед.

— Слышишь, Виталик, — обращается Сацко к товарищу. — Вот что кое-кому снится... В нашем «Перце» это можно бы назвать «Мечта современного лежебоки»...

— Коллега, я не считаю, что этот камень брошен в мой огород... Я под эту статью не подхожу. Конечно,

я работаю в соответствии с трудовым законодательством, из кожи воп не лезу, не надрываюсь, как, предположим, наш директор Пахом Хрисанфович; ему, кстати, вчера снова уколы делали... Вы ему о будущем, о светлой цели, а какая она для него светлая, ежели у него хроническая язва желудка, ежели у него, у бедняги, в глазах темнеет от работы. Для него, братцы, вся жизнь — это только силос, силос и силос! А я не хочу быть египтянином силоса! Я не для того рожден, чтобы стать строителем силосных пирамид!

— Ты против силоса? — с напускным удивлением посмотрел на оратора Сашко.

— Наоборот, — возразил Мамайчук, — я даже в детстве не умалял значения мелко иссеченной зеленой массы... Кто сегодня на силосе вилами орудует, тому почет, и у меня тоже — вот на руках — от баранки трудовые мозоли... Перед вами человек, который свою скромную работу на этой грешной планете пытается выполнять добросовестно. Экран мой освещает по вечерам темноту самых отдаленных кошар. План кинопроката выполняю, куда посылают — лечу. Вот и сейчас, друзья мои, вынужден покинуть вас, еду, согласно полученному наряду...

— Едешь, да все на одном месте, — взглядывает Виталий на стул, на котором покачивается Гриня.

— Я ценю, товарищ Рясный, наличие в тебе чувства юмора, — покровительственно отмечает Гриня. — Так и пужно жить — оскалив зубы. Относиться ко всему на свете с юморком — в этом самозащита и мудрость человека нашего времени. Итак, ты, отроче, на пороге мудрости... Вселенная велика и разнообразна: одни тела пребывают в состоянии плазмы, другие в состоянии окаменелости, тебе же нравится быть в состоянии жизни, не правда ли?

— Ты не ошибся.

— Сейчас в твоей душе — брожение лирических положительных зарядов... Не так ли?

— Угадал.

— И звездный эфир по почам слушает твою павную песню любви?

— Отстань, — сказал Виталий почти сердито, почувствовав в этом намек на его вчерашнее вечернее обращение к Тоне.

Мамайчук, хохотнув, продекламировал:

— «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви!..» Откуда это?

— Из Песни Песней,— молвил Сашко.

— «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня... Черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы...» А это?

— И это оттуда,— скрыл улыбку Виталий.

— Юноша! Ты вступил уже в пору молочно-восковой спелости... Родная школа вскоре вытолкнет тебя в белый свет с аттестатом зрелости... После нее куда, если не секрет?..

— Видно будет.

— При поступлении в институт теперь, как известно, требуется трудовой стаж... Но не думаю, что ты, как последний плебей, будешь многотерпеливо добывать сей стаж. К счастью, у тебя есть реальная возможность сократить свои мытарства.

— Что ты имеешь в виду? — нахмурился Виталий.

— Ты не хмурься... Ты смейся от счастья! Дай мне такую мамашу, что и депутатка, что и в области перед ней все двери открыты, не видать бы вам этого Мамайчука здесь!

Сашко посмотрел на него из-под растрепанного чуба.

— Плохо же ты знаешь его мамашу.

— Что? — уставился на радиста Мамайчук. — Я за нее голосовал! Голос за нее отдал, и при этом искренне. Заступница сирых! Борец за мечту. Все это так. Но ведь она же еще и мать! А ты,— он посмотрел на Виталика,— любимый мамепькин сынок.

— Я не маменькин.

— А чей же?

— Я сын своей матери.

— Сути это не меняет. Ты, согласно законам природы, самое дорогое для нее существо, и тебе должно быть ясно, что из этого вытекает...

— Быть может, объяснишь? — скривился в педоброй улыбке Виталий.

— Без нее ты, хлопче, нуль во вселенной. Поверь моему горькому опыту. Итак, беги, падай перед нею на четыре кости, умоляй. Иначе не видать тебе не только что кораблестроительного, но и зачухающего какого-нибудь техникума... А так будет совсем по-иному: она едет в город. Уверенно стучит в дверь к товарищу ректору. Товарищ ректор весь внимание к товарищу Рясной. Выслушивает,

и, пока течет беседа, в списке против твоего имени появляется этакая маленькая-маленькая, как маковое зерно, точка... Будто муха наследила. И все! Понял? Твоя судьба этой точечкой решена. Ты принят! С чем я тебя и поздравляю заранее!

— Плохо же ты знаешь, товарищ избиратель, и свою депутатку, и ее сына, — снова говорит Сашко.

— Ах, я не угадал? Он не признает протекций? Он ненавидит блат? Он хочет по-честному, хочет самостоятельно решать формулы жизни со многими неизвестными? Не так ли, милый наш Архимедик?

Виталий досадливо покусывает губу.

— Ты ясновидец.

— Юный мой друг! Ухватишь меня за эту благородную бороду, ежели лента событий будет разворачиваться вопреки моим прогнозам, — говорит Гриня и поглаживает рукой светло-рыжий пушок, который он называет бородой.

Этот пух — протест Грини, протест и недоверие, которое он выказывает заведующему рабкоопом товарищу Мажаре. Щедрый на посулы, Мажара имел неосторожность публично пообещать в ближайшее время открыть в совхозе парикмахерскую, и Мамайчук, поймав его на слове, заявил, что не станет бриться до тех пор, пока парикмахерская не будет открыта, и дело сейчас оборачивается так, что весь совхоз следит за этим неравным единоборством, а заведующий рабкоопом каждый раз прячется, как увидит хоть издали молодую Мамайчукову бороду. Бороденка тем временем растет, и когда Гриня, в роли правого защитника команды, выбегает на поле стадиона, и Виталий, и Сашко, и весь стадион кричат ему:

— Вива Куба!

Сашковы костыли так и пляшут в воздухе от восторга и энтузиазма, а сейчас радист поглядывает на выпяченную вперед Мамайчукову бородку несколько даже проницательно.

В коридоре слышны быстрые девичьи шаги, в приоткрытую дверь заглядывает Неля, секретарша:

— Гриня! Пахом Хрисанфович сердится, что ты до сих пор не уехал.

— Передай: выхожу на орбиту. — И Мамайчук в самом деле поднимается. — Попутно, возможно, где-нибудь и на тузлук наскочу. Странная штука этот тузлук: недоваренное мясо, примитив, а как на человека действует! После тузлука мне всегда бороться хочется... Ну, честь

труду! — бросает он хлопцам и исторопливо выходит на улицу к своему фургону.

Этот агитфургон, в котором Мамайчук и швец и жнец, целыми днями носится по отделениям или пылит по грейдерной дороге в райцентр за новой кинолентой либо по каким иным делам; хотя задача фургона — прежде всего культурно обслуживать отдаленные кошары, фермы и отделения, однако хозяину его приходится выполнять еще и множество других поручений, быть, что называется, «старшим, куда пошлют». Вот и сейчас Грине дорога предстоит неблизкая — нужно ехать в совхоз «Приморский чабан», с которым они соревнуются, однако Гриня не был бы Гриней, если бы, выехав в степь, не завернул еще на птицеферму, а там, только выйдя из кабины фургона и вступив в белое куриное царство, он уже ошарашивает птичника излюбленным своим вопросом:

— Для чего вы существуете, то бишь живете?

Такая уж у него привычка — прпставать с этим вопросом к каждому.

— Ну вот, родились, выросли, живете, а для чего?

Девчата пожимают плечами, пересмеиваются, а маленькая девочка — дочка старшей птичницы — удивленно смотрит на Мамайчука, на его желтую, как пух на цыпленке, бороду и разрисованную рубашку.

— Ну, скажем, Саню вот можно понять, — кивает Мамайчук на полненькую чернявую молодницу, муж которой проходит службу на Балтийском флоте, — затяжная любовь, она только и ждет праздника, чтобы поехать в Ленинград к своему законному. А вы?

— У тебя бы спросить, — весело отвечает Саня, — для чего ты сам небо коптишь?

— О, это вопрос сложный, пменно над ним я и размышляю в эти дни. Размышлял почь, все утро и тому же посвящу несколько ближайших лет.

— Не слишком ли щедро?

— А я, девчата, не мелочный. В запасе у меня вечность. Куда спешить, зачем? Ну, пусть я после известных видоизменений стану какой-нибудь другой молекулой, пусть не буду Григорием Мамайчуком, а буду, скажем, арбузом или дыней.

— Или чертополохом, — прыснула со смеху одна из девушек.

— Или чертополохом, какая разница? Главное, что я буду, и никто не в силах прекратить меня в вечности, положить мне конец. Так-то, девчата.

— Гриня, тебе пора жениться,— говорит Одарка, приземистая, с веселыми глазами, в опущенной на брови косынке.

— Голому жениться — только подпоясаться,— отвечает Гриня.— А вот вам, девчата, которые незамужние, советую это сделать пораньше, чтобы потом успеть выйти замуж еще раз.

— Вот так посоветовал!

— А то по десять классов закончили, однако и до сих пор не знаете, что раньше появилось в природе: курица или это вот яйцо? — И Гриня, подняв у корытца оброшенное курицей свежее яйцо, тут же его выпивает.

После этого он едет дальше. Увидев чабапа, который маячит у отары на выпасах, Гриня не ленится сделать крюк, заворачивает к нему и, не вылезая из кабины, тоже — как снег на голову — спрашивает:

— А вы?

— Что я?

— Для чего живете?

— Чтобы баранов стричь.

— Вот это наконец ответ! — даже обрадовался Гриня.

А когда он со своим вопросом обратился у кошары к зоотехнику Тамаре, которая с чабанами отбирала в загородке по биркам производителей для отправки в Болгарию, то реакция Тамары была для Грини совсем неожиданной.

— Проваливай отсюда! — выкрикнула она, держа производителя за тяжелый, в складках, подгрудок, и Гриня только тогда заметил, что лицо у Тамары было мокрое и красное от слез.

А мог бы ведь он догадаться, что Тамара в эти дни переживает душевную драму; недавно вышла она замуж за приезжего техника по искусственному осеменению, а он оказался пьяницей, да таким, что пьет без просыпу; допился однажды до того, что вместе со спиртом, полученным для лабораторной работы, вылакал из пробирок и все прочее, вовсе не предназначенное для питья, за что и попал в совхозный «Перец».

Вот почему Тамара так болезненно приняла вопрос Мамайчука. Без тебя, мол, горько, а ты с дурацкими вопросами лезешь!.. Занятые работой, и Тамара и чабаны

сразу забыли о Грине; отвернулись от него и отбирают в загородке лучших баранов (трехтонка стоит уже наготове), а Грине после этого ничего не остается, как, передав бригадиру бумажку из бухгалтерии да устное директорское распоряжение относительно этих самых баранов, отправляемых на Балканы, двигаться дальше, по своему основному маршруту.

Едет Гриня, колышется над баранкой пластмассовый зайчик на нитке, усмехается по-заячьи водителю: «А сам-то ты что за субъект? Для чего ты?»

На душе мучительно тоскливо, стыдно за свою бестактность перед Тамарой. Становится просто больно за нее, за ее слезы. Видно, и сейчас капают они на спины стриженных, сбитых в загородке мерипосов, между которыми она ходит, согнувшись... Борец против равнодушия, против черствости и бездушности, как же ты сам не заметил, что Тамара заплакана, что сегодня ей свет не мил!.. И вообще с тех пор как она связала себя с этим пьянчужкой, вид у нее всегда такой измученный, похудела, лицо осунулось, только глаза стали еще больше. А какая она была девушкой! Ребята выбирали ее комсоргом не только за деловые качества, но еще и за веселый нрав, за девичью ее привлекательность. Последнее время она работала уже секретарем райкома, невольно перейдя в разряд тех девчат, которым, по мнению Грини, их должности угрожают вечным девичеством: ведь не так просто секретарю райкома после собрания уединиться в парке с рядовым комсомольцем. Однако Тамара, словно бы наперекор пророчествам Мамайчука, быстро и неожиданно нашла себе пару, вышла замуж за этого, как назло, подвернувшегося техника. После свадьбы Тамара возвратилась на работу в совхоз, чтобы неотлучно быть возле мужа, и — странное дело — именно теперь, увидев ее замужней, как-то поникшей, вечно расстроенной от семейных забот и переживаний, Гриня вдруг по-настоящему разглядел Тамару в истинной ее красоте, в ее самоотверженной супружеской верности, и не раз теперь ловил себя на том, что ему хочется глядеть на нее, слышать ее ласковый голос... Просто слышать. Просто глядеть. В измученное сияние глаз заглянуть...

Может, из-за этого сюда и сворачивал? Может, и вправду ничего другого не мог выдумать, как влюбиться в замужнюю женщину? И, вместо того чтобы излить

ей свои нежные чувства, так вдруг обидеть бестактным, дурацким вопросом...

Неподалеку отсюда начинаются земли полигона, где живут своей таинственной жизнью те разноплеменные хлопцы — солдаты, с которыми Мамайчук время от времени встречается на поле совхозного стадиона. Битвы между их командами отличаются пенмоверным упорством, счет здесь выражается в таких цифрах, как 25 на 18 (последняя игра). Бурей искреннего энтузиазма встречаются совхозные болельщики свою команду, своих одетых в трусики шоферов, трактористов, учителей... После матча гурьба ребятишек сопровождает Гриню до самого дома, а он в бутсах, в одних трусах идет с ними совхозной улицей, несмотря на недовольство старушек, которые, хлопоча по дворам, провожают его, бесстыжего, осуждающими взглядами...

Хотя там, на полигоне, много Грининых знакомых по спортивной борьбе, проехать напрямик через их территорию ему не удастся, часовой еще издали машет фургону флажком: кати, мол, в объезд...

И фургон, послушно меняя курс, исчезает в безлюдной степной дали, чтобы, намотав за день десятки километров, вернуться на Центральную уже с другой стороны света, вернуться лишь под вечер, когда Сашко и Виталик выйдут за совхозную околицу встречать вечернюю зарю.

Жара спадает. Степь лежит тихая, подернутая легкой дымкой, и силуэт ветродвигателя на далеком отделении маячит как-то необыкновенно, а древние могилы-курганы, раскиданные среди степного раздолья, словно бы тают, переливаются мягко, как тихая музыка. Кем эти курганы насыпаны, какие отшумевшие царства они увенчивают? Кто навеки засыпая там вместе со своими желаниями, страстями, ненавистью, любовью?

А закат пылает.

Где, на какой планете будут еще эти грандиозные фрески неба? Где еще будут чаровать человека могучие закаты степные? Каждый раз пробуждают фантазию хлопцев эти пылающие просторы запада, когда солнце, садясь, купается в багровых туманах или сухо догорает на краю степи костром, а высь неба играет переливами тончайших красок, и во всей природе есть что-то эгегическое, прощальное, очищающее душу... Стоят они, двое друзей, на земле, которая была когда-то дном Сарматского моря, а потом, через миллионы лет, зазелелела тропи-

ческими джунглями, и водились здесь разные теплолюбивые твари, чьи потомки живут теперь только где-то на далеких континентах; а сейчас проносятся в небе реактивные самолеты со скоростью молнии, и эфир переполнен голосами и песнями людскими, а над морским заливом, что далеко врзается в степь, над покинутым крейсером восходит вечерняя звезда. Для них обоих это уже не просто звезда — это озаренная солнцем далекая планета. Сколько у них разговоров про эту планету, споров, догадок, она то покрыта для них сплошным океаном, то жаркой безводной пустыней, где нет жизни, а только вечно бушуют грозы ужасающей силы, то уже существуют на ней и живые организмы, подобные тем, которые были вот здесь, на земле, во времена палеозойской эры. Вечерняя голубая красавица, что раньше всех восходит на их горизонте и освещает степь, она словно бы объединяет их помыслы, и привлекает неизвестностью, и пробуждает в душе пьянящую жажду путешествий, полетов, открытий.

— Только это не для меня,— вырывается неожиданно у Сашка, который, опершись на костыли, не отрываясь смотрит на звезду.

Не возьмут, дескать, с моими костылями в полеты... Это было так непохоже на него, веселого жизнелюба, который, кажется, никогда не знал грусти, никогда не думал о своем увечье. Его невольное, полное боли признание, столь внезапно вырвавшееся из глубины души, прозвучало Виталия такой жалостью к Сашку, что он готов был собственной жизнью поделиться с другом, лишь бы исцелить Сашка, лишь бы тот был здоров физически, как здоров душой, чтобы и небо стало ему доступно, как тем реактивщикам, которые сейчас делают над степью высокие «свечи»...

Пылающие громады туч на западе уже переплавляются в какие-то дирижабли; словно на гигантских стапелях, всплывают там очертания строящихся кораблей, гигантских ракет, а солнце кует в своей мастерской все новые и новые корабли, и они уже пылают по горизонту празднично-чистые, сверкающие, стартовонацеленные в неземные просторы.

— Привет мечтателям! — возвращает хлопцев на землю знакомый голос. Это все тот же вездесущий Гриня Мамайчук нарушает покой звездочетов, притормаживая возле них свой запыленный агитфургон. — Веперу созер-

цаете? Красками заката любуетесь? Не туда смотрите, птенцы!

— Куда хотим, туда и смотрим,— бормочет Виталий.

— Вон куда посмотрите.

Мамайчук кивает в противоположную сторону — на восток, уже потемневший, где на краю степного неба, спизу пробиваясь из мглы, то тут, то там перламутрово белеют тучи-«деды».

— Вон та, что за курганом громоздится, ничего вам не напоминает?

Одна туча, торчком, вздымается над другими. Высокая, белая, клубящаяся, как причудливо застывший в небе неподвижный... атомный гриб!

— Разве не похоже?

Притихшие, пораженные, стоят хлопцы.

А Мамайчуков фургон уже тронулся, помчался в совхоз, потащил за собой в улочку разросшийся серый шлейф пыли.

Остановку фургон делает возле чайной, невдалеке от клумбы, где совхозный люд собирается после работы посидеть на скамейках, погусторить. Скамеек здесь несколько, но на них в эту пору всегда тесно от курильщиков, и кое-кто садится прямо на краю клумбы, спиной к высоким цветущим мальвам, что сейчас так и светятся в лучах предзакатного солнца своими розовыми чашками-лепестками.

И клумба эта, и «пяточок» асфальта возле нее возникли благодаря настойчивости Лукии Назаровны и имеют, с ее точки зрения, значение принципиальное. По-вашему, ничего этот клочок асфальта не дает? По-вашему, этот «пяточный» островок ничто в сравнении с морем чернозема, с маслянисто-черными реками раскисших на всю зиму и осень дорог, где в ту пору только тягачами и можно пробиваться? Лукия Назаровна иного мнения. Для того и проложен, для того и залит этот клочок асфальта, чтобы и свои, а — главное — приезжие видели, что и мы здесь, в степях, не от темноты своей на тягачах трясемся, не по незнанию свои дороги всю зиму будто плантажными плугами пашем, разворачиваем, как окопы... Знаем и мы, как нужно жить, жаждут и наши моторы дорог асфальтированных, да только всего сразу не охватишь...

Каждое утро на этом «пяточке» можно видеть героя-севастопольца, бывшего бойца морской пехоты Мартына

Мамайчук, сосредоточенно кормящего крошками разлепившихся совхозных голубей. Герой-севастополец и сейчас здесь, невымытый после работы, скрежещет перед толпой на металлических своих колесиках, под которыми даже вдавливаются асфальт, нагретый дневным зноем.

— Ага, вот и мой неуправляемый... чертополох! — восклицает Мамайчук, увидев сына.

И по затуманенному взгляду его Гриня безошибочно угадывает, что батя уже тяпнул в буфете свои законные СИГ — сто пятьдесят гвардейских.

— Почему же это я, татуня, чертополох?

— Чертополох!

— Чертополох до старости цветет... Это я вас, батя, цитирую.

— Вишь, какой! — удивленно-грозно апеллирует отец к собравшимся. — Ты ему слово — он тебе десять!

— Наш совхозный битник, — степенно замечает толстый, с набрякшим лицом, заведующий почтой.

— Ну да! От слова «бить»! — горячится отец. — Нужно бы, да некому!

— А за что? — удивляется Гриня. — Целый день вот мотался, не обедая.

— Толку, что ты мотался... Пустоцвет сам, и работа твоя пустая! Гроши цена твоей работе!

— Конечно, это не то, что обогащать человечество щетками, скребками...

Это молодой Мамайчук намекает на один период в жизни отца, когда тот вместе с несколькими инвалидами принялся было делать в совхозной мастерской скребницы и железные щетки для ферм.

— Не те щетки мы делали! И скребки не те! — кричит отец, наливаясь гневом и поднимая к сыпу одутловатое, покрытое густой щетиной лицо, тоже колючее и жесткое, будто железная щетка. — Не такие скребницы на вас нужны! Таких бы скребниц на ваши поганые души, чтобы коросту с них с кровью, со струпами сдирали!

— Пои, батя, эта песня длинная, — спокойно говорит сын и, оставив отца, вразвалку направляется в чайную.

Как только он заглянул в дверь, чья-то виновато сгорбленная спина метнулась на кухню — по всем признакам, это отбыл черным ходом товарищ Мажара, председатель рабкоопа. Ведь ничем природу не остановишь: молодая Гринина борода растет...

Все, с чем Гриня сталкивается в чайной, словно бы умышленно создано для того, чтобы вывести его из равновесия, из йоговской невозмутимости. В уголке, отделенном от зала марлевой занавеской, где пристроен умывальник, мокро, грязно. Полотенце висит на гвозде такое, что противно взять в руки. А еще противнее смотреть на того пьянчугу, что клюет в тарелку носом у дальнего столика в углу зала и что-то бормочет угрожающе: это Тамарин муж.

Здесь нужно самому себя обслуживать, всюду теперь самообслуживание, и из всех рабочих совхоза официантка делает исключение лишь для Мамайчука-старшего, как инвалида войны, ветерана. Что же касается Мамайчука-младшего, то... взяв алюминиевый поднос, Гриня подходит к раздаче, но и тут его встречает разочарование: этого нет, а то кончилось. Холодный жилистый гуляш да компот — вот и все, что осталось на твою долю, и даже на это посягают мухи, от которых ты должен все время отбиваться. Немалой пужно обладать закалкой, чтобы при таких испытаниях твоей выдержки не стукнуть кулаком по столу и не потребовать книги жалоб. А жаловаться хочется. На все: на гуляш, на полотенце, на тех вои репинских «Запорожцев», что, как и ловкие врали-охотники Перова, непременно украшают каждую степную чайную. Почему такая скудость воображения, такая ограниченность выбора? Всем чайным, какие только есть в районе, поставляет эти бездарные копии какой-то халтурщик из областного центра, с упорством маньяка продвигает свое эрзац-искусство в массы. И никто его не тянет в суд за халтуру!

Отведав гуляша, Гриня морщится: столько в нем перца, что во рту горит.

— Стронций подсыпаете вместо приправы? — обращается он к официантке Клаве, убирающей посуду со столов.

Эта Клава, старшая дочь Горпищенко, только и скрашивает мрачное заведение своими плавными движениями и терпеливой, для всех приветливой улыбкой. Она уже, кажется, привыкла к недовольству, к жалобам, к ворчанию и без крайней пужды не ввязывается с посетителями в пререканья. Всем не угодишь. Ругаются — помолчи. Грине же она просто сочувствует. Во рту жжет? Видно, ему достался сплошной перец, осевший на дно.

— Запей, Гриня, компотом... Оно и пройдет.

Грохот в углу привлек их внимание. Это техник по искусственному осеменению прогромыхал стулом по полу, чуть не упал, но кое-как снова обрел сидячее положение и снова клюет носом.

— Ничего же я ему, кроме компота, не давала,— оправдывается Клава, кивая в ту сторону,— а уже ньяный.

— Это он еще от спирта лабораторного,— угрюмо бросает Гриня.

Управившись с посудой, Клава присаживается напротив Грини, который все еще трудится над своим огненным гуляшом.

— Где был, что видел, Гриня? — с любопытством спрашивает она.— Скат, что ли, спустил по дороге или от чего другого такой невеселый вернулся?

— Скат — это мелочь бытия, Клава. Изучаю происхождение хамства людского, грубости, черствости, душевной глухоты. Бывает вот так — ни с того ни с сего возьмешь и обидишь человека. Вовсе не желая. Просто по хамству или по дурости. Человеку и так больно, а ты еще припечешь...

— Бывает, Гриня, бывает.

— И глупости — вот чего органически не выносит моя душа. Еду сегодня полями «Большевистского наступления», нигде ни души живой, дорога такая, что как будто после чумаков восемнадцатого столетия до меня никто по ней и не ездил. И вдруг среди просторов, среди безлюдья торчат у дороги... стенды. Огромные стенды, усеянные цифрами. Столько цифр, что в них сам счетно-электронный кибернетический черт ногу сломит. И это для меня. Чтоб я читал, схватывал на лету. И называется это: паглядная агитация. Скажи, Клава, для чего мы делаем это?

— Не знаю,— говорит она пемного виновато.

— Для га-лоч-ки! Для отчета казенного... Потому: привыкли так. А догматики, они и сегодня еще не перевелись. Тот лезет мысли твои проверять, а тот стенды малюет, помпезную арку какую-то строит в степи. Для кого, скажем, въездные арки в «Чабане»? Для каких триумфаторов? И вот, по прописи судьбы, мне нужно к ним ехать, перенимать опыт. Мне, чья кинопередвижка не знает устали, чьи киноленты ни разу не рвались. У меня в фургоне библиотека, у меня на вооружении — магнитофон. Еду, ставлю, записываю доярку... Вот стригут —

слышите овечьи вопли?.. Вот доят — слышите, как звенит в подойнике молоко?.. Живой голос, а не таблицы бездыханые...

— Ты бы и нас когда-нибудь записал, — молвила мягким голосом Клава. — А то целый день, как в парной, в духоте, а чтобы душевным словом с кем перекинуться... Скорее обругают тебя ни за что. — Она почти с опаской взглянула в противоположный угол на техника по осеменению, который как раз глухо мычал, чего-то требуя.

— Запишу, запишу и тебя, Клава, — обещает Грипя, — и подругу твою запишу, — это он имеет в виду Тамару, — хотя она и связала себя с этим никчемным типом.

— Ох, не говори, Грипя!.. Не везет нам ни в любви, ни в облигациях...

— Любови! Не смейся, Клава. Ты мыслишь отжившими попятнями. Сколько раз сама убегала к отцу от своего Тимохи, а еще толкуешь про любовь. Какая сейчас, в атомный век, может быть любовь?

— Погоди, еще сам узнаешь... Встретишь свою.

— Кажется, любовью называют вот то сидение по вечерам в парке, когда он сигарету сосет, а она млеет, склонившись на его грудную клетку? Да, это самое? Транзистор где-то за пазухой или в кармане за них говорит, а они сидят, молчат, прислушиваются к собственному телу. Слушают плоть! Голос инстинкта, крик пола — это теперь все.

— Видать, и у тебя, Грипя, любовная неудача, что ты так злишься... Скажи, запала в сердце какая-нибудь?

Только было Грипя, пасупившись, припился за компот, как в зал, проникнув откуда-то через кухню, растрепанная, влетела Тамара-зоотехник. Она приехала с дальнего участка, чтобы забрать своего забулдыгу. Не впервые же ей сюда так заходить — с тыла, через кухню, чтобы и люди не видели, чтобы не сгорать перед ними со стыда за своего непутевого мужа. Вот она, хрупкая, стройная, торопливо подошла к нему, поклонилась, как к больному, и уговаривает проникновенным, взволнованным голосом. Голос ее красив, музыкален, он так и льется лаской на пьянчугу... Неужели Тамара все-таки любит его? Неужели можно любить грязь, уродство, мрак, окутанный алкогольным туманом? Или это сила супружеской гордости выпуждает ее так вот ездить, подбирать, приводить в порядок своего пропойцу, упорно искать человеческое достоинство там, где его и в помине нет? Для

Гриня просто загадка, как это она, Тамара, красивая дивчина, активистка, которая еще совсем недавно была веселой певуньей, кое с кем даже гордой, сама себя обрекла на то, чтобы сейчас унижаться перед этим никчемным, скотски грубым существом, которому она отдала себя. «Нет, это только самолюбие ее, — объясняет себе Гриня, — это оно гонит Тамару сюда, оно вынуждает идти, унижительно забирать из чайной своего пьяницу, чтобы только скрыть от людей его падение...» Клава тоже помогает подруге, советует ей что-то, а пьянчуга куражится уже на всю чайную.

— Отстань! Иди... — отмахивается он от Тамары и добавляет при этом такое слово, что даже Грине кажется, будто на него плеснули помоями.

А Тамара? Хоть бы пощечину ему отвесила. Нет, стоит, будто и не слышала оскорбления, только целовко ей, что есть свидетели этой сцены; она даже улыбнулась своей измученной улыбкой: не придавайте, мол, значения... Но Гриня придает. Встав, подходит к технику и, деликатно отстранив Тамару, крепко берет его за шиворот. Так и взял — одной рукой за загривок, а другой — железным обхватом — за запястье руки, поднял, поставил на ноги. Техник сразу очнулся и словно бы даже протрезвился.

— Ты... ты... ты разве дружинник?

— Я еще с колыбели дружинник, — процедил Гриня сквозь зубы и толкнул расслабленное тело к двери.

У косяка техник заартачился.

— Ты... не дружинник, — вякал он. — Не имеешь права...

Гриню это даже развеселило, он подмигнул Клаве и Тамаре.

— Как это не имею права? Ты меня просто не узнал! Перед тобой сын севастопольца! Внук махновца! Хавбек родной тебе совхозной команды!.. Так что извини уж! — Он с силой толкнул пьянчугу в узкий проход через кухню, и хотя техник и там упирался, спотыкался, падал, Мамайчук через минуту выволок испачканного мелом техника во двор. Там ждет спрятанная от людских глаз Тамарина двуколка. Запряженная гнедым, стоит она во дворе как раз у помойной ямы.

— Сюда его, сюда, — повторяет Тамара беспокойно, суетливо и еще что-то ласково щебечет, пока Гриня

нешадно втискивает в двуколку этот мешок пропитавшегося алкоголем человеческого тела.

— Спасибо тебе,— говорит Тамара, привычно сев в двуколку и берясь за вожжи.— Спасибо, что помог,— и впервые с тех пор, как Гриня знает ее, одаряет его, Гриню, взглядом такой горячей благодарности, такой нежности и красоты, что ему даже грустно становится после этого.

Некоторое время он стоит один.

— Боже, если ты есть, спаси мою душу, если она есть! — тихо восклицает Гриня, прислушиваясь к удаляющемуся клетоту двуколки.

Потом идет на «пяточок», где теперь стало еще многолюднее. Отец, как и раньше, вертится среди толпы на своей инвалидной дощечке с колесиком. Сып подходит к нему.

— Дай мне, батя, в зубы.

Это он на такой манер просит у отца закурить. И что самое удивительное, отец молча лезет твердыми, запекшимися пальцами в карман своей засаленной гимнастерки, из-под которой выглядывает на груди не менее замызганная матросская тельняшка, долго роется и, добыв наконец из кармана сигарету, подает сыну.

Лясы точит в этот момент Прошка Горбань. Прошка недавно демобилизовался и теперь работает на водокачке, а после работы, идя домой, никогда не упустит случая «покачать воду» и здесь. Легкий на слово, веселый, он любит, собрав толпу зевак, загнать им из своего воинского прошлого что-нибудь ошеломляюще-разухабистое. Служба его якобы заключалась в том, что он с командой бойцов сопровождал важные грузы по железным дорогам страны, бывал и на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке. Нелегко понять, где он врет, а где говорит правду, рассказывая, какие приключения случались в дороге с их боевой командой, да как жили они дружно, да в какие могучие тулупы одевались, стоя на посту ночью в тамбуре на жгучем сибирском морозе.

— А то еще добыли мы как-то в соседнем эшелоне несколько ящиков апельсинов и яблок — такие были краснобокие, наливные, высший сорт,— сверкает улыбка на измазанном лице Прошки.— И, клянусь, не мы пломбы срывали, кто-то до нас уже их поскручивал, а комендант накрыл на этом как раз нашу братву, так мы эти апельсины да яблоки — куда? Раз, раз — да в стволы пу-

шек! Да брезентами сверху! А когда состав тропулся и комендант остался далеко, мы тогда к пушкам, открываем замки, а оттуда золотые да краснобокие наши ядра на платформу как сыпанут! Бери, братва, угощайся!.. Вокруг мороз, а оно под ноги тебе, словно бы только что с дерева: красное, свежее, еще и пахнет...

— Вот такими б ядрами только и стрелять, — задумчиво говорит дед Смык, столяр из мастерской. — На такую войну и я согласился бы.

— Вранье... Все вранье, — сердито говорит Мамайчук-инвалид, мотнув взлохмаченной головой и заскрежетав колесиками. — Сталью стреляют, рваным горячим железом, а не яблоками твоими пахучими!

— Теперь уже другие штуковины есть, — говорит завгар Семен Кухтий, пожилой отяжелевший мужчина. — Однажды ехал я к шефам, море да степь без конца. Смотрю, где-то там над морем стоит этакая катапульта. Куда там «катюшам»!.. Агрегат!

— Таких лучше не трогай, — угрожающе усмехается Прошка.

— А подумать, — тихо говорит дед Смык, — всей этой силой страшной какой-нибудь сержант молоденький заведует.

— Что там заведовать, — машет рукой Прошка. — Команду дали, кнопку нажал — и все!

— Брехня, — поникнув головой, сердится Мамайчук-инвалид. — Кнопка... Возле кнопки тоже нужно с умом. Не всякий сможет. Ты вот этого заставь, сумеет ли. — Налитые оловом глаза поднимаются вверх, на сына.

— Сумел бы, не беспокойтесь, батя.

— А почему же военком возвращает тебя? Только остригут, да и получай, батяка, сдачу... Пойдет в шерсти — вернется стриженный. Доколе они тебя стричь будут задаром?

— Я не отпрашивался. Возвращают из уважения к отцу-ветерану.

— Доведешь ты меня... Осенью скажу военкому, пускай забирает! С тебя там ворс малость повытрут.

— На волоске, на волоске весь мир держится, — бубнит свое дед Смык. — Тот, что стоит у них там возле кнопки... Или же с водородной бомбой целую почь в воздухе летает... Разве ему долго до беды? Помутился ум, кто ему помешает нажать на кнопку?

— Пускай только попробует, — весело кивает в сторону моря Прошка. — Психает он, психану и я!

— Веселельские разговоры, — берется за велосипед комбайнер Грицюта.

А Мамайчук-младший, кольцами пуская в небо дым, добавляет злобно:

— Не люди, а гуси в паше время решают судьбу мира. Известно вам, что обыкновенные наши дрофы и дикие гуси на экранах локаторов изображение дают? Когда-то было в истории, что гуси Рим спасли, а теперь, наоборот, они могут не то что Рим — всю планету превратить в пепел! И после этого еще хотят, чтобы я был пачинеп оптимизмом...

— Врать... Все врать... — бормочет отец, и попурпная голова его вяло падает на грудь, на засаленные, облезлые колодки ордепов. Обрубленное тело разморено, грузно оседает; кажется, оп вот-вот пошатнется и свалится со своих колесиков.

Сын подхватывает его.

— Эй Пора, батя, спать.

И то, что он делает после этого, заставляет умолкнуть всех. Наклонившись, молодой Мамайчук, как ребенка, берет отца на руки, берет вместе с его колесиками и, твердо, осторожно ступая, несет к фургону, что стоит поблизости, за кустами тамариска. Отец и не противится, ему это не впервые; он лишь сонно что-то бормочет, склонив голову на плечо сына, который, идя со своей ношей сквозь заросли тамариска, раздвигает их мягкие ветви головой.

Прогромыхал фургон, уехали Мамайчуки, окутанные сухой красной пылью, а рабочие еще долго сидят приумолкшие, невесело глядя на то место, где после колесиков севастопольца остались глубокие следы, хаотически вдавленные в размякший за день асфальт.

Единственное на весь совхоз двухэтажное здание средней школы возвышается над темной зеленью парка, издалека видны в стени его большие окна и голубой фронтон. Как улей, гудит школа зимой, всю весну ее двор наполнен детским гамом, пока не настанет накопец тот день, когда для десятиклассников прозвучит их последний звонок. Тогда малыш-первоклассник в восторге будет долго трезвонить в коридоре тяжелым колокольчиком. А опи, завтрашние выпускники, примолкнут, с затаенным волнением вслушиваясь в знакомое дребезжанье, которое столько лет созывало их в класс, а вот теперь звучит прощально и наполняет душу предчувствием чего-то нового, неизведанного.

Вот и прошло напряжение экзаменов. Наступил выпускной вечер, столы из физического кабинета вытащены во двор и расставлены под деревьями, тут же пристроена и клубная радиолa для танцев. Правда, она пока молчит, потому что весь шум еще на втором этаже школы, откуда через открытые пастежь окна то и дело долетают аплодисменты: там вручают аттестаты зрелости.

А когда утихнут аплодисменты, отзвучат слова напутствий и поздравлений, когда отличница Алла Ратушная всхлипнет, прощаясь от имени всех одноклассников с родпой школой и учителями, а директор совхоза Пахом Хрисанфович своим скрипучим голосом пообещает выпускникам в благодарность за их активное участие в производстве дать грузовик для экскурсии,— после всего этого участники вечера высыпят во двор, и Гриппя Мамайчук, ответственный за радиолу, как сюрприз для виновников торжества, заведет ту самую мелодию, под которую Земля провожала Гагарина в полет.

И как это здорово получается: выпускники, родители и учителя — все слушают знакомую мелодию, а из-за совхозного парка восходит месяц; и хоть он почти полный, но все равно этого небесного фонаря сегодня для них недостаточно, и вот под звуки музыки раздается шутилая команда директора школы Павла Юхимовича:

— Свет!

И тут же слышится мальчишеское, озорное:

— Есть свет!

И сразу все ослеплены, как вспышкой кипюпитеров, потоком яркого света от множества электроламп, которые днем гроздьями развесили на деревьях Кузьма и Виталий, главные осветители сегодняшнего торжества.

Музыка льется, а члены родительского комитета уже приглашают всех к праздничному столу; долговязый майор Ядуба в тщательно выглаженном костюме из китайской чесучи, с вдохновением в холодных глазах, энергично распоряжается, распределяет места, внося поправки на ходу. После неизбежных в таких случаях колебаний и замешательств участники вечера в конце концов рассаживаются, чиппо занимают места за лабораторными столами, на которых сегодня поставлены не колбы и реторты, а буфетные деликатесы и бутылки с лимонадом. Поодаль от столов под кустами, правда, лоснятся и бочонки с вином своего совхозного производства, но они пока еще пребывают на каком-то полулегальном положении, ибо майор Ядуба, как член родительского комитета, до последнего момента был категорически против хмельных напитков на школьном вечере и, кажется, только в последнюю минуту смягчился, когда узнал, что дочка его Лина получила серебряную медаль. А это событие! Поглядев на отставного майора со стороны, можно подумать, что он сам лично получил эту медаль, — так горделиво, уверенно держится его седая голова на длинной вытянутой шее. Радость отца усиливается еще и тем, что медаль, доставшаяся Лине, выскользнула из рук другого претендента — Лукиного сына, который перед самым финишем на чем-то споткнулся, схватил пару четверок и получил не медаль, а дулю в пос! Такой поворот дела просто осчастливил Ядубу, — пусть знает председатель рабочкома, как надо воспитывать своих детей! Лукню это, видимо, сильно задело, зато ее сын, этот радиохулиган, этот пезадачливый «гений в трусиках», кажется и в ус не дует, он вовсю улыбается, кого-то опять высмеивает

в толпе ребят, которые стоят тут же и с проницательными гримасами разглядывают этикетки на бутылках лимонада (лимонад поставлен десятиклассникам как раз по предложению Ядубы). Майор чувствует в этих мальчишках какое-то насмешливое неуважение к нему лично, и хотя он сегодня и добр и великодушен, но когда в его поле зрения оказывается беспашаный, веселый Лукин скептик, или ротастый сын Осадчего, ростом уже перегнавший отца, или, наконец, неприязненно учтивый Стасик-переселенец в вышитой гуцулке, то густые брови Ядубы невольно сдвигаются, а взгляд становится тяжелым, сверлящим.

Дочку свою Ядуба посадил так, чтобы она была на виду, у него на глазах. Да, наконец, как медалистка, она имеет теперь полное право сидеть ближе всех к поперечному столу, за которым размещается, так сказать, президиум сегодняшнего вечера.

Лина, худощавая, серьезная девушка, с большими, как у отца, блестящими глазами, сегодня не в стандартной школьной форме с передничком, а, как и большинство девушек, в белом выпускном платье, из выреза которого выступают остренькие ключицы. Медаль далась Лине нелегко: под глазами подковами залегла синева. По несвободной, скованной позе девушки видно, что она все еще сильно возбуждена и как бы сама еще не верит в своей медали, и своему первенству. Ее темные, широко открытые глаза смотрят на отца словно с испугом; этим взглядом, и красивым изгибом шеи, и даже ключицами, которые как-то непривычно беззащитно выглядывают из выреза платья, она сейчас удивительно похожа на свою мать в молодости. Теперь у нее уже не мать, а мачеха: первую жену майор Ядуба похоронил еще на Севере.

Полжизни Ядубы прошло там, где вечная мерзлота и полугодовые ночи, где его власть над лагерным людом была почти безграничной. Люди, поступавшие под его руку, были преступниками, клеймо преступлений проклятием лежало на них, делало их бесправными, обрекало на полное и безусловное повиновение. И хотя позже выяснилось, что большинство из них было заговорщиками заговоров, сфабрикованных диверсантами без диверсий, шпионами без шпионажа и все их собственные признания были лишь плодом чьей-то больной фантазии или собственного кровавого бреда, однако не ему, Ядубе, было разбираться тогда, кто из них виноват, а кто невиноват. Его делом было неуклонно выполнять свои обязанности, и он

их выполнял. И вряд ли кто скажет, что он, «гражданин начальник», как его там называли, действовал противозаконно, давал кому-нибудь карцер ни за что. Хорошо поработаешь — получишь от лагерного начальника двойную пайку хлеба, перевыполнишь норму — он тебе еще и «премблюдю» в виде тарелки сырой картошки даст, и ты можешь распоряжаться ею сам, по собственному усмотрению.

Там, в суровых просторах Севера, в тяжелые лагерные ночи увидели свет все три его дочери. Подрастая, они не знали, что такое винограды, они не умели есть яблоки, зато сызмальства привыкли грызть сырую картошку, дававшую им витамины. И когда наконец Яцуба вынужден был уйти в отставку и переехал, как пенсионер, сюда, то Лина, его любимица, нередко и тут, в краю южного изобилия, среди бахчей и виноградников, принималась грызть зубеками сырую картошку, вызывая смех у совхозных детей.

Ряди своей Лины отец готов хоть на дыбу, оп ничего для нее не жалует, дома все подчинено одному — здоровью Лины и ее учебе. Не может девушка пожаловаться и на свою мачеху, бывшую лагерную фельдшерицу, которая ни в чем не перечеит не только Яцубе, но и его дочке.

К Лине мачеха неизменно внимательна и даже предупредительна с нею, и скорее она сама могла бы упрекнуть падчерицу за упорную ледяную холодность, которой Лина словно хотела наказать мачеху за грех ее любви к отцу. Она не может им обоим простить того, что близость между ними возникла, когда тяжело больная мать была еще жива. Этот холод и внутреннюю отчужденность отец улавливает в глазах Лины и сейчас, хотя она прикрыта внешне как бы паугаппостью. Даже в этот вечер, когда руки ее так трепетно принимали серебряную медаль и аттестат зрелости, она почти не оживилась, не повеселела, ее сердце не оттаяло после вчерашней ссоры с отцом. Ссора возникла из-за пустяка — речь зашла об оформлении документов для паспорта, и отец имел неосторожность предложить дочке переменить имя: настоящее ее имя было, собственно, не Лина, а Сталина. Этот совет отца переименоваться Лина-Сталина восприняла бурно, она вскипела и раздраженно бросила:

— Я вам не колхоз, чтобы меня переименовывать! Раньше надо было думать!

И в самом деле, почему не подумал? Но ведь все казалось таким твердым и надежным, рассчитанным на тысячелетия... А тут едва до паспорта доросла, и уже осложнения. Выходит, что сам ты виновник этого пусть маленького, а все-таки пятнышка, которое останется на ее биографии, во всех ее будущих анкетах. Это непременно надо поправить, все, что касается дочери, должно быть чистым; ее чистотой он как бы хочет защитить и самого себя, отгородиться ею от прошлого, от лагерей, преступлений, от всего, что чем дальше, тем больше начинает тяготить, угнетать.

Все присутствующие уселись за столы. Директор школы, поднявшись, просит внимания. Но в это время появляется еще один желанный гость, за которым бегала целая делегация: капитан Дорошенко. Топя и другие девушки-выпускницы, пригласившие капитана, так и сияют — глядите, мол, кого привели!

Дорошенко приветливо и неторопливо здоровается со всеми. В своей капитанской фуражке и белом кителе он производит приятное впечатление бодрого и сильного человека. Впрочем, всякий раз, когда он приезжает к матери, он предстает перед всеми именно таким: свежим, подтянутым, щедро омытым тропическими ливнями, загоревшим под южным, нездешним солнцем, овеянным ароматами далеких морей. Капитана усаживают на почетном месте — между Лукней Назаровной и директором школы, а майор Яцуба через головы людей протягивает руку капитану — они ровесники, когда-то в комсомолии рядом начиналась их юность.

— Вновь сходятся наши дороги, Иван! — громко говорит Яцуба. — А надолго ж они разошлись! Пока ты плыл по чужим морям, по кабаре да по шаптам сигарами дымил, мы тут культы создавали да сами же их и разваливали...

Перехватив серьезный взгляд дочери, Яцуба с гордостью указывает на нее капитану:

— Вот моя медалистка, и по учебе первая, и цветы выращивает — земли не чуждается... Еще и на инструменте играет!

Наклоном головы капитан приветствует девушку, досадливо нахмурившуюся от этой неуместной отцовской похвалы; так же здоровается он и с хлопцами-выпускниками, между которыми как раз втискиваются и их одноклассницы, те самые, что ходили за капитаном.

С ироническими усмешками берут хлопцы бутылки сидро и лимонада, которые педагогично выстроились вдоль стола, наливают этот детский напиток сначала себе, потом девочкам, а одна из них — игривая такая смуглянка, почувствовав на себе взгляд капитана, шутливо предостерегает кавалеров:

— Только не очень перепивайтесь, хлопцы, а то не с кем будет танцевать!

Лукия, нагнувшись к капитану, чуть слышным шепотом поясняет ему, что это дочка Горнищепко-чабана.

— Ох, и сорвиголова! Кто-то от нас натанцуется...

И при этих словах она невольно бросает быстрый беспокойный взгляд на своего Виталика, который съездившись, сидит рядом с Тоней.

«Ах, вон оно что...» — улыбается капитан своей догадке.

Ему нравится эта юная пара. Паренек сидит чуть смущенный соседством с пею, с этой юной школьной красавицей, а она так и постреливает кругом блестящими, как подернутая росой вишня, глазами, не может усидеть и минутки спокойно, смеется, слегка кокетничает, чувствуя, что хороша и что ей сегодня дозволено покрасоваться, распустив волнистые волосы по плечам.

— Славный у тебя сын, Лукия, — говорит капитан, задерживаясь взглядом на Виталике. Ему так хотелось бы узнать, что скрывается за этим упрямым мальчишеским лбом под выпуклым соломенным чубом, из-под которого то и дело весело поблескивают искорки зорких глаз. — А будто бы только вчера я его на руках держал...

Рядом с Тоней и Виталием — их одноклассники, по всем уже узнает капитан. Чей тот широкобровый? А чья эта? Растут как из воды! Сколько разоряли этот край, сколько истязали людей!.. Цветущую молодежь, вот таких же, как эти, совсем юных сынов и дочерей народа, подростков, почти детей, вылавливали в степях и отправляли на Запад в вагонах с решетками, выжигали на руках и в сердцах невольничьи клейма... Скольким старшим сестрам и братьям вот этого младшего поколения так и не суждено было вернуться из фашистских каменоломен, с каторги подземных заводов, из концлагерей, овеянных смрадом кремационных печей!.. А жизнь идет вперед, новой красотой расцветает степь. И как бы в ответ всем обанкротившимся завоевателям мира звучит пыле молодой смех, бушует под звездным небом веселье этих жиз-

перадостных, опаленных солнцем юных степняков и степнячек... Налитые здоровьем, широкобровые, с крепкими руками, познавшими радость труда, с чувством собственного достоинства, которое пробивается в каждом, все они пока как бы в брожении: то вдруг станут серьезными, то снова беспечно расхохотутся, как дети, вспоминая что-то смешное, вроде того случая, когда впервые вошли в эту свою школу-новостройку, а в ней еще пахло тогда свежей краской, и к чему ни притронешься — все липнет. Помнится, тогда на уроке физкультуры в спортивном зале физрук скомандовал:

— Нале-во!

А пикто не мог повернуться налево: пятки прилипли к полу!

— Нале-во! Напра-во!

А они продолжали стоять, словно прикованные к месту, а потом все сразу вдруг расхохотались. Не выдержал и учитель, тоже рассмеялся, так и не сумев повернуть их ни направо, ни налево.

Вспомнили они это забавное происшествие, посмеялись и снова притихли... Задумчивы хлопцы, задумчивы и девочки, и эта задумчивость делает их как бы взрослее, словно переносит каждого в завтрашний день, в тот иной мир, из которого к ним пока что долетает одна только музыка. В их возрасте он, капитан, уже плавал поварепком па байде, возил арбузы в Одессу. Рапо ему пришлось пройти школу житейской закалки. Самой заветной мечтой тогда было побывать в кругосветном плаваньи. И вот побывал, пронес знамя революции по всем океанам и снова вернулся на родной берег. С разными людьми встречался, за разными столами сидел Дорошенко в своей кочевой жизни, но нигде он не чувствовал себя так покойно и хорошо, как здесь, в этом обществе, где он может вдоволь любоваться красотой своих степных орлят, видеть, как за другим концом стола уже поднимается чабан Горпищенко с крепкой граненой чаркой в руке.

— За ваше здоровье, дети! — провозглашает он. — Чтоб были вы счастливы да чтоб войны на вас не было!

Булькает, переливаясь из бочопка в графины, доставленное из совхозных подвалов вино. Вот уже и перед хлопцами-выпускниками стоит паполненный мутной жидкостью графин, — то вино бродит в нем своей молодостью! Запротестовать бы Ядубе, по тут и Ядуба в приливе великодушия отступает от правила.

— Ну, по такому поводу, пожалуй... по шкалику можно. Как представитель родительского комитета разрешаю:

Хлопцы растроганы, шепотом произносят тост за «нашего родного Держиморду» и выпивают, а длинная шея Яцубы еще больше вытянулась, острый хрящеватый кадык торчит, как будто там застряла кость, голос звучит громко, отливая металлом, — законодатель стола не забывает о том, что пельзя выпускать инициативу из своих рук, он везде распоряжается, пытается организовать построение, одного призывает выступить, другого, наоборот, придерживает. Даже сам директор школы, оглушенный голосом соседа, как-то притих, добровольно уступив отставнику свои права. Не под силу только оказалось Яцубе прибрать к рукам чабанское крыло стола, где снова встает нахохлившийся, властный, взлохмаченно-седой Горпищепко и, сам предоставив себе слово, провозглашает здравницу за моряка, за капитана, который «выполнил плавание кругосветное».

Тост чабана поддерживается одобрительным гулом и знакомым перезваниванием вдоль всего стола, а сам чабан и после этого не садится. Намолчавшись в стену, он сейчас хочет поговорить и рассказывает о том, как он тоже, собственно, побывал в кругосветном странствовании, хотя и проделал его не по воде, а по суше. Все заинтересованы, всех заинтриговал старик. Кто-то из чабанов выражает свое недоверие:

— Да когда же это ты успел вокруг света?

И Горпищепко объясняет, что было это во время эвакуации, а начиналось в Чолбасах, где перед отправкой чабаны гуртовались в кучегурах с отарами.

— И как тронулся я с овечками тогда с чолбасовских кучегур, так лишь на другое лето опять с такими же кучегурами повстречался. «Где же это я? — думаю. — Не в Чолбасах ли снова очутился, земной шар с отарой обогнул!» — «Нет, говорят, ты в Азии, это азиатские пески вокруг». А я все свое: «Вот тебе, думаю, шел-шел — и снова в Чолбасы пришел!..»

— Да-да, у меня татко в самом деле кругосветник! — воскликнула, весело сверкнув глазами на капитана и своих одноклассников, Тоня.

Тем временем Яцуба, улучив момент затишья, встает и обращается к выпускникам с обстоятельным напутствием от родительского комитета. Особенно настойчиво призывает он хлопцев, переступая рубикон в самостоятель-

ную жизнь, не поддаваться влиянию хулиганов, не безобразничать, быть дисциплинированными и трудолюбивыми, по возможности избегать алкоголя и табака.

— А то теперь — только отстал от соски, как уже хватается за папиросу. В наше время, помнишь, Ивап, какие были методы воспитания? — обращается он за поддержкой к капитану Дорошенко. — Помню, еще пастушком был при отаре, надумал закурить, а спичек нет. Смотрю, человек по степи едет, кричу ему: «Дядько, дайте прикурить!» А он: «Подойди ближе, сынок...» Подхожу, а он кпуют ка-ак полоснет! Полоснул раз, полоснул другой! Так угостил, что и до сих пор не курю!

Слушая майора, хлопцы украдкой под столом пожимают друг другу руки, дают полусшепотом коллективную клятву, что будут жить правильно, на виноград майора зариться не станут и пальцем не притронутся к его калитке, по которой хозяин ночью будто бы электрический ток пропускает...

— Вы вот там перешептываетесь, ласмехаетесь над старшими, — бледнея, говорит Яцуба. — Для вас мы — культовики, а ведь, может, и наша жизнь не напрасной была, для вашего же счастья фундамент закладывали...

И, заставив этим молодежь примолкнуть, Яцуба начинает рассказывать про знаменитое событие этого края, про известное восстание батраков в Бритапах в конце двадцатых годов — одним из руководителей этой стачки был и он, молодой тогда батрацкий деятель Яцуба.

— Первая в истории забастовка, поддержавшая Советской властью! — с гордостью восклицает майор. — А как мы ее организовали! На весь мир прогремела! Разве я не правду говорю? — обращается он к капитану Дорошенко за подтверждением, и тот с улыбкой легким кивком головы свидетельствует: да, мол, было, было...

Поощренный вниманием, Яцуба страстно, горячо, как о чем-то совсем близком и еще не угасшем в памяти, рассказывает молодым людям о тех незабываемых днях, когда днепровские батраки-пикетчики, бросив одновременно работу, с красными повязками на руках круглосуточно дежурили на виноградниках; целыми ночами заседал стачечный комитет. К каким хитростям тогда пытались прибегать арендаторы, чтобы сломить волю забастовщиков! Мировая капиталистическая печать подняла тогда ужасный шум, изображала концессиоеров-виноделов невинными овечками, жертвами большевистской травли.

— А в действительности кто они были, все те люччиппи, бертье, гоасы, шульцы?

Побледневший, разволнованный Яцуба так и сыплет именами своих давних классовых врагов, иностранноподанных концессионеров, которые, владея огромными виноградными плантациями на берегах Днепра, были, мол, не столько арендаторами, сколько шпионской агентурой, специально засылавшейся на Украину чужеземными державами.

— Вы спросите, где же были мы, почему это им удавалось? А потому удавалось, что сверху им оказывали поддержку троцкисты и бухаринцы, осевшие тогда в разных земельных и фипансовых органах. Зато уж для них арендаторы не скупилась: вагонами отправлялось вино из хозяйских погребов и в Харьков и в Москву. А за границу? Помнишь, Иван? Отправляют партию шампанского, а между вином в порожних темных бутылках посылают буржуазии и разные шпионские данные про нас.

— Этого я что-то не припоминаю,— шутливым тоном замечает Дорошенко.

— Ну, где тебе припомнить! — недобро блеснул Яцуба своею стальнотупой усмешкой.— Сам полжизни — по заградицам! Может, еще с ними же и распивал это шампанское, которое мы здесь давили?

— Может, и распивал...

— То-то же! Долго бывать в далеких плаваниях — это, брат, того... Сам не заметишь, как чужим духом падышишься, иных наберешься привычек и обычаев...

— Кажется, ты немало общался с карманными ворами,— взглянула на Яцубу Лукия,— а все же сам карманником не стал?

Громкий хохот, прозвучавший после этого, не сбил Яцубу с панталыку. Он переждал, крепко сжав губы, и, верно, собирался еще говорить, но дочь поглядела на него через стол с мольбой и досадой.

— Хватит уже, хватит!..

И поморщилась, как от боли.

Только после этого Яцуба сел.

Лина, понурившись, думала об отце, о его рассказе, который она слышит не впервые. Хоть она и знала, что все это чистейшая правда — отец ее действительно был когда-то батрацким вожакom во время стачки, ходил пикетчиком с красной поязкой, охраняя плантации, где несобранный виноград на корню перезревал, лопался

и гнил, знала, что отец заслуги свои может перед кем угодно засвидетельствовать документами,—однако сейчас она никак не могла освободиться от чувства досады, не до конца осознанного раздражения. Во всех отцовских поучениях ей слышалось нечто такое, что внутренне всякий раз коробило ее. «Верю, верю твоим заслугам,—хотелось ей сказать,—но если ты был таким борцом тогда, то как же ты мог впоследствии все это растерять, забыть, как мог примириться с тем злом, которое окружало тебя, а порой и привлекало в сообщники?»

Липа знает, как самозабвенно любит ее отец. Он и сюда, на степной юг, переехал главным образом потому, что она часто болела, а он хотел обеспечить ей сухой воздух, солнце, душистое лето. Все это он ей дал, все у нее есть, она стала физически здоровой и школу закончила с медалью, овладев знаниями, которые предусмотрены школьной программой. Но всем своим существом она жаждет постичь еще одну науку, может, самую глубокую, науку о том, как надо жить человеку, чтобы никогда не грызла совесть, чтоб не было стыдно за тебя твоим детям... Разве нормально, что Липе то и дело приходится стыдиться своего отца, что ее постоянно раздражает его уверенность в собственной непогрешимости, стремление перевоспитать всех на свой лад, все регламентировать, каждому навязать свои представления, привычки, вкусы?..

Поймав усмешку на лице кого-нибудь из хлопцев, он уже придирается:

— Ты не ухмыляйся, милейший, не ухмыляйся, слушай, когда старшие говорят...

И снова апеллирует к капитану:

— Все высмеивают, все критикуют! Сам еще подросль, а уже критику наводит... Слишком много вас таких!—все громче кричит отец.

И Липа вынуждена заметить ему:

— Не кричи.

— Я не кричу! Это у меня голос такой!

Но она повторяет с пажимом:

— Не кричи...

И в ее голосе слышатся уже такие нотки, которые заставляют отца умолкнуть. Он с удивлением впирается в нее своими глубоко посаженными темными глазами. Липа не отводит взгляда, и отец читает в нем что-то похожее на непокорность, только не может толком понять:

откуда это? Вообще сегодня он просто не узнает ее. Неужели аттестат придал ей дерзости? Делает замечания, пьет вино, с независимым видом цедит эту молодую муть, которую ей подливают сидящие по соседству хлопцы. Вот так сразу, в один вечер она как бы стала совершеннолетней; и майор чувствует, что этот пронизывающе-придиричивый взгляд начинает его тревожить, он как бы вытягивает что-то из глубоких тайников его жизни, о чем-то напоминает, ведет дознание о том, что он предпочел бы навсегда, бесповоротно забыть.

А на другом конце стола, где сидят чабапы, разговор заметно оживляется, чабапы становятся все взъерошеннее, к ним переключался и Пахом Хрисафьевич, там уже большинство учителей и членов родительского комитета.

— В хурду его! В хурду!..— слышатся оттуда громкие чабанские возгласы.

И учительница английского языка — беленькое, как утенок, создание — испуганно оглядывается по сторонам. Поэтому Грицько Штеревея вынужден пояснить ей, что это совсем не ругательство, а просто название отары, в которую при отборе выбрасывают самых худших овец — больших и покалеченных.

Отец Тони в этом кругу самый взлохмаченный, он уже покрикивает на молодого Мамайчука и герлыгой постукивает:

— А разве не радуется душа, когда стрижешь барана, а на нем руно!.. Такое руно, что раскинешь и — на весь сарай!..

С блаженной оторопью слушает этот гомоп Стасикова мать; переселенка, она еще не совсем обвыкла в этих краях, сидит среди здешних людей, неподвижно-торжественная в ярко вышитом уборе, и только нет-нет да и взглянет счастливо, как на солнце, на своего сына.

А Тоня тем временем уже стреляет своими карими в сторону капитана Дорошенко.

— Скажите, вы на острове Паски были?

— Не Паски, а Пасхи,— чуть слышно поправляет ее Виталий.

— Не имеет значения,— громко возражает Тоня.— Верно, что там люди голыми ходят?

Капитан смеется, а Лина Ядуба, не сводя с него серьезных глаз, задает ему вопрос, давно уже, видимо, мучивший ее:

— Расскажите, как вы жили? Были вы счастливы?

Капитан некоторое время сидит молча, лицо его хмурится. Как он жил? Был ли он счастлив? Не так-то просто на это ответить. Ожидая его слова, старшекласники внимательно глядят на него. Для них капитан Дорошенко — человек завидной судьбы, им нравится его необычная профессия, привлекает его манера держаться, деликатность, внешняя подтянутость и какая-то свежесть, которой так и веет от него. Хотя виски уже серебрятся, по с виду капитан еще моложав, у него здоровый цвет лица, особенно если припять за признак здоровья и этот вызванный высоким давлением пылающий румянец... В глазах задумчивость и ум...

— На судьбу не жалуюсь, — молвил словно бы сам себе капитан. — Было и счастье. Дружба была. Знаете, какая у моряков дружба крепкая?

На морском кителе, обтягивающем могучие плечи Дорошенко, — якорь, цепь и секстант. Мальчишки не отрываят глаз от этого значка со знаменитой морской тройкой. Цепь и якорь — серо-стальные, секстант — золотой. Поговаривают, что и капитан — в отставку. Неужели отплавал свое, неужели теперь только степные ветры будут покрывать пылью этот золотой секстант, и якорь, и цепь?..

Хлопцев разбирает любопытство.

— Расскажите про ваши плаванья... Как вы капитаном стали?

Дорошенко, улынувшись, задумчиво, как будто о ком-то постороннем, начинает рассказывать им про одного смешного парубка, который с торбой за плечами, в чабанской свитке пришел некогда из степей в Лиманское с мечтою... увидеть океан. Рассказчик чуточку грустно посмеивается над этим пареньком, но все чувствуют, что он рассказывает о себе. Ведь именно в их возрасте отправился он отсюда в свое житейское плавание, именно таким парубчаком — в свитке, с торбой — подался на заре юности в Лиманское...

Хлопцу грезились тогда паруса до неба, пальмы еще не открытых архипелагов, а пришлось наняться кастрюльником к збурьевскому дядьке-капитану.

И, погружаясь в воспоминания, Дорошенко поясняет, кто они были, «дядьки-капитаны», ибо мало кто знает теперь, что дядько-капитан — это был характерный тип местного мореходца — выходца из Олешек, из Збурьевки или из других береговых сел Днепровского гирла. На

всем Черном море отношение к ним было насмешливо-ласковое, шутливое, их еще издали узнавали в портах.

— А, збурьевские! — И на лицах расплывались улыбки.

Мпожество разных прибауток ходило о них по Черноморью, потешая матросов и на своих берегах, и в тавернах чужих портовых городов. Вот он vyplывает из-за олешковских камышей, этот их усатый Одиссей...

— Дядько-капитан! — зовет кто-то с берега. — Со средю вас!

— Га?

— Со средю!

— Га? (Далеко, не слышно за ветром.)

— Со сре-до-о-ю!..

Тот паконец застопорил машину (когда машина есть) или свернет парус, если идет под парусом, и начинает править ближе к берегу.

— Что ты кричал?

— Со средю, говорю, вас...

— А чтоб ты утонул, разбойник... Сегодня четверг!..

И плывет себе дальше.

У такого дядьки-капитана должен быть, конечно, и юнга, то есть мальчишка на дубке или на байде (так называлось его суденышко).

— А ну, прыгай, Ванько, замерь глубину...

Прыгнешь, измеришь.

— До пупа!

— Ишь верно!.. И у меня на морской карте так указано...

Крутоваты и прижимисты были эти дядьки-капитаны, и хоть без большого образования, но в кашу себе плюнуть не давали: имели высокое мнение о своем мореходном искусстве, дорожили обычаями старины, считали, что происходят от запорожских казаков и что Збурьевка их возникла как раз там, куда «из бури», из открытого моря, заходили переждать непогоду запорожцы на своих неуловимых, обшитых камышами чайках...

Поговоркой стало среди них: «Мы, збурьевчане, как англичане, только говор не тот».

Шутки шутками, но спросите где-нибудь, хоть на краю света, моряка-черноморца, откуда он? И чаще всего он окажется збурьевским или олешковским. Из поколения в поколение пополняют они Черноморский флот капитанами, матросами, а днепровский лиман — лодчанами.

Да и в наше время дают прославленных капитанов, героев-подводников и отважных китобоев. Тогда, в двадцатые годы, к айсбергам Антарктики еще не ходили, а зато ведь они, степные мореходы, проложили тогда своими дубками так называемую «Золотую линию» от Олешек до Одессы, линию, по которой плыли каждое лето в черноморскую столицу дары украинских степей — полосатые арбузы «херсонские» да «туманы», — от них целая гавань в Одесском порту так и называлась Арбузной...

И вот с этой арбузной «Золотой линией» и вышел юноша Дорошенко в широкий свет. В отдаленнейших гаванях мира давно знают его в лицо; и, когда он появляется, тамошние называют его в шутку «Иван с Украины».

Для него уже не осталось на планете экзотики. И когда он в беседе упоминал о Кейптауне или Пирее, то это звучало в его устах так же привычно, как Лиманское или какая-нибудь степная Ивановка.

Однако тогда, в юности, надо было очень сильно любить море, чтобы не разочароваться, попав на дубок к дядьке-капитану, где сваливается на тебя самая будничная работа, где вместо компаса и лопий изволь кастрюли да рыбу чистить! Вместо того чтобы бороздить синие просторы океана — извозничай по побережью, вози руду из Потти до Мариуполя или цемент из Новороссийска... Дядько-капитан был усатый, дебелий, крутого права. Черное море он рассматривал как свое домашнее, и паука судовождения у него была упрощена до крайности:

— Напрямки!

Вот так и начиналась его, Дорошенко, житейская дорога. Не раз после того огибал он планету, но где бы ни был, с этой или с противоположной стороны земного шара, он всегда своими мыслями стремился сюда, в часы радости и грусти неизменно возвращался в это степное село, в это пыльное, как бы забытое место планеты, которое было ему всего дороже. Маленькая точка на Земле, далеко не райский уголок, черные весенние бури, овечьи кошары и молочай, а душа его отовсюду рвалась именно сюда, только здесь всегда находила она покой, дружбу и любовь, наполнялась силой.

Ходил он и на учебном паруснике, и на транспортах-сухогрузах, и на танкерах. Не мог не улыбнуться, вспоминая, как однажды, давным-давно, доставили из Канады партию закупленных коней, диких, необъезженных, настоящих мустангов. Спускали их с палубы на берег, и тут же

береговые хлопцы кидались на крутые их шеи, ловили, а в стороне стоял Буденный и, довольно покручивая усы, улыбался.

То была его, капитанова, молодость.

Но больше всего запомнился первый самостоятельный рейс. Сейчас на судах разные приборы, постоянная радиосвязь, локатор показывает тебе все, что падо, а тогда компас, секстант, карта и — счастливого плавания! Почти как во времена Колумба. Идешь ночью и не знаешь, впереди ты своих вычислений или позади, слева ты или справа, — ведь с точностью не предусмотритишь, какое здесь течение, замедленное или, наоборот, тебя вперед отнесло. Надейся только на свою интуицию моряка... А перед тем суровые экзаменаторы, бывалые морские волки, проверяют тебя, твою готовность к далеким плаваниям.

— Расскажи, как будешь плавать по Дуге Большого Круга? Прохождение океанов... Пассе ошен — расскажи!

И спова труд. Возил руду в Балтимору, брал канифоль в Мексике, на Камчатку соль доставлял — в непрерывном труде проходила жизнь. Бывали штиты, были тайфуны, слышал, как трещат мачты, шел, как в бой, на громахание, на стои ревуищих сороковых широт... А может, в этом и есть оно, счастье? В напряжении, в борьбе, в полноте жизни?

— Вы не знаете этого, но знайте. Идем, бывало, где-нибудь в Эгейском. Мы же комсомольцы, а все суда нас обгоняют. Англичанин обгоняет, норвежец, грек... Обидно, даже зубы, бывало, сжимаешь: «Когда же нас перестанут обгонять?! Когда же мы их на морских путях обходить будем?!» Сегодня вам не пришлось бы краснеть за наши флот. Не обгоняют уже нас, теперь наши флаги не диво в самых отдаленнейших портах мира. Встретишь их на Кубе, и в гаванях Африки, и на просторах Индийского и Тихого океанов...

Капитан умолкает, поглощенный своими мыслями. Десятиклассники не спускают с него глаз. Он для них словно сподвижник Магеллана, один из тех людей, что способны восхищать.

«Хотела бы я посить в груди такой жар любви! — думает Липа Яцуба, неотрывно, немигающим взглядом изучая капитана. — По всему миру пропес он знамя своей отчизны, чувствуется, что жил и живет для своего народа, этому подчинено в нем все... Для нее, для отчизны, преодолевал бурные сороковые широты, и для нее же он про-

сто, по-будничному заботился о порядке на судне. Его подтянутость, такт, культура, наверно, тоже приобретались прежде всего ради нее, ибо ведь «Иван с Украины» и должен везде достойно ее представлять. Вот такую бы иметь волю, ясность, такую целенаправленность!» — в тайном восхищении думает Лина.

— Можно вас еще спросить? — снова обращается она к капитану. — Скажите: вы никогда не кривили душой? Ни в чем не шли против собственной совести? Во всем ваша жизнь была безупречной?

Капитан усмехнулся невесело: вот где тебя экзаменуют, вот твое «пассе ошен»... Будто сама совесть твоя вопросительно смотрит на тебя доверчиво-ясными глазами и ждет ответа. Эта молодежь!.. Да разве она может полностью представить себе всю сложность, всю жестокую реальность прошлой жизни, когда за одно неосторожное слово человека бросали в тюрьму, когда на тебя падало подозрение только за то, что ты побывал в заграничном порту!.. Вернешься из рейса, а тебя уже обнюхивают, не завербованный ли ты. Как будто мы, советские моряки, только того и ждем, чтобы нас кто-то завербовал. Одного из его матросов объявили японским шпионом, а тот и не знал толком, где она и есть, эта Япония, он и слово это на следствиях писал через «И»... Но все ли ты сделал, ты, коммунист, чтобы выручить, вызволить этого матроса, или, может, недовоевал, не лег костями там, где надо было?..

— Нет, и мы не идеальны, — помолчав, говорит капитан. — Были заблуждения, были ложные шаги и ошибки — у кого больше, у кого меньше...

— У вас меньше?

— Да что вы ему допрос учинили? — вмешивается Яцуба с ревнивой досадой в голосе. — Не святой и он! Но всем добрым не будешь.

— Оценивать чью-нибудь жизнь — это проще всего, — сказала Лукия. — А вам пора о своей подумать. Чтоб не только паших ошибок избежать, но и своих не наделать.

— Хоть бы куда-нибудь поехать или поплыть! — невольно вырвалось у Тони. — А то дальше острова Смаленого не была!

— И смаленого волка не видала¹, — скаламбурил Кузьма Осадчий и первым засмеялся собственной остроте.

¹ «Не видать смаленого волка» — не знать, почем фунт лиха (украинская поговорка). Смаленый — опаленный, обожженный.

— А в самом деле, как подумаешь, кем мы будем? Куда разлетимся? — мечтательно взглянула на друзей стриженная «под мальчика» Нина Ивапица. — Ничего не ясно. Пока что одни лишь предчувствия.

— Есть у нас, моряков, такое предчувствие — предчувствие океана, — молвил после паузы капитан. — Проходишь, скажем, Гибралтар, огибаешь скалы, и хоть туман или ночь вокруг, а на тебя уже повеяло простором, уже дохнул на тебя океан... А рассветет, и ты увидишь его необъятность и гордишься тем, что ты человек. И в такие минуты не можешь не подумать о всех людях, живущих на планете...

Девушки и юпоши сидят притихшие; каждому из них, вероятно, хочется в этот миг заглянуть вперед, в свое грядущее, увидеть, каким он будет, их собственный океан? Синий ли, озаренный солнцем, или черный, как ночь, океан горя, войны, безмолвных радиоактивных пустынь?..

Лукня наблюдает за сыпом, ее то и дело охватывает непонятная тревога за него. Знать бы, почему это он порой меняется в лице, какие волнения обуревают его!

Влюбился мальчуган или что-то иное разбредило воображение?

Она знает, Виталий прямо-таки в восторге от капитана Дорошенко, для него он идеал человека. С его приездом у Виталика с ребятами только и разговоров что о дальних рейсах, о пассатах да муссонах да ревучих сороковых широтах... Его искренне удивляет, как может мать отнестись к этому спокойно: «Как ты можешь, мама? Перед тобой едипственней на весь совхоз человек, который пересекал экватор, видел созвездие Южного Креста!»

Виталик с капитаном в давней дружбе. Лукня припоминает, как в один из своих приездов капитан привез Виталику в подарок обезьянку — вот было с нею хлопот!.. Маленькая, потешная, она принесла из джунглей в совхоз свой горячий южный темперамент, живость и ловкость проявила такую, что просто не знали, куда с ней деваться. Носится, прыгает, как бесенок, все, что попадает под руку, швыряет, бьет, фокусы поломала, миски перебила, занавески порвала. Провода и антенны — это для нее что лианы в джунглях, из угла как прыгнет — и прямо на шнур электрический; уцепится, раскачается и сама как будто радуется своим шалостям. Ей весело, а хозяй-

кам слезы. Так она и пошла из хаты в хату, пока не попала наконец в совхозные мастерские, где угодила в крепкие рабочие руки деда Смыка. Обросший, продымленный, задичавший, он цепко держал ее в руках, долго разглядывал этого далекого своего пращура.

— Неужели я был когда-то таким? — удивлялся дед Смык. — Неужели и вправду я от такого происхожу?

— От такого, от такого! — шутили в мастерской. — Только загордились, дед, чураетесь... А она узнала, роднится.

— Что же ты думаешь про нас, макака? — допытывался дед Смык, пристально разглядывая обезьянку; а та, притихнув, зорко и внимательно разглядывала его.

На зиму забрали ее в школу, в уголок живой природы. Только недолго прожила там обезьянка: как-то ночью выскочила из помещения, и утром нашли ее на винограднике замерзшей.

— Друзья! Не надо грусти, — чуть жеманно воскликнула учительница английского, которая внешне мало чем отличалась от выпускниц. — Давайте-ка лучше вслух помечтаем о вашем будущем.

— Об этом лучше громко помолчать, — пропзнес Гриня Мамайчук. — Мечтателей у нас и так — не разминешься. «Ах, на целину! Ах, на новостройку! Всю жизнь буду в клубе со своим милым дуэты распевать!» А проходит несколько лет, ты се в клуб и на аркапе не затыпешь, куда там ей в клуб: «Трое малышей, коза, да еще и строишься!..»

— А по-моему, работать и веселиться никогда не надоест, — с уверенностью говорит Тоня и, вскочив, кричит через головы директору школы: — Павло Юхимович, вы уже разрешаете танцевать?

— Вы теперь люди суверенные...

Пары, одна за другой, закружились в вальсе...

А на другом конце стола все громче разливается песня: только что пели чабаны, а сейчас — супруги Осадчие, родители Кузьмы. Он бульдозерист с канала, а она доярка, и хоть заняты оба, но ни одно гулянье без них не обходится, ни один веселый вечер не пройдет, чтобы они не сели вот так вдвоем и не затаили дуэт. Семья у них большая, но живут дружно и как-то удивительно легко, смолоду и до седины ведут жизнь, как песню, в два голоса, — слаженно, ровно. Так спелись, что все переливы хриповатого голоса мужа Осадчиха уже знает наперед,

подхватывает их точно, где нужно. И Лукию, которая прислушивается к их пению, вдруг охватывает щемящая грусть, и становится больно-больно на душе оттого, что сама она сейчас не ведет вот так же песню с кем-нибудь в паре. *«А чумаки йшли, чаєнят знайшли, чашку зігнали, чаєнят забрали»*. Песня грустная, за сердце хватает, а лица поющих совсем не печальные, на устах у молодцы даже блуждает не соответствующая песне улыбка. Осадчая и Лукию приохочивает:

— Подтягивайте и вы!

Но Лукин сегодня почему-то не постся. Ей просто хочется вот так сидеть рядом с капитаном, слушать его тихую речь, вдыхать запах духов, который исходит от него. А может, это и есть запах океана?

— Такая песня... Такая песня!.. — взволнованно говорит капитан. — Какую это душу надо иметь, чтобы сложить ее!

Черные от загара люди идут по степи полынным шляхом чумацким, с ними волы бредут непоевые, а припасы кончаются... Гнездышко нашли, разорили, а потом сами же и раскаялись в своем поступке, и горечь от содеянного вылилась в песню, пережившую века...

Осадчие запевают уже новую. Молодежь танцует. Тоня в развевающемся накрахмаленном платье, белом, как пена морская, летает в вальсе... Партнер ее — молодой учитель физкультуры. Вид у него кислый, скучающий, на голове целая шапка тяжелых гофрированных волос, под носом усики; эти усики, верно, правятся Тоне, так как, протанцевав с ним раз, она начинает и второй... Лукия Назаровна видит, что сын ее, укрывшись под деревом, стоит сиротливо, не танцует, и улыбки его становятся все более кривыми, жалобно морщат мальчишеские губы... Лукия готова бог знает что сделать сейчас той девчонке, которая так играет чувствами ее сына, ранит его своими проказами. И ведь это только начало, а что будет потом?!

Из всех девушек осталась за столом одна Лина. Она не пошла танцевать, сидит и не отрываясь смотрит на капитана, о чем-то беседующего с Лукией. Вот к капитану подсел, бесцеремонно оттиснув Лукию, Ядуба.

— Так что же, Иван, и ты в отставку? Давай, давай! Вдвоем будет веселее. — Лицо майора подернуто желтизной, а седой ежик подстриженной под бокс головы придает ему колючесть. — Хоть сойдемся когда и молодость

помним... Помнишь, как кулачье брали за грудки да ю церкви в страстную ночь с барабаном ходили?

— Что-то не припоминаю,— отвечает Дорошенко. Он и в самом деле в этих походах к церкви участия не принимал.

— Нет, это ты забыл! — энергично настаивает на своем Яцуба.— За давностью лет забыл... У тебя было свое, у меня свое. Не стану рассказывать конкретно, где я служил: почтовый ящик, да и все! Одно скажу: меня боялись. Сколько людей меня боялось, Иван, да каких людей! Профессора были, академики, деятели с дореволюционным партстажем...

Случайно встретившись глазами с дочерью, Яцуба вмиг осекся на полуслове.

Весь вид ее, осуждающе-гневное выражение глаз будто говорит: «Чем ты похваляешься? Боялись тебя? А какая в этом честь? Зато я вот тебя нисколько не боюсь! И никогда уже бояться не стану!» Как бы в знак протеста, она встает из-за стола и, высокая, гибкая, как стебелек, в своем чудесном белом платье, подходит к капитану.

— Можно вас пригласить на вальс?

Капитан учтиво поднимается, легким наклоном головы кланяется девушке, и вот уже идут они в круг. Лина спокойно-величаво кладет ему руку на плечо, а отец сидит как громом пораженный ее поступком. «Танцую, с кем хочу, танцую, что хочу! — словно приговаривает она, кружась в танце.— И ты мне уже ничего не запретишь, распоряжаюсь собой во всем я сама!»

Хлопцы гурьбой подходят к столу и выцеживают из графина густую виноградную муть, а один из них, Кузьма Осадчий, этот плечистый здоровяк, поглядывая в сторону майора, опять не удержался от остроты:

— Я на него гляжу, а он на меня смотрит!

Ребята от души смеются. Только одному Виталику, кажется, сейчас не до смеха. Его Тоня все еще летает в танце со своим физкультурником, возбужденно играет глазами, пуская чертиков своему партнеру так, что Виталик этого уже не выдерживает. Лукция заметила, как он махнул куда-то в сторону и исчез в кустах.

А она, бесстыдница, после танца, обмахиваясь газовым платочком, подошла к хлопцам, да еще и спрашивает:

— А где же это Виталик? Гм!..

— Клянемся вчерашним днем, только что был тут, — шутит Грицько Штереверя и сам ведет Тонию в круг.

Но с ним девушка танцует уже без прежнего подъема, встревоженный чем-то взгляд ее блуждает по толпе, и после танца она сразу куда-то исчезает.

Гости понемногу начинают расходиться. Капитан Дорошенко, невзирая на подозрение, промелькнувшее во взгляде Яцубы, берет под руку Лукню, чтобы проводить ее домой, и они идут не спеша через школьный двор и скрываются, как в тоннеле, в аллее старинного парка, где когда-то бродили еще в молодости.

Вдруг из-за куста до них доносится шорох, и кто-то, словно всхлипывая, шепчет там горячо и страстно:

— Хочешь, я пойду сейчас туда и при всех ему скажу, что он мне не нужен, что я только так с ним танцевала, потому что ты ведь не танцуешь! А я только тебя люблю, только тебя всегда любить буду! Ну, прости меня, прости, Виталичек мой!

Зашуршало в кустах, и мимо Лукни и капитана, взявшись за руки, пробегают двое.

Ночь тихая, лунная. Тополя не шелохнутся. Посреди школьного двора поблескивает турник. Вот так же он блестел когда-то, на рассвете их юности. Может, это он, тот самый, так доныне и стоит. Качалась когда-то на нем молодая девушка, выпускница техникума. А когда прыгнула на землю, попала прямо в объятия молодого моряка... Задержавшись, Лукня и Дорошенко стоят безмолвно, смотрят на турник, призрачно освещенный луной. Откуда ни возьмись подбегают к нему те двое, чья ревность едва вспыхнула недавно в густых зарослях парка, по там же, видимо, и угасла. Мгновение — девушка уже на турнике, словно взлетела туда! Качается высоко, болтает ногами, смеется. Но долго ей так не удержаться — руки немеют, Лукня словно чувствует, как они млеют. А приземляться и впрямь страшно. Правда, страх этот больше от озорства: хочется, чтобы кто-нибудь подхватил... Чего же ты стоишь? Спасай! Паренек догадался. Раскинул руки, и она падает ему прямо в объятия, легко, белоцепно падает с неба... Спусти какое-то мгновение он и сам, этот хлопец, на турнике. Слышно только, как поскрипывает железо перекладины, а ноги взлетают куда-то к самой луне.

Лукня и Дорошенко стоят, не могут отвести глаз: будто наяву оживает перед ними сказка их собственных, таких далеких и чистых ночей.

А возле школы тем временем продолжались танцы. Осталась тут все больше молодежь, родители и учителя разошлись, лишь неугомонный майор Яцуба похаживает, бубнит молодому Мамайчуку:

— Пора, милейший, выключать радиолу... Я сейчас свет выключаю.

— А луна?

— Что луна?

— А не могли бы вы заодно и ее выключить?

Когда наконец радиола умолкла, иллюминация погасла, кто-то вдруг зазвонил школьным колокольчиком, тем, что похож на тронку чабанскую. Все затихли, вслушиваясь, как тает этот звук в притихшем саду, печно тает вдали под покровом их выпускной ночи...

И снова тишина. Майор Яцуба подошел к дочери, стоявшей в кругу девчат.

— Ляночка, домой! — И в голосе его слышатся заискивающие нотки.

— Нет, я не пойду, — отвернулась дочь. — Мы идем встречать восход солнца.

...Восход солнца застает их в степи.

В Москве выпускники идут встречать восход солнца на Красную площадь, в Киеве — на Владимирскую горку, а тут они вышли в степь, расстилавшуюся перед ними, как бескрайний спящий мглистый океан. Сверху над ними раскинулся другой океан — небо; оно уже слегка светлеет на востоке, растет, волнуется своим величием. А высоко-высоко, в далекой голубизне, купаются реактивные самолеты, небо от них так и звенит, и хоть солнца еще нет, оно еще где-то за горизонтом, но юноши и девушки уже предчувствуют, уже видят его вверху, в первых утренних лучах, от которых зарделся белый летящий металл.

Чем упорнее она бунтовала против него, тем больше он ее любил.

Не было такого упижения, на которое майор Яцуба не пошел бы ради своей Лины, не было таких трудностей и преград, которые он не ринулся бы преодолевать ради ее будущего благополучия. При одной мысли, что дочка может не пройти по конкурсу, что какие-то там институтские книгогрызы могут провалить ее на экзаменах, майор приходил в ярость и готов был хоть сейчас сражаться с обидчиками, стучаться во все инстанции, чтобы все-таки добиться своего. Дочь круглая отличница, играет на инструменте, у отца заслуги — да как они смеют ее не принять! Все сделает, чтобы пробить дочери дорогу и разоблачить преступную шайку, если она там, в институте, завелась. Любить свое дитя — это не значит только нежить его да баловать. Ты сумеешь грудью пробить ему дорогу — вот где настоящая любовь! Устроить дочку в институт — это, на его взгляд, стоило самой ожесточенной борьбы; распаленная фантазия рисовала дело во всех сложностях и неожиданностях: в приемных комиссиях (вполне вероятно!) может оказаться засилье взяточников, которые прибегают к хитрейшим методам в своей преступной деятельности, взятки берут тонко, осмотрительно, через третьих лиц — о таком он читал в газетах и слышал не раз. Взятки давать он не собирается, это опасно, он сумеет иначе расчистить путь своей медалистке: закованный в латы своих заслуг, тараном пойдет вперед, призывает на помощь влиятельные знакомства, которые у него еще кое-где сохранились; и если нужно будет вывести жуликов на чистую воду, он и это сделает, он не остановится ни перед чем — кто же враг своему дитяти?

На что уж Лукия Рясная, какая вроде бы принципиальная да к тому же депутатка, а и то позаботилась о своем сыночке: при конторе устраивает, ласточек стеречь, то бишь радистом на радиоузел. Разве же не тепленькое место?

У Лины на это совсем другой взгляд.

— Не возводите напраслину на Рясных, — возражает она отцу и объясняет, что Виталик идет на радиоузел не с целью устроиться потеплее, а потому, что там нужен радист, нужна замена — Сашко Литвищенко с осени переходит в институт на стационар, совхоз посылает его учиться. Сашко уедет, а наушники и всю аппаратуру передаст ближайшему своему другу.

— Думаешь, все это из чувства дружбы? — хохочет отец. — Ты мне пой, пой про дружбу, знаем эту дружбу!.. А почему она сына своего в чабаны не посылает? Почему бы не дать ему вилы в руки — да на силос?

— А потому, что у него склонность к радиотехнике. Способности, вы это понимаете?

Спор происходит неподалеку от веранды, на приусадебном участке, где они работают оба: Лина хлопочет у своих гладиолусов, а отец, голый по пояс, в чалме из полотенца, похожий на феллаха, пропалывает типкой картофель.

— Рассказывай сказки!.. — говорит он, смахнув с лица обильный пот. — Устраиваешь, так и говори, что устраиваю, а то еще хочет и чистенькой быть. Знаем этих чистеньких!..

Отец начинает вслух сортировать выпускников нынешнего года, прикидывая, кто из них где окажется: Кузьма Осадчий, ну, этот на канал, этого отец к себе берет, там хорошо платят... Ситникова на ферму — сливки пить... Чумакова — учетчиком. Ткачук — на кормозапарник. А остальных? Дома не удержишь. Так и норовят — тот в техникум хоть в какой-нибудь, тот на курсы, те на текстильный комбинат, куда угодно, лишь бы из села вырваться. Рады, что в совхозе паспорта им выдают! А Горпищенкова вертушка, о которой без конца говорили на родительском комитете, идет будто бы вожатой в пионерлагерь. Вертихвостка, из троек не вылезала — и вдруг вожатая!

— Да как вы можете? — горячо заступается Лина за подругу. — В школе Тоня у нас лучшей вожатой была! Пускай тройки, зато как ее дети любят!

Каждого брать под защиту, за каждого заступаться — эта упорная привычка дочери удивляет и немного раздражает Яцубу. Не попала бы в беду с этой безоглядной своей доверчивостью. В лагерях, еще маленькой, привязалась к какому-то плешивому академику, называла дедушкой, даже пыталась из дому хлеб для него тайком таскать... А когда приходит, бывало, этап, не знаешь, куда с нею деваться: после всех впечатлений целую ночь потом вздрагивает. Вот отчего такая первность, издерганность... Яцубе смотреть больно, какая худенькая она у него, как прозрачны и длинны пальцы, которыми Липа перебирает и подвязывает марлей тонкие стебли цветов.

Этот талант цветовода открылся у Липы неожиданно после переезда сюда из суровых северных краев. Зимой у нее в коробочках — разные пакеты с семенами, весной — на всех окнах рассада в ящиках и вазончиках, а сейчас — грядки цветов, — да каких цветов! — хоть на выставку посылай.

Больше всего Липа любит гладиолусы, развела множество сортов. За клубнями этих гладиолусов майор ездил даже во Львов... Выполнять поручения дочери для него одно удовольствие. Что только пожелает, все ей достанет, все раздобудет, хоть птичьего молока. Голубенький «Москвич» вот из гаража выглядывает — это тоже для нее. Когда приобретал, о дочери прежде всего думал, а не о том, чтобы раннюю редиску да клубнику возить на базар: майор внутренних войск Яцуба не из тех, которые по базарам свою честь размепивают на пятаки, у него лепсия приличная, ему хватает. Да еще и жена вносит свой пай, она фельдшерница в совхозе, а со временем в семье будет еще и свой врач: майор настоял, чтобы Липа пошла тоже по линии медицины, решено в институт документы сдавать. Он все-таки сломил упрямство дочери, хотя сделать это было нелегко. Липа и тут хотела поступить наперекор, а бороться с нею, с родной дочерью, — разве сердце не обливается кровью? Сила, и отцовская власть, и житейский опыт — все на его стороне. Однако только глянет на эти темные круги под глазами, на эти широкие черные густые брови, что достались ей от матери-степнячки, только заглянет в чистые кривизны глаз, что светят грустно и укоризненно из-под этих бровей, так и тает отцовское сердце, куда вся его и власть девается... Кроме Липы, есть у него еще две дочери, тоже от первой жены, выдал их замуж еще на Севере, одну за

метеоролога-полярника, другую за военного, но с ними он больше конфликтует, чем живет в мире; они ласковы с отцом раз в год, осенью, когда на самолете доставит им в далекую тундру корзины винограда. А как виноград съели — снова давай отца критиковать... Для милейших зятьков и дочек он осколок прошлого, культовик до мозга костей, заскорузлый продукт догматической эры.

Разогнув сомлевшую поясницу, Яцуба оглядывает свое хозяйство. В это время собака, здоровенная овчарка, бросается к калитке и, став на задние лапы, выглядывает на улицу через забор — явный признак, что за оградой кто-то есть.

— Лиана! — слышен оттуда девичий голос.

Лиана словно ждала этого: оторвавшись от цветов, метнулась к забору, схватила собаку за ошейник, отбросила в сторону.

— Заходи, заходи, он не тронет, — говорит она улыбающейся особе, что появляется во дворе в походных синих шароварах, с рюкзаком за плечами и палкой в руке. Тоня Горпищенко пожаловала! В дорогу, что ли, она снаряжалась?

— Попрощаться забежала, уезжаю, — весело звенит Тоня, а заметив меж виноградными шпалерами чалму майора над литой бронзой спины, задиристо бросает туда:

— Здравствуйте! Когда уж вы своего пса в милицию передадите?

— Он и мне нужен, — угрюмо откликается майор.

— Там хоть ворюгу какого-нибудь поймал бы.

— Пускай сами себе обучают.

И майор снова налег на тяпку.

Лиана в тихом восторге осматривает Тоню в дорожном ее снаряжении.

— Ты все-таки решилась?

— А что? Лето пробуду в пионерлагере, помуштрую малышня, накупаюсь в море, а тогда...

— Что тогда?

— Вернусь в совхоз да организую девичью чабанскую бригаду! — смеется Тоня. — Из тех, что по конкурсу в институты не пройдут. Мы тогда кое-кому нос утрем! Есть же вон в совхозе «Приморский» такая бригада, из одних женщин-чабанок. Их старшая чабанка даже в Москву на выставку ездила, а я-то что, не смогла бы? По сто двадцать ягнят не дала бы на сотню овцематок? — Смеясь, она даже ногой приотпнула. Легко выскользнув

из-под рюкзака, Тоня бросает его на скамейку. — Герлыгой меня не запугаешь, я же потомственная чабанка.

Лица оживает, веселеет возле подруги, словно биотоки какие-то на нее от Тони льются, словно самую силу жизни излучают эти полные искр и блеска глаза и личико лукавое, раздумавшееся, персиково-тугое... Этой Тоне позавидовать можно: из всего умеет черпать радость, жизнь для нее полна гармонии, на каждом шагу ждет ее счастье. И разве не эта жизнерадостная беззаботность придает ей такую красоту, солнечность? .

— Ой, как твои гладиолусы распустились!

Тоня уже возле клумбы, над каждым цветком наклоняется, над каждым ахает от восторга.

— Ах, какой красивый! А этот! Ух, красавец! Как небо при восходе солнца! Заря утренняя... Только еще нежнее.

— А этот, жемчужно-розовый? — Лица еле сдерживает гордость. — Мне он почему-то больше всех нравится... «Ариозо» называется этот сорт. И слов не подберешь, чтоб определить цвет. Снег и утренняя заря... Хотя и это не точно. Такие тонкие цвета, видимо, только музыкой можно передать.

— А это что за казак? — Тоня уже склонилась над другим цветком, рубиново-красным.

— Ты угадала, казак и есть — «Степан Разин»... А это «Касвалон»... Белый — это «Зоя»... А это «Синьорита», — касается Лица рукой яркого, оранжево-абрикосового соцветия.

А Тоня пробегает взором грядку все дальше, маленькие, загорелые, в ссадинах руки ее так и мелькают между стеблями да соцветиями, глаза зорко всматриваются в тугие нераспустившиеся бутоны, что выступают на верхушках.

— Столько сортов!.. И каждый нужно было кому-то вывести... — на миг задумалась Тоня.

Лица, подпущивая землю детскими грабельками, улыбнулась:

— Есть теория, что цветы запесены к нам с других планет. Что когда-то на земле были одни только папоротники...

— Выдумки! И не забивай ты ими себе голову. Где это те планеты, чтобы с них такие цветы до нас долетели? Люди, люди, Линок, сами все вывели!

— И в то же время есть люди, Тоня, которые век живут и никогда не видят такого,— ответила сдержанно Лина.— Это же цветы солнца, не всюду их вырастить. Я уже думала: если бы хоть несколько сортов на Север!.. Пока была там, на Севере, просто не догадывалась, что есть на свете такая красота.

— Гладиолусов и у нас не густо. Вот, пожалуй, только у тебя. У нас возле хат больше мальву сеют, ты же видела, возле школы у нас полно мальв: крепкие, высокие вытягиваются. Правда, бывает, и мальва может пригодиться в роли паглядного пособия,— усмехнулась Тоня с обычным своим озорством.— Как-то в пятом классе спросили мы Василия Карповича, что такое эстетика, так он нам как раз на примере с мальвой объяснял. «Посмотрите, говорит, в предвечерний час, когда мальва расцветает, а солнце налет ее краской, и лепестки просвечивают насквозь, и вся она сияет красотой...» Вот это мне только и запомнилось про эстетiku,—засмеялась Тоня и, заметив грусть в глазах Лины, спросила: — А разве у вас там, при лагерях, в тундре... вовсе никакие цветы не выдерживают? Мох, и больше ничего?

— Нет, растут и у нас там... цветы — морозники называются... Опи, как подснежники, пробивают снег и цветут... Я вот напишу, мне вышлют, может, скрестить удастся.

Тоня снова прикинула к цветам.

— Ну, Лина, как хочешь, а эту «Ариозочку» ты мне срежь. Без нее со двора не уйду!

Лина сбегала на веранду и, вернувшись с ножницами, осторожно срезала стебелек гладиолуса, над которым Тоня стояла неотступно. Подавая стебелек Тоне, спросила:

— Это для?..

— Тсс!..—приложив палец к губам, цыкнула Тоня и озорно оглянулась в сторону майора. Потом неожиданно громко, чтобы и майор слышал, выпалила: — А то кому же! Ему, Властелину эфира! Забегу, подкрадусь тихонечко с улицы к радиоузелу, положу на окошко, пускай сам догадается... А его и отрывать не буду, он теперь из наушников и не вылезает...

Лина улыбнулась, спросила тихо:

— Как же он, ревнивец такой, тебя отпускает?

— Все будет о'кей, как говорит капитан,— пошутила Тоня и снова весело притопнула ногой: ей не стоялось на месте. — Это Лукция Назаровна думала, что, как спроводит

Тоньку в пионерлагерь, так может быть спокойной за своего сыночка. Ох, ошибаетесь, уважаемая моя будущая свекровь! Забыли, что где сердце лежит, туда и глаз бежит!

С этими словами Тоня подхватывает с земли рюкзак, ловко набрасывает на спину, на бегу чмокает Лину в щеку и, шутливо погрозив собаке палкой, исчезает за калиткой.

Лина присела на скамью в тени ореха, взволнованная, охваченная радостным смятением. Ну и Тоня! Нет ее, уже побежала, уже где-то взбивает палкой по улице пыль, а здесь, во дворе, еще звенит ее смех, в самом воздухе словно бы еще искрится безудержное Тонино веселье, полыхает огонь ее темперамента. Недавно они целым классом ездили на экскурсию в Крым (Пахом Хрисанфович сдержал-таки слово и дал грузовик). В дороге Тоня показала себя такой заводилой, что Лина подчас просто поражалась ее кипучей эпергии, общительности, умению не обращать внимания на неприятные мелочи, всей душой жить, упиваться этим щедрым миром и его чудесами. Какое было путешествие! Махнули они до самого Севастополя, побывали на раскопках Херсонеса, где больше всего Лину поразили не стародавние беломраморные колонны да капители, а арбузные семечки, которые с эллипских времен сохранились в глиняных амфорах и свидетельствовали о том, что и эллины разводили бахчевые. Потом побывали на Сапун-горе и, затаив дыхание, осматривали диораму, на которой, словно живые, вставляли герои штурма — солдаты и матросы, охваченные пламенем битвы. А как потрясло их, когда, осматривая Графскую пристань, они узнали от экскурсовода, что среди десантников-черноморцев, первыми ворвавшихся на Графскую пристань, был их земляк, их вечно заросший грязной щетиной Мамайчук Мартын, который сейчас со скрежетом гоняет по совхозу на своих колесиках! Сегодня как-то и не похож этот искалеченный человек на героя, а тогда он первым поднял свою бескозырку на высокой арке над Графской пристанью, и бескозырка заменяла атакующим знамя, оповещала всех, что в тот день, 9 мая 1944 года, советский воин с боем возвратился в Севастополь... Подвиг стоил Мамайчуку дорого: с севастопольской мостовой его, тяжело раненого, забрали в госпиталь; и боевой орден, которым командование наградило героя-десантника, еще долго после войны разыскивал его,

пока не нашел инвалидом без ног в этом овцеводческом степном совхозе.

Завершением их экскурсии была Новая Каховка — солнечный молодой город с могучей плотиной гидростанции, с раздольным гоголевским Днепром, с исполинскими платанами, раскинувшими вдоль берега высокие свои шатры; из-под корней у них большими и малыми струями звенит-струится родниковая вода, множество ключей бьет, чистых, разноголосых; они сливаются в едипую, тихую и певучую музыку воды. А дорога, которой они ехали в Каховку, — широкий степной шлях, на десятки километров обсаженный мальвами! С ума можно было сойти от этой красоты! От самого Ново-Троицка и до Каховки цветут они вдоль шляха, крепкие и высокие. Белым цветом! Розовым! Красным! Желтым! Не боятся ни зноя, ни горячих сухих ветров. Вот такой жизненно цепкой, сильной и неподатливой представляется Лине и эта неутомная Тоня Горпищенко, что живет и не тужит. Рюкзак на плечи и — в пионерлагерь на целое лето вожатой. «А я? На что я способна?»

Выводит Лину из задумчивости стук калитки: это пришла мачеха, еще довольно моложавая женщина, но такая раскормленная, с таким животом, что и не поймешь — беременна она или это «соцпакопление». Присев тоже в холодке под орехом, мачеха, тяжело дыша, спрашивает Лину, что ей собирать в дорогу, ведь она, мол, ради этого и с работы отпросилась. А девушку даже досада берет: поездка всего на два дня, только документы сдать и пазад, а суматохи, будто собирают тебя на остров Диксон. Утром отец проверял чемоданчик, сейчас мачеха будет наводить контроль.

— Чего там собирать!.. Что нужно, уже собрала, — с еле скрываемым раздражением говорит Лина, и ей самой становится неприятно за этот свой тон.

Но мачеха, видимо, привыкла к нему, провинность ее прошлого словно бы требует именно такого отношения со стороны падчерицы, и Ядубиха, пожалуй, была бы даже удивлена, если бы Лина заговорила иначе.

Подошел отец.

— Что нового на медфронте? — спрашивает он.

И мачеха, отдышавшись, послушно рассказывает (так, словно докладывает), что директора снова привезли из степи на медпункт в тяжелом состоянии, а во Втором отделении поравился у трактора хлопеч-прицепщик,

а Мамайчук-неуправляемый приходил за справкой о состоянии здоровья.

— Собирает документы, тоже думает поступать. И знаете куда? В Духовную академию!

Отец, разматывавший полотенце с головы, так и застыл, уставившись на жену.

— Да он что, обалдел? В логово поповское?

Лина узнает Мамайчука и в этом. Она уже представляет его, Гриню-неуправляемого, в рясе, с кадилом в руке, перед толпой «грешников». Наконец-то Грине пригодится стилижная его борода, словно знал, зачем отращивал!

— Вот это будет пастырь! — смеется Лина. — Этот по-исповедует бюрократов...

Отцу же не до смеха.

— Отколол помер! — насупившись, бормочет он. — Один отколол, а с десятерых спросят. ЧП. Настоящее ЧП. Пятно на весь район, на область. Непременно с каждого из нас спросят, где были, куда смотрели!

— Не ты же его подговаривал, — успокаивает мачеха. — У него есть отец, да еще герой, с отца пускай спрашивают. Ты-то тут при чем?

— Как при чем? — взъерился Яцуба. — Они хаты будут жечь, а наше дело сторона? Пятно на всю область, а я сбоку? Да вы понимаете, что это такое?! Комсомолец — и в Духовную! Из этой самой ячейки, где я жизнь начинал, где мы поповен из комсомола исключали, теперь заявление в попы! А мы, старшие, где были, куда смотрели? Нет, я иду в штаб. Я должен быть там!

Через минуту отцовская капроновая шляпа уже колыхалась по ту сторону забора.

Лину тоже разбирало любопытство — хотелось больше услышать об этой сенсационной новости; она вспомнила, что нужно сдать несколько книг в клубную библиотеку, которой по совместительству тоже заведует сумасбродный Гриня; быстро собрав их — это были сборники стихов, — Лина направилась в клуб. Впрочем, до клуба она и по добежала — какой там клуб, когда вся суматоха у копторы; здесь стоит Мамайчукова летучка, и любопытных уже собралось немало, а сам виновник переполоха молча хлопчет в кузове своего украшенного лозунгами фургона, спокойно, будто ничего и не случилось, укладывает коробки с кинолентой, прежде чем двинуться в отделение совхоза. Увидев Лину, молвил задумчиво:

— О, еще одна выскочила, как голый из мака... Увеличивается моя паства.

А паства, состоящая из конторских девчат и рабочих, которые, заняв очередь, ждут на крыльце кассира, да еще хлопцев-радистов, что выглядывают из окна радиоузла, расплываясь в улыбках,— эта паства с веселой жадностью ждет слова будущего своего пастыря.

Закончив работу, Гриня высовывает невзрачную свою медно-рыжую бородавку из фургоника.

— И не удивляйтесь,— говорит он.— Все бросились по институтам, по техникумам, все заявления подают, а я что, у бога теленка съел? Вы в светские заведения, а я в духовное, это меня больше устраивает. Стипендию обещают приличную, кормить будут калорийно, что для моего организма тоже не последнее дело... главное, конечно, не в харчах, а в духовной пище, которой так жаждет моя душа. Источники истины, где они? Для чего живу? Кем я создан и каково мое предназначение на этой грешной планете? Все не разгадано. Все покрыто мраком неизвестности. А между тем я все больше чувствую, что мое существо действительно божественного происхождения. Чем я отличаюсь, скажем, от козла?

— Или от барана? — бросает кто-то из очереди.

— А тем,— пропустив реплику мимо ушей, продолжает Гриня,— что я не только про силос думаю! Четырнадцать миллиардов клеток вложено мне в эту черепную коробку. Четырнадцать миллиардов! И всеми думать про овец да про силос! Нет, они для работы куда более сложной...

В это время из глубины конторских педер появляется майор Яцуба и, растолкав девчат, выходит на крыльцо, обращается к Мамайчуку:

— Тебя приглашают!

— Слышите, приглашают,— улыбается Гриня пасте.— Раньше вызывали, требовали, а теперь приглашают... Прогресс!

Когда он в своей пестрой рубашке на выпуск горделиво проходит мимо Яцубы, тот бросает ему с презрением:

— Позор! Я в твоём возрасте, милейший, церкви разрушал, а ты! Из узких брючек да в рясу?

Мамайчук меряет взглядом сухопарую фигуру Яцубы.

— Хотите знать, кто меня толкает на этот шаг?

— Ну! Кто?

— Вы! Вы, товарищ отставник! Нестерпимы до одури стали ваши поучения, вот почему иду в объятия клерикалов!

Громко выпалив это, Грипя степенно шагнул через порог в узкий конторский коридор, а следом за ним, будто конвоир, понуро пошел и майор, горячо доказывая свое.

Было известно, что Грипию вызвало па беседу совхозное начальство, что и отец его тоже сейчас там, в директорском кабинете, и даже есть кто-то приезжий: будут вместе уламывать неуправляемого.

Кто знает, о чем с ним вели там переговоры, только Грипя долго не выходил, а когда вышел, поднял вверх указательный палец и тоном Галилея, произносящего свое знаменитое: «А все-таки она вертится!» — изрек:

— Юмор, людп. Юмор превыше всего!

Замстив Лину, что с книжечками под мышкой, сутулясь, стояла у газетной витрины, Грипя мимоходом удостоил ее своим вниманием:

— Сдавать принесла, дочерь?

И, взяв книги, Грипя небрежно бросил их в кузов своей передвижки. Через минуту только пыль таяла на том месте, где стоял разукрашенный лозунгами фургон, — помчалась работающая кипопередвижка в отделение.

— Кто бы мог подумать, Грипя — и в академию! — бросила одна из конторщиц, а чабан Бунтий, который, опершись на герлыгу, все время стоял на крыльце молча — усы аккуратные, рубашка чистая, — молвил негромко:

— Нету таких академий, чтобы пабирали дураков, а выпускали умных.

...Вечером майор Яцуба, пятавув па себя комбинезон, хлопотал в гараже, готовил «Москвич» в дорогу. Но, и ковыряясь в моторе, видно, не мог отделаться от мысли о Мамайчуке, при каждом удобном случае обращался к жене, которая, тоже готовясь к завтрашнему дню, то и дело спускалась в погреб или поднималась из погреба:

— Ты только послушай, к чему он клопит, стервец... Еще пас же хочет и виновными сделать перед приезжим товарищем... «Мой шаг, говорит, выпужденный, это из-за вас, говорит, меня тянет либо взять в руки кадило, либо быть среди тех, кто на городских бульварах ржет по-лошадному». Хохотом перепуганных идиотов это у них называется...

— По-моему, его просто нужно женить, — откликается Ядубиха. — Поговаривают, что к Тамаре-зоотехничке у него тайная любовь, оттого, может, и чудит...

— Нет, ты его поглубже копни... Он всем на свете недоволен. «Меня, говорит, мировая скорбь за душу хватает, снова чумаковать хочется, лишь только прикину, куда ведет эта атомная свистопляска... Ежели человечество, мол, не одумается, все на этой планете пойдет кувырком, начинай потом все с Адама. Кое-кого уже вижу, говорит, на полусогнутых, в звериной шкуре и с каменным топором в руках», — и, произнося это, смотрит прямо на меня, подлец...

Лина, покачиваясь в сетке гамака под орехом, слушает оттуда бесконечные отцовские скрипучие рассуждения, и ей уже не смешно, что Мамайчук памеривается учиться на попа. Бессмысленно? А так ли много смысла в том, что она поедет обивать пороги в медицинский? Никогда и в помыслах у нее не было этого, и вдруг — зубным врачом будет! Решала, правда, не она, решал за нее отец: он почему-то убежден, что из всех умений умение медика наиболее важное — медики и на фронте во время войны, и даже в местах заключения, в далеких исправительных лагерях, всюду люди пужные, дефицитные. Так, в угоду его соображениям, она вынуждена браться за пелюбимое дело, должна ехать, бороться за место, о котором кто-нибудь другой всерьез мечтает. Разве что срежется на вступительных. Тоня шутит, грозит сформировать чабапскую бригаду из девчат, которые провалятся, а у Лины сейчас такое настроение, что хоть бы и провалиться.

Тоне можно позавидовать, ей все ясно, она сейчас далеко, уже где-то весело сияет глазами в отсветах пионерского костра, и никакие сомнения не раздрают ее — родится ж человек таким!.. А Лину терзают сомнения, душа ее беспокоится. Вверху над Линой в космической глубине алмазно блестят звездные узоры, стелется на юг Млечный Путь — Чумацкий Шлях, а когда на миг закроешь глаза, возникает перед тобой другая дорога, земная, степная, обсаженная мальвами, и про нее девушке хочется сложить стихи или передать все это музыкой... Потом ей почему-то вспоминается светлый лунный Крым и стиснутый скалами Бахчисарай, где их экскурсия ночевала, чебуречная, где вечером ели чебуреки, а после того при луне осматривали ханский дворец, парк и ту зловещую Соколиную башню, куда бросали девчат-полонянок... Окровавленных,

растерзанных, измученных жаждой, гнали их по этой звездной чумацкой дороге с Украины в Крым. Растаптывались красота, честь, любовь, над всем господствовали произвол и культ грубых, кровавых ханов. Хапы смеялись хапами, а где они? Кажется, больше полсотни их было, а ни одного добрым словом не вспомнит ни песня, ни память людская... В пещеры ушли вместе со своими свинухами, палачами, средневековыми пытками. Музейным экспонатом дотлевают грозная некогда Соколиная башня... Наверху она вся опоясана узорчатыми решетками, там держали соколов, обученных для ханской охоты. И только раз в год, по милости аллаха, туда, на башню, разрешалось подниматься певольницам-степнячкам, чтобы могли они посмотреть из той крымской тюрьмы на белый свет, на голубизну днепровскую, на далекое степное раздолье... Но и оттуда, с башни, им видны были лишь крутые горы, что нависают камешными лбами над городом, словно бы охраняя все живое, и только за теми гранитовыми скалами угадывали полонянки и горизонт широкий, и волю, и край родной... Сколько певольничьих песен в тех ущельях родилось, сколько слез было там пролито, от которых и ханский негорючий камень горел! Недаром же одна из пленниц на рушничке, что чудом сберегся с тех давних времен, вышила золотом и цветными нитями дерево-калицу да соловья и посадила их в челнок-каючок, на лодочке послала ту вышитую девицью свою мечту через горы, куда порывалась ее душа!

Таков Бахчисарай. Словно жуткий сон, все это зримо вставало перед Линой: и тучи конников, и арканы, и полонянки, которых гоним гонят, чтобы похоронить в ханских гаремах степную их красоту и молодость, чтобы выпить, высушить их взлелеянные на воле чувства... Только потом, когда экскурсионная группа оставила наконец то прогнившее ханское логово да поднялась на гору, все мрачные видения прошлого разом исчезли, рассеялись, в горах был словно бы иной воздух, теплая южная почва сухо звенела цикадами, и полная луна привольно сияла над Бахчисараем, над его минаретами и тополями. Лина и отсюда, из степи, будто охватывает взглядом все недавнее путешествие, чарующий край, где луна песенно освещает море, ровное и бесконечное, и поднятую в небо диадему Крымских гор от Ай-Петри до Четыр-Дага. Быть может, стоит там сейчас на том камне, где Лина недавно стояла, какая-нибудь влюбленная пара, созерцает красоту

почных, наполненных свежестью долин, в которых то тут, то там лунный свет выхватывает силуэт тополя, что, будто придя из степей, побратавшись с кипарисом, стройно возвышается над кровавым ханским логовищем... Аромат ночи, стрекотание цикад, контральное цокотание воды в арыках... Все необычно, все не перестает удивлять Лину. Жила в снегах, в тундре, чувствовала ледяное дыхание арктического океана, грохот прибоев и даже не предполагала, что будут ласкать ее такие нежнейшие южные почвы, как там, в Крыму или здесь вот, где пахнет орехом, степью, почпой фиалкой и спать можно во дворе, не залезая в меховой мешок, и где неутомимое стрекотание цикад будет звучать для тебя извечной мелодией мира...

До поздней ночи хватило отцу хлопот у «Москвича», еще осталось и на утро. Собирались выехать с восходом, ведь неблизкая дорога, но уже и солнце поднялось, а «Москвич» все голубовато поблескивает у совхозных мастерских, где отец еще что-то вытачивает да подпиливает. Лина тоже здесь, готовая в дорогу. Стоит в дверях мастерской и не отрываясь смотрит, как работает товарищ Куренной, бывший морской офицер-подводник, а нынче токарь по металлу. Есть что-то артистическое в его работе. Во время производственной практики хлопцы из их класса всегда толпой стояли у станка товарища Куренного, чтобы посмотреть, как он устапавливает резцы и начинает свое чародейство, как легко вьется ему под ноги лента сизого металлического серпантин. Лина однажды хотела взять стружку у него из-под ног, а она оказалась такой горячей, что даже пальцы обожгла. Этот товарищ Куренной в недавнем прошлом где-то на Севере плавал на подводной лодке, и, хотя до старости человеку еще далеко, пришлось брать отставку по состоянию здоровья. Дома, однако, после отставки сидеть не захотел, звали на работу в район, тоже не пошел, сам попросился в мастерскую. «Я, говорит, люблю токарничать...» И правда любит, ничего не скажешь.

Властью над вещами, своим будничным трудовым творчеством — вот чем поражают здесь Лину рабочие. Муфты вытачивают, рессоры сваривают, в одном месте что-то клепают, в другом разбирают мотор. Безпогий газорезчик Мамайчук-старший в защитном козырьке умело и уверенно ведет язычок пламени по металлу, что-то выкраивает из толстого стального листа. От простого и до сложного — все умеют эти люди, все им дается. В углу

мастерской ремонтируют кузов грузовика, там же приводят в порядок сиденья кабин, пружины новые вставляют вместо поломанных, на дворе несколько рабочих размышляют над каким-то приспособлением для комбайна, что-то налаживают, переначивают, конструируют по-своему... Липе правится эта атмосфера дела, творчества, коллективизма, правится, когда механик, появляясь на пороге, кричит:

— Здорово, казачество!

А они и не смеются, будто и в самом деле казачество.

Напротив кузницы ржаво краснеют кучи разного лома, в котором Виталий Рясный и его друзья копались всю веспу; сейчас среди железного утиля валяются, белая на солнце, еще и огромные манометры, снятые с того военного судна, что намертво легло в водах залива. Давно уже совхозные механизаторы раздели, ободрали то судно. Будто за золотым руном отправлялись они туда, в свои пиратские экспедиции, а теперь, во время перекура, собравшись возле мастерской, еще и ухмыляются, весело кивая в сторону залива, в сторону раздетого стального великана:

— Если б на колеса его да в степь... Вот был бы трактор!

Во время перекура Мамайчук-севастополец, порывисто-сердито отталкиваясь от земли, подъезжает к Яцубе, что все еще ковыряется в моторе голубенького своего «Москвича»; инвалид ездит, скрежещет колесиками вокруг машины, насупленно рассматривает, будто впервые видит это чудо, и хоть сейчас Мамайчук не пьян, Лина его почему-то побаивается. Девушку отпугивает и хмурое одутловатое лицо в грязной щетине, и увечье этого человека, и то, что на большом пальце у него вместо ногтя чернеет какая-то запеченная шишка, вроде пуговицы. Лине кажется, что ветеран вот-вот погрозит ей этой пуговицей или задаст какой-то такой вопрос, на который она не сумеет ответить.

Вопрос у него и впрямь созревает, но обращается он не к Липе, а к самому Яцубе:

— Скажи, друг, зачем тебе этот персональный «Москвич»?

Отец отвечает шуткой, что, вот, мол, повезет дочь в институт, пешком далеко идти, но Мамайчук шутки не принимает, ему, как всегда, не дает покоя Яцубина пенсия, которая, дескать, великовата для одного — на трех солдатских вдов хватило бы.

— Ты сознательный? Нет, скажи, ты сознательный? — вьедливо, как клещ, пристает Мамайчук и указывает отцу на Куренного, хлопчущего с комбайнерами у комбайна: вот, мол, он тоже отставник, с подводной списан, а сам пришел в мастерскую, потому что совесть у человека есть.

Слово за слово, и уже вспыхивает перебранка, отец кричит:

— Ты мне глаза этим не коли! Я не сам себе пепсию устанавливал! Я за нее пургой да ципгой платил! Зубы вот... видел? — И он, оскалась, показывает Мамайчуку полный рот нержавеющей стали. — Не на курорте, брат, был! Там был, где ребенок мой вместо яблок сырую картошку грыз. Жену похоронил, с собой не считался, с ног валился, своей власти служил! А сказали: «Бери отставку», — взял.

— Не взял бы... Сама жизнь тебе отставку дала, — взглядывает исподлобья Мамайчук, со скрежетом удаляясь в сторону мастерской, а отец, хлопнув капотом, раздраженно бросает Лпне:

— Садись!

«Москвич», лавируя меж комбайнов и старых сеялок, пакопец выбирается на простор, и тут девушка вдруг видит капитана Дорошешко; в белом кителе, в капитанской фуражке, он стоит над кучей ржавого лома, рассматривает огромную якорную цепь, которую тоже, видно, вместе с теми никому не пуждыми мапометрами приволокли с ничейного судна. Давая «Москвичу» дорогу, капитан посторонился и в этот момент заметил на переднем сиденье Липу, которая нескладно гнулась рядом с отцом, заметил и улыбнулся ей. Были в улыбке капитана доброжелательность и не многим свойственная деликатность, которую Липа еще на школьном вечере отметила в нем. Видимо, это ему присуще, есть в нем, вероятно, душевная потребность именно такого обращения с людьми. И сейчас — поднял руку, слегка шевельнул в воздухе пальцами: счастливой, дескать, дороги...

Радостно и чуть-чуть тоскливо стало девушке от мимолетной этой встречи с капитаном. Человек содержательной и красивой жизни, он такое глубокое впечатление произвел на нее на выпускном вечере, с такой проликовенной искренностью рассказывал им о степнякешарнишке, что с байды дядьки-капитана, преодолев все

трудности, все-таки вышел на просторы океана. А в какой же она, Лина, отправляется океан? С какими предчувствиями трогается в первый свой рейс? Не океан, а, видимо, болото бумаг, валуны капцелярских столов ждут ее. Придется первничать, трястись из-за каждой отметки, каждого балла. Сколько раз придется глушить в себе голос собственной совести, чтобы хоть на полшага продвинуться по пути к тому делу, которое ее совсем не привлекает! Бормашина да кресло — отец уверен, что именно они сделают Лину счастливой... А если постигнет неудача, если она не пройдет по конкурсу? Отец развернет целую баталию, пустит в ход и угрозы и лесть, секретарш изведет допросами, а начальству будет униженно трясти руку, похолопски схватив ее обеими руками. Будет и дочку учить науке занскиваний перед преподавателями, пронырству, ловкачеству. Неужели это неизбежно в жизни? Неужели рано или поздно, а падо будет с этим смириться?

В дороге «Москвич» снова разладился, мотор несколько раз глух, кашлял, приходилось останавливаться. И пока отец гремел стартером или, подняв капот, что-то исправлял, Лина стояла у дороги, овеваемая горячим степным воздухом. Глаза отдыхали на желтых цветах дикой собачьей мальвы, скользнули по упругим стеблям петрова батога, что синими звездочками светил среди посеревшей от пыли придорожной пыли, а думы Лины все были о том, как ей жить дальше и вообще как нужно жить человеку, чтобы он мог всегда открыто смотреть в глаза и капитану, и тому безногому оалобленному газорезчику Мамайчуку.

Напоследок мотор заглух (и теперь, кажется, окончательно), когда уже было рукой подать до капала, до места развернувшихся на его трассе работ. Уже видна была развороченная земля, целые холмы свежего грунта, среди которого, то скрываясь, то вновь показываясь, ходили бульдозеры, сверкая на солнце огромными лемехами.

Отец злился, до предела пажимал на стартер, то и дело крутил ручку, краснея от напряжения.

— Не заводится, хоть убей!

Нужно было искать какой-то выход, и отец решил: Лина остается у машины, а он идет пешком к каналостроителям просить подмоги. У них там много механизмов, смогут взять на буксир.

Отец ушел. Осталась Лина одна в «Москвиче», который вскоре раскалился, как пустая консервная банка,—

невозможно было сидеть в нем. Девушка выбралась на воздух, присела в тени машины на траве. Снова дикая мальва торчит перед нею, желтеет запыленными лепестками, жесткая, живучая... Земля накалена, как печной под. Ящерица прошмыгнула в нору, шмель пролетел, муравьи трудятся и трудятся без устали. А даль степная переливается текучим маревом, равнина такая же, как и в тундре, только небо здесь иное, и нет на Севере, в краю вечной мерзлоты, этих степных курганов, неизвестно кем и когда насыпанных... Чьи они? Скифские? Сарматские? Запорожские?

Отец долго не возвращался: нелегко, видно, было столковаться там в эту горячую рабочую пору. Наконец оттуда тронулась подмога. Степью напрямик, со страшным грохотом взрывая землю, вздымая тучу пыли, шла та подмога. Лина сначала даже не могла понять, что за чудовище ползет, бешено скрежещет навстречу.

Глазам своим не поверила: танк!

Настоящего танка она никогда не видела, только по кинофильмам и знала, а сейчас это, несомненно, он надвигался, окутанный пылью, огромный, яростный, безглазый, с загребущими гусеницами, с военным еще помером на грязно-зеленом борту. Только вместо башни на нем ребристо поднимается что-то похожее на кран, Лина позднее узнает, что это кто-то смекалистый, приспособившая танк к мирной жизни, сбросив башню, действительно установил на тапке обыкновенный рабочий кран, которым во время ремонта можно поднимать самые тяжелые двигатели. Танк с лягом развернулся перед «Москвичом», водитель лихо подцепил потерпевшего стальным тросом и легко поволок в сторону канала, словно букашку какую-нибудь поволок! Лина, притаившись, сидела в «Москвиче», сгорая от стыда. Она будто увидела себя со стороны, представила, каким смешным в глазах людей выглядит их лимузинчик, буксируемый по стерпе огромным рабочим танком. Зрелище со стороны, наверно, и впрямь было занятное: все бульдозеры, скреперы, взбравшись на гору, остановились, водители самосвалов начали сигналить; видно было, как отовсюду бульдозеристы машут фуражками, и где-то на валу под самым небом сверкают белые зубы на запыленных лицах, — хохочут все, вся степь хохочет, наблюдая как стальной буро-зеленый мамонт тащит к табору эту голубенькую, подхваченную в степи букашку.

Уже танк остановился и трос отцепили, а Лина все не решалась выйти из своего укрытия; самый воздух здесь, казалось, насыщен сверканием пасмешек, хохотом, издевкой... Наконец, преодолев неловкость, она выскользнула из машины, будто волной выплеснутая навстречу этим людям, бульдозерам, тягачам, самосвалам. И все здесь было непривычным, обнаженным, поражающим — зубатые эти механизмы, жилые вагончики, доска Почета, бочонки с водой... Кто-то попросту, как запорожец, пьет прямо из бочонка, потом передаст посудину отцу, и тот, напившись, солидно советует позить воду цистерной, было бы, мол, выгоднее...

— А мы парочно это делаем, — отвечает тот, что пил, молодой, запыленный смугляк, и белки его глаз по-цыгански играют лукаво. — Если бы привезли цистерной, то на три дня — и протухла бы вода! А в таких волей-неволей ежедневно возят, и, стало быть, свеженькую пьем! Хочешь? — предложил он Лине и осторожно придержал бочопок, пока она напилась.

Напившись, сказала негромко:

— Благодарю.

— Так ты меня не узнала? — поставив бочопок на землю, весело окинул ее взором смугляк. — Это же я тебя на буксир брал! Никогда танкистом не был, а тут пришлось... А зовут меня Микола Египта, хоть с египтянами я родич такой... На одном солнышке портянки сушил! Ну, мы поехали! — крикнул он и, проворно забравшись в танк, рванул с места, аж земля задрожала.

Лина, сама не зная почему, улыбнулась ему вслед.

Пока отец возле походной мастерской ведет деловые переговоры, а потом с кем-то из ремонтников начинает обследовать внутренности «Москвича», Лина, еще не совсем придя в себя после пережитого волнения, стоит, насупленно рассматривает доску Почета, откуда на нее смотрят, видно, те же самые бульдозеристы, которые только что хохотали на валу. Они и здесь, на фотографиях, веселые, бесшабашные, среди них и тот смугляк, что воду пил, а одеты еще по-зимнему или по-весеннему, в фуфайках. У этого шапка-ушанка набекрень, на ухо, а у того нарочно надвинута на лоб, этот положил на гусеницу бульдозера руку, словно другу на плечо, тот картинно позирует, подбоченясь, а один, здоровый, широкоплечий, видно, развлекая товарищей, скорчил такую мину перед объективом, что невольно улыбнешься.

Из-за вагончика вышла девушка в ситцевом выгоревшем платице, вероятно, ровесница Лине, только куда крепче, здоровее ее — из огня и солпца вся! Так и цветет здоровьем, тугое тело темпо от загара.

— Просто комедия была смотреть, как вас тащили, — улыбается она Лине. — Это хлопцы ради шутки придумали для буксира танк послать. А Египте только подай...

— Нашли развлечение...

— Да вы на них не обижайтесь. — Глаза девушки светились добротой и сочувствием. — Просто любят здесь у нас пошутить... А танк как раз без дела стоял. Ну, этот уж как зацепит, то потянет, он у нас трудяга.

Девчата разом взглянули на танк, стоявший поодаль па своем, видно, постоянном месте. Египта, выбравшись из танка по пояс, уже с кем-то ругался, ругался так, что Лине хотелось уши заткнуть.

— Не обращай внимания, — отворачиваясь от Египты, успокоила ее девушка. — Это он механпка перевоспитывает.

Девчата разговорились. Вскоре Лина уже знала, что звать девушку Василинкой, а фамилия Брага, и что брат ее здесь работает бульдозеристом на капале, и что следующим летом она будет поступать в Ровенский институт инженеров водного хозяйства — капал обещает послать, будет стипендиаткой капала. А здесь? Здесь работает пикетажисткой — это от слова «пикет», капал па этом отрезке сооружается как раз между пикетами, которые она ставила. Обязанности несложные, ходишь, переставляешь геодезическую рейку-пикет, а мастер нивелирует. Когда старик в хорошем настроении, то он и пикетажистку допускает к нивелиру, чтобы приучалась. Но это сверх программы, а главное дело пикетажистки переставлять рябенькие вешки.

— Видишь, вон у вагончика стоят? Одна моя, а другая — моей напарницы, ее сейчас нет.

— Где же она?

— Рассчиталась, мать у нее серьезно заболела, а ухаживать некому. Дружба у нас была с Ганнусей, измерили мы с нею степь и вдоль и поперек! На том месте, где сейчас капал сооружается, это все мы с нею пикеты расставляли, и там теперь самые жаркие работы идут...

— Скажи, Василинка, своей работой ты... довольна?

— А что? Бывает, конечно, интереснее. Но и здесь пускай и по сто метров вперед, но все-таки вперед.

Другой мир, все такое далекое, а между тем Ливе почему-то интересно было слушать и про эти пикеты, и про нивелиры, и про то, как здесь живут. Слушала, а тем временем кто-то подкрался из-за спины и — хватъ ее за голову, схватил и крепко закрыл ладонями глаза. «Египта!» — мелькнула первая мысль, почему-то пмменно его руки представлялись такими горячими, крепкими, с орехами мозолей на ладонях. Нужно было отгадать, крикнуть имя, чтобы выпустил, и хорошо, что не крикнула, — когда высвободилась, увидела: Кузьма Осадчий! Улыбка до ушей, сам изъерошенный, в промасленной майке, в пылице. И в бровях и в чубе пыли набилось густо.

— Так вот кого тянули на буксире! — воскликнул Кузьма. — А я думал, там только старик твой... Куда же путь держите?

— Она в медицинский едет документы сдавать, — отозвалась первой Василинка.

— Что-то не слышал я, чтобы ты медициной увлекалась, — удивился Кузьма. — Скоростным методом открыла в себе такую склонность?

— Какая там склонность, — досадно усмехнулась Лива, а Кузьма весело, искренне пожелал:

— Ну, зелепой тебе улицы и голубого небал! А мы здесь, видишь, землицу пересыпаем. С места на место пересыпаем, а говорят, что-то получается.

— Не что-то, а магкапал, — поправила Василина.

— Вот слышишь, маг... То есть магистральный, — объяснил Кузьма, — а не потому, что перед тобой какие-то маги... Здесь без магии, здесь вкалывать как следует надо. Но зато отгрохаем такой, что посolidнее будет, чем известные тебе каналы марсианские, которые Скинапарелли открыл. С самого Марса в телескоп виден будет наш степной арык. — Хлопец оживился, расфантазировался: — Уже где-то там сидит себе, пожалуй, этакий ученый-марсианин, немного на самурая похожий, рассматривает нашу работу в окуляр телескопа и покряхтывает: что такое? Не было канала в этом секторе Земли, и вот он уже есть! Где была бурая пустыня, ровная какая-то полосочка легла. Оптический обман? Или, может, и там, на планете Земля, есть более или менее разумные существа? Что-то там роют, прокладывают, ведут... А если так, то нужно их сооружение немедленно нанести на карту открытых кана-

лов да скорее в диссертацию, ей-ей, за это дадут кому-нибудь доктора марсианских наук!

Девчат развлекают его шутки, обе смеются, а Кузьма тем временем, по-рабочему размашистым движением схватив бочопок с водой, пьет с жадностью, так что слышны глотки: «кдох... кдох...» Все у него здорово получается, даже и пьет хлопец так, как только что пили здесь взрослые бульдозеристы. Напившись, утирается всей пятерней, по-рабочему. Совсем недолго и пробыл здесь, а уже появилось в нем что-то уверенное, властное, расставив ноги, твердо стоит на земле Кузьма-каналостроитель, только жаль, что в ушах земляща, хоть гречиху сей. А давно ли то было, когда хлопцы их класса еще только учились водить трактор. И сколько смеху бывало, когда за руль садился этот лопоухий Кузьма!.. То ли он придурился, то ли в самом деле не умел управлять, только трактор никак не хотел слушаться и, выписывая по площади пьяные зигзаги, лез куда-то в степь напролом, а хлопцы изо всех сил кричали незадачливому водителю вдогонку:

— Кузьма, держи картуз!

Картуз был тогда на Кузьме какой-то чудной, не нашей эры, с переломанным козырьком, где он только такой выкопал! Даже жаль, что сейчас нет на Кузьме этого картуза, не удержал, видно, все-таки потерял где-то по дороге сюда, вместе со своей ученической беззаботностью.

— Вот так, Лина... Степи собираемся обводнить, а самим покамест напиться негде: бросай агрегат и беги к этим бочонкам за глотком воды.

— Потому что термосы порасплющивали,— говорит Василина с упреком.

— А как его не расплющишь, когда идешь почти слепым полетом... Припесут, поставят в бурьяне, разве ж там заметишь ваш термос... Наедешь — лепешка из него!

— Подумаешь, герой! — спокойно хмыкнула Василинка.— А вчера кому от батька влетело за нарушение правил безопасности? Грозился и уши оборвать.

— Эти оборвет, другие вырастут,— отбился шуткой Кузьма и объяснил Лине: — Мастер пожаловался отцу, что высокие гребни оставляю, могло бы завалить... Но скоро мое пребывание в стажерах-подпасках закончится, уже есть телеграмма из Харькова: партию новых бульдозеров нам отправили, где-то и мой среди них.

— Еще дадут ли,— поддразнила Василинка.

— Дадут. Поблагодарю отца за науку, за здоровую критику, за бульдозер и па свой, на новый пересяду. Хватит ходить в подручных, заживу под лозунгом: «Вольность и неподлеглосцы!»

И, тряхнув чубом, Кузьма вразвалку направился к месту работы. Уже отойдя, обернулся к Лине:

— Хочешь посмотреть, какие горы вороचाю?

Девчата, весело переглянувшись, пошли за ним.

Построенный когда-то на границах Римской империи Троянов вал, следы которого еще и до сих пор тянутся по степям Приднестровья, вряд ли мог бы даже во времена строительства равняться мощностью с этим валом — насыпью грунта, свежесвыроченного из трассы канала. С высоты вала видна вся папорама работ. Но где же именно проляжет трасса? Лине без привычки трудно разобраться в этом хаосе. Всюду роют, валамывают, переворачивают степь, там снимают верхний слой, а здесь земля уже порезана глубокими траншеями, в одном месте лоснится чернозем, а рядом бульдозеры уже выгрызают из глубины желтую извечную глину, выгребают ее паверх, на валы, целые холмы насыпают. Посмотришь со стороны, кажется, что только пересыпают землю с места на место, а участниками строительства во всем этом угадывается порядок, мысль капалостроителя безошибочно сквозь этот хаос ведет ось канала, видит в степях будущее полноводное русло.

— Обрати внимание, Лина, как выползцы подготовительные работы,— указал Кузьма па тот участок, где склоны канала были уже сформированы.— Будто вручную, правда? А делалось все машиной! Это пужно уметь! Все брат ее,— кивнул па Василину.— Настоящий художник своего дела, народный художник земляных работ! Где Левко Иванович планировал дамбу, не требуется никаких ручных доделок. Да и вообще у нас народ здесь — во! Большинство ветераны, с Ингульца пришли, с Ингулецкой системы,— продолжал хвалиться Кузьма.— И в Придунайщине тоже паши систему озер создают... Гребни, стены вон те зачем? Мы их специально оставляем между забоями, чтобы грунт на расползался. Уж когда врежешься в траншею, то все вперед толкаешь. Ну, а потом мы, ясно, и те перемышки ломаем. Как наедешь, стена земли перед тобой садится, так и никнет. А когда вверх берешь, грохот такой, как в ракете, просто глож-

нешь от него. — Кузьма широко улыбнулся. — Вот это мой робот, — остановился он у бульдозера, пеуклюже накрепившегося.

Квадратная металлическая кабина, в кабине рычаги торчат, на сиденье колом брошенная фуфайка, промасленная, смятая. Кузьма, забравшись в кабину, усаживается на той фуфайке.

— «Чтоб вырастить розу, будьте землей... Я говорю вам, будьте землей!» — весело кричит он с бульдозера слова какого-то восточного поэта.

Скрежет гусениц, рев железа, удар чадной волпы... Машине тяжело, натужный грохот оглушает Липу, она шарахается в сторону, а Кузьма беззвучно хохочет в кабине и направляет бульдозер вниз, в пыль, в жару, в развороченный земляной водоворот.

— Пошел наш Кузьма на просторы двадцатого века, — шутит Василинка, видимо, привычной здесь поговоркой, и Липа даже в этой шутке ощущает атмосферу жизни своеобразной, ей недоступной.

Просторы двадцатого века — и выдумают же такое!.. Оглядываясь вокруг, Липа, однако, замечает, что просторы здесь как-то особенно чувствуешь, — они словно бы оживают, еще лучше видишь рядом с этим развороченным котлованом безбрежность стеней и огромность полупустого неба.

— А наши хатки на колесах, правда, красивенькие? — кивает Василинка на яркие желто-красные и голубенькие вагончики, которые вроде автобусов на стоянке сгрудились внизу. — Это из Эстолии нам доставили.

Девчата неторопливо направляются туда, увязая в разрытой теплой земле.

— Привыкла уже, Василинка, к жизни на колесах?

— А что привыкать? Зато ведь нам, кроме основной ставки, еще и «колесные» платят, или «пыльные», как мы их называем, — рассудительно говорит Василинка, и ее большие блестящие карие глаза лучатся улыбкой. — Вагончиков, правда, не хватает, часть наших в Брылевке живет, их на машинах возят на работу и с работы. Я тоже иногда езжу: натрясешься за дорогу, стиснут тебя, сидишь, согнешься — колени выше ушей! — Она снова улыбается ровной своей улыбкой, спокойная невозмутимость, кажется, никогда ее не покидает.

— А все-таки я вижу, тебе такая жизнь по душе.

— Жизнь как жизнь. Бывает, и допекут тебя чем-нибудь, а потом глянешь вокруг... все же твоя работа видна... Не зря живешь.

Бульдозеры всюду грохотали, будто амфибии плавали в земле, и уже не узнать было, где там Кузьма Осадчий — затерялся хлопец со своим агрегатом среди других бульдозеров, слился с ними, с их грохотом, скрежетом, пылью.

А тем временем и у людей, которые исправляли «Москвич» возле ремонтного вагончика, дело, видно, приближалось к концу.

Один из рабочих-ремонтников, которые помогали Яцубе, давал хозяину последние папутствия:

— Не допускайте, чтоб вода закипела. И на стартер не жмите без памяти. А если вам придется ехать по заповедной степи, будьте особо внимательны...

— Это почему же?

— Чтобы зубробизоны с вами не пошутили. Они же там на воле гуляют.

— Ну вот, пораспускали... Скоро и львов из-за решеток повыпускают. А зубробизоны, разве они на людей кидаются?

— Человека увидят — пичего, а больно уж почему-то не любят такие вот персональные автомобильчики последнего выпуска. Только увидит, прет за ним изо всех сил, чтобы на рога подпять.

— Ну, это уж вы заливааете, — изучающе-подозрительно посмотрел на собеседника отставник.

— Я очевидец, — подходя, говорит Египта. — Сам был свидетелем, я и там работал одно время. Как-то мы на ЗИСе пабираем сено в степи, вдруг топот! Оглянулись — табун! Целый табунце бизонов летит на нас! Братва кто куда, а бизоны и не к нам, они прямо к нашему ЗИСу! Как двинули, так и полетел вместе с сеном вверх тормашками. Так это же ЗИС! А такого лилипута, как ваш, ковырнет одним рогом и вверх колесами поставит.

Яцуба, вытирая испачканные мазутом пальцы, поглядывал исподлобья на Египта, не знал, видимо, верить или нет, серьезно тот говорит или только разыгрывает, дурачит его.

Потерял майор Яцуба здесь времени немало. Однако за работой не забывал поглядывать на дочь, видел, как она сначала с интересом разговаривала с какой-то здешней пышногрудой девушкой, потом сын Осадчего присое-

дннлся к ним, и слышны были оттуда хиханьки да хаханьки, все между делом видел майор: и как смеялись, и как воду пили, и как ходили на вал. Потом девчата зачем-то вдвоем вон в тот вагончик шмыгнули, где штаб всего этого отряда.

Когда наконец «Москвич» завелся, Яцуба от облегчения даже подобрел, настойчиво просигналил раз и другой, потом высунулся из машины и крикнул бодро:

— Лина! Где ты там? Поехали!

Дочки какое-то время не было, потом она появилась в дверях вагончика, непривычно веселая, возбужденная, даже поразила отца своей приветливой возбужденностью, а еще больше поразила рейкой полосатой в руках.

— Папа, я не еду. Я остаюсь здесь... Я — пикетажистка!

Долгая жизнь выпала на долю старой Дорошенчихи, или Чабанихи, как чаще называют ее. Давно уже нет панского дворца — сжег его в годы гражданской войны какой-то Рябошапка, — нет и бассейнов, в которых купалась ее горемычная юпость, нет и мужа-чабана, умершего еще в первую голодовку. Сыновья? Одип из ее сыновей погиб во время финской в снегах на Карельском перешейке, другой без вести пропал в сорок первом, служил кадровую на румынской границе. Исчез, как тысячи их исчезали в те дни, среди грохотов фронтов, бушующих пожаров, когда и ветры веяли над землей горячие и небо высокое горело над людьми. Нареченные ее сыновей давно вышли замуж за других, родили детей, а Дорошенчиха и до сих пор упрямо называет их своими невестками, а они тоже, хоть изредка, — когда муж обидит, — забегают поплакать к старухе.

Поотдавала войнам сыновей, остался ей только этот, самый старший, что юпошей отправился в море, плавал на байдах с оleshковскими да збурьевскими дядьками по «Золотой линии», а потом и в дальние плавания пошел, по всем морям-океанам пронес смуглую материнскую красоту.

Кажется, только тем и держится Дорошенчиха на свете, что ждет сына в гости. Приезжает он все такой же стройный, как в молодости, подтянутый, с неугасающей приветливостью в глазах, только с каждым разом больше седины серебрится на висках да больше тронута усталость улыбка.

А однажды капитан не приехал летом. Был он с научной экспедицией в далеком океане, как раз в тех водах,

над которыми вставали тогда сатанинские грибы атомных взрывов.

Старая Дорошенчиха, что внимательнее всех в совхозе слушала передачи радио, что тревожнее всех синоптиков переживала сообщения о движении циклонов и ураганов, первой услышала и об этих атомных испытаниях. Услышав, сама не своя выскочила со двора, поспешила на почту. Люди оглядывались ей вслед, а она никого не видела, с палкой в руке торопливо, широко шагала серединой улицы. На почту, где раньше ее ждали добрые вести от сына, куда всегда заходила торжественно, словно в храм, и откуда возвращалась просветленной, с озаренным загадочной улыбкой лицом,— на этот раз она ворвалась разъяренная, с проклятиями на устах:

— Что они там думают, ироды? Что они делают, разрази их гром!

И стучала в пол своей палкой, растрепанная, худая, кричала в окошко, за которым как раз сидела одна из ее «невесток»:

— Пиши! «Молнии» пиши! Радиogramмы!

— Кому же писать? — растерялась та.

— Министрам всем! Президентам! Что они думают? Люди ж на море! Сын мой там!!!

Все служащие сбежались на шум: и почтовые и из сберкассы, никто толком не знал, как выполнить требования Чабанихи, но и отказать ей было невозможно, кажется, она и глаза выпарапала бы тому, кто отказался бы принять ее послания.

— Пошлем, пошлем,— успокоил Чабаниху начальник почты.

И только после этого буря гнева у нее сменилась слезами; слепая от них, побрела она домой, поплелась походкой человека, разбитого тяжким горем. Как села возлохаты, так и сидела до самой ночи.

Соседки и «невестки» приходили проведать: может, надо чем-нибудь помочь? Она неохотно им отвечала. Поговаривали потом, что неладно с Чабанихой, разум помутился, но в глазах ее, как и раньше, виден был ум непомраченный, в темной глубине их стояла горячая боль.

Целыми днями сидела и молчала, а когда начал однажды накрапывать дождь, окликнула детей, предупредила, чтобы не бегали под дождем: теперь, мол, дожди поганые.

Ждала ответов на свои послания. Нестей от сына ждала. А как стало известно, что атомные испытания в океане прекращены, и от сына пришла уже из советского порта радиограмма, сообщавшая, что он цел и невредим, мать будто вернулась к жизни. Впрочем, и после этого она оставалась в уверенности, что именно она своими посланиями-«молниями» спасла сына, отвратила от него беду в океане.

Теперь сын дома.

Занимается зарю, а он лежит, спит сладко, а мать ходит на цыпочках, чтобы его не разбудить, осторожно ставит у изголовья стакан травяного настоя — пусть выпьет натощак, когда проснется. Как только сын пожаловался после приезда, что головные боли часто мучают, она успокоила убежденно, твердо:

— Я знаю такие травы в степи, их пужно до восхода солнца собирать, сделаю настой и любые головные боли сниму. Один приезжал ко мне даже из города, сам врач, а я сделала ему настой, передавал — помогло. Поможет и тебе.

Знает она также, что у сына не все ладно с глазами, последнее время ухудшается зрение, но верит, что и это пройдет: у него просто кровь приливает. А темные, в черепеховой оправе, очки мать невзлюбила сразу, забрала, спрятала, не дает надевать даже при ярком свете.

— Орлы на солнце смотрят, а какое у них зрение!

К утешительному чаю мать ставит на стол тарелку со свежими, пахлыми медом сотами, и делает это так же тихо, украдкой, чтобы не потревожить сына, а он тем временем уже проснулся, уже полураскрытыми глазами следит за матерью. Она даже помолодела с его приездом, без усталости хлопочет. Кто по-настоящему счастлив тем, что он будет жить теперь без страданий, так это, конечно, она, мать. И то хорошо, хоть ей принес он отраду, пускай она немного поживет в покое. Вот только найдет ли он здесь покой для себя? Не во всем он ей открылся, трудно и самому думать об этом. Брошен якорь, и, кажется, надолго. «Поезжай, — сказали ему, — подлечись, отдохни, а там увидим. Мы тебя еще позовем». Но позовут ли? В пародстве полно друзей, однако бывает такое, что и друзья бессильны. В его положении остается лишь верить в чудо народной медицины. Разве не пропала судьба: в то время, когда есть опыт, знания, когда всей душой стремишься к жизни полнокровной, деятельной... вдруг очутиться

здесь, в тихой заводи, где, быть может, вечный штиль тебя ждет!.. Потолок. Посудник над дверным косяком. На нем потемневший от времени, еле заметный казак с копьём и криница. Давно нарисованы они. Отсюда началась жизнь, здесь, кажется, и замкнется круг... Ночевал в бамбуковых хижинах, в гостиничных клетках небоскребов, в душные тропические ночи выносил постель из каюты на бак и там спал, обливаясь потом, а теперь вот снова на постели своего детства, снова перед глазами темнеет нарисованный казак с копьём да криница... Неужели это и все? Неужели промелькнула жизнь? Как летняя мимолетная гроза, сверкнула щедрыми дождями да солпцем, отшумела, прошла...

...Один из последних рейсов был исключительным, десятки тысяч миль прошел он на своем белом красавце корабле с научной экспедицией на борту. Изучали дно океана. Подводные вулканы наносили на карту. Проникая взором в глубину, обнаруживали горные хребты под толщей океана и никому ранее не известные впадины, ущелья. Брели планктон, изучали циркуляцию вод, строение земной коры... Дорошенко и сам был захвачен работой экспедиции, охотно брался порой за то, что вовсе не входило в обязанности капитана. «Давненько что-то мы не тралили», — бывало, скажет ученому, своему другу, известному океанологу, и, когда тот прикажет класть судно в дрейф и спускать приборы в глубину океана, Дорошенко сам ставится к лебедке. Такое траление — операция длительная, и все нужно делать с осторожностью, глубины огромные, но какое это интересное занятие, какие радостные неожиданности сулит. Здорово устали в этом плаваньи участники экспедиции, почернели, бородами позарастали, зато сколько увидели чудес!.. Алел флагом его корабль в водах самых отдаленных архипелагов, белоснежно сиял под пальмами таких островов, где раньше не ступала нога его соотечественников. Черные губернаторы островов давали приемы в его честь... Местные жители с утра и до вечера толпились у причала, возникала очередь желающих попасть на судно, посмотреть, как живут советские моряки.

А потом был тот случай в океане, который чуть не закончился трагедией... Никто из участников экспедиции не видел самого взрыва, не видели они над просторами океана того зловещего, зажженного варварской рукой апокалипсического солнца. Но хотя были они в ином

положении, нежели японские рыбаки, и смертоносным пеплом палубу их не засыпало, однако Дорошенко как сейчас помнит озабоченные лица собравшихся на палубе ученых, когда в дождевой воде были обнаружены опасные признаки.

Все меры были приняты. Палубу и надстройки тщательно промыли. Однако родину уже тревожила их судьба. «Немедленно вернуться в ближайший отечественный порт!» — такой получили они по радио приказ. Прервав научный рейс, в гнетущем настроении направились к родным берегам. Еще и в гавань не вошли, как примчался из порта катер с целой группой врачей, и суровый молодой дозиметрист, закованный в панцирь профессиональной выдержки, первым поднялся на палубу.

К счастью, оказалось, что судно не заражено, люди здоровы.

Его белоснежный лайнер и сейчас где-то в экспедиции. На этот раз судно повел бывший старпом, воспитанник Дорошенко. Где они теперь? На каких широтах? Душная ночь где-то в тропиках, матросы собрались на палубе, задумчивая песня полилась под звон гитары... Счастлив был бы сейчас пусть не капитаном — рядовым матросом попасть к ним на борт, с радостью драил бы палубу, честно выстаивал бы матросскую вахту, во время бури с полуслова бросался бы натягивать вдоль палубы штормовые леера. Не представлял, что так тяжело будет ему расставаться с этой нелегкой жизнью, с вахтами, запахом канатов, солепым воздухом моря, криком чаек...

Встает, пьет материнское колдовское зелье, босой выходит побродить по двору, по росистому спорышу. Клубок красного солнца пылает сквозь туманно-мягкие тамарисковые заросли, небо над степью чистое, и самолет, как рыба, пошел вверх, вопзаясь в прозрачную голубизну. Не слышно звука, лишь виден обтекаемый рыбий силуэт, потом наконец доносится и звук, далеко позади самолета возникает мощный реактивный грохот. Самолет понесся сам по себе, а грохот живет отдельно, как эхо, как воспоминание о его полете.

Мимо двора идет Лукня, спешит куда-то.

— С добрым утром! — говорит она, замедляя шаг у калитки.

— С добрым утром, Лукня.

— В область еду... Может, поручение будет какое?

Дорошенко подходит к калитке, смотрит на Лукию, свежую, только что умытую, и она, как в девичестве, сразу краснеет под его взглядом, краснеет так густо, что словно бы даже сизым пнеем покрываются ее тугие щеки, а в глазах слезы неловкости уже сверкают, светятся, от них и глаза наливаются светом. «Ну чего ты до сих пор смущаешься, Лукия?» — так и хочется спросить.

— Ну, так как же, будет поручение? — повторяет она, с трудом сдерживая волнение.

— Привет Пахому передай. Ты ведь навестишь его?

— Непременно.

Не избежал-таки хирургического ножа Пахом, упрямый их подвижник... Схватило прямо возле силоса, да так схватило, что на самолете пришлось отправлять беднягу в область, в тот же день и оперировали... Пилот Серобаба, румянощекий жизнелюб с черными холеными усами, шутя рассказывал потом в совхозе, что директор якобы и там, под ножом хирурга, кричал: «Обождите! Силосование не закончил! Мясо не сдал! Шерсть еще не всю на шерстомойку отправил!..»

— Рано, рано скрутило Пахома, — задумчиво говорит Дорошенко.

— Выкарабкается, — в голосе Лукии не чувствуется грусти. — Хлопцы и умереть не дадут... Ну, всего...

И она уходит — ей пора, кивнула на прощание, одними ресницами попрощалась, и Дорошенко заметил, как глаза ее в этот миг еще больше налились светом. Ушла. Косы Лукии уложены на затылке высоким тугим узлом. Дорошенко молча смотрит на тот узел, ему немного грустно, что Лукия отдаляется от него, что предназначенные для города высокие каблуки ее постукивают все дальше, размеренно и горделиво. Лукия — вот его щедрая молодость, вот чьей дружбой он может гордиться!.. Правда, не все получилось, как мечталось, но и поныне в душе не остыл жар того костра, что таким ярким пламенем вспыхнул когда-то...

Вот он, еще молодой, полный любви к ней, в Буэнос-Айрес идет, в первый самостоятельный рейс. Осень, непогода, ночь, из тех ночей, что ломают корабли, что бурлят стихиями, в шквалах разносят тревожные сигналы SOS... Ревет, бушует Атлантика, а в смятом океане неба тревожная бредет луна. Одно расплывшееся пятно, желток света среди тускло-серебристой бесконечности, среди водоворота и хаоса туч. Косматые буруны, будто

львы, идут да идут из просторов ночи, растут, обливаются, сотрясают ударами судно. Катастрофа казалась неминуемой, и если ты не потерял тогда самообладания, вывел судно, то, может, потому, что был не одинок, что и среди атлантических пучин она, Лукия, смотрела на тебя смеющимися влюбленными глазами.

И теперь провожая взглядом Лукию, Дорошенко чувствует, как пробуждается давняя нежность к ней, растет неутоленная жажда что-то вернуть, что-то повторить — далекое, как молодость, неуловимое, как сон. Снова начать жизнь? Не об этом ли твоя тоска? Но этого еще никто не испытал, никому еще не удавалось миновать тот мрачный последний порт, что каждого рано или поздно ожидает... Многих друзей юности уже нет, вот и Пахом, однокашник, сгорел на работе, а ему, Дорошенко, еще мерещится, что его позовут...

...Но позовут ли? Или, быть может, это уже не временный недуг, а твой неотвратимый вечер властно па тебя надвигается? И это в то время, когда так много тебе открылось! Красота мира, которую ты в юности и не понимал по-настоящему, во всяком случае, не замечал, не дорожил ею так, как сейчас... Красота человеческих лиц, взглядов, поступков, порывов... Вся жизнь только теперь открывается тебе в своих существеннейших связях и достоинствах. Может, это и есть то, что называют мудростью? Мысль ясная, мозг светится, как говорил любимый его художник... А день клонится к вечеру... И с этим смириться? Слепнуть к синеве небес, оглохнуть к далекому гулу океана? Неужели не понадобится больше твое умение, твои знания, твоя воля и твое беспокойство? Или все-таки ты еще нужен?

Мать идет с огорода. Платок на ней чистый, белый, как в воскресный день, — для нее и впрямь теперь всегда воскресенье. В руках песет укроп, морковь, пучочек петрушки, свежее-зеленой, росистой.

— Зелени тебе к завтраку... Если что-нибудь не так тебе, сыпок, ты говори.

— Все так, мамо, все так.

Побреешься, позавтракаешь и идешь от нечего делать побродить по совхозу, завернешь в радиорубку, где на тебя дохнет чем-то корабельным, поговоришь о разных новостях с Виталиком, который уже уверенно входит в обязанности радиста, а потом завернешь в прохладную тень старого, некогда господского парка, где в самую большую

жару удерживается прохлада, где в запущенных зарослях тебе удастся отыскать развалины панских бассейнов и даже следы того страшного сооружения, что называлось *ковшовым* колодцем,— когда-то там по рву, по вечному кругу изо дня в день ходил горбатый верблюд Васько, гоня ковшами воду для полива. С рассвета и до ночи ходил он с завязанными глазами по выбитой слепым топтанием круговой дорожке, ходил как заводной, а ты, что был за погонщика, только придешь, бывало, перепряжешь, прикрикнешь, чтобы трогался трудяга в обратном направлении, и уже молча пошел твой двукольный Васько медленно раскручивать назад свой вечный, терпеливо намотанный круг...

На краю парка — тоже остаток панской старины — выщербленные, изгрызенные временем кирпичные ворота, а невдалеке часовенка, под которой когда-то был подвешен колокол, чтобы созывать батраков на работу. Еще дальше один за другим выстроились в ряд, как сфинксы, облупленные кирпичные подвалы для вина, все они заперты — до уборки винограда еще далеко; за ними пышет раскаленной черепицей приземистый сарай, что был некогда каретным, а сейчас благодаря настойчивости Яцубы передап пожарной команде.

Сарай открыт настежь, из глубины его таращит фары красная пожарная машина, готовая в любой момент ринуться куда пужпо, а в дверях стоит и сам Яцуба, вглядывается в степь.

Приблизившись, Дорошенко поздоровался:

— Добрый день. Смотришь, не горит ли где?

Яцуба и не шевельнулся. Стоит худой, длинный, уставился, как лупатик, куда-то в пустоту. Не болен ли? Вид у него какой-то замордоваппый, осунулся, пожелтел, седой щетиной оброс. Суровое, аскетически вытянутое, как на византийских росписях, лицо затаило боль, страдание.

— Что с тобою, Григорий?

Наконец Яцуба заговорил, не отрывая глаз от степи:

— Третий раз молния поджигает кошару на Кураевом... Третий раз бьет, и все в один угол... Зарыто там что или залежи какие? — Он снова помолчал. — На ихнем же поле в прошлом году молнией тракториста убило, а трактор после того еще долго сам по полю ходил.

Что это с ним нынче? Говорит, будто в бреду, будто кошмарное сновидение рассказывает.

— Не болезнь ли тебя мучает? — спрашивает Дорошенко сочувственно.

Яцуба, отделившись от косяка, плетется в глубину сарая, выносит низенький, обтянутый парусиной стульчик, подает капитану.

— Садись.

А сам садится прямо на порог.

— Иван, ты мне друг, — говорит он с наигранной теплотой в голосе, хотя Дорошенко не помнит, чтобы они когда-нибудь дружили. — Как друга прошу, посоветуй, что мне делать? Горе. Такое, брат, горе на меня свалилось...

И по этой его измученности, тревоге и беспомощности, раньше ему совсем несвойственным, Дорошенко чувствует, что Яцубу и в самом деле, видно, постигло несчастье.

— Рассказывай, Григорий, что случилось... Авось как-нибудь и уладим.

— Черт ладу не ищет, лишь бы крик был... Дочь отреклась! — воскликнул Яцуба и поник головой, на которой сверху, вроде чашечки на желуде, сидела разукрашенная, расшитая бисером тюбетейка.

Дорошенко уже слышал, что дочь Яцубы наперекор воле отца устроилась работать на канале, слышал об этом в веселых пересказах с разными смешными подробностями, а вот для Яцубы это, оказывается, страшный удар.

— Ушла... отблагодарила отца за все, — говорит он с глубокой обидой в голосе, и плечи его старчески покачивают. — Растил, лелеял, все в нее вкладывал... И вот теперь осиротила. Куда могла пойти, а куда пошла!

— На канал пошла, в трудовой коллектив, что же тут страшного? — пожал плечами Дорошенко.

— Все говорят о тебе, Иван, что деликатный ты, чуткий, культурный человек. Как же можешь ты с ними заодно? Семнадцатилетней девушке попасть в тот табор бродячий, где грубость, ругань, водка, — это, по-твоему, не страшно? Ох, знаю я, Иван, что такое для человека окружение! С убийцами, преступниками, с разным уголовным элементом столько лет имел дело. Пусть те по одну сторону проволоки, а мы по другую, но нам, думаешь, было сладко? Думаешь, в карты нас не проигрывали, финок тайком на нас не точили? Наша служба — это, брат, фронт был, сплошной фронт. Без хвастовства скажу, справлялся. Сколько благодарностей в самых высоких

приказах получал. Это здесь вот хотят сделать посмешищем, а там цепили. Кто в подчинение попадал, духа майора Ядубы боялся! Над какими людьми власть имел! И слушались. Подчинялись. А тут девчонка... Отцу родному нанести такую обиду!

— Оставь ты дочь в покое, она ничем тебя не обидела. Скорее наоборот...

— Что «наоборот»? Да как она смела! — Ядубу даже передернуло. — Знает, что отец дорожит ею, любит негодницу без памяти, и так злоупотреблять его любовью! Да что она значит без отца! Нет, под конвоем возвращать бы таких в отцовский дом!

— Не имеешь права, — улыбнулся Дорошенко. — Аттестат зрелости у нее на руках.

— Вот то-то и оно! И аттестат и паспорт... Ездил я к пх начальству. И к ней, конечно: думал, перебесилась уже, заберу. Черта с два! «Не понимаете, говорит, вы меня, папа. Ничего вы не понимаете в нашей жизни. Вы, говорит, разучились самостоятельно думать, во времена культа привыкли, что за вас кто-то думает... Учитесь же думать хоть теперь!» Такие речи каково мне слушать? На шестом десятке от родного дитяти, а?

«А в самом деле, способен он что-нибудь понять в том, что произошло? — думал Дорошенко, глядя на приумолкшего, понурого Ядубу. — Найдет ли в себе силу порвать путы прошлого, расковаться, выпрямиться? Не умерло ли в нем самое желание выпрямиться, взглянуть на мир по-новому?» Дорошенко не собирался полемизировать с ним, видел, что сейчас это было бы бесполезно. Думал о другом: что случилось с человеком? Ведь Дорошенко помнит Ядубу в расцвете молодости, когда он летом и зимой носился в островерхой буденовке, что досталась в наследство от отца, и хотя Ядубу и тогда за его горячность и горластость молодежь называла «фанатом», но от него так и веяло жизнью, неукротимостью, не было в нем этой аракчеевской дубоватости, общего оупения, о котором, видимо, и говорила дочь. Кто выжал из его души здоровые соки жизни, кто изуродовал в нем лучшие человеческие задатки? Скудный же, видно, был духовный твой рацион, браток... Сырую картошку, говоришь, грыз на лагерной службе, не хватало витаминов... Но еще больше не хватало, видно, тебе каких-то иных витаминов, тех, что для души, — вот почему тебя так скрутило, покалечило, как тех птиц из Аскании, страдающих авитаминозом.

Словпо бы и кормят их хорошо, а все же чего-то им не хватает в искусственных условиях заповедника, фламминго даже меляют окраску, из розовых становятся белыми, а у лебедей-крикунов шеи скручены просто сверлом... Так, кажется, и тебе, голубчик, свернуло шею, видишь лишь одну сторону, не замечаешь, что жизнь вокруг меняется и климат изменился.

— Учитесь думать... Вишь, какая! Да у меня, доченька, уже голова от мыслей пухнет! Я же не трактор, за который тракторист думает. У меня своя голова на плечах, от мыслей она уже поседела... Бывает, по ночам не сплю и все гадаю: что же это было за шаманство? Что за кровавое затмение на всех нас тогда нашло? Создали себо идола и молились на него...

— Да, было,— согласился Дорошенко.— Стыдно. Перед всем миром стыдно.

— Они, молодые, думают, что все это так просто: отцы плохие, отцы культовики, а мы вот чистенькие, мы ангелочки... Еще посмотрим, что выйдет из этих ангелочков. Под пластинку танцевать — одно, а жить... На днях приехали два таких фертика паниматься на работу. «А это правда, спрашивают, что в нашем совхозе воровать нельзя?» — «Правда». — «Тогда это нам не подходит». И как ветром сдуло. Нет, нас не так учили, не такой мы закалки. Схватишься ночью, глянешь, где-то забাগровело в степи — ты уже и мчишься туда, летишь, переживаешь. Прискачешь, а они стерню жгут... Разве им, молодым, эта твоя тревога понятна? А мы ведь привыкли, что слово старшего для нас закон, все в жизни на дисциплине держится, и если я тебе отец, то не забывай, что я за тебя и отвечаю... Нет, не ждал, не ждал я, что она так меня опозорит! — снова перешел Яцуба на свое наболевшее. — За все отблагодарила. За то, что так пестовал, что пальцем ее никогда не тронул! Для нее ведь жил, для нее! — Голос его дрогнул.

— Такая девушка, она еще порадует тебя,— сказал Дорошенко.— Еще и отцу там добудет чести и славы.

Яцуба поднял голову, посмотрел на собеседника пристально.

— Ты думаешь?

— Вот увидишь.

— А впрочем, не бессердечная же она! — охотно согласился Яцуба.— Не может же быть, чтобы совсем отеклась от отца, чтобы возненавидела, каким бы он там

ни был.— Его большие глаза даже палились слезам, голос зазвенел надеждой.— Не пропащий же у нее отец! Пускай искривило, исковеркало его, но ведь из карельской березы тоже мебель делают, хоть какая уж крученая!..

Запыленная пароконная тачанка остановилась напротив сарая, молодой агроном, не вставая с сиденья, крикнул Яцубе:

— Дым какой-то вон там, к востоку!.. Примерно в Четвертом отделении.

И этого оказалось достаточно, чтобы Яцуба-командир уже был на ногах, уже властно ударил в набат — медный пожарный колокол, и шофер, что, растянувшись, спал у сарая, вскочил очумело и, еще, кажется, не пробудившись, бросился выгонять машину из сарая.

— А если это не пожар,— добавил агроном вслед Яцубе, который торопливо залезал в кабину,— так можете деревца поливать... Там увидите — бензовоз уже поливает вдоль дороги...

— Есть! — слышалось в ответ.

Когда пожарная цистерна умчалась, Дорошенко вышел на дорогу к агроному и тоже стал всматриваться в горизонт. Дыма нигде не было. Вихрь вдали пошел степью, но вихрь ведь не погасишь.

— Ложная тревога,— улыбаясь, сказал агроном.— Там дети весной обсадили деревцами дорогу, так надо полить — такая сушь... Бензовоз уже поливает, чего же этой гулять?

И его тачанка легко покатила дальше.

— «Ох, узнаю своих земляков!» — усмехнулся Дорошенко, медленно шагая через пустырь мимо огромного пруда, который вырыли этим летом. Пахом Хрисанфович очень гордился этим прудом. Глубокий, он еще не был заполнен, только на самом дне, паливаясь, поблескивал круглым зеркалом воды. «Видишь, круглый, как телескоп», — говорил Пахом Хрисанфович, показывая Дорошенку свое детище.

За прудом на том же пустыре строят новое помещение фермы. Оно причудливое, длинное, выгнутое дугой. Как ангар. Как станция метро. Бригадиром здесь тоже товарищ юности капитана Дорошенко — Андрей Бойко, жилистый, легкий, будто высушенный временем человек с веселыми, молодыми глазами. В рабочем фартуке, с кельмой в руке, спускается с этого ангара, спрашивает капитана с любопытством:

— О чем это тебе Яцуба заливал там?
— Жаловался, что дочь наперекор пошла...
— И слезу небось пустил?
— Оно ведь и верно, нелегко ему.
— О, ты пожалей его, пожалей! Оп бы тебя пожалел, если бы ты ему тогда в руки попался. — Глаза каменщика сверкнули остро, хотя губы все еще улыбались. — Соучастник террора — таким он для меня и умрет! Добра от него не жди.

Дорошенко сказал полусуто:

— Будем, друг, верить в прогресс. Отъявленные злодеи и то, бывает, становятся людьми, а этот... Недаром пословица говорит: «Нельзя человеку стать моложе, а добрее — всегда можно».

— Нет-нет, ты его раскуси. Думаешь, он разоружился? На словах! А тайком на каждого из нас дело ведет. Все отмечает! Так что дело, паверно, заведено и на тебя.

— А, леший с ним! — отмахнулся Дорошенко и стал разглядывать строение.

Бригадир, обрадованный вниманием, начал оживленно рассказывать, как возникла мысль строить такие вот — без леса — арочные фермы.

— На свой страх и риск! Нашли в одном журнале описание такого сооружения — давай, думаем, попробуем и мы. И, как видишь, получается. Цемент да кирпич. Никакого тебе дерева!

— Удержится, не обвалится?

— В Шестом отделении разве не видел? Уже один коровник стоит такой. Как штык! Мы, когда сложили его, сперва испытали на прочность: всей бригадой взобрались на самый верх, и хлопцы как ударили гопака... Выдержал.

— Да, хлопцы у тебя орлы, — взглянул Дорошенко на молодых каменщиков: они стоят в сторонке, сдерживают улыбки; парни словно бы нерадивые, равнодушные, а в душе, видно, гордятся собой, своей работой.

— У нас только орлы — других не принимаем, — шутит Бойко. — Бригада ведь у нас коммунистическая!

— Много строит нынче совхоз, — замечает Дорошенко. — Там хаты переселенцам, здесь вот фермы новые, пруды...

— Все вроде бы войны боятся, — вступил в разговор худощавый, пожилой каменщик, незнакомый капитану. —

А посмотришь, на Центральной веранды вперегонки ставят... Спросишь: во сколько же она тебе обошлась? Эта самая веранда, оказывается, ничего не стоит... Водка больно дорогая...

И все они смеются.

— Вот и мой Костя,— показывает Бойко на одного из молодых,— тоже веранду теще соорудил, да какую.

— Весь совхоз строится, а я что — хуже других? Мирру — мир! — спокойно говорит Костя и под общий смех добавляет, что на этом он прекращает с тещей холодную войну.

— Нигде и в отделениях уже нет землянок,— хвалится Бойко.— А я помню, как возвратился с фронта в Шестое, тогда семья там жила. Осень, ночь, темень... Домов нет, на месте поселка какой-то свинорой, в землю зарылись люди. Из всех архитектурных сооружений одно стоит... маленькая деревянная трибуна: видно, к Октябрьским праздникам воздвигали. А меня сон валит — просто падаю. Только прилечь негде — кругом мокро, развезло... Встаю по лесенке, ложусь и сплю. Проснулся утром: где это я? Что за гомон вокруг? Ах, да я же на трибуне! На трибуне ночевал, а вокруг на площади... полно солдаток! Ждут, чей пришел. «Может, мой?» И дети ждут: «Может, тато?» Но не будят: устал солдат, пусть отдохнет хорошепко.

На миг будто тепь пробежала по лицам, будто въявь предстали перед глазами и та толпа солдаток, и одинокая трибуна среди осеннего поля, и спящий на ней после дальней дороги солдат...

Домой капитан возвращается снова мимо пруда, мимо мастерских, привычная твердая дорожка вьется между ржавыми, нагретыми на солнце навалами металлолома, где снова попадаются на глаза мертвые судовые манометры и беспорядочно брошенная якорная цепь. На этом, собственно, и завершается предобеденная прогулка Дорошенко, которую он мысленно с горькой улыбкой называет хождением по Дуге Малого Круга. Сколько еще придется сделать таких обходов? Немного больше круг, чем когда-то верблюжий, но такой же однообразный, замкнуто-бесконечный...

Бестарка, запряженная парой лошадок, стоит возле медпункта. Старая женщина сидит напротив бестарки на лавке, склонилась на руки и... плачет.

Дорошенко остановился возле нее:

— Чего вы плачете?

— Ты меня не узнал, Иван? — спросила женщина, открыв изборожденное глубокими морщинами, мокрое от слез лицо. — Подумал, что бабка какая-то старая? А я Варька!

Он стал припоминать.

— Какая Варька?

— Варька Андриевская! Мы вместе еще в КСМ-ячейко были.

Да, это она. Так вот как идет время, вот какие следы оставила жизнь на его сверстниках!.. Старуха, а он, Дорошенко, до сих пор считает, что жизнь его только к полудню подошла.

— Чего ты здесь, Варька? Чего плачешь?

— Сына привезла вот, — она кивнула на бестарку, — подозрение на столбняк. Доктора нет, а без него не принимают!

Дорошенко кинул взгляд на бестарку и внутренне вздрогнул, увидев там уродливо перекошенное, сведенное судорогой юношеское лицо.

Твердым, уже не плачущим голосом Варька стала рассказывать, как стряслась беда. Комбайнер у нее сын, на самоходном работает, во время работы палец сбил на пальце, нужно было бы к врачу, но у нас сам знаешь как: неплом из папиросы присыпал, кровь засохла — и айда дальше... Потом уже товарищи стали замечать, что с ним неладно: скулу перекашивает, глаз тянет...

— Только тогда и признался мне. «Места, говорит, маме, нет на мне такого, чтоб не болело, всего меня ломает, выкручивает». Привезли его сюда, врач осмотрела, подозрение на столбняк. Тут бы его и положить, уколы бы ему, а они домой отослали. «Через три дня, говорит, явишься»... И врач молодая, культурная вроде бы, а так могла!.. Через три дня! А его за ночь еще больше перекосило, сегодня и слова уже не смог сказать этим паразитам.

— Не ругайся, Варька!

— Да как же не ругаться, Иван? Калекой же могут хлопца оставить на всю жизнь! — с болью выкрикнула Варька. — А как он трудился, как работал! Дни и ночи в поле, хлеб вон какой вырастил, пшеницей все завалили. Это ж все его труд, механизатора! Когда началась жатва, два-три часа вздремнет где-нибудь на кулаке, и уже помычался, уже на комбайне... И вот такое отношение.

— Там кто-нибудь есть? — кивнул Дорошенко па дверь медпункта.

— Да эта гусыня раскормленная, фельдшерица. «Чего же вы, говорю, сразу его не положили?» — «Коек не хватает». — «Сердца у тебя не хватает, а не косяк! Другая бы под кустом, вон там больного положила, а не отсылала бы домой...» Да еще и Лукии нет, уехала, некому и пожаловаться на них, паразитов. Холодные, бездушные у нас люди, Иван. Как с такими новую жизнь строить, скажи?

Дорошенко подпнулся на крыльцо медпункта, постучал в дверь. Дверь открылась. На пороге появилась фельдшерица в белом халате, раскормленная, полполицая. Кажется, Яцубина подруга жизни.

— Что вам?

— Больного примите.

— Больной это... вы?

— Нет, я здоров. Больной там. — Дорошенко взглядом указал на бестарку.

— А кто вы такой, что приказываете? Вы что — новый директор совхоза? — В ее тоне угадывалась издевка.

— Я не директор совхоза. — Дорошенко почувствовал, что теряет власть над собой, слепнет от бешенства, от хлынувшей в голову крови. Но усилием воли сдержал себя. — Больной в бестарке, извольте принять его!

Была в его голосе такая твердость, требовательность, что фельдшерица струхнула: пятясь, она залепетала что-то снова о койках, о том, что без врача она не имеет права... На шум, однако, выскочила откуда-то из внутреннего двора и врач — молодая и довольно хорошепьякая особа с крашеными ресницами и модно начесанной на лоб челкой. Даже не верилось, что такая молодая и, казалось бы, вполне современная девушка успела стать столь бездушной. А в институте сама же, паверно, возмущалась бюрократами. Впрочем, как выяснилось, больного и в самом деле здесь негде было положить, к тому же для таких больных необходим будто бы особый режим — темная комната, и лежать они должны на голых досках. Одним словом, надо везти в районную больницу.

Дорошенко вежливо взял девушку-врача под руку, подвел к бестарке.

— Садитесь. И отвезите его. И сделайте все, что необходимо. Вы такая юная — бездушные вам просто не к лицу.

Докторша залилась нежным румянцем, даже маленькие уши с клипсами порозовели. Дорошенко помог ей забраться в бестарку, и она молча устроилась там рядом с Варькой, и уже ее стройные девичьи ноги красуются рядом с Варькиными бугровато-тяжелыми, в темных узлах набухших вен.

Варька, выпрямившись, трогает вожжами лошадей, и бестарка с тарыхтением удаляется по улочке в степь...

А капитан Дорошенко после этого заглянет на почту и, узнав, что никаких новостей для него нет, придет домой, выпьет еще стакан материнского травяного настоя, успокоится, отдохнет под защитой исцеляющей материнской заботы.

Когда он приляжет на диван, мать, присев у окна с какой-нибудь работой, будет посматривать на него темными пронзительными, словно бы заглядывающими в душу глазами. Лоб ее время от времени хмурится в задумчивости, а губы что-то невольно шепчут. Сыну иной раз чудится, что она и вправду владеет гипнозом, какой-то врожденной силой внушения. И сегодня еще рассказывают в совхозе, как она сразу после войны, когда тьма-тьмущая крыс развелась на фермах, будто бы сумела каким-то способом выманить, вывести эту нечисть из помещений. Вывела и повела степью, и они шли за ней, послушные, как барашки, повела их до самого моря и там утопила. Тогда же, после войны, когда тут еще не было врачей, отовсюду несли к ней детвору лечить от «младенческого». Позднее даже медики признавали, что «бабкины купания дают известный эффект»... Какое это сложное создание — человек! Как много еще в нем неразгаданного, таинственного, сил неисследованных!..

— Чем вы, мамо, лечите людей?

— Кого как... Кого зельем... Кого наговором... А то еще можно лечить болью... Или добрым словом...

Все эти дни, что он гостит дома, мать только им и живет, ласка ее пенстошима, по пногда ему кажется, что и родной матери он был дороже тот — морской, обветренный, знавший бури, ураганы, опасность, вызывавший тревогу за себя, а не этот бескрылый, тихий, домашний... почти пенсионер. Там ты был человеком — среди штормов. Ночь, тревожность, в задраенные иллюминаторы бьет океан. Приказываешь рулевому, чтобы будил тебя через каждые полчаса. Бездонная темень. Ты и океан. И изредка, изредка впереди по курсу — огонек во тьме...

Кто-то идет навстречу... И что бы там ни было, как бы непредвиденно ни сложились обстоятельства — ни за кого не спрячешься, сам принимай решение, веди и веди корабль.

И ты вел. Конечно, не случай в океане причина столь длительного отпуска. Как показало исследование, он не облучен, разгулялась гипертония, и только. И зрение ухудшилось, — это, конечно, тоже временно. Сейчас уже вроде бы лучше... Хотя бы еще один-единственный раз ощутить себя среди просторов океанских!.. И хотя после того случая, что едва не закончился для научного судна трагически, Тихий океан перестал быть для Дорошенко вольным и чистым океаном его юности, — ведь там теперь совершалось нечто преступное, его отравляли, над его извечной чистотой глумились! — однако Дорошенко чувствует и сейчас непреодолимое желание быть там. Он готов на все. Ему порой даже кажется, что и тогда, в океане, не только встречный тайфун загнал их в ту опасную зону (официальная версия была — обходили тайфун!), но еще и какое-то затаенное в глубине души чувство, мятежное чувство протеста подсказало ему рискованный курс, желание своим присутствием защитить океан, его жизнь, его чистоту: В рейс! Хотя бы в последний, хотя бы в самый трудный!.. Только б не забыли, только бы не чувствовать себя за бортом, как бывает, когда ночью шквалом собьет, смоев человека с палубы за борт, и судно ушло, и крика никто не услышит...

Мать, как никто другой, понимает его теперешнее состояние, понимает тоску, что его гложет, и то глубокое смутение, что все время живет в нем, от нее не скроешь за внешней выдержкой тоскливо-жгучего ожидания, которое непроизвольно вырывается из души, ожидания того, что может никогда и не сбыться...

Придет ли радиогамма? Вызовут ли его в парокходство, пусть на портовую службу, на роль капитана-наставника, что ли, если уж считают, что судовождение не для него?

После обеда он снова выходит из дому. Хотелось бы матери задержать его, не пустить — куда ему в такую жару, зачем в этом белом отутюженном кителе бродить где-то по пыльным гумнам полевым или, как люди передают, взбираться даже на комбайн и, став рядом с водителем, пускаться словно в неизвестность на том тарахтящем «степном корабле»?

Нет, не удерживает его мать... Хотя сама никогда и не бывала в морских странствиях, но душой понимает, почему так пужно иногда человеку просто выйти за круг степной, чтобы оттуда окинуть взором далекую морскую синеву и почувствовать, как ласковый предвечерний бриз-востерок тихо тебя овевает...

В открытую спящую степь идет капитан Дорошенко, на ежедневное свое хождение по Дуге Большого Круга, идет, неся в себе все то же щемящее беспокойство, что нигде не покидает его.

Скоро вступит в силу август, затянет степные горизонты пыльной сухой мутью, — в конце лета, как и весной, снова приходит в этот край и ветры, и вихри, и пыльные бури. Погаснет степь, побуреет, выливает, осень обнажит посадки, выюга засвищет поземкой по схваченному гололедицей степному океану. Тесным станет свет, сузятся горизонты, все утонет в туманах, в мелких морозящих дождях...

А покамест небосклоны ясные.

И среди этих чабанских небосклонов, то сочно-красных утром, то сухо пылающих, оранжевых или раскаленно-багровых при заходе, отныне будет день за днем тянуться твоя безбурная жизнь.

Гомон языков, калейдоскоп лиц, влажное дыхание тропиков и гул Атлантики — все он принес с собой сюда, на родной степной берег.

Вот о Хиросиме сегодня ему бригадир каменщиков напомнил, часто его спрашивают о Хиросиме: «Что такое Хиросима? Расскажите...» При этом слове ему почему-то слышится сразу тупое монотонное постукивание пачинко — игровых автоматов — на каждом углу новоотстроенных кварталов погибшего города. За два дня своего пребывания там Дорошенко видел лишь людей без улыбок, душевно угнетенных, по крайней мере, ему так казалось, видел атомный лазарет, переполненный несчастными, обреченными людьми, которых губит белоковне, глаза которых разъедает катаракта... И всюду его преследовал все тот же оупляющий, будто паркотик, звук пачинко. Но Хиросима ведь не только это. Хиросима — сотни тысяч обуглившихся людей... Хиросима — это когда балки стальные плавилась, и черепица скипалась в груды шлака, и вышивка отпечаталась, как трафарет, на живых жепских плечах... Это те девчушки-школьницы, что, опираясь на бамбуковые палки, ковыляют куда-то в обгорелых

лохмотьях и зовут матерей, просят глоток воды среди спящего радиоактивного зноя.

Все это осталось далеко позади. Отныне оп здесь, где чабаны водят отары без лодий в своем необозримом сухом океане, где над полями морские чайки, эти крылатые «души погибших моряков», лишь изредка промелькнут, пропесутся белокрыло, собирая кузьку. С детских лет привык он к просторам, к привольной жизни, среди многочисленных друзей его есть простые чабаны и ученые-океанологи, степные комбайперы и моряки всего света — богат оп дружбой, опытом, стремлениями, богат своей любовью к людям и ответной их любовью к нему. И вот со всем этим богатством оказаться в стороне, в лимане, в вечном штиле? Быть может, отныне твоей палубой будет эта твердь степная, по которой ты идешь напрямик, а навстречу тебе горячим воздухом плещет простор знакомый, океанский. Нет только волн, нет бурунов. Сизоватая, вытоптанная овцами степь кое-где побрызгана капельками синего цвета — это упрямо цветут упругие петровы батоги. Молодыми глазами смотрел ты когда-то на эту степь, была в глазах орлиная зоркость, а сейчас слезой расплываются разбросанные по полю капельки синего цвета...

Вот могила казацкая. Это место когда-то называлось Скарбиным. Не раз в детстве у тебя дух захватывало от рассказов про клады, зарытые здесь запорожцами. А как найти? Выезжай верхом на курган, когда всходит солнце, и там, где ляжет тень от головы коня, копай, там и будет клад. Все меняется, только этот курган на месте, да солнце на месте, да тень от копы!

Хотя уже и не весна, по мареву еще и сейчас повеселенному щедро затопляет степные просторы, течет, струится повсюду, словно светлая веселая разлей-вода. Сверкает на открытых равнинах, во впадинах-лощипках, обтекает далекие скирды и посадки, делает их среди этого половодья переальными, иллюзорными. Слово в плесах чистых стоят, в лагунах, и отражаются в воде. А подойти ближе — там сушь, колючие заросли маслин да гледичий и колючая сухая трава внизу. Кое-где она, правда, еще не совсем сухая, зеленоватыми волнистыми прядями-руном стелется по земле, привлекает путника.

Выбрав вот такое место в тени, Дорошечко садится на траву, взгляд его отдыхает на шпепице, смуглой, полнокосой, солнечно застывшей у самых посадок; подсолнухадалица лежит неподалеку, — видно, кто-то переехал его,

по он еще цветет, цветет и в пылище, и пахнет твоим детством, и пчела озабоченно лазают по его тугим, раздавленным колесом сотам, впивается в каждую чашечку, берет нектар... Подсолнухи, эти братья солнца на земле, были его любовью и в далеких странствиях...

Почувствовав усталость, Дорошенко прилег на спину, вытянулся среди волнистой травы.

«Все, в сущности, так просто, — думалось ему, — стоит только понять, что живешь один раз, что жизнь — это тот рейс, который не повторяется, и что его нужно совершить достойно...»

Голое небо над ним.

Светлое, дневное, оно и сейчас таит в своей глубине все звезды и созвездия, которые открываются только по ночам.

Такими невероятно далекими кажутся сейчас Ивану Дорошенко прошедшая юность, семья, жена, дети... Были бы уже взрослыми сыновья. Ничего определенного не знает он о их последнем часе, о том, как топуло разбомбленное фашистскими пиратами транспортное судно, на борту которого они находились... Точно знает лишь, что случилось это в тихую звездную ночь. Из всего услышанного потом память крепче всего почему-то сохранила это...

Вспомнился еще родной порт, каким видел его в последний раз перед отъездом, — в причудливости почных огней, в стрелах работающих кранов, что и ночью трудились, откуда-то доносился грохот лебедек... Суда, малые и большие, словно бы только и ждали просторов, рейсов, ветров.

Очнулся Дорошенко от удара якорной цепи, лягнувшей где-то вблизи. Вскочил, сел и в этот же миг понял, где он, понял, что невзначай задремал у дороги в посадке, а разбудил его не грохот якорной цепи, а вот тот комбайновый агрегат, что, приближаясь, выплывает из-за горизонта, косит, снимает широкой полосой червонно-смуглую дозревшую пшеницу.

Капитан, будто сбросив усталость, поднялся взбодренный и, как перед выходом из каюты, машинально провел рукой по пуговицам кителя — все ли застегнуто. Настроение его сразу улучшилось. «Услышать здесь грохот якорной цепи — это добрая примета», — улыбнувшись, подумал Дорошенко и неторопливо пошел навстречу комбайну.

Синеет безбрежное море.

Детским щебетом начинается утро на одном из живописных полуостровов, что по-здешнему называется просто кут. На полуострове большой старинный парк, один из тех парков, какие некогда создавались в степных имениях батраками и тем рабочим степным людом, чьи внуки и правнуки сейчас все лето резвятся в тени этого парка и загорают у моря до смуглости мулатов. «Парижком» называется этот кут и парк. И это нужно понимать как «Парижская коммуна» — такое название носила основанная здесь еще в двадцатых годах коммуна демобилизованных краснофлотцев. Коммуны давно нет, а имя осталось. Осенью и весной, пока дети в школе, в «Парижкоме» проводятся совещания районного масштаба, форумы чабанов или кукурузоводов, сюда же едут отмечать и Первомай, а потом на все лето — обильное солнцем, степное! — власть здесь переходит в руки пионерии, мальчишек и девчонок, которых привозят сюда и жилищем для которых становятся вылинявшие профсоюзные палатки, а единственным начальством — воспитательницы и вожатые.

И хотя здесь все больше люди веселые, жизнерадостные, но и среди них своими выдумками, весельем да голосом-звоночком выделяется Тоня Горпищенко. Когда ни посмотришь, она в окружении детворы. Но, вспоминая отцовскую науку, Тоня потачек им не дает, всякого умеет приструнить; и все же малыши льнут к ней, с нею весело. Тоню они по-настоящему любят. Ее энергии хватает и на танцы, и на песни, и на разные игры, а детям, прибывшим сюда из областного центра, никто так интересно, как Тоня, не расскажет о разных травах и насекомых, о муравьях и степных птицах; она тебе, изловчась, и цикаду поймает, и ящерицу схватить не побоятся, чтобы поблизи

рассмотреть ее с детьми. Но если ты разиня-растеряха и, выкупавшись, забудешь у моря что-нибудь из своей одежды, то не надейся, что Тоня-вожатая тебе это так простит. С ее легкой руки на лагерном дворе появилась «Доска юных разинь», где висят на гвоздиках чьи-то забытые трусы, чьи-то тапочки, чей-то картузишко.

Любят дети ходить с нею в походы, а поскольку смотреть здесь особенно нечего — все степь да степь, где только и увидишь древний, может, еще сарматский курган или следы укрытий-капониров, в которых во время войны прятали самолеты, — то чаще всего Тоня идет с детьми по дуге залива вплоть до того места, где у самого моря на кромке рыжей суши сочно зеленеют кустики камыша.

— А угадайте, откуда этот камыш? Почему нигде больше нет, а здесь зеленеет?

Пока горожанин думает, кто-нибудь из степняков уже и отгадал:

— Видно, тут есть пресная вода.

И вправду, в камышах патыкаются они на такое богатство, какому и цепы нет в степи: криница чистой ключевой воды! Не очень и глубокая она, солнце просвечивает ее до самого дна, а дно, как в каменоломне, золотится обломками камня-ракушечника. Детям раздолье: ложатся вокруг криницы, набирают воду в пригоршни и пьют, смакуют, а утолив жажду, резвятся, брызгают друг другу в лицо, визжат, покамест снова не приутихнут, глядя, как вода в кринице отстаивается и солнечные лучи, преломившись в пей, будто застывают. Вот тогда и узнают они от Тони-вожатой, что криница эта не простая, что о пей ходит легенда, будто в ней дно двойное, и если долго смотреть вот так, не отрываясь, то можно разглядеть, как на дне между этими громаздящимися камнями сверкнет обломок сабли казацкой. Легенду эту знает вся степная округа, и, конечно, в воскресенье ни одна пьяная компания не мипует криницы, чтобы не уставить в нее свои пьяные рожи, — им мерещатся там и сабля, и кипжал, и что угодно... Бывает, что пытаются достать этот клад, ведь совсем близко видят саблю и рукоятку в инкрустации, но стоит сунуть руку в воду, как исчезают и дно и клад...

Лежат малыши и смотрят в глубину так пристально, что кое-кому и в самом деле мерещится нож, острый, как луч, да и самой вожатой, распростершейся между ними над криницей, тоже чудится уже что-то сверкающее между камнями, или, может, это просто солнечный луч игра-

ет? Но видит она здесь, в этой чистой кринице, и то, чего малыши при самой буйной фантазии увидеть не способны — не способны они разглядеть, как откуда-то с самого дна сквозь дрожащий хаос сломанных лучей улыбается их вожатой какой-то парнишка, тот, чье изображение вот так же глядело на нее в степи из воды, палитой в резиновое колесо для чаек...

Бывает, что набредет здесь на них лагерный баянист, у которого на голове такая копна густой шерсти, что даже странно, почему его не остригут в эту жару; баянист начинает приставать к вожатой с разными шуточками, пазывает ее смугляночкой, а она прямо в глаза говорит ему: как не стыдно бить тут баклуши, когда мог бы в это время зерно грузить на току.

— Надо ж кому-то для детишек па баяне играть, — хохочет затейник.

А Тоня ему снова:

— У меня вот пятиклассник Петько Шамрай па баяне играет не хуже вас. А то привыкли разбазаривать общественные деньги... В некоторых пионерлагерях, говорят, до того дошло, что даже горнистов нанимают играть побудку пионерам по утрам...

Однажды, когда возвращались в лагерь, баянист, крикнув детям: «Идите, идите!» — па минутку еще задержал Тоню-вожатую в камышах, и тогда малыши, насторожившись, как зайчата, снова услышали:

— Эх ты, смугляночка!

И вслед за этим звонкая пощечина раздалась и взволнованные слова их вожатой:

— Сперва пойдн трижды умойся!

Трижды умойся — значит, перед тем, как лезть с поцелуем...

И даже малышам эта формула их вожатой пришлась по душе.

А чем ближе конец недели, тем больше Тоню охватывает волнение. В субботу с самого утра она уже сама не своя, возбужденно-радостная, безудержно бросается обнимать подружек-вожатых. И они знают, в чем дело, они дружно просят начальника лагеря, чтобы отпустил Тоню домой на выходной день.

Под вечер ее провожают подруги и детвора, и даже те, чьи трусы да картузы она вывешивала на «Доску разинь», становятся немного грустными: ведь Тони завтра с ними не будет.

До совхоза отсюда далеко, лежит туда окружная пыльная степная дорога, но Тоня, чтобы сократить путь, решает брести через лиман напрямик — так она срежет угол, доберется на тот берег много быстрее, а там уже рукой подать до одного из совхозных отделений. Залив здесь не похож на тот, что у совхозных земель, этот еще мельче, его можно перейти вброд. Помахав на прощание рукой детям и подругам, что вышли на берег ее провожать, Тоня подбирает платьице выше колен, и ее тугие смуглые ноги смело забредают в это тропическое море, где нагретая за день вода тепла, как молоко, и йодисто-горячо пахнут водоросли. Густо сбитые когда-то волной, они неподвижно киснут в воде, и по ним так мягко ступать. А дальше от берега море становится прозрачным, чистым, на дне различаешь каждую песчинку, а еще дальше видно, как и водоросли по дну растут какие-то узорчатые, ветвистые — фантастическая, неземная растительность. В том заливе, что у совхоза, водорослей вовсе нет, а здесь их целый лес под водой, солнце отчетливо высвечивает их, виден каждый стебелечек, будто в аквариуме, а там, где Тоня бредет, они сами раздвигаются перед нею, будто уступают дорогу, будто знают, куда Тоня спешит. А она и впрямь торопится, и все у нее в груди смеется, и сердце горит жаждой свидания. Не то что лиман, который и курица перебредет, а, кажется, и само море она бы перемахнула, лишь бы скорее быть там, где хлопец веснушчатый ее ждет! Сколько раз то утром, то вечером, когда лагерь уже спит после отбоя, она приныкала ухом к приемнику, прислушиваясь, не обратится ли случайно к ней Виталик, не скажет ли хоть одно слово, может, просто назовет ее имя. Ведь пока не был он радистом в совхозе, то позволял себе такие штучки, мог через эфир разыскать ее в степи, позвать «ту, которая меня слышит...», а теперь, когда ему доверили весь радиоузел, Виталик будто преобразился, сам себе запретил откалывать подобные номера. Да она и не сердится на него за это. Не сердится, что вынуждена сама сейчас бежать к нему на свидание, ведь он сегодня на дежурстве и не может отлучиться, — не то что она. Во всем она ставила его выше себя: в знаниях, умении работать, в способностях; и если только в чем и могла она поуступить, а даже превзойти его, так это, может, в своей любви, убеждена была в этом. Брела, все выше подбирая платье, то напевала, то вслух смеялась, радуясь, что сво-

бодна, что впереди вечер свидания и будет целовать ее тот, кто ей люб.

Залив оказался шире, чем представлялось с берега, уже и вишнево-красное солнце скрылось за обрывистым берегом, а Тоне, обжигаемой медузами, еще далеко было до суши. Глубина залива не пугала ее — ведь она знала, что местные женщины, работающие по ту сторону на птицеферме, каждое утро, подобрав юбки, переходят его вброд, но женщинам тут все броды, видно, лучше известны, чем ей. В одном месте Тоня запуталась в таких водорослях, что немало времени потеряла, пока выбралась, и пришлось потом далеко обходить это «Саргассово море». А в другом месте неожиданно попала на глубину, оказалась в воде по грудь. Однако и это не погасило радостного ее настроения, тем более что дальше море снова становилось мельче, и Тоня побрела быстрее. Пугалась она, только когда медузы касались в воде ее голого тела, обжигали ноги: тело от этого остро щемило, как от крапивы; но не столько самого ожога боялась Тоня, сколько просто не переносила прикосновений этих скользких морских чудищ.

Молодой месяц — такой острый, что обрезать можно, — сверкал в чистом небе, и вечерняя заря уже покачивалась на воде перед Тоней, и какой-то чабап с далекого берега, склонившись на герлыгу, смотрел, как чья-то сумасбродная дивчина напрямик море перебредает.

...Совхоз уже спал крепким трудовым сном, когда, проскользнув вдоль парка мимо сторожей, перебежав улицу, какая-то девичья фигурка неслышно метнулась в сад к Лукии, метнулась и, затаив дыхание, остановилась над Виталиковой раскладушкой в мокрой, к телу прилипшей одежде. Казалось, девушка вовсе не дышала какой-то миг. А потом чуть-чуть тронула пальчиком ухо парня. И от этого прикосновения он тотчас же проснулся, вскочил, будто сна и не было.

— Это ты?

— Я.

— Вся мокрая. — Он бережно привлек ее к себе. — Под каким это дождем была?

— Через лиманы, через все Черное море к тебе брела! — счастливо смеялась Тоня. — Акулы на меня бросались, спруты, осьминоги...

И Лукия, спавшая на веранде, проснулась — ей почув-

дился какой-то шорох в садике, чье-то постороннее присутствие, ей даже послышалось, будто кто-то целуется вблизи.

— Кто там?

Никто ей не ответил. И хотя утром сын на все ее расспросы отделивался шутками, говорил, что такое может присниться, она была уверена, что ночью кто-то все же был в саду и после ее окрика легонько выпорхнул оттуда.

В этот день передовые рабочие отделений на двух пятитопках со знаменами отправились в соседний совхоз проверять договор соцсоревнования. Лукия Назаровна возглавляла эту поездку.

Лукия на грузовике — в одну сторону, а сын на мотоцикле — в другую.

На мотоцикле у него Тоня, она сидит за спиной ухлопца, развеваются волосы на ветру. В руке авоська с бутербродами. Тоня и Виталий съедят их, вдоволь накупавшись в море, выберут себе пустынный берег, где будут вдвоем целый день, а под вечер мотоцикл Виталика доставит Тонию примехонько в лагерь, к самой ее палатке,

Мотоцикл летит вприпрыжку. Степь, куда ни глянь, равнина и равнина — твердь вековая. С такой тверди, оттолкнувшись от нее огненными ракетными бурями, могли бы взять разгон межпланетные корабли, а пока что типчак дикий здесь свистит да полынь серебрится — так и ложится от ветра там, где проносится Виталькин мотоцикл по своей степной орбите. Все неизменно неподвижен горизонт, один он летит — мчится среди этих устоявшихся просторов, только он своим громким тарахтеньем нарушает бесконечную остекленную от солнца степную тишину. Коршун следит за ним из-под неба удивленным хищным глазом: кто ты, что не заяц и не сайгак, а быстрее их мчишься? На бешеной скорости мотоцикл перескакивает солончаки да ложбинки, пока, оказавшись среди заросших молочаем и чертополохом песчаных кучегур, не начинает чихать, кашлять, буксовать. Выбравшись на твердую почву, он снова рвется вперед, мчится так, будто хочет взлететь в воздух, оторваться от вязких песчаных дюн да коронованного чертополоха. Хлопец уверенно выражает по бездорожью между кучегурами, ищет, где меньше песка, где он не такой вязкий, а песок чем дальше, тем сыпучей, и мотоцикл с лету раз за разом проваливается в него, зарывается, трясется на месте, и тогда

хлопец оборачивается к своей спутнице темного виновато и восторженно:

— О, дает! Как на вибростенде!

Она смеется:

— Я не бывала на вибростенде.

— Я тоже не бывал. А теперь представляю!

Вот это жизни! Летят — им весело, буксуют — им весело тоже. И пока мотоцикл натужно разгребаёт песок, пока моторчик упрямо фыркает, Тося наклоняется к хлопцу, заглядывает ему в лицо. Глаза ее горят, тают влажно, они словно пьяные, ослобелые от зноя и прилива девичьей пекности... Вот уже и мотоцикл лежит набок, судорожно бьется в песке, а они стоят над ним, замерев в объятиях среди этих залитых солнцем просторов.

Море где-то уже близко, но его не видно из-за песчаных кучегур. Из степи было видно, а теперь сипева морская исчезла за сыпучими бархапами, за молочаем да чертополохом, какие только и растут в этих пустынных местах. Сверкающей россыпью искрится песок, желтеет молочай, огромный чертополох ветвисто раскинулся на холме, словно колючий кактус где-то на меже мексиканской пустыни. В таких местах мотоцикл приходится перетаскивать. Виталий ведет. Тося подталкивает. И как только хлопец снова заводит мотор, Тося уже взбирается на свое место, распущенные волосы опять развеваются на ветру, и Тосе смешно от полета, от лихости, оттого, что ветер щекочет, обнажая колени, смешно, что видит она все время перед собой тонкую, еще совсем мальчишечью шею Виталюка с глубокой ямкой, какие бывают только у лгунишек. Он не из лживых, а ямка на затылке вроде гнездышка, хоть перепелиное яйцо кладь. Зато такого мотоциклиста поискать! Впервые ощущает Тося такую скорость, такую бурную езду с пренятствиями, но ей инсколечко не страшно — никакого несчастья не может быть, когда такой водитель сидит за рулем!

Будто чувствуя ее одобрение, Виталик берет еще один песчаный барьер, даст скорость, чтоб вираж получился на славу, и — уже есть такой вираж — и тогда еще крепче обнимают его ласковые девичьи руки, и он совсем хмелет от счастья.

Рывок — прыжок — вираж через последний песчаный холм, и вот вам море, вот вам его сипева, тихая, беспредельная.

Один-одинешенек среди морской равнины высится истуканом вдали крейсер, и, кроме него, нигде ни паруса, ни катерка. Побережье тоже пустынно, безлюдно. Тоня впервые здесь среди этих холмов. Бывала на море не раз, но там, где оно ближе подходит к совхозу, а не в этих барханах, куда и отары отца нечасто, видеть, забредают.

Лепивый плеск волн... Сухая морская трава чернеет, шелестит под ногами; кое-где рыба в ней смердит, разбухнув. Даже Виталика немного оторопь взяла: ни живой души вокруг. Слепящие остекленевшие просторы. Дрема во всем. Вдали на берегу белеет одинокая рыбацкая хатенка, где почует рыболовецкая бригада в сезон лова, но сейчас и там никого не видно. Даже дядько Сухомлин, что неделями бездельничает здесь, стережет рыбацкое жилье, сейчас не вышел навстречу в своей измятой шляпе и брюках с одной подвернутой штаниной, не вышел, не остановился, всматриваясь, кто прибыл, кто нарушил эту благодатную тишину и покой... Да разве же не удивительна их Земля — планета, на которой есть где-то и города многомиллионные с университетами, с небоскребами, с подземными дворцами метро и спортивными аренами, на которых неистовствуют десятки тысяч болельщиков, и в то же время есть такой тихий берег, где дремлет под черепичным козырьком одинокая рыбацкая хатенка, первоначально синеют просторы моря, и чайка сидя спит у воды, белая, неподвижная, будто из алебаstra.

А впрочем, есть здесь еще одно живое существо: корова, принадлежащая дядьке Сухомлину, красавица красностепной породы, забредя далеко от берега, неподвижно стоит среди чистой морской синевы. Жара, видно, загнала ее туда, и она стоит себе, прохлаждается в воде по брюхо, стоит, как индийское божество, только хвостом время от времени обмахивается, обмахивается совсем по-нашему!

Корова с любопытством поглядывает с моря на прибывших.

— Она словно хочет нам что-то сказать, Виталик!

— Вполне возможно. Что хочешь ты нам сказать, о добрая корова? Ага! Она говорит, что море здесь — чудо! Прямо как в тропиках. Только нет в нем коралловых рифов!

— И еще что?

— И что дядько Сухомлин отправился на воскресенье в Рыбальское. И что мы здесь с тобой одни! Можем делать что пожелаем! Свистеть, петь!

И хлопец запевает во всю глотку: «Степь и степь одна без краю, аж до моря берегов!..»

Тоня от души хохочет: ей очень правится, когда он пачинает вот так дурачиться.

— Эта корова так смотрит, будто и вправду узнала тебя!

— Еще бы! Индийская священная тварь, она сразу догадалась, кто перед нею! Перед нею йог! Тот, что умеет стоять на руках и на голове! Глубокоуважаемая корова, прошу вашего внимания!

И уже хлопец стоит на голове, уже на руках идет вдоль берега — пятками в небо, лицом вниз, — а Тоня, заливаясь смехом, медленно ступает следом по мягкой морской траве, ведет мотоцикл.

— Хватит, хватит! — наконец, смиловившись, говорит она; и только после этого юный йог, упруго перевернувшись, становится на ноги, с лицом, густо налившимся кровью.

— Купаемся! — говорит Тоня и первая начинает раздеваться.

— Я сейчас! — вскочив на мотоцикл, Виталик понесся вдоль берега к рыбацкой хате.

И вскоре Тоня видит уже, как он по-хозяйски ходит по двору, обследует Сухомлиново кочевье. Потом принимается сталкивать на воду один из баркасиков, что черпели, вытянутые на берег.

К ней Виталик подплыл уже на том баркасишке. Подплыв, посмотрел на Тоню — и оторопел. Никогда он еще не видел ее раздетой. В одном купальнике стояла, красуясь на весь берег открытым девичьим телом, стройным, загорелым. Даже боязно парню стало, что она такая красивая. Неужели это он, шкет, целовал ее? Перед ним стояла, улыбаясь, будто незнакомая, совсем взрослая девушка, а он перед нею ежился в своих трусишках, как мальчопка, растерянный, пораженный блеском ее обнаженных плеч, обнаженных ног, стройного девичьего стана. Застеснявшись, он беспорядочно налегал на весла, вертел лодку на месте, а Тоня, наоборот, чувствовала себя совсем свободно, стояла и закручивала перед купанием волосы узлом, радостно осматривая это синее раздолье.

— Вот куда бы пионерлагерь!

Закрутив волосы, бросилась в воду, широким шагом побежала по ней дальше от берега, на глубину. Виталий, радостно вскрикнув, выпрыгнул из лодки, ринулся вслед

за Тоней, догнал, и они стали брызгаться, бороться. Тоня, поймав его, пыталась силой окупуть, как малыша, который не хочет купаться, а он, вырвавшись, старался ответить ей тем же, по здесь было мелко, — они кипулись взапуски дальше в море, и Виталий, подпрыгивая, радостно вопил:

— Глубины! Глубины! О море, дай нам глубины!

А через некоторое время они уже лежат павзничь на воде, успокоенные. Тоня брызгает водой вверх, и оттуда, с синего неба, летят белоснежные жемчуга, настоящие жемчуга, блестящие, сверкающие, как те, что достают мальчишки в тропических водах с морского дна. Хотел бы и он, Виталий, что-нибудь такое Тоне раздобыть, чтоб поразить ее, чтобы ахнула она от восторга. Только что же он ей здесь раздобудет?

— Тоня, хочешь... мидий? У меня есть в лодке.

Вскоре они уже возле лодки. Постукивая, как орехами, хлопец насыпает из банки перед Тоней мидий, видно захваченных в Сухомлиновой хате, сам их вылушивает и подает девушке. Подает чуть-чуть небрежно, чтоб не зазнавалась, не подумала, что он так уж рассыпается перед пей да прислуживает. А Тоня и сама умеет вылушивать, и какую вылушит, сразу подает Виталику. Ей правится эта женская роль: готовить и подавать.

Корова смотрит на них, не сводит глаз.

— Виталик, может, и она проголодалась?

— Пускай пасется, море велико.

— Да, бывает такое, что подножный корм хоть в море ищи.

— А знаешь, сколько пропадает в море такого корма, что скотина облизывалась бы? Про филофору слыхала? Это те красные водоросли, которых полным-полно в лимпах. Доказано, что мука филофоры повышает удои.

— Дядько Сухомлин своей нетелью доказал?

— Наука доказала.

— Что же, пужно будет это добро и на папих фермах испытать. А еще лучше, если бы тот, кто хочет пить молоко, оставлял бы фуражу, — сказала Тоня, и в голосе ее появилась отцовская резкость. — А то летом фураж весь под метелку выметут, а весной, когда скотина дохнет, снова везут его назад со станции на тягачах по грязище!..

Мидии мидиями, а бутерброды, видно, лучше. Тоня и Виталий заодно берутся и за них, а подкрепившись, плывут осматривать Сухомлинов причал и рыбацкую

пустую хату, в которой осепью рыбаки почуют, укрываются от непогоды, а сейчас на их парах пылищи в палец. В углу, кучей — изодранные рыбацкие сети, на столе — от Сухомлина объедки, все настезь, все открыто, и Виталий тут чувствует себя почти хозяином, — ведь дядько Сухомлин его родич по отцовской линии, и хлопец постоянно поддерживает с ним контакт. Весной, вооружившись паяльной лампой, он помогал здесь дядьке смолить лодки, конопатил, трудился от души, за что и получил от Сухомлина разрешение пользоваться его флотом.

— Интересно, сколько будет от нас до того дредноута? — спрашивает Тоня, заглядевшись на судно, замершее вдали, посреди залива.

Виталий сдерживает покровительственную улыбку. Для Тони это пока тайна, загадка, а он уже побывал там, одним из первых ходил на судно рубить свинец и добывать разные радиомелочи.

— Хочешь, Тоня, махнем туда?

Тоню это, видно, заинтересовало.

— Но ведь туда, пожалуй, далеко? Сколько будет километров?

— На километры не знаю, а на мили... миль десять будет.

Девушка колеблется, но по всему видно, что ей очень хочется взглянуть на эту диковину вблизи.

— А лодку так, не спросясь... Сухомлин ругать будет, — говорит она неуверенно, уже бредя вслед за Виталиком к лодке, что легко лежит на воде, искрится смолою.

— Об этом не беспокойся, — утешает Виталий. — «Мой дядя самых честных правил...» Вернется не скоро... Если не на крестинах, так на именинах. А к тому же у нас с ним как при коммунизме: твое—мое, мое—твое... Лодка эта ведь из ничего сделана. Заброшена уже была, разохлась совсем. Скелет мертвый лежал в кучегурах, а мы с хлопцами взялись, вдохнули в него живую душу — и видишь, какой получился фрегат! Узлов семь дает!

И хотя Тоня понятия не имеет об узлах, однако именно эти узлы почему-то убеждают ее окончательно, и она решительно говорит:

— Ладно. Плыдем!

И вот они в лодке.

— Покидаем берег планеты, — берясь за весла, говорит Виталик, и эти в шутку брошенные слова долго зву-

чат в ушах Тони, что неотрывно смотрит, как отдаляется берег.

— Виталек, а как же мотоцикл?

— Я его там прикрыл в чулане старыми сетками. Сто лет пролежит!

Виталий работает на совесть, его ребра ходуном ходят, уключины ритмично поскрипывают, а Тоня сидит на носу, обсыхает, подставив солнцу свои загорелые открытые плечи. Удаляется берег, его все больше можно охватить взором. Прощай, берег! Шире и шире открывается глазам побережье с безлюдными песчаными буграми, чабанскими пастбищами, далекими совхозными полями. Нигде ни деревца. Центральную усадьбу отсюда не видно, лишь рыбацкая, исхлестанная ветрами хата блестит, черепица на ней словно струится в мареве, раскаленные песчаные бугры-кучегуры облегли ее, будто аллигаторы, будто твари какие-то палеозойские, что, дремля, подставили солнцу свои желто-бурые спины. А Сухомлипова священная корова до сих пор стоит в воде, только уже стала малеькой и делается все меньше, теряет свою красностепную масть. Виталий поглядывает на далекое, еле видное в мареве судно, чтобы держать курс прямо на него. Он уже обливается потом, утирается щекой о плечо и снова гребет. Тоню даже жалость берет, что он так старается, а его еще и слепни жалят, и она пробует отгонять их; эти слепни да серые степные мухи с чабанских кошар тоже плывут вместе с ними, плывут из степей в голубеющую неизвестность.

— Может, смеять тебя, Виталик?

— Сиди, — отвечает он. — Я угощаю.

Тоню захватывает эта таинственность, эта, можно сказать, поэзия таинственности, в которую они погружаются. Большая вода, сплошная голубизна уже окружает их. Нежно-лазурная шелковистость небес и густо насыщенное синью, почти черное пространство моря — таков их мир, среди которого им слышен лишь плеск волны да ритмичное поскрипывание уключин.

Море, что сперва прозрачно просвечивало до самого дна и было веселым, синим, дальше от берега словно бы темнеет, тяжелеет, становится и впрямь черным, — можно понять, почему его так называли. И волны, всюду волны, волны... У берега их почти не было, а здесь ими все море сверкает, переливается, и лишь кое-где над их темпой синевой чайка ослепительно блеснет в воздухе или появится между волнами одинокий нырок, выставит черную

головку и нырнет снова, исчезнет, словно его и не было. Берег отдаляется. Уже еле белесет черепицей рыбацкая хата, их береговой ориентир. Хата словно погрузилась в землю — ее черепица теперь лежит прямо на самой поверхности моря, на самой линии горизонта. Даже малость страшновато становится Тоне, что их уже отделяет от берега такое расстояние. А судно словно бы и не приближается. Тяжелая его громада, как и раньше, далеко темнеет в неподвижности среди густой сапфировой синевы.

— Моторкой мы бы до него быстро добрались, — говорит Виталий, словно оправдываясь.

Сорвался ветерок. Виталий сложил весла, взял на дне лодки кусок какого-то испачканного в мазуте брезента, развернул, и эта тряпка вдруг стала парусом.

— Жми, дуй, товарищ бриз! — сурово приговаривает Виталий, потягивая, направляя парус.

Видно, и ему немного не по себе, что они так далеко зашли в море, но он старается ничем не показать этого, и его самообладание успокаивает Тоню.

— С берега казалось, будто совсем близко, — говорит она, — а тут вот плывем, пожалуй, больше часа, а судно еще где.

Хлопец кивает на парус.

— С этим быстро до него добежим.

Соломенный чуб спадает хлопцу на лоб, а глаза из-под него все время зорко глядят вперед, чтоб не сбиться с курса, не отклониться от судна в сторону.

Степь уже еле виднеется. Парусишко у них такой маленький, что даже если бы кто и был в это время на берегу, то вряд ли заметил бы их оттуда.

— Домой нам, Виталик, придется против ветра?

— Об этом не беспокойся. Домой парус моряка сам песет!

Он шутит, но без улыбки. Неужели и ему чуть-чуть страшновато, тревожно? Еще бы! Темная мерцающая стихия простирается вокруг. Должно быть, небо в космосе такое же темное, неприветливое и есть в нем что-то таинственно-грозное. Темный морской простор вокруг, и только солнце высокое, в зените, жарит их и здесь, льется на плечи девушки, на голые Виталиковы ребра, на густую темно-синюю гладь.

Судно, однако, все же приближается. Серая железная громада его низко, грузно сидит на воде, осев почти по ватерлинию. В небе вырисовывается легкая ажурная мач-

та, склонившаяся, как после урагана. С высоты мачты свисает какой-то оборванный трос, болтается в воздухе.

Уже и Виталий и Тоня не сводят с судна глаз. Для Тони оно полно таинственности. Все оно — недоступность и запрет. Вот на борту на грязно-сером фоне виднеется белый знак, какие-то буквы и цифра 18... И это как шифр, как тайна неразгаданная, известная немногим. Уже подплыв почти к борту, они внезапно услышали шум крыльев, птицу откуда-то вспугнули. Воропа! Одинокая черная ворона замахала в воздухе крыльями, несколько раз крикнула сиплым голосом, кружась над своим железным гнездовьем. И откуда она здесь взялась?

Виталий и Тоня, одевшись, приумолкшие, впутреппе напряженные, плывут уже вдоль борта судна. Ощущение незаконности, недозволенности своего поступка все время не покидает их. Все здесь грозное, хмурое, от всего веет запустением.

Потрескавшаяся, облезлая краска бортов. Ржавчина... Иллюминаторы затянуты паутиной.

В одном месте Виталий, вплотную пристав к борту и взяв эту громадину на абордаж, велел Тоне карабкаться вверх, на палубу. Она мгновенно раздумывала, потом крепко схватилась рукой за горячий, накаленный солнцем иллюминатор — этот тоже был затянут паутиной, — а дальше помогли ей какие-то ржавые, невыносимо раскаленные скобы, и не успел Виталий дать ей совет, как она была уже на палубе.

Железо палубы огнем обожгло ей босые ноги.

— Печет, ой, печет! — приплясывая, крикнула она вниз Виталию. — Брось мне босопожки! Что ты там копаешься? Быстрее!

Хлопец как раз складывал парус и закреплял лодку, но Тоня этого не видела, ей было невтерпех.

— Ну что ты там возишься? Бросай! Я тут как на сковороде!

В ответ на ее слова полетела на палубу одна босоножка, потом другая, а вскоре появилась из-за борта и солома такого родного чубчика, и худенькие плечи в одной майке; с появлением Виталика Тоне стало сразу веселее. Острое, нервно-возбужденное чувство охватило ее. Хотелось смеяться, кричать, взвизгнуть так, чтобы все услышали! Шутка ли — крейсер принадлежит им! Двое их, двое влюбленных на большом военном судне. Никогда, конечно же, не было на этом военном судне влюбленной

пары, чтобы вот так — он и она. Звучали здесь суровые команды, приказы, радиопозывные, номера, шифры — все служебное, суровое, властное. А теперь им покорилась эта тысячетонная стальная громада, на стальной раскаленной ареле могучих рыже-ржавых палуб господствуют их смех, их любовь!

— Подумать только, куда мы с тобой забрались, — сказала Тоня радостно-дрожащим голосом. — Настоящий крейсер!

— Даже если это эсминец, — скупно улыбнулся Виталик, — то и тогда ты не должна разочароваться... Гора. Железный Арарат среди моря!

Вода была где-то далеко внизу, и лодчонка покачивалась такая махопькая, а судно возвышалось над морем и впрямь как гора, стальная скала, их железный остров.

— Какое же огромное!

Тоня была сама не своя от волнения. Ее охватило лихорадочное возбуждение, девушка не могла подавить дрожь, нервно-радостный трепет: вот куда они с Виталиком забрались, одни-единственные, как робинзоны, очутились на этом необитаемом острове, где их окружают причудливые железные скалы, лабиринты!.. И Виталик тоже заметно взволнован, голос его немощко даже срывается, когда он что-нибудь объясняет Топе.

Трепещет под ногами среди ржавчины что-то белое, блестящее.

— Смотри, Виталик, — бросается на блески Топя, — какая-то стеклянная шерсть!

— Не шерсть это.

— А что же?

— Стекловата... Изоляционный материал. Видишь, из распоротых обшивок вылезает.

— Какое белое да красивое!

Она берет пучочек этого удивительного материала в руки, но Виталик предостерегает:

— Не бери!

— Почему?

— Руки потом долго щемить будет... В тело въедается... А изоляция из него надежная... Эта стекловата и в огне не горит.

— Нет, немножечко я обязательно возьму, в лагерь моим малышам покажу. — И Тоня, как перо из подушки, живо выдергивает из распоротой обшивки стекловату, совсем чистую, белую, как первый снег.

То тут, то там палуба вздулась опухольями, видны на ней пробоины, какие-то дырки, люки, зияющие провалы... Белеет рассыпанная известь, крошки цемента.

— Что это за дырки, Виталик?

— Да это так...

Он почему-то мнется, чего-то педосказывает. Берет щепотку цемента и зачем-то пюхает.

Потом, держа друг друга за руки, они заглядывают в пробоины, в жуткую глубину темных трюмов, где вода блестит маслянисто. Чувствуется, что тяжелая она там, застоявшаяся, с нефтью или соляркой.

— А рельсы для чего здесь?

— Наверно, по ним торпеды подвозили на вагонетках. Видишь, вон рамы на корме? Не иначе торпеды с них запускали... Это вот лебедка... Брандшпиль... А это вот круг для пушки. — Они, все еще держась за руки, рассматривают круг, массивный, металлический. — Пушка, видно, могла поворачиваться в гнезде на триста шестьдесят градусов, во все концы неба, — объясняет Виталик, и они невольно оба посмотрели в небо, где уже ворона не каркает, а только светится чистая голубизна зенита да солнце, какое-то непривычное, космическое, ослепительно пылает.

Идут, неторопливо осматривают кубрики, эти горячие металлические клетки, в которых когда-то жили люди, жили, как в сейфах. Железо и железо. Покореженные трубы, обрезанные провода, железный хаос. Виталий первым вторгается в этот хаос, где по трапам, а где и без трапов, перелезает все выше и выше с одной палубы на другую, а Тоня неотступно пробирается за ним, стараясь, подобно послушной альпинистке, точно повторять каждое его движение. Хлопец время от времени предостерегает: здесь осмотрительность прежде всего, здесь легко сорваться.

— Как высоко забрались мы! — Голос девушки чуточку даже трепещет. — Глянь, где вода!

— Далеко.

Рубка радиста — одни корешки там, где было множество проводов: все провода обрезаны под корень.

— И я здесь тоже поживился, — улыбается Виталий.

Тоня уже дует на руки, их в самом деле начинает щемить от изоляционного стекла, которое и здесь, на палубе, всюду валяется кучами, а в салоне прямо за шею сыплется из прорванной обшивки. Это же здесь, в салоне,

сидели командиры, беседовали, что-то решали... Все порвано, порублено, ободрано.

Тоня до сих пор не может как следует понять, что же произошло с этим судном, почему оно, собственно, здесь. Село на мель? Но ведь здесь же глубина какая! Зачем-то моряки привели его, бросили в заливе и ушли, возбудив любопытство степных искателей приключений. Не только такие, как Виталик, заскакивали сюда, но и серьезные люди — механизаторы, председатели колхозов. Говорят, друг перед дружкой спешили раздеть этот стальной великан, тащили отсюда разное оборудование, трубы, а кое-кому будто бы достались даже вполне исправные электромоторы. Дух запустения царит теперь всюду, пауки затянули паутиной все судно — и откуда их столько набралось, как залетели они со степных просторов в такую даль на тонких своих паутинках?

Судну, кажется, не будет конца. Не с берега, только здесь можно понять, как огромен корабль. Идешь сквозь его железные буреломы, то спускаешься, то поднимаешься («Это снова оружейные отсеки... А это шлюп-балки!»), попадаешь в какие-то глухие закутки, железные закоулки, в полутьму; а то снова перед тобой горит на солнце ржавая стальная степа, какой-нибудь камбуз, или клюз, или отсек, среди которых только Виталик и может ориентироваться. Здесь пужно смотреть в оба, чтобы не оступиться и не сорваться в ту железную пропасть, где в пятнах нефти или солянки лоснится застоявшаяся грязная вода. Железные колодцы мертвы, неподвижны, а за бортом море мерцает беспокойно волнами, хлюп да хлюп... Снова лабиринт, какой-то рваный металл (видно, вырезал кто-то лист алюминия), и вдруг из полумрака надпись: «...затопление открывать только при фактическом пожаре». Что это значит? Как это понимать? Таинственно, будто нероглифы! А кто-то писал все это, а кого-то все это касалось, для кого-то надпись, наверное, имела огромное значение. А тут что такое? «Боевой четвере...» Вся она, эта ржавая стальная гора, полна загадок, тайн, условных знаков, которых даже и Виталику не разгадать.

— Будет ли ему когда-нибудь конец? — спрашивает Тоня, наталкиваясь снова на невод паутины, обходя в полутьме какие-то железные предметы.

— А мы еще и половины не прошли, — говорит Виталий и выводит Тоню из темного закоулка на свет, показы-

вает вверх на мачту: — Хороша аптечка? Вот эта бы ловила, правда?

Самим своим видом эта корабельная мачта способна вызвать в душе волнение. Малит простором океанов, гудит бурями далеких широт... С мачты свисают обрывки тросов, каких-то проводов, их никто уже, видно, не смог достать, а еще выше...

— Виталик, что это за скворечник воц там, на самой верхушке?

— Там стоял сигналист. Впередсмотрящий.

— Ого-го! Как же он туда взбирался?

— А очень просто...

Не успела Тоня опомниться, как Виталий, оставив ее, уже карабкался вверх и вверх по крутой, отвесной мачте, по обломкам трапа на ней. У Тони замирало сердце: как бы не сорвался, а он, по-обезьяньи цепкий, взбирался все выше, пока, достигнув цели, не выпрямился на мачте, на недостигаемой для Тони высоте, где-то под самым небом! Ветер качал обрывок стального троса уже ниже его, а хлопец стоял и улыбался, улыбался и оттуда Тоне: вот, мол, где я, твой впередсмотрящий!..

И вдруг Виталий застыл, напряженно всматриваясь куда-то в море, и Тоне показалось, что он побледнел, что на его лице отразился ужас. Тоня тоже взглянула в ту сторону, и среди темноты неугомонных волн увидела маленькую черную лодочку. Кто-то плывет! Кто-то подплывает к ним! Она даже хотела крикнуть Виталику: «Кто это плывет к нам?», но в лодчонке... никого не было!!! Черная молния ударила в мозг, потрясла страшной догадкой... В первый миг Тоня не узнала ее без паруса, какой-то даже неуместной показалась среди волн — без живой души — маленькая, смолисто-черная посудина, а это же была их лодка, их баркасик, дуновеньем ветра его теперь тихо, едва заметно, однако бесповоротно отгоняло в море. Дальше и дальше от них — в открытое море!..

Повечерело, звезды проступили на небе, а где-то в степи тоже, как звезды, вспыхнули сквозь мглу огоньки: это их Центральная, которую днем отсюда почти не было видно, засверкала электрическими огнями. Теперь еще ошутимее стало, как далеко они от степи, какая непреодолимая даль воды и темноты отделяет их от берега, от всей предыдущей жизни. Еле-еле светятся из мглы степной далекие звезды...

А они сидят, словно сироты, пригорюпились у боевой рубки, им холодно — железо судна после дневной жары удивительно быстро охладилось. Тоня, наплакавшись, склонилась головой Виталику на колени и, кажется, уснула, измученная переживаниями, а Виталий не отрывает глаз от берега, пытаясь разобраться во всем, что случилось. Он, он виноват во всем! И нет тебе оправданий, не ищи их! Подбил, заманил Тоню. Она так безоглядно пошла за тобой со своей любовью, доверилась, а ты... Куда завел ее? В западню, в смертельную западню завел, не сказав девушке всей правды, не предупредив, что ее здесь ждет. А ждут ее здесь не только голод и жажда... Конечно, он готов ради Тони на подвиг, на самопожертвование, но при таких обстоятельствах даже это ни к чему — кому здесь нужно твое самопожертвование? Твоя вина перед нею безгранична, и, хотя Тоня это понимает, с губ ее не сорвалось ни единого слова упрека. Она и сейчас доверчиво льнет к тебе со своей любовью, слезами, печалью. А ты, который должен быть сильнее ее, проявить мужество и находчивость, не в состоянии теперь ничего сделать. Может, все-таки лучше было прыгнуть за борт и вплавь догнать лодку? Но когда он, едва не сорвавшись, в один миг скатился с мачты и бросился к борту, сама же Тоня схватила его за руку:

— Не смей! Уже не догнать! Утопешь!

В самом деле, тут и разрядник по плаванню вряд ли догнал бы... Лишь темного погоды она спросила жалобно:

— Что же это ты, Виталик? Почему же ты не привязал?

Он что-то лепетал ей в оправдание, привязывал, мол, набросил копец веревки петлей на какой-то крюк, не сказал Тоне лишь о том, что, когда делал это, его внимание отвлекли как раз ее босоножки, которые нужно было бросить ей на палубу.

Спасительная лодочка, собственноручно прокопаченная, просмоленная при помощи паяльной лампы, пошла и пошла теперь в морские просторы, гуляет где-то, как запорожская байда. Может, в далеких Дарданеллах перехватят твою малую байду. Перехватят, а она пустая, нет в ней никого, только мальчишечья рубашка-безрукавка да авоська с остатками завернутых в газету бутербродов.

Невероятно все это. И страшно — у него такое впечатление, будто какая-то злая фатальная сила толкнула его

сюда и словно бы вся его предыдущая жизнь была лишь подготовкой к тому, чтобы совершить этот ужасный шаг... Бывает же так, что человека *тянет*, настойчиво тянет куда-то — вот так и его тянуло с того момента, как он увидел из степи это боевое судно, которое, словно сама его мечта, силуэтом застыло на горизонте. Говорят, есть люди, которым трудно преодолеть в себе желание броситься с высоты — бездна влечет их, заманивает, зовет испытать неизведанное. И кто знает, не возникает ли подчас подобное влечение, подобный толчок в сознании того, кто имеет доступ к самой страшной кнопке, о которой часто разглагольствует Гриня Мамайчук? Кто исследовал те глубочайшие, первобытно-темные недра психики, где, возможно, как раз и зарождаются вулканы человеческих чувств? Так ли уж далек от истины тот же Гриня, когда твердит, что пороки людской природы вечны, что мы в самом деле греховны от рождения и каждый на себе несет печать греха? Когда-то, на заре жизни, греховное искушение будто бы погубило легендарных Адама и Еву. Пусть это выдумка, пусть Виталий во все это не верит, но опять-таки разве только озорством, легкомысленным своим мальчишеством объяснит он и свой сегодняшний поступок? Разве же Тоня, его умная, трезвая, практичная Тоня, села бы с ним в лодку, если бы и ее не толкал тот дьявол искушения, желание коснуться чего-то запретного, изведать неизведанное? Или, может, в этом именно есть сила человека, его дар? Может, без этого не знал бы он выхода в океан, в космос и никогда ничего не открыл бы?

Тоня первою вздрагивает в дремоте, будто и сейчас ее сотрясает влутрепный невыплаканный плач.

Меньше стало огней на Центральной, — видно, понемногу уже укладывается спать совхозная столица, ведь завтра рано пачнет она свой трудовой день.

Мелькнул над степью веер света, перемещаясь в пространстве, — то ли кинопередвижка промчалась из отделения после сеанса, то ли, может, мать с рабочими возвращается из «Чабана» после проверки соцсоревнования? При одном воспоминании о матери душа Виталика наливалась болью. Придет она домой, а сына нет, и завтра не будет, и, может, уже не будет никогда! Как непростительно виноват он перед нею! Как будет убиваться она по сыну! Воображение рисует ее разбитой горем, состарившейся, одинокой... Вот как поступил с нею он, ее надеж-

да, ее опора! Будут розыски, будет тревога, но кто догадается искать их здесь, на этом ржавом, ободранном судне, что маячит среди моря в качестве мишени для летчиков!

Ночь звездная, светлая, в такие ночи поет степь. Вот и сейчас с далекого берега словно бы доносится песня, нет, только чудится. Кузнечики стрекочут — нет, только обман слуха... Тень от судна темнеет на воде, а море смутным блеском мерцает без конца-края, как некогда мерцало оно Магеллану и Васко да Гама... Просторы океанов открывались и тебе, но твое судно никогда отсюда не поплывет, на мертвом якоре оно! А океан, живой вечный океан, плещет в борта, бьет в подножие этой стальной безжизненной скалы, навеивает думы о власти слепых сил, о неизбежности удара, о невозможности отворотить его... Нет, так можно до сумасшествия дойти! Неужели конец? Вот так бессмысленно? Светлый, чистый океан жизни расстилался перед ними, а теперь что: океан тьмы и хаоса? Конец? Всею конец? Это полное жизни, молодости, полное огня, красоты и любви девичье тело будет медленно высушено голодом, жаждой? Нужно искать выход! Во что бы то ни стало нужно найти выход! Нужно бороться. Бороться — этому учила его мать, учили в школе, об этом слышал множество раз, об этом читал. Бороться, но как? С чем? С бессмыслицей самого положения, самого случая? Когда отец боролся на фронте, он знал, что ему нужно убить врага — с ним борись... А здесь кто твой враг? Море? Небо? Вот та звездная дорога, что над морем, над степями, над безвыходностью вашей пролегла? Все, что есть, что еще вчера было радостью, красотой, жизнью, сейчас словно бы готовит тебе муку и смерть.

Двигатели! Не сохранились ли где-нибудь в глубине судна двигатели? Нельзя ли как-нибудь их запустить, вернуть к жизни, сдвинуть всю эту махину с места? Днем он спустится и туда, в машинное отделение, все обследует, обшарит... А покамест на этом стальном гиганте бьются лишь их сердца...

В свое время и здесь, на этом судне, была жизнь, ходил на нем по морю целый коллектив людей; целый мир страстей, мыслей, мечтаний носило по волнам это судно, одетое в тяжелую непробиваемую сталь. Днем и ночью несли вахту молодые моряки на своих местах, стояли у орудий боевые расчеты, а по вечерам, быть может, именно здесь, на баке, звучала гармошка, лились

задумчивые матросские песни. Много таких судов теперь списывают, режут, грузят в эшелопы и отправляют на металлургические заводы, чтобы из этого металла родились тракторы, комбайны, разные умные и красивые машины... Кое-какие мелочи и он, Виталий, успел добыть из радиорубки судна, были они ему очень кстати, когда собирал свой любительский передатчик. Сюда бы ему тот передатчик, что в щепки разлетелся, оскверненный Яцубой. Позднее сам Яцуба обратился к нему уже как представитель ДОСААФа, предложил зарегистрироваться в кружке радиолюбителей. «Тобой, говорит, и в области заинтересовались, после того как мы тебя запеленговали». Где-то там, по ту сторону роковой межи, остались его запеленгованные шалости, любимый его радиоузел, где он, уже полноправно надев наушники радиста, окунался в гомоп эфира; осталась и горячая материнская любовь, и чистая Сашкова дружба... Одним необдуманым шагом он отделил себя от всего того, самое жизнь свою поставил под удар. Дерь начинался смехом, сиянием, поцелуями, все впереди предвещало только удачу, обоим радовали душу светлые просторы, солнце, синее раздолье...

А беда стряслась. Словно бы возмужавшим взглядом окидывает сейчас себя Виталий, обдумывает снова и снова, как это случилось и чем кончится. Неужели это все, что он успел в жизни? Неужели мрачное, как привидение из далекого прошлого, судно станет для них железным саркофагом? По сути, ничего еще не сделал в жизни, разве только примус кому отремонтировал да керогаз, а все те строившиеся и непостроенные твои корабли, они впереди, они начнут путешествие в будущее без тебя, а ты, дружище, в какое путешествие отправишься отсюда? «Отправитесь, отправитесь!..— словно бы нашептывал какой-то злой голос.— И ты и твоя Тоня никогда не воскреснете, не вернетесь в ваши солнечные степи, на магистральные каналы, строящиеся в степи, на виноградники, что там зеленеют... Будут атомные эры, межпланетные полеты, дива-чудеса будут появляться на земле, по все это будет уже без вас, без вас...» О человеке говорят, что он великан, бог, гигант. И разве не так? Завладеет небом, станет властвовать над грозами, стихиями, все небо будет ему подвластно, с молниями, дождями, бурлением облаков! Все могучие силы природы покорятся человеческой воле, движению человеческой руки. А ты вот здесь не можешь сдвинуть с места кучу железного лома, не мо-

жешь высечь искру огня, не властен отвести удар от своей Тони.

Ему слышно, как Тоня дышит. Вот она шевельнулась.

— Звездно как. — Тоня поднялась, села, поджав ноги. — Я долго спала? Наверно, уже поздно? А руки как щемит от стекла... Почему ты молчишь?

— После того, что случилось, — сказал он глухо, — ты должна, Тоня... ты имеешь право меня возненавидеть.

— Что ты выдумываешь? — Тоня взяла его руку. — За что? Это я, глупая, тебя не удержала, сама поддалась... Тебе холодно?

Почувствовав, что хлопец дрожит в своей майке, она прижалась к нему, обняла, чтобы согреть.

— Прижимайся ко мне, прижимайся.

— Я уже думал плот связать, какой-нибудь «Кон-Тики», — полушутливо, словно бы оправдываясь, сказал Виталий. — Но здесь никакого дерева нет, одна только сталь.

— Если б хоть вода была, — молвила Тоня, помолчав. — А то и ночь холодная, а пить... просто сушит внутри. Это правда, Виталик, что человек дольше может выдержать без пищи, чем без воды?

— Мы будем пить морскую.

— Ее пить нельзя. Наш тато, когда развеселится, любит про того чумака рассказывать, что впервые у моря оказался. Воды много, распряг, пустил волов напиться, а они не пьют. «Вон ты какое! — удивленно крикнул он тогда морю. — Потому тебя так много, что никто тебя не пьет».

— А мы будем пить. Один французский врач доказал, что и морскую можно.

— У них и лягушат можно глотать, — ответила Тоня на это. — Но нам от этого не легче... Помнишь, Виталик, какую мы воду в Каховке пили, с кубинскими студентами, из ключа?

Виталик только вздохнул. Еще бы не вспомнить те ключи-источники на берегу Днепра, где было когда-то село Ключевое и где еще и по сей день сотни родников бьют с открытого берега, из-под корней верб да платанов... Уже нет Ключевого, на том месте стоит город Новая Каховка, а ключи остались, живут, бьют всюду: где с берега, где из-под корня, а где и просто — только разгребь землю руками, там уже и шевелится песок, набегают водичка! Холодная, избаламученная она, но муть быстро оседает, и уже ты пьешь воду, такую свежую, прозрачную

и чистую, что недаром о ней говорят: «Как слеза». Высятся там платаны могучие, кора па них, как атлас, а из-под корней тоже пробиваются роднички, а одна струйка вытекает прямо из дупла старой вербы у самой земли и весело журчит по камешкам в Днепр... Из него, из этого ручейка, они и пили вместе с молодыми кубинцами, студентами Каховского техникума механизации сельского хозяйства. Почти ровесники Виталика, они жили и учились в Каховке. Правда, сначала непривычны были к нашему климату, всё мерзли, а потом привыкли, только в Днепре мало кто из них купался: Днепр для них был и летом холодный. В тот день они пришли проститься с Днепром перед возвращением па родину. Тоня первой заговорила с ними:

— Нравится Украина?

— О! — раздалось в ответ восторженное восклицание.

Они уже уехали домой, повезли на далекую Кубу приобретенные знания и память о Днепре, о вековых платанах каховских, из-под которых и сейчас всюду бьют, журчат ключи и стекают, прозрачные, в Днепр...

Будто было это все па другой планете: и выпускной вечер с вручением аттестатов, и крымское путешествие, и цветущая мальвами дорога па Каховку. Был тот мир широкий, раздольный, полный надежд, полный жизни, а теперь вот брошены они на угрюмый остров обреченности, будто к галере прикованы, железной, неподвижной. А ведь все могло быть иначе, могло их не запести сюда, да и самое это судно-лом давно могло быть распилено па куски где-то в крымской бухте под Севастополем. Видели же они там во время экскурсии огромный крейсер, который газорезчики раскраивали па отдельные глыбы, па большие, а потом па меньшие, па такие, чтобы их можно было па металлургических заводах бросать в печь па переплавку. Словно кусок мыла, так легко на их глазах резали эту броню корабельную. Мощные краны подхватывали многотонный, только что раскромсанный лом, перебрасывали па берег, — там была его уже целая заваль, — а газорезчики в защитных очках висели по бортам да делали свое; струи света в их руках так и брызгали, и борта перекраивались, и ватерлиния горела под струями пылающего кислорода!

— Ляг, Витальчик, поспи, — с лаской в голосе молвила Тоня своему неудачнику-мореходцу. — Может, хоть во сне что-нибудь надумаешь.

Нежное, ласковое чувство пробудилось к нему, какое, видимо, бывает у матери к ребенку,— такой он маленький сейчас и беззащитный, в одной майке. Свернулся клубочком, съёжился, склонился ей на руки, и нежность к нему растёт, и эта нежность согревает её. Если б только было возможно убаюкать его, а когда проснется, уже почти лет, и железа этого нет, и вместо моря уже степь вокруг, исполненная красоты и вольготности... Будут искать их, это наверняка, на весь совхоз поднимут тревогу, но искать будут где угодно, только не здесь. А может, кто и догадается? Ох, скучает по ней герлыга отца, уж он ей задаст, когда отыщет! Тато, видно, сейчас ещё с овцами, в степи, где-то ведёт отару, пасёт, может, даже и поглядывает в эту сторону на окутанное звездной тьмою море, но и не догадывается, куда занесло его озорницу, юлу, вертихвостку. Закричать, завопить хотелось Топе сейчас, чтобы он услышал. Теплой волной обдало Топю при воспоминании об отце, о его запальчивой и гордой натуре. Каким веселым и бесстрашным становится он, когда выпьет рюмку, как всех критикует — не перечь тогда ему, все выскажет после долгого чабанского молчания! А в душе есть что-то поэтическое. Вспоминаются ей и песни его, и посаженные наперекор всему тополя, и эта его странная привычка надевать летнюю фуражку Петруся и красоваться в ней всю ночь у отары. «Тело ссыхается, а дух буптует», — так сказала однажды о нем Демидиха, и таков он и есть, её тато. Неужели она больше с ним не увидится, ни с мамой, ни со всей родней? Неужели не быть ей больше у костра в пионерлагере, где оставила столько друзей, веселья и развлечений? Через море брела, спешила, промокшая, прибежала в сад на свидание и, выходит, спешила на свою беду... Представляет, как Лукия Назаровна, эта строгая и справедливая жепщина, примчится к ним в кошару, набросится на отца: «Где дочь? Это она, сумасбродка, моего сына погубила!» А он тоже раскричится в ответ, ведь он не из тех, что терпят, когда посягают на его или дочери честь.

Будет, будет и там горя... Поехали купаться и утонули — вот что о них подумают в совхозе. Вспомнилось Топе, как в позапрошлом году на Праздник урожая поехали коллективно с Центральной к морю купаться, поехали в Третье отделение, потому что там лучший пляж, и один молодой комбайнер, далеко заплыв, утонул. Искали его до ночи, да так и не нашли. Через несколько дней труп его

уже в открытом море подобрал катер пограничников — лица нет, глаз нет — чайки выклевали, только по татуировке и опознали: «Шурко» было вытатуировано на руке.

А Виталик спит, измотанный горем, усталостью, спит у нее на колеях. Пускай отдохнет, тогда оп, может, и в самом деле что-нибудь придумает. Она в него верит и сейчас не меньше, чем тогда, когда садилась в лодку. Видно, из этой веры в него, в его способности и родилось еще в школе ее чувство к Виталику. Для нее, не вылезавшей из троек, было просто непостижимым, как он быстро все схватывал, какой у него острый ум, в трудные минуты на выручку целому классу приходили его сметка, блеск мысли, его сообразительность. Она была уверена, что в будущем его ждет нечто необычайное, из таких скромников вырастают те, которые становятся потом известными, совершают большие открытия, а она вот его не уберегла. Сейчас оп стал для нее еще дороже, нежность к нему росла, горячее чувство переполняло душу... Как она хотела бы сберечь его для грядущих дней, для всего того, что он мог бы совершить, изобрести, открыть! В своих мечтах видела его то в далеких океанах, то в звездном космическом пространстве, среди прокладывающих пути к другим планетам...

Тоня не может простить себе, что мучила его своими проказами, капризностью, ветреностью. Ведь та ревность, что изводила хлопца не раз, была и вправду чаще всего вызвана ее поведением. Нечего греха таить, сержант с полигона несколько раз проводил-таки ее домой и чуточку правился ей. Смешной. Прощаясь, он каждый раз весело говорил: «Иду служить!»

И школьный физкультурник ей тоже нравился пемножко, и летчик Серобаба, особенно его черные роскошные усы. Но ведь только чуточку, вовсе не так они ей нравились, как Виталик. Видимо, со временем он и сам это понял, потому что говорил о сержанте уже без злости и насмешливо советовал Тоне, чтобы она парвала в парке своему бывшему кавалеру стручков дерева софоры, пусть теми стручками только мазнет по сапогам, и они сразу загорятся, никакая суконка такого блеска не даст.

Который теперь час? Скоро ли начнет светать? Звездная степь раскинулась вверх. Большая Медведица повернулась, повисла. Гроздь Стожар стоит непривычно высоко и непривычно блестяще — не ночь ли степная яркости придает? А через все небо прямо над судном пролет

звездный Чумацкий Шлях. Все видел он, что было, и все увидит, что будет... Над степью блеснит еще одна звезда, даже непохожая на звезду, такая яркая. Никогда Тоня не видела звезд такой величины... Может, это Сириус? Или планета Венера? Или другая какая планета? Где-то в западной части неба, кажется, самолет гудит. Тоня прислушалась: да, верно, гудит. Видно, идет на очень большой высоте, еле слышен он где-то между звездами Чумацкого Шляха... Громче и громче гудит небо, и вся ночь и море словно прислушиваются к тому далекому глухому гулу, где летит человек, властелин всего... Образы брата Петра и его друзей-летчиков всплывают в памяти Тони: может, это как раз они идут куда-то по своему заданию, уверенно, сильно, идут-рокочут на больших подзвездных высотах.

Разбуженный гудением самолета, вскочил на ноги Виталий и, еще не очнувшись от сна, рванул Тоню за руку.

— Прячься!

Он толкнул ее в какую-то будку, в железную тьму, откуда только и видел был круглый звездный лоскуток неба в иллюминатор. Тоня не поняла, что его так напугало спросонок.

— Что с тобой, Виталик?

Он молчал. Слышно было, как он взволнованно дышит в темноте. Тоня подумала, что это ему стало пеловко за свой испуг, а Виталий не чувствовал пеловкости, он был сейчас охвачен тревогой; припикнув к иллюминатору, напряженно прислушивался, а в голове стучала и стучала мысль: «Мы — цель! Мы — мишень! Нас летят бомбить! Нас будут бомбить!»

Небо, все небо рокочет ровно, властно, величаво. Поднявшись откуда-то с далеких аэродромов, идут на уровне звезд могучие машины, гиганты стратегической авиации.

— Где же он?

Тоня, прижавшись к Виталику, тоже выглядывает в иллюминатор.

Гул-рокотание удаляется, тает в вышине. Тихим становится небо.

Оба, наэлектризованные, выбираются из своего укрытия и снова видят над собой сверху огромную звездную степь. Уже еле слышен гул того невидимого самолета или целой армады самолетов, что исчезли в звездной пыли Чумацкого Шляха.

Через некоторое время услышали грохот над полигоном. И еще грохот. И еще... Потом все утихло, почь напояпилась тишиной.

Но хлопец уже не мог теперь не прислушиваться к небу, к его звездным глубинам. Время от времени чудилось ему, что небо с запада пачинает тонко, угрожающе гудеть. «И это будет длиться все время? Это так мы все время будем жить здесь, на этом ржавом ковчеге?» — с тревогой думал он, поглядывая на Топю, словно бы тоже опечаленную какими-то догадками. А Топе почему-то вспомнились в это время слова брата о том, что трудно бомбить море в звездную почь... Да еще вспомнилось, как рассказывал тогда за столом старший летчик о войне, о том, как гибли его друзья — летчики фронтовые: полетят — и нет их, не возвращаются. И будто и поныне они где-то там, в звездных высотах, живут...

Остаток ночи прошел спокойно.

Прижавшись друг к другу, они молча паблюдали, как постепенно паступает рассвет, как звезды тают в пепельно-сером небе. Это был тот ранний час, когда в степи так хорошо, когда чабапы выпускают овец из кошар и зорюют, то есть всдут их, выпасая па ходу, еще при свете зари; это паилучшее время для чабана — вести отару, пока еще не жарко, по прохладным пастбищам и слушать, как в тихом утреннем воздухе позвапивает тропка... Так гулко-гулко вокруг, за мпогне километры слышно, как где-то протарахтит арба с фермы в степь и как где-то там уже перекликаются люди, пакладывая сено в арбу. Там покой, порядок, еще один трудовой день пачинается. Чабаны, сойдясь, спокойно будут разговаривать о почной работе летчиков, что, подобно громовержцам, грохотали над полигоном.

Восток разгорается, море светлеет, вот-вот солнце взойдет... Среди вечпоживых мерцающих волн моря только их судно с покосившимися мачтами застыло неподвижно. В глубине степи, где-то у самого небосклона, еле темнеет пятпышком Центральная. Ни парка, ни фронтона школы, ни ветродвигателя с его пропеллером, ни паутинок телевизионных антенн — ничего не различишь, все там слилось, как в мареве, так далеко.

— Виталик, сколько, по-твоему, будет туда?

— Да столько же, как и вчера было...

Он улыбнулся скупому, краешком рта, а посмотрев на

пее, немного застеснялся и сразу похорошел. Еще и в школе девочки замечали, что он хорошеет, когда смотрит на Тоню.

Топя чувствовала, как волной приливает нежность.

Виталик в раздумье уже озабоченно склонился на поручни борта, и в голове его начали один за другим рождаться разные проекты. Вспомнился капитан Дорошенко: как бы он вел себя в такой ситуации? Есть же люди, которые не падают духом, не теряют самообладания ни при каких обстоятельствах! Искать, думать, бороться — в этом теперь ты весь. Полезет искать двигатели, попытается высечь огонь, добудет для Тони воду из-за борта...

Приблизившись к борту, они следят за птицей, что, сев поодаль между волнами, вольно и словно бы с наслаждением покачивается на воде. Вода и птица как бы успокаивали. Не хотелось думать в эти минуты ни об ужасе неизвестности, ни о безвыходности своего положения, ни о том ночном гудении неба — ведь сейчас вокруг такая тишина, такой простор, такая красота.

От долгого стояния, оттого, что солнце уже действовало на них пьяняще, показалось им, что судно плывет. Но это лишь волны плыли, обтекали, омывая его борта, и катились дальше, а судно стояло на месте. Двигалась планета, двигалось солнце в небе, двигались воды своими вечными волнами, а оно — ржавое — тупо и недвижно стояло на месте.

Так и будет словно бы плыть это судно целый день, а солнце еще сильнее опьянит их, и палуба снова раскалится, и вся эта железная гора будет дышать на них своим ржавым огнем. Потом снова наступит почь, где-то за тысячи верст отсюда летчики наденут шлемофоны и парашюты, направятся к своим бомбардировщикам, и разговор между ними будет о том, что звездное море бомбить трудно. А Виталик и Топя, забравшись на бак, будут сидеть на своем железном острове и в ожидании почного удара первно вслушиваться в звездное небо со стальной своей скалы, будут сидеть, пригорюпившись, молчаливо, как последние дети Земли, как сироты рода людского.

— Ну и везет же тебе, Микола,— плескаясь у рукомойника, говорит бульдозерист Брага голому по пояс Миколу Египте, который стучит кранком, разбрызгивая во все стороны воду.

— В чем же это мне так везет, Левко Ивасович?

— Ну как же, тебя, собрата моего по труду, прораб товарищ Красуля посылает сегодня со скрепером на другой объект, прямо в Тарасовку.

— Ну и что?

— А то, что поедешь и будешь себе песни в дороге распевать! А после обеда вдруг окажется, что твой скрепер как раз пужеп нам здесь. И тебе придется возвращаться. Так себе прогулочка в полста километров в будний день. Не каждому выпадает такой дурняк.

— А мне-то что! — сверкает Египта молодыми белыми зубами. — Порожняком? Начальству виднее. Мне хоть ветер гонять, только бы платили.

— То-то же! Слушаю тебя и вижу — парень ты не промах. Только смотри, друг, не упусти еще один шанс...

— Это вы насчет па «налево»? — хохочет Египта.

— Ох, и догадлив же ты! Цыганская у тебя натура, хлопец! Глину!.. Эту глину кое-кто с канала бабам в Марьевку возит, они сейчас как раз хаты обмазывают...

— Глиной промышлять — это я еще не пробовал. А, пожалуй, стоит рискнуть, — смачно приговаривает Египта. — Только сами же потом возьмете меня за душу как председатель товарищеского суда!

А Брага будто и не слышит, продолжает свое:

— Да смотри не проторгуйся, не продешевь. Не то мне будет стыдно, что собрат мой по работе за гроши нашу глину отдает. Это ведь не просто какие-нибудь,

а первородные киммерийские глины — геологи могут засвидетельствовать.

— Скажите! А я и не знал!

— Однако и теток зря не обманивай, набирай ковши пополюе, глины на планете хватит.

— Не на глине, так на земельке, а дельце проверну,— жуликовато ухмыляется Египта.— И постараюсь не попасться в руки ни обехаэсовцам, ни своему родному начальству. Сами же тогда устройте пад Египтой товарищеское судилище под лозунгом «Позор леваку!». А разве я виноват, что сроду левак?

— Ты не левак.

— А кто же, винтик?

— Когда-то были винтики...

— Ну, не винтик, так, скажем, карданый вал.

— Мы с тобой строители, Микола, люди, которые создают,— вот в чем дело...

— Что же, от этого мы лучше?

— Ну, лучше не лучше, а не может человек, который строит магистральный канал, создает что-то великое, вести себя как пигмей.

— Сильно сказано!

— А ты отойди-ка, дай место девушке,— говорит Брага, кивнув на Липу, которая с полотенцем через плечо вышла из вагончика и терпеливо дожидалась своей очереди за спиной у Египты.

— А, и ты уже встала! — воскликнул Египта и, сверкнув озорной своей усмешкой, отступил, пропуская девушку к умывальнику.— Беденькая! У папы-мамы спала бы, в постельке понеживалась, а тут еще и солнце не взошло, а птешчик наш уже на ногах вместе с нами, варварами.

— А почему вы варвары? — спрашивает Липа, принимаясь чистить зубы.

— Ну как почему?.. Без всяких тонкостей, без церемоний. Порой я выругаешься по-простому, по-рабочему.

— А вы не ругайтесь. И почему это ругаться — значит, по-рабочему? Просто отсутствие элементарной культуры. Вот Левко Иванович не ругается, я ни разу не слыхала.

— Ругаюсь. Да еще как. Только больше про себя, в душе,— буркнул Брага и, натянув после умывания замасленную гимнастерку, отправился к бульдозеру.

А. Египта, свернув к вагончикам, не упустил случая уцепиться мимоходом девушку за ребрышко, и хоть она и отмахнулась от него с негодованием, однако гнев ее был явно преувеличен.

Дома она и в самом деле еще спала бы, а здесь встает с рассветом — сама жизнь поднимает, — трудовой день строителей канала начинается рано. Работы ведутся далеко в степи, между пикетами, которые расставляла и Лина.

Нельзя сказать, чтобы Лине так уж нравилось ежедневно глотать здесь подпаятую бульдозерами пылью и обжигать на сухих ветрах свое белое личико. Да и не так-то приятно девушке, вскочив спозаранок, спешить к умывальнику, где уже до тебя изрядно набрызгано, везде мыльная пена, а к кранику и не протолкнешься сквозь голые мужские спины да жилистые темные затылки, и не такое это большое удовольствие, па жарившись на солнце, проголодавшись, выстаивать в обеденный перерыв очередь у окошечка котлопункта (и словечко-то какое выдумали управленческие крысы: котлопункт!); дадут тебе на алюминиевый поднос порцию жирного переболтапного борща или супа, сядешь под навесом за один из грубо сколоченных самодельных столов, и, пока обедаешь, над тобой беспрерывно роятся голодные степные мухи. Многого не хватает здесь из привычного тебе комфорта, можешь только мечтать сейчас о душе, сооруженном доме для тебя отцом, нет и еще кое-чего, что должно бы быть... Вот уже и вода копчется, еле-еле каплет из краника, механизаторы всю выплескали на себя.

И все же именно здесь, среди этих строительных неурядиц, Лина впервые в жизни почувствовала, что она пужна людям, каждым нервом своим ощутила, как начинает жить полноценной, а не растительной, не оранжевой жизнью.

На труд у нее свой взгляд. Не так уж она паявна, чтобы думать: еще одно сооружение, канал этот — и все станут счастливыми. Не в этом дело. Человек напоминает ей парус, которому непременно нужен и простор и ветер. В безделье поник он, нет его... А тут он полон — грудью вперед летит сквозь жизнь! И пусть обгорает, шелушится тут лицо, пусть трескаются губы, но здесь ты неотделима от тех, кому трудно, и хоть работа твоя несложна — измерять с Василишкой да с мастером-гидротехником стометровые отрезки трассы, расставлять пикеты, — однако

же и эта простая работа кем-то должна быть сделана — без твоих пикетов дело не пойдет.

Солнце вылезло из-за горизонта, красное, нежаркое, заблестело на металлических боках механизмов, сбившихся беспорядочным стадом возле штабного вагончика: опять там какая-то задержка... Механизаторы вместо утренней гимнастики ссорятся с прорабом, бранят механика, и даже Брага Левко Иванович, человек мирного, покладистого нрава, сейчас не очень-то выбирает слова, клеймя нераспорядительность начальников. Как всегда в таких случаях, механик выдумал себе дело и исчез, умчался в Брылевку, поэтому весь шквал возмущения за простой вынужден был принять на себя прораб товарищ Красуля. Он тут не ночевал, ездил к молодой жене, а теперь, чувствуя вину, что не позаботился своевременно о доставке горючего и смазочных материалов, суетится между людьми. Втянув голову в щуплые плечи, он то и дело виновато огрызается, а сам, наверное, думает: «Ну вас всех к чертям! Когда уже я вырвусь отсюда на какую-нибудь стройку поспокойнее или в город со своей Ниночкой-лаборанткой (оба они заочно учатся в институте)...» Левко Иванович видит его насквозь, угадывает его мысли, поэтому прямо в глаза бросает Красуле:

— Делаешь все кое-как, а ведь еще молодой! Служишь будто частной фирме, вместо того чтобы вкладывать душу!

Красуля огрызается:

— Не папасаешься души!

— Ну да, если душа воробынная!

Лина, вооружившись пестрой рейкой, подходит к толпе, и механизаторы, на мгновение прекратив ссору, подзуживают и ее:

— А ну-ка, по плечам его, Лина, рейкой за простой! Из-за того, что он у своей Нипочки гостил, сколько часов теряем!

— Ей волноваться нечего, у нее ставка, — бросает в адрес Лины Египта, уже приготовивший свой скрепер в дорогу.

Лина промолчала, однако в душе не согласилась с его словами. Она чувствовала, что вся эта неразбериха и в ней вызывает раздражение, так и хочется крикнуть вместе с Брагой прорабу в глаза: «Где же твоя совесть? Почему ты не побеспокоился? Как же это получается, что рядовые механизаторы болеют за дело больше, чем ты?»

Египта, сняв кепку, приветливо машет ею Лине на прощание, просит не забывать и обещает привезти из Тарасовки полный ковш абрикосов... Чудной этот Египта. Что-то есть в нем бесечно-разудалое, бесшабашное. Недаром о нем и на стройке говорят: «Брось Египту в море — вынырнет с рыбой в зубах!» Ковш абрикосов привезет... Подшучивает, конечно, а вообще-то он такой — может что угодно добыть, повсюду у него знакомые, приятели, друзья, за официантками по степным чайным увивается, хотя всем известно, что уже платит алименты какой-то на Северном Донце, где раньше работал... Верный своим привычкам, Египта не пропустит никакого мало-мальски удобного случая закалымить, взять левый заказ, и не боятся ни прораба, ни механика, которые, кажется, и сами потакают ему. Единственно, чего Египта побаивается, так это товарищеского суда, по воле механизаторов возглавляемого Левком Ивановичем Брагой. Левко Иванович постоянно держит Египту на прицеле и за одну его недавнюю историю, не совсем красивую, при всех предупредил:

— Хоть ты, Египта, и механизатор широкого профиля, на всех машинах богом себя чувствуешь, но держись: еще один левак — и вылетишь в космос!

Египта выехал, прогрохотал скрепером, и хоть не в космос он держит путь, а только в Тарасовку, где строится хозяйственный канал, однако Липа чувствует, что отныне ей будет не хватать озорных усмешек парня, грубоватых его шуток и тех маленьких стычек с ним, когда он дает волю рукам, а ей приходится отбиваться.

Наконец привезли горючее и смазочные материалы, прораб повеселел, и все механизаторы оживились. Брага заправив горючим свой робот, уже с просветленным лицом испытывает, хорошо ли работают его железные мускулы.

Степь наполняется грохотом машин, один за другим отправляются механизаторы к месту работы. И Липа с Васпилькой тоже торопятся на свои места — и они ведь не последние спицы в этом огромном трудовом колесе, разве не их вешки дают простор для работы механизмов, указывают верное направление каналу? От железобетонного низенького столбика-репера, воткнутого в землю еще кем-то до тебя, ведешь ты линию канала, тянешь ее вперед и через каждые сто метров выставляешь свою пестренькую веху. Под погами стерня или трава тонконог,

випоградник или заросли полипы и чертополоха, а ты шаг за шагом отмеряешь землю, пачинная от реперного столбика. И там, где проходишь сегодня ты, завтра уже будут в разгаре земляные работы. Брага, бригадир бульдозеристов, будет перекрывать со своей бригадой нормы, а еще чуть позже в свежевырытом русле заголубеет днепровская вода. Вода уже заполнила русло на головных участках канала, уже подведена к какому-то там километру, и туда съезжаются по праздникам колхозники из стеленых районов посмотреть на нее, полюбоваться, как па диво, на самую обыкновенную, еще мутную от глины воду.

Вот так и идешь ты пикетажисткой по сухой степи, как бы ведя за собой будущую, еще незримую воду, царапаешь голые загорелые икры чертополохом, жарись на солнце. И никаких тебе событий, разве иногда мастер раздражительный, но, в сущности, добрый старичок Анатолий Петрович позволит взглянуть в окуляр нивелира, чтобы приучалась, а потом сам же и оттолкнет, выверит еще раз перед тем, как скрипуче крикнуть бульдозеристу: «Давай!»

Стрелой тянется магистральный канал на юг в сухие, испокон веков безводные степи. Придет время, и устремится вода за самый Перекоп, до каких-то крымских Семь Колодезей, которые только пазываются так громко, а на самом деле воду туда и до сих пор привозят цистернами. Там, где природа забыла речку проложить, сейчас волею людей рождается новая река, с той только разницей, что не петляет, не блуждает она по степи, а проложена по линейке, хотя водой будет не беднее, чем Ворскла, или Сула, или даже Южный Буг. На всех географических картах твоей Родины появится эта речка, какую сегодня вместе с бульдозеристами строишь пемножечко и ты.

На днях провести Лину приезжал отец, интересовался, как она тут живет. На этот раз не было ни угроз, ни упрасиваний. Постаревший и полнющий, стоял он перед дочкой, а потом светил своей сединой в жарком вагончике, присев на краешек твердого матраца, на котором она спит. Лине стало даже жаль отца, такого покорного и внезапно состарившегося: за это, она чувствовала, часть вины ложится и на нее. Как баловал он когда-то ее маленькую, с какой радостью, вернувшись со службы, брал на руки! Лине тогда и в голову не могло прийти, что ее

отец, такой сильный и черноволосый, когда-то вот так состарится и поседеет. Казалось, он всегда будет в добром здравьи, с голосом весело-грозным и при оружии. Однажды там, на Севере, во время пурги, она в трех шагах от дома неожиданно заблудилась, — ох, какую он тогда поднял стрельбу! Всех поставил на ноги, сколько ракет было выпущено в метель, в бушвавшую снежную вьюгу, хотя Лина в это время уже сидела в теплом помещении у одпой знакомой. А в другой раз, когда Лина играла с детьми возле упряжки ездовых собак, лежавших у барака, одна девочка чего-то испугалась и закричала, а отцу показалось, что это голос Лины, что собаки набросились на детей (иногда и такие случаи бывали). Он выскочил на крыльцо с пистолетом в руке и сгоряча перестрелял на месте всех собак... Почему-то подобные случаи стали чаще вспоминаться Лине после того, как она очутилась здесь, на канале. Она как будто только теперь стала замечать отцовскую самозабвенную любовь к ней, так же, как только тут, среди опаленных солнцем стеней, Лина, кажется, впервые по-настоящему поняла, что и там, на Крайнем Севере, была не только стужа да пурга, от которой леденеет душа, не только мхи да уродливо скрученные низкорослые березы, но и краса белых летних ночей, когда молодые солдаты, сменившись с постов, среди ночи натягивали сетку и играли в волейбол! А она, бессонная девчушка, их болельщица, делала для них бумажные розы, дарила команде победителей букетики этих белых безжизненных цветов. И был там среди бойцов один смуглый, чем-то немножко похожий на Египту, и Лина была по-детски чуточку в него влюблена...

Здесь же, на капале, отец казался тихим и смирным, на ее расспросы про гладиолусы признался, что теперь за ними ухаживает он сам, потом, отозвав в сторону мастера, расспрашивал его о Лине, о том, как она работает, как живет и с кем дружит, перед прорабом и кухарками постарался замолвить за нее словечко, Лине даже неловко было за его совершенно ненужные хлопоты. Побеседовал отец и с Левком Ивановичем Брагой, почувствовав, видимо, что бригадир пользуется всеобщим уважением. Что ему говорил отец, Лина не разобрала, слышала только ответ Браги, твердый, успокоительный:

— О дочке, товарищ майор, не беспокойтесь. И сама здорова, и в здоровый коллектив попала. В обиду не дадим.

Жене Левка Ивановича, поварихе на котлопункте, отец Лины понравился своей рассудительностью и серьезным взглядом на жизнь. Когда отец уехал, она Лино даже потапно по-дружески прочитала:

— Ты, девушка, на отца не очень фыркай. Говорят, ты чуть не отреклась от него? Было у нас такое время, когда дети от родителей отрекались... Какой там он ни есть, но тебе отец, и роднее его нет никого у тебя на свете.

Лине тогда стало немного стыдно от справедливых укоров Бражики — в самом деле, как это ты, которую отец так бережно растил и лелеял, в которой души не чаял, выпорхнула теперь из дому и за все отплатила ему только упрямством и даже пренебрежением? А ведь чтобы вот так хорохориться, упрямиться, отвернуться, для этого много ума не надо. В чем-то он отстал, чего-то недопонимает, в чем-то ты с ним не совсем согласна. Так ты, как дочь, помоги ему, борись за своего отца, добейся, чтобы он поднялся, если жизнь его покорежила, изломала! Да, в нем немало есть такого, что неприемлемо для тебя, но разве только в нем? А в тебе самой? А в Миколу Египте? Вот Египта только начинает жить, а сколько уже ты находишь в нем такого, с чем душа никогда не сможет примириться! Так борись, искореняй из своей и из их душ ненужный бурьян, чтоб стали они настоящими людьми!.. «Только не допихотство ли это с моей стороны?!» — подумала Лина и улыбнулась про себя.

Неподалеку работает Брага — вперед своей бригады роет, разгребает, разрыхляет землю. Спроси у него о таких вещах, скажет, что у него сейчас только одна цель: переработать определенное количество грунта. Целыми часами не отрывается он от рычагов, работает упорно, сосредоточенно, гоняет и гоняет свою машину взад и вперед, прорубает траншеи, набрав грунта на полный пож, то выталкивает его на откос, то на повышенной скорости пикирует, возвращаясь снова на прежнее место. Словно прикованный к своему железному роботу, повторяет он одну и ту же операцию множество раз, привычно, методически. Кажется, что и сам он одуревает от грохота и скрежета горячего железа, которое оседлал. Только уже вдоволь наработавшись, остановит бульдозер на валу, выйдет из него в одной майке, в жестких, запыленных, из какой-то чертовой кожи штанах, и тогда вдруг оживет, улыбнется девочкам:

— Ну, когда же ты, Лина, убежишь отсюда? Никак не могу понять, чего ты до сих пор здесь?

Василипка тихопоко прыскает на шулки брата, а Лина отвечает бригадиру в тон:

— А вы почему не убегаете?

— Что я? Шесть классов да седьмой коридор за плечами — с этим, голубка, далеко не убежишь.

— Нам бы столько перечитать, как ты,— заметила Василипка и поясвила подруге: — Зимой целые ночи просиживает над книжками... Даже Плутарха читает.

— Все больше вот про этого болвапа книжки да про подобные ему создания,— говорит Брага, кивая в сторону своего бульдозера, и даже толкает его слегка в гусеницу.— Болван, лептай, а вот никак не могу его бросить!

«Болван, увалепь, робот безмозглый» — такими и подобными прозвищами обычно награждает Брага свой бульдозер, хотя падо быть просто глухим, чтобы в его голосе при этом не уловить более глубокую, затаенную дружескую нптонацию.

Достав замасленную помятую пачку сигарет «Верховина» (Левко Иванович предпочитает этот сорт за его крепость), закуривает и снова продолжает свое:

— Робот несчастный — это он меня в эту канальскую историю втянул да его предшественники. Еще мальчишкой, как только первый «Фордзон» появился в селе, вот когда я погиб, девчата. Если бы не та встреча, давно был бы где-нибудь завгаром или кладовщиком. А вот с тех пор и пошло: тракторы, бульдозеры, тягачи, канавокопатели... Из-за канавокопателя, можно сказать, жену-партизанку нашел, известную вам отважную и решительную особу. Вы же слышите, сколько она мне каждый день указаний дает. Взяли с нею такой в жизни разбег, что никак остановиться не можем, кочуем, а хлопцы, казаки мои, уже четвертую школу меняют.

При упоминании о сыновьях голос Браги сразу становится мягче, ласковее.

— Полещуки они у меня, росли у матери среди болот да лесов, хоть отец коренной степняк. Когда забирал их сюда, думал: привыкнут ли к степи? А привез: «О, говорят, тату, хорошо и тут!» — «А чем же вам хорошо? Ежевики, орехов лесных нет». — «Зато здесь много пеба...» Смешные!

— Дядько бригадир! — зовет Кузьма Осадчий, остановив свой бульдозер неподалеку и вылезая из кабины. — Мой что-то покашливает...

— Грипп азиатский? Или что там у него?

Левко Иванович направляется к бегемоту Кузьмы.

— Загадочный тип, — разводит руками хлопец, — как будто и гоняю, выжимаю из него все, а дела меньше, чем у вас!

— А ты без толку не гоняй. Потому что он хоть и робот, а тоже кое-что понимает, — начинает растолковывать Левко Иванович. — Когда пабираешь грунт па нож, прислушивайся к работе двигателя. Как только почувствуешь, что он пачинает терять мощность — довольно. Наверстывай на другом: когда возвращаешься на рабочее место, переключайся на максимальную скорость. Как раз па этих холостых ходах пужные минуты и сэкономишь.

— Вот оно что!

— А ты как думал... Да еще перед работой, с утра повнимательнее узлы осматривай, ослабевшие винты закрепи, а то я видел, как вы, молодые, все па хип-хап, все бегом, сел за рычаги — и айда, лишь бы скорее в забой...

Так переговариваясь, они принимаютс я вдвоем осматривать еще совсем новый бульдозер Кузьмы. Левко Иванович, в поисках повреждения, сам залезает в кабину, и вскоре бульдозер уже снова грохочет. Кузьма, подпрыгнув, взбирается на его железный хребет, а Брага, передав ему рычаги, идет к своему агрегату. С лязгом и скрежежом врзается он в слежавшийся грунт, выбирает его, все больше углубляясь, добирается наконец до тех киммерийских глин, что залегают под травами этой степи мощным горизонтом.

С Левком Ивановичем девушки встретятся теперь уже во время обеда, когда в толпе других бульдозеристов с подпосом в руках он будет стоять в очереди к окошечку, то бишь к котлопункту. Прошло время, когда не было этого котлопункта и механизаторам приходилось есть всухомятку или ватагами ездить по селам в поисках горячего обеда. Теперь прогресс, пахнет поджаркой, а над окошечком выдачи на куске ватмана красуется еще и папиcанный тушью крылатый афоризм: *«Ничто нам не стоит так дешево и ничто не ценится так дорого, как вежливость!»*

— Это ты здорово загнула! — восхищенно сказал Липе Египта, когда впервые прочитал написанный ею плакат.

— Это не я, это Сервантес сказал, автор «Дон-Кихота», — пояснила она Египте, а он засмеялся:

— Ты и сама у нас как Дон-Кихот!

Что он имел в виду? Что она такая длинная и худая, как Рыцарь Печального Образа? Или он считает, что самостоятельную жизнь свою начинает борьбой с ветряными мельницами? Но как бы там ни было, а призыв к вежливости, написанный ее рукой, висит на этом бойком месте, и от нечего делать его читают, хотя, по правде говоря, именно под этой подписью, в теспоте, в сутолоке, и возникают чаще всего ссоры.

Правда, сегодня здесь довольно спокойно, потому что пет Египты, некому задирать, даже Левко Иванович отметил его отсутствие:

— Вишь, нет Египты, и как тихо, даже скучно. Никто не лезет без очереди. А он себе распродал глину да угощается у какой-нибудь бабенки, уминает пышные вареники с вишнями.

Из окошка па голос мужа отзывается Бражиха, стоявшая па выдаче:

— О, слышу, мой партизан явился.

Брага веселеет.

— Что там сегодня, женушка? Борщ с молодой курятинкой? Наконец-то!

— Сегодня как раз твой любимый суп гороховый...

— То все па макаронах сидели, а теперь горох да горох зарядили... Нет, хватит с меня такой жизни! До Семн Колодзей добыю, а там баста! Дураков пет. Дальше пускай сыповья роют, а нам даешь пенсию. Финский особнячок па берегу моря сооружу, под окнами — синева морская, виноградником займусь, помидорами, огурчиками, на досуге стану читать тебе, женушка, в холодочко курортную газету «За бронзовый загар»...

Бражиха сосредоточенно орудует черпаком, по сурово сомкнутые губы ее невольно вздрагивают в улыбке. Не впервые ей слышать от мужа эту песню. Еще в Каховке слышала: «Построю и больше не буду». И па Ингульце слышала: «Брошу, к чертям, кладовщиком или завгаром пойду...» А после того снова, как цыган, перекочевал сюда и ее потащил, чтобы вдвоем пробиваться к этим легендарным, никогда не виденным ею Семн Колодезям. Слушая мужа, она и о деле не забывает:

— Забирай, муженек, компот да освобождай место.

Обедает Брага за одним столом с сестрой и с Липой. Под навесом, где стоят столики, тесно — тут толкаются, смачно хлебают, утираются ладонями, всюду Липа видит замызганные майки, перепревшие от пота безрукавки, видит простые трудовые лица, лоснящиеся потом, темные от загара шеи, которые уже и солнце не берет. Вот громко чавкает бульдозерист Закарлюка, молча с жадностью тянут из мисок другие механизаторы: Волкодав, Штапко, Барыльченко, Фисунов; рядом с Липой примостился уса-тый Куцевол, и она совсем близко видит руки с толстыми короткими пальцами, на которых пообломаны ногти. Такие же руки и у Левка Ивановича, они огрубели, сплошь покрыты ссадинами. Липу в первые дни все это коробило, а теперь ей даже как-то уютно среди этих плеч, лиц, приятно класть свои тонкие усталые руки рядом с их огрубевшими в работе, натруженными на рычагах руками. «Разве же не в них, не в этих руках, — думает она, — вся сила и богатство трудового человека, который добывает ими не только свой хлеб, но еще и возможность ни перед кем не заискивать, не криводушничать? Именно они, эти руки в ссадинах, дают человеку право жить без лжи, без угодничества, без всего такого...»

Брага ест молча, серьезно, лицо его продублено ветром и солнцем, а около прищуренных глаз уже лучатся морщишки — свидетели пележкой, видно, жизни. «Сколько живу, все на передовой, потому что тут человеку самая большая выгода, — как-то пошутил оп. — И место тепленькое, и никто на него не позарится...»

На строительстве у него место не просто тепленькое, а прямо-таки горячее — в одежду, тело въелась степная пыль, майка на широких плечах прокипела солью, потом, мазутом. Тетка Катерина порой даже оправдывается за эту его майку перед девушками:

— Ей-же-ей, через день стираю! А только смелу отработает — снова такая же.

Всем здесь известно, что во время войны их бригадир был подрывником в партизанском соединении, принимал участие в героических рейдах в северо-украинских и белорусских лесах, и жена его, эта тетка Катерина, тоже оттуда, из Полесья, и тоже бывшая партизанка.

Съев суп, Левко Иванович принимается за макароны с котлетами, которые попались ему до черноты пережаренные.

— Поштурмуем теперь эту жужелицу,— говорит он и кричит к выдаче: — Жеба! Забыла свежих помидорчиков положить!

— В Брылевке помидоры,— слышится оттуда.

— Тогда огурчиков...

— Огурчики в степи. Начспаб не пасобирал.

— Помидоры где-то перезревают, огурчики желтеют, а вы...

— Ешь, муженек, и не привередничай!

Брага сокрушенно качает головой.

— Точнехонько как в той притче: ребенок хлеба просит, а мать: «Воды выпей». — «Не хочу воды». — «А, постреленок, тряся твоей матери, ты еще перебирать?» Дайте книгу жалоб, я благодарность вам запишу.

— Не к нам, к начальнику рабспабжения все претепзин,— отрезает вторая кухарка.

— Сколько ни критикуют того начальника рабспабжения, а с него что с гуся вода,— говорит Василинка, как всегда с бескопечным эническим спокойствием.

Линну всякий раз поражает в ней это спокойствие, уравновешенность, Василинка и делает все без суеты, и разговор ведет неторопливо, и обедаст без спешки, она как будто и Линну нервозность утихомиривает своею степенностью, успокаивает ровной, тихой улыбкой и здоровым взглядом на мир.

— Вот она, наша с тобой жизнь, Кудево! — принимаюсь за компот, говорит Брага товарищу, который на это только шевельнул ржавопроволочными усами. — Вот куда загнала нас с тобой поголя за длинным рублем!

Липа, которая не впервые уже слышит об этом длинном рубле, замечает:

— Не наговаривайте на себя, Левко Иванович.

— Не веришь? Слышите, люди, она думает, что чистой воды романтика нас сюда привела. Вот они, герон, степная гвардия, так она думает о нас. Даже жилы трещат у Браги, так он рвется вперед, чтобы побыстрее своим роботом спести Турецкий вал и дать воду степям. Еще раз взять штурмом Перекоп: отец брал тот, а сын этот! А герон твой, девушка, в это время думают о том, что завтра получка да что после все хорошо было бы в Копани в чайную шугапуть... Разве не так, Барыльчепко? — обращается Брага к угрюмому бульдозеристу, обедающему за соседним столиком. — Правду ведь я говорю, что длинный рубль нас сюда привел?

— Я не слыхал.

— А ты, Кузьма?

Кузьма Осадчий, смачно уплетая за обе щеки свой горох, отрицательно вертит головой, расплывается над миской в ухмылке:

— Вы меня, дядько бригадир, на этом не купите, — и продолжает хлебать дальше.

У него сегодня хорошее настроение. Не оставляет это настроение Кузьму с того самого дня, как парень, совершенно освободившись из-под отцовской опеки (отца его перевели бригадиром на хозяйственный канал), самостоятельно сел на бульдозер, с «отцовской шеп на железную перелез», как выразился по этому поводу Египта. Правда, с новым бульдозером Кузьма еще не совсем освоился, справляется с ним пока с горем пополам, но все же справляется и норму, хоть и с большой патугой, выполняет.

— Смотрите, чей это бульдозер угнали? — кричит вдруг от крайнего стола Супрун, водитель тягача. — Кузьма, не твой ли?

И хоть Кузьму на этом ловят не впервые, он снова под общий хохот дергается и невольно оглядывается в ту сторону, где на валу нерушимо сверкает ножом его новый стальной гигант.

— А воп и черногузы тянутся обедать, — говорит Куцевол, кивая на группу археологов, которые, появившись из-за кургана, приближаются к котлопункту.

Впереди, в самом деле как черногуз, ковыляет длиннопогий их начальник, а за ним следует группа его сотрудников — три женщины с оголенными плечами да еще студент в войлочной конусовидной папаме. Последний идет в одних трусах, как будто бы здесь пляж. Археологи ведут на кургане раскопки, перебирают косточки каких-то далеких предков, торопятся, потому что должны завершить свою работу, пока не подошли бульдозеры.

— Впшь, какие Адамы и Евы, — роняет педовольно Волкодав. — В городе такой вольности себе не позволят, а тут кого им стесняться? Людей нет, одни бульдозеристы кругом.

— Пусть себе загорают, кому какое дело! — вступает за археологов Василинка, хотя сама она, как и Лина, относится к этому неодобрительно.

Археологи, ступив под навес, вяло здороваются, старший даже снял кепку, из-под которой засияла белым гребнем седина, а голоногий студент в своей дурацкой

панаме из какого-то кавказского козла, поигрывая тощими мускулами, иронически кивает спутницам на Липицу надпись о вежливости. А когда получают обед, тетка Катерина прямо в глаза замечает всей компании, особенно бесштанному студенту и женщинам, бесстыдно обнажившим свои пятнистые облезлые плечи:

— Придете еще раз в таком виде — обеда не дам. Тут не пляж.

Бульдозеристы с крайнего стола деликатно освобождают места женщинам-археологам, невзирая на их слишком оголенные спины, которые и впрямь облезают, как пащерицах. Начальнику раскопок, человеку пожилому, жилистому, тощему, как будто он постоянно недоедает, тоже дали место. Не нашлось места только для студента — пусть, дескать, постоит, чтобы впредь не воображал себя таким умником: сам пришел в столовую без штанов да еще смеет кивать на их плакат над окошком!

— Ну, что же вы сегодня откопали? — спрашивает Брага старшего археолога, которого почему-то считают профессором, хотя никто точно этого не знает.

— Да ничего особенного, — без энтузиазма отвечает ученый, и его сухое, землистое, с запавшими щеками лицо становится и вовсе постным.

— А мы все ждем, — не отстает Брага, — ждем, что вы там что-нибудь откроете; разгадаете какую-нибудь тайну.

— Может, бочку золота выкопаете, — весело бросает через стол Барыльченко.

— Им больше глиняные черепки попадают, — авторитетно добавляет Волкодав. — Мечи, да копья всякие, да жепские побрякушки.

— Какие люди, какие племена тут жили до нас — вот что хотелось бы узнать, — задумчиво говорит Брага. — Племена тавров или кто?

— И киммерийцы жили, — уточняет профессор. — Современники Гомера.

Брагу это даже обрадовало.

— Слышишь, Кузьма? Теперь будем знать: мы — киммерийцы. — И он снова обратился к профессору: — А как у них было насчет бюрократов и взяточников? Водились? Не нашли каких-нибудь следов этого в раскопках?

— Это следов не оставляет, — засмеялась одна из жепшип-археологов, блеснув в сторону Браги очкамп. Смех, как и голос, был у нее грудной, глубокий, и она смеялась нарочито так, чтоб слышно было, какой он глубокий.

— Истлевают, значит, дотла? — допытывался Левко Иванович. — А что же петленно? Как по-вашему? Что оставляет след? — Видно, ему был очень нужен этот самый след.

— Прежде всего работа, вот такая, как ваша, оставляет след, — молвил профессор в раздумье.

— Мотай на ус, Кузьма, — оживился Левко Иванович. — А то пересыпаешь землю с места на место, даешь кубы согласно установленной норме, и псевдомек тебе, что из этого получается. Следи только, чтобы какой перадивец не попался с запасом равнодушия в сто тысяч лошадиных сил, такой и оком не моргнув сведет на нет твою работу. Ведь был у нас такой случай на Ингулецкой системе: пустили мы воду в один совхоз, а у них оросительная сеть чертополохом полна, втянуло его в пропускные трубы, забило их, вода и ринулась через дамбы. Разве при наших здешних порядках не может и тут такое случиться? Нет должна быть чистота во всем! Ни чертополоха, ни бюрократизма — вот наш с тобой лозунг, Кузьма! Правда?

— У тех киммерийцев, — вставляет Куцевол, — вряд ли было такое, чтобы горючего по два часа ждать.

— Или чтобы бульдозеры использовались как тягачи, — поднял голову Фисунов, — а тягач в то же время простаивал без дела на базе.

— А нераспорядительность вся эта от чего? — свирепо вытаращивается Бахтий. — От нехватки ума? Нет, от рыбьего сердца — вот от чего!

Этот разговор непосредственно метил в прораба Красулю, который, где-то задержавшись, только что прибыл обедать и, съездившись, принимал возле окошечка на поднос то, что ему причиталось.

В другой раз ему, конечно, уступили бы место, а сейчас у всех еще в памяти утренний простой, и потому все сидят неподвижно: сидит Куцевол, сидят Брага, Фисунов, Закарлюка, Бахтий. Едят, а кое-кто уже и покуривает, но все делают вид, будто и не видят прораба, не замечают, как он робко пристраивается рядом со студентом в сторонке на ящике и как-то по-сиротски располагает миску на коленях. Вот тебе, прораб, за твою нераспорядительность, равнодушные к делу, которыми ты сегодня оскорбил весь коллектив!

— Кому можно позавидовать, так это Египте! — говорит Брага и встает из-за стола. — Почистит какому-ни-

будь колхозу пруд мимоходом — п центнер пшеницы на кон. А нам споза ишачить без премий. Мы сухим Семи Колодезям — воду, а нам что? Двенадцать дней отпуска бульдозеристу в год — разве это не позор? — апеллирует он к профессору. — Работал бы я, скажем, где-нибудь экскаваторщиком на производстве или даже кладовщиком на складе, был бы у меня и отпуск вдвое больше, а тут двенадцать дней! Вот как расщедрился кто-то... Разво ж это не насмешка?

— А вам чтоб на полный курортный сезон? — ядовито спрашивает тщедушный студент, останавливая взгляд на коренастой, атлетической фигуре бульдозериста. — Чтобы здоровьице подремонтировать?

— На здоровье, молодой человек, не жалуюсь, — отрубил Левко Иванович, и голос его налился гневом. — Но не в отпуске суть. Не хочу, чтобы труд мой был принижен! Чтобы какой-нибудь книгоед ставил его ниже того, что он стоит!

— Надо снова писать в ВЦСПС, — поднялся и Фисунов.

Один за другим механизаторы оставляют столы, идут к поставленным в тени бочонкам с водой, толнятся там, пьют.

А Бражиха тем временем, подозревая студента к окошку за котлетами, которых ему поначалу не хватило, объясняла ему терпеливо:

— Про курорт вы Левку Ивановичу напрасно — не для курортов он на свете живет! Сколько у него всяких грамот, благодарностей за работу, вам и не снилось. Рабочий он, и честь рабочая ему, голубь мой, дорога... А подлечиться ему тоже не мешало бы: как зима, так у него раны партизанские открываются на ногах.

— Простите, я не знал.

— Да еще и радикулит на бульдозере нажил!

— Не знал я этого.

— А знайте! — И она, стукнув задвижкой, закрыла перед ним окно выдачи.

Вскоре и сама тетка Катерина появляется под навесом тоже с миской супа, подсаживается к девочкам и женщинам-археологам, которые обедают, совершенно разморенные, алая своими опаленными худыми спинами.

— Пустые это балачки, девочки, про длинный рубль, — говорит тетка Катерина с горячностью. — И что он тому калымщику Египте завидует, тоже не верьте. Но

терпит он хапуг и леваков. «Такие, говорит, только позорят нашу степную гвардию. Честь человека, говорит, в труде, и ни в чем больше ее не ищи».

У тетки Катерины лицо иконно-темное, суровое, преждевременно увядшее, а глаза молодые, полные неугасаемого блеска... Пока Катерины не было тут, на канале, Брага не раз о ней рассказывал каналостроителям по вечерам. И она, по его словам, представлялась прямо-таки красавицей. «Не женщина, а пива золотая,— говорил он,— полсвета обошел, пока нашел ее». Но когда она, темноликая, разъяренная, появилась тут с детьми и налетела на него с бранью, что не выехал встречать, то все даже оторопели: это он про этакую злюку им столько пел, ее разрисовал такими словами? Потом привыкли к ее резкому нраву, к папомипавшему мумию сухому лицу без улыбки. Зато когда она изредка улыбалась своему партизану, когда сквозь сердитую темную иконопись на миг пробивалась невольная улыбка, это так меняло Катерину, что некоторым казалось: не так уж Брага, может, и преувеличивал, воздавая хвалу жене...

— Вишь, как обгорела с лица,— говорит Бражиха, разглядывая Ливу, ее прихваченное степным загаром милостливое личико.— Да это ничего. Солнце обожжет, кожа облупится, и будешь такая, как и все. Только худенькая очень, высокая, а худенькая. Может, ты не падаешься? Может, добавки тебе? Ты не стесняйся! А то вешки все носишь, и сама стала как вешка.

— Я такая и была,— улыбаясь, заливается краской Липа.

— Добрый у вас муж,— вдруг сказал Бражихе профессор, который до сих пор равнодушно жевал. — Поэт труда. Богатая натура!

Бражиха даже засветилась от неожиданного комплимента.

— Добрый, это верно. Когда с ним по-доброму, то он как шелк... Но уж если рассердишь...

— Правдолюбец он.

— Ой, не говорите: не раз на этом обжегся. «Теперь уже молчать буду»,— говорит. А потом опять-таки не смолчит. За то и почет ему в коллективе: наши механизаторы председателем товарищеского суда его выбрали. Весной, когда шоферы наши в беду попали в рейсе, мастер говорит: «Давай в прокуратуру передадим», а Левко Иванович ему: «Э, нет, погоди... Сначала сами

разберемся. Может, и своим судом людей спасем». Нас, мол, воспитала наша власть, и нам следует воспитывать, а не стремиться скорей засадить человека за решетку. Так по его и вышло. Зато как теперь хлопцы стараются!

Археологи благодарят за обед, встают, собираются идти.

— Ну, а это правда, что ваши люди будто бы большой кувшин с пшеницей выкопали? — спрашивает тетка Катерина вдогонку. — Левко Иванович как-то рассказывал, когда мы с ним детей проводить ехали. «Такое, говорит, пшеничное зерно выкопали, что в десять раз больше теперешнего. Каждое зернышко величиной... ну, с грецкий орех!»

— Это он пошутил, ваш партизан, — весело замечает одна из женщин-археологов. — Зерно с грецкий орех... Это пока только плод воображения.

— А кто знает, может, и такая пшеница росла когда-нибудь на планете, — серьезно возразил профессор. — Да, может, когда-нибудь и в будущем родить будет. Если, конечно, не превратят землю в сплошной атомный шлак...

Пикетажисток между тем уже зовет мастер. Василинка и Лина берут свои пестрые палки и спешат к месту работы, а тетка Катерина, оставшись в тепи под навесом одна, подбровенными глазами смотрит, как ветер треплет их легонькие ситцевые платица. Бульдозеры на валу оживают, один за другим проваливаются в забой, где им предстоит работать до вечера, ворочать пласты этих киммерийских глин. Вот уже и Левко Иванович своим грузным телом втискивается в кабину, а Кузьма Осадчий кричит ему со своего бульдозера, стоя на гусенице во весь рост:

— Киммерийцы мы, дядько бригадир, киммерийцы! Теперь мне ясно! Понятно, почему так жаждет моя кровь синевы эгейской и беломраморных эллинских островов!..

Вот он шумит сейчас, приплясывает на гусенице, а наступит вечер, приплетется Кузьма к вагончикам, как побитый, спешенный и поникший, остановится перед бригадиром, а тот в это время уже брется после работы, готовится ехать с женой в село к сыновьям. Бреется Левко Иванович, а сам напевает, как песенку, какое-то стихотворение, прочитанное им еще зимой, к нему он подобрал свой собственный нехитрый мотив: «Лишь правда извечна, а то все трава!.. А то все трава!..» Проведет бритвой,

намылит щеку и снова еще громче: «А то все трава!.. А то все трава!..»

— Левко Иваныч, — наконец осмеливается прервать его Кузьма. — Слова с моим что-то... Еле из забоя выбрался.

— Спазмы? Тромбы? Или, может, инфаркт?

— Не знаю, — чуть слышно тянет Кузьма, а сам старается спрятать смущение под густыми бровями, посеревавшими от пыли.

— И что же теперь будет? — закончив бритье и вытягивая шею перед зеркальцем, прилаженным к карнизу вагончика, спрашивает бригадир. — Повесим носы, пусть повисят или как?

Тетка Катерина, сообразив, чем все это угрожает, спешит папомнить мужу:

— Мы с тобой собрались детей навестить!

— Отойди, солнышко, не то как бы мне не порезаться!

— Ну, скребись побыстрее, да едем!

— Сначала поглядим, что там у него, — складывая бритву, говорит Левко Иванович и, продолжая напевать свой мотивчик, отправляется с Кузьмой к танку, где уже сбились стадом песколько бульдозеров в ожидании, когда освободится укрепленный на тапке кран. (К вечеру возле тапка всегда многолюдно — за день обязательно набегит какой-нибудь ремонт.)

Сердитым, ревнивым взглядом следит Бражиха за мужем, и ей хочется на всю степь закричать, когда она видит, как муж, скинув чистую сорочку, которую только что успел надеть, снова натягивает на себя рабочую куртку и лезет под брюхо Кузькиного бегемота. Долго не вылезает. Кузьма ему туда еще и электрической лампочкой подсвечивает, потому что под бульдозером уже темно. Вздохнув, присмирившая Бражиха упавшим голосом жалуется девушкам, замечтавшимся на пороге вагончика:

— Теперь уже на всю ночь.

Всю тяжесть мужниной работы она ощущает даже не тогда, когда он трудится, роет землю, набирает и выбрасывает ее из забоев на поверхность, а больше всего когда подгонит к танку свой бульдозер и начинает возиться возле него или, вот как сейчас, помогает ремонтировать кому-то из своих товарищей. Если взялся, то его уже не оторвешь, до поздней ночи не вытянешь. Придет потом словно выжатый, но зато довольный, что дело свое сделал.

Она знает мужнину работу, знает, как достается ему в сырые, холодные зимы, когда, не переставая, льют дожди или бушует метель, — в такой холод, кажется, немыслимо к железу и прикоснуться голыми руками, а он спокойно берет, ощупывает железные мускулы. С утра и до ночи без тепла, на ветру, в кабине сквозняки, фуфайка насквозь продувается, а тут тебя еще и радикулит ломает — профессиональный недуг бульдозериста. Или, скажем, весной, когда черная буря гудит над степью, когда так затянет небо, что и работать приходится при свете фар, и солнце в небе тоже, как подслеповатая фара, чуть-чуть поблескивает в пыли...

— Этой весной буря прошла какая-то вроде бы маслянистая, липкая, будто с нефтью. Не с Каспия ли занесло? — говорит тетка Катерина, присев рядом с девушками на ступеньках вагончика. — Так, бывало, насечет за день, что потом не отмоешься, одежду не отстираешь, хоть выбрасывай. Не выходите, девушки, ни за бульдозеристов, ни за скреперистов, — невесело пошутила она.

При упоминании о скреперистах Лине почему-то представился Египта, озорной, веселый. Он сейчас небось, оставив свой скрепер, ужинает где-нибудь в чайной беззаботно и при этом игриво подмигивает какой-нибудь девочке своими цыганскими глазами. Или, может, в драку какую попал, он до этого охоч; а может, взяли его дружинники, а то где-нибудь в дороге громыхает по степи и везет ей, Лине, полный шестикубовый ковш абрикосов — улыбнулась она этой шутке Египта и загляделась на небо, вдоль которого от края до края высеялся звездами Чумацкий Шлях. Чумацким Шляхом пазван когда-то этот изгиб Галактики. Магистральный канал проходит на юг как раз по этой звездной трассе, по которой молодая революция шагала в обмотках на штурм Перекопа, а в старину со всей Украины шли тысячи чумацких мажар, чтобы нагрузиться солью на крымских соляных озерах. Босыми ногами проходили тут когда-то твои пращурь, пускались, словно Колумбы, в сухой океан степей. И не раз, бывало, их тут косила чума и глаза еще у живых выклевывало воронье. Сквозь столетия, сквозь чуму, сквозь пожары пролегает этот путь, путь мужественных трудовых людей, страдный путь невольников и невольниц, которых со скрученными за спиной руками гнали в полон в Крым, шлях рыцарей запорожских, топотом своей конницы будивших весь край... Сколько крови

и слез вобрала в себя эта многострадальная земная дорога, что звездами и созвездиями навеки отразилась в темном зеркале неба почного!.. Дальше и дальше пойдет магистральный, ровной трассой пройдет он через Перекоп, через Турецкий вал, через вековечное поле многих кровопролитных сражений. Через стрелы татарские, ржавые патроны английские, через прах погибших революционных бойцов... Проходят века, волей людей изменится география степи, другими станут люди, и ветры, и травы, остается неизменной только эта безмерная ширь степная да высокий Чумацкий Шлях, что мерцает над нею, усыпанный мириадами звезд. А впрочем, теперь уже известно, что изменяются и звезды, и наше солнце, так же как и люди. Но каждый ли поддается изменению, можно ли души ковать, как металл, и не пустые ли это девичьи мечтания, что Египту тоже можно сделать совсем другим, безупречным? «Все это так сложно, — думает Лина, — так нелегко найти основу основ, постигнуть природу человека...» Вода по каналу понесет в степи жизнь, взльет свежесть в растения, ну а волеет ли она свежесть также и в души людские? Очистит ли она ту житейскую накипь и грязь, которой еще немало вокруг? Чистоты жаждет душа, но это, видно, даром не дается, за это пока только воюй да воюй. На днях Брага сцепился с кассиром, что привез заработную плату, кричал ему, глухому, в ухо: «Мы не только бульдозеристы, мы сантехники нашей эпохи! Такими нас и запишите. Борьба против чертополоха жизни — вот наша вторая профессия, а в вашей ведомости это не указано!..»

— Ждут сыны, ждут соколы, — приговаривает в темноте тетка Катерина.

А Василина успокаивает:

— Ничего с ними не случится.

— Погоди, сама станешь матерью, еще не то запоешь. Мальчишка, оп мальчишка и есть. Все его к железу тянет. На той неделе прибегает Толик из огорода, в руках ржавая коробка: «Мама, что это?» А я глянула — и похолодела: мина! Ведь тут в земле пакости этой — где ни копнешь, там и наткнешься.

Звездно, тихо в пространстве. Где-то далеко на совхозных полях ровно, по-пчелиному гудит трактор; у походной мастерской мелькает переносная лампа: там все еще продолжается возня около бульдозера Кузьмы, слышны

голоса, стук. Лина прислушивается к этим звукам. Вот они, люди трудной жизни. Были солдатами. Стали рабочими. Их руки привычны к рычагам, к рулю, к шоферским барашкам... Жизнь у них не тихая. Скитаются по стройкам, по дорогам, по чайным. Так и живут. В будние дни кубы дают. По праздникам в домино режутся. Грубые, как правда. Чистые, как небо. С ними она связала свою судьбу и не жалуется об этом.

— Вот ведь как трудятся, не щадят себя,— говорит Бражиха.— Если бы все так к своему делу относились, далеко бы мы уже были. А то вот Черненькую затапливает, вода просачивается из нашего канала, хаты у людей уже поразмокали, среди сухой степи болото образовалось, а почему? Потому что тот, кто проектировал, хоть его и учили, с холодной душой свое дело делал. Спусти рукава, лишь бы отделаться. А теперь вся Черненькая клянет его... Или даже Кахморе возьмите. Хотя мы с Левком Ивановичем и строили его, а проку в нем немного я вижу. Большое болото сделали, сто сорок тысяч гектаров леса в плавнях пустили под нож — разве ж это по-хозяйски? Разве нельзя было дамбами добрую половину тех плавней огородить? А берега? Обсадить обсадили, так и поныне обсаживают языками. А люди теперь на нас, на строителей, жалуются. Возле моря живут, а напиться нигде, волной берег все больше и больше разрушает, чернозем размывает все дальше, и не знаешь, где будет этому конец. Придет переселенка с коромыслом к берегу да полчаса над обрывом провозится, пока воды зачерпнет.

— Но мы же воду для нашего канала берем как раз из Каховского моря,— напомнила Василинка.

— Вот это разве только морю и оправдание. Досадно, когда человек кое-как к делу своему относится,— вот что я скажу! Начальник СМУ неделями у нас не бывает, разве же так руководят? — говорит Бражиха, и в голосе ее хлопочет гнев, который она при первой же возможности готова выплеснуть прямо в глаза этому начальнику.

Всякий раз, как только он появляется, Бражиха не упускает случая пожаловаться на бесквартирность, на невзгоды кочевой жизни и на то, что дети ее учатся уже в четвертой школе...

— Не пора ли нам спать? — говорит Василинка и встает, потягиваясь.

— Вы идите, ложитесь, а я еще подожду своего.

Девушки идут к вагончику, а Бражиха долго сидит, одиноко вглядываясь в небесный звездный шлях, в его светлые туманы, созвездия.

Ждет Бражиха. И она дождется, когда, закончив работу, с облегчением загомонт возле танка мужнина бригада, услышит она шутки этих неугоминых гвардейцев, возвращающихся к своему вагончику, услышит и веселый голос Левка Ивановича, обращенный к кому-то:

— А они ж думали, как магистральный строится... И днем строится, и ночью!..

Подошли к Катерине, стали подшучивать, что долго не спит, и еще папиросы свои не докурили перед сном, как в степи послышался грохот, ударил свет фар, и вместо замолкшего сердитого рычания агрегата прозвучал голос Египты:

— Где прораб? Подайте мне его сюда!

— Я тут,— из темноты командирского вагончика отозвался прораб.— Что тебе?

— Вы мне плюнули в душу!

— Это как же?

— Не знаете как? Перегон пустой!

— Неувязка вышла.

— В печенках у меня ваши неувязки! Разве для того живу, чтобы холостые перегоны делать? Я же вам не пигмей какой-нибудь! Пылищу подпал по шляху, тридцать километров пыли поднял — только и всего!.. А я не хочу для пыли!..

— Заплатят! — донеслось из будки.

— Не хочу я вашей дурной платы! Какая цена дню, прожитому впустую? Эти вот здесь ишачили день, так хоть знали для чего, а я? Натурой верните мне этот день! Не галочкой в наряде, а день жизни верните!

На крик Египты собралась бульдозеристы, показались в дверях и девчата. Только теперь, когда он вернулся, Лина почувствовала, что душа ее встала на место, спать она будет спокойно.

А Египта между тем, подстрелив у кого-то сигарету, уже весело рассказывал товарищам, что пет, все же недаром и он этот день прожил...

— Еду по степи, как вдруг глядь — бугай огромный человека топчет. Я, как тореадор, скрепером на него, а он только сопит, запенился, глаза кровью налиты, будто у какого самодура-бюрократы. Ну, я его все-таки оттикнул, человека спас,— правда, оказалось, что это наш

начальник рабснабжения: если бы знал, так еще подумал бы, надо ли спасать!

В ответ взрыв хохота. Но скоро и он утихнет, лагерь окутается сном, и слышен будет только стрекот кузнечиков в звездных просторах теплой степной ночи.

И снова наступает трудовое утро; бульдозеры уже подошли к кургану, и теперь не женщины-археологи своими нежными пальчиками выбирают в нем черепочки, а могучие машины режут его стальными лемехами, разравнивают, разгребают. Работашь — и только диву даешься, кто смог насыпать этот курган и чем его насыпали, такой высокий, шапками ли сюда таскали землю, по древнему воинскому обычаю, шлемами или еще как? Чем глубже врезается в землю Кузьма Осадчий, тем отчетливее видит, что курган этот, как книга, сложен страницами-пластами: слой земли, под ним прокладка настиланной кем-то морской травы, потом снова слой земли, под ним опять прокладка морской травы-камки, которая и за века не перегнила, лишь слежалась, плесенью взялась. Где же те амфоры, в которых сберегали древние пшеничное зерно с грецкий орех?

Разровняли и курган, из грунта его сделали крылья канала, называющиеся кавальерами, и дальше пошли в степи перекопские.

Степи перекопские... Наверное, нет другого такого места на планете, где тело земли было бы так густо начислено металлом войны, где стрелки компасов так и танцевали бы от искусственных аномалий. словно по фронтовым дорогам, прошли саперы впереди строителей магистрального канала, вынимая из земли проржавевшие мины, тяжелые авиабомбы и целые свалки артиллерийских снарядов, что, как гадюки в гадючнике, дремали в этой земле, скрытые бурьянами. Саперы с удилищами миноискателей, в вылинявших болотного цвета панاماх, которые пикетажисткам казались такими необычными на солдатских головах, были учтивыми и компанейскими хлопцами. Они даже позволили девушкам взять в руки свои миноискатели и падеть наушники, чтобы те услышали голос этой загадочной земли. А на прощание еще и сфотографировали Василинку и Лину с этими наушниками и «удилищами».

Однако не на всю нужную глубину, видно, прослушивают землю и эти чуткие устройства, по-птичьи попискивают они и там, где должны были бы замолкнуть. Как-то

утром, когда Кузьма Осадчий прорубал свежую трапшею, под лемехами его бульдозера вдруг что-то резко заскрежетало. Остановив агрегат, Кузьма соскочил на землю, с виноватым видом наклонился к гусенице, а к нему уже торопились бригадир и другие бульдозеристы.

— Что у тебя опять? — крикнул Брага, но, заглянув под гусеницу, сразу же отстранил рукой и Кузьму, и всех собравшихся: — А ну все отсюда!

Отгнав людей, бригадир только сам, по праву бывшего подрывника, остался на месте происшествия, да с ним еще Куцевол, который служил в войну сапером, разминировал Вену, где и сейчас будто бы еще не сливало на стенах: «Разминировал Куцевол».

Прораб сразу же послал самосвал за командой подрывников, а пока что моторы были заглушены, агрегаты остановлены, на всем участке работ — тишина и стрекот цикад. Лишь возле грозной находки Кузьмы, черной, похожей на опаленную свиную тушу авиабомбы, Брага и Куцевол соображают что-то, копошатся вдвоем под самыми гусеницами. Вскоре Брага забрался в кабину и осторожно, как только он умеет, подал машину Кузьмы слегка назад, и строители сразу увидели всю бомбу целиком; вот она, уже извлеченная из земли, стоит торчком, а возле нее спокойный Куцевол. По правилам сапера он должен огородить это место, пометить: не подходи, мол, опасность! Не найдя ничего другого под рукой, он снимает свой засаленный, завошепный картуз, нахлобучивает его на бомбу, как на снеговую бабу. Нахлобучил да еще чуть прижал, будто надвинул на глаза, — и бомба сразу стала какой-то смешной в этом картузе, похожей на огородное чучело.

Пометив таким способом опасное место, к которому нельзя подходить, Куцевол побрел к своему бульдозеру и, чтобы не терять попусту время, повел его мимо бомбы вперед разрабатывать трассу дальше.

Работа возобновилась, бульдозеристы то и дело выглядывали из кабины и посмеивались, глядя на чудовище, уже переставшее быть страшным в затасканном Куцеволовом картузе. Лишь Кузьма Осадчий все еще не мог подавить в себе чувство тревоги; работая, он постоянно прислушивался к тому, что делается внизу, ему временами казалось, будто опять слышит он в земле под гусеницами угрожающий металлический скрежет.

Команда подрывников прибыла во второй половине дня. Вместе с Брагой и Кудеволом они втащили бомбу на самосвал и повезли ее в степь, откуда вскоре донесся взрыв и вслед за тем поднялась туча степной пыли, похожая на вихрь. Девчата, оцепенев, стояли со своими пестрыми рейками в руках, прислушиваясь, как тает в степи грохот взрыва, этот запоздалый отголосок войны.

День за днем продвигаются вперед строители магистрального. Слепящая степь окружает их, океаном солнца залито все впереди, но из той светлой дали до строителей время от времени долетают глухие удары взрывов, заставляющие и пикетажисток, и Кузьму Осадчего, и всех бульдозеристов на мгновение настораживаться. Потом они снова двигаются дальше, вспомнив, что эти встречные взрывы доносятся к ним из евпаторийских степей, где в карьерах открытым способом добывают строительный камень — ракушечник. На тысячи гектаров, на многие километры вокруг раскинулись эти степные каменоломни, а над ними то и дело раздаются взрывы и встают желто-бурые облака, но это не атомные облака! После того как взрывы раскидают верхний слой грунта, под ним открываются пласты морского золотистого камня — остаток доисторических морей. Машины режут его, как масло. Затем его грузят и развозят по стройкам в степные города, совхозы и колхозы; пригоден этот камень и для некоторых сооружений канала, где со временем он, состарившись, из золотисто-желтого станет темно-серым, похожим на тот древний, вечный, из которого были когда-то построены Херсопес севастопольский и гордая эллинская Ольвия над днепровским лиманом.

ПОЛИГОН

История одной любви

Среди степных вечерних курганов, в мглистой дымке сереющих на небосклоне, выделяется один курган особенный: вишнево-красный. Все уменьшается, тает этот вишнево-красный курган... Вот и растаял, исчез на глазах: зашло, спряталось за горизонтом солнце.

Солнце скрылось, а отблески неба еще играют на стреловидных блестящих ракетах, которые, сколько видит глаз, высятся по всей степи, словно обелиски. Ни деревца нигде, ни дорог, ни человеческого жилья. Только степь да ракеты. Одни лежат, другие чуть приподнялись и, наклонившись под определенным углом, замерли в ракетных гнездах, третьи стоят торчком, нацеленные в небо, затаив силу молний в своих тугих, налитых телах.

Мир безмолвия и грусти, мир, созданный словно бы в предостережение человеку. Только и нарушают изредка тишину этих неоглядных просторов страшной силы взрывы, ибо все тут предназначено для ударов, для поражений, для попадания в цель. Безжизненное, ненастоящее, призрачное все здесь: и беленькие реактивные истребители, что, распластавшись, притаились среди трав, — у этих самолетов отняты души, и они уже никуда не полетят; и судно, виднеющееся в море, — это судно никуда не поплывет; и черные грузовики полевых радиостанций, которые темлеют вдаль, разбросанные по степи между ракетами, они так и будут темнеть день за днем на одном месте, ибо они ненастоящие; да и сами обелиски-ракеты — это только мишени, только умело поставленные кем-то в этих безлюдных просторах макеты боевых ракет.

И как-то странно среди этого безмолвия и неподвижности вдруг увидеть силуэт «газика», который живо дви-

жется вдоль горизонта, маленький, как мышка, рядом с высокими сверкающими ракетами. Непривычно видеть, как возле одного из курганов, где «газик» прерывает свой бег, из него выходит человек — одинокий человек в фуражке летчика и кожаной блестящей куртке. Медленным шагом поднимается человек на курган, останавливается на его вершине и надолго застывает в скорбном молчании, как застыли и эти обелиски-ракеты, до самого горизонта заполняющие степь своим угасающим вечерним величием.

Что привело на курган этого человека? Какие думы владеют им, какую тревогу посит он в своем сердце? Стоит в задумчивости, стоит недвижно в вечерних сумерках. Какому-нибудь чабану с совхозных земель издали и сам этот силуэт на полигонном кургане мог бы показаться лишь макетом человека, маленьким макетом, застывшим среди других исполинских макетов, в этом запретном суровом мире, имя которому полигон.

Но это не макет. На кургане стоит Уралов.

Начальник полигона Уралов, жизнь которого целиком подчинена летчикам и который теперь только с земли переговаривается с самолетами, когда они, преодолев огромные расстояния, приближаются к полигону с грозной своей кладью, — этот Уралов в недавнем прошлом сам был летчиком-истребителем. Как большинство людей его профессии, на которых сама стремительность их жизни как бы накладывает свой отпечаток, он был жизнелюбом, пылким и общительным парнем, его манили все новые и новые скорости, привлекал риск. Летал, со спортивным азартом гонялся за воздушными целями, расстреливая их разноцветными зарядами (чтобы оставить след на макете), пока однажды во время очередного медосмотра ему не сказали:

— Хватит, браток, отлетался. Отныне тебе привыкать к наземной службе...

Уралов не мог смириться с этим. Поехал в Москву, обивал пороги кабинетов суровых военных врачей. Многие начальники выслушивали этого щуплого аса с бледным, словно бы все время взволнованным лицом и с речью резкой, нервной, требовательной.

— Я чувствую себя здоровым, понимаете? Хочу ле-

тать, понимаете? Надо — на руках перед вами по кабинету пройду!

— Не надо нам на руках.

— Но ведь я здоров, почему не верите?

Лицо его бледнело еще больше, и на этой бледности еще ярче проступали синие, небесно-синие капельки глаз.

Там, в штабных коридорах, случайно встретил генерала, бывшего своего комдива, который хорошо знал его, Уралова, по общей службе в оккупационных войсках. Генерал летел куда-то на новое, дальнейшее назначение. Он торопился, однако Уралову обрадовался, как сыну, расспросил, почему здесь, внимательно выслушал.

— Что-то мудрят они с тобой, Уралов... А ну, пойдём!

И повел к кому следует, дал соответствующую характеристику:

— Поручиться могу за него: командиром звена был, отличный летчик! Ас!

Но и это не помогло. Ибо есть что-то сильнее всех этих людей, есть межа, которую никто не властен переступить, быть ты героем из героев.

И вот он со своим выдавшим виды чемоданом, бледнолицый сухопутный ас, уже протискивается в автобус Москва — Внуково, протискивается, зацепляясь за автобусную дверцу своей роскошной летной фуражкой, которая отныне стала казаться ему чересчур большой и словно становилась все больше, будто оцутимо росла на его голове.

Сел, забился в уголок. И было тяжело, невыразимо тяжело у него на душе, и жизнь казалась ненужной. Неподалеку от него у окна сидели трое, с виду студенты — две девушки и парень с рюкзаком. Славный такой хлопец, только лицо покрыто шрамами, будто он горел или был ранен, хотя по возрасту своему и не мог знать войны. Напротив сидели его спутницы, рослые, красивые девушки. Одна из них, белянка в желтой вязаной кофте, все поглядывала на летчика, тихо переговаривалась с подругой и смеялась, — может, ей казался смешным этот кислый остроносый летчик или его большая фуражка, неуклюжесть которой Уралов и сам все время ощущал. А может, она просто так смеялась, только потому, что была молода и счастлива, полна здоровья, и день был чудесный, солпечный, а за окном экспресса пролетали ослепительно-белые березовые рощи. Пролетали как сказка, как причудливая фантазия, а девушка что-то говорила певуче

об этих березах, о том, как они хороши и чисты. Да и она тоже была сама чистота, солнечность, улыбка природы, и великим мог бы стать художник, который сумел бы все это передать.

Уралов потом видел их в аэропорту, когда парень покупал им конфеты, а девушки стояли у телеэкрана, где дают справки о рейсах самолетов. И еще раз видел их при выходе у таблички «На Сочи».

Может, они встречали кого-то или же сами собирались лететь, это осталось ему неизвестно. Им было весело. Они и здесь, словно развлечения ради, то и дело поглядывали на летчика, улыбаясь. А когда ему пришло время отправляться, та, что в желтой, цвета подсолнечника, кофте, еще раз так славно, так незабываемо улыбнулась ему! И пока он шел с группой пассажиров к маленькому аэродромному автобусу, чтоб ехать к своему самолету, три руки из-за барьера — две девичьи и одна юношеская — все махали ему, желали счастливого полета и как будто говорили: «Не упывай, летчик, не поддавайся горю!» И подумалось тогда, какую большую поддержку могут оказать тебе в таком вот состоянии совершенно незнакомые люди, три добрых сердца, три души, с которыми ты, верно, навсегда разминулся в океане человечества. Долго потом жили в его сердце и те прощальные взмахи рук, и светлые, чистые улыбки незнакомых людей, которые как бы осветили ему дорогу из Внукова.

Предложили ему, как и обещано было, наземную службу. Придя домой, сказал жене:

— Предлагают полигон.

— И ты согласился?

— Я солдат.

— Ты хочешь, чтобы я век прожила в казарме? Квартиру с видом на море менять на какую-то глухомань! Другим рестораны и театры, а меня туда, где, чего доброго, еще и бомбу на голову сбросит какой-нибудь ротозей! Нет, благодарю покорно! Не поеду! Не поеду!

И не поехала. Уехал он один. Барсуком жил в закутке полигонной казармы, где со степы улыбалась Джоконда, к которой только и обращалась душа в минуты отчаяния и одиночества: «Да, я солдат. Если пужеп здесь — буду здесь. Если из летчика надо стать кротом подземным — стану кротом. А скажет отчизна: «Снарядом стань» — стану снарядом, ракетой стану, черт возьми!» И это не было пустым бахвальством. Человек долга и чести, чело-

лек, который ради дела, ради товарища готов к самопожертвованию, — таким его знало командование, и таким он в действительности был.

А тем временем — жизнь в неуютном полигонном бараке, откуда Джоconde твоей только и видны желтые безрадостные кучегуры песка, подступающие к самым окнам, да стенд, вбитый среди колючек и молочая: *«Воин, выполняй устав безупречно, смело и честно!»*

Под этим девизом теперь проходила его жизнь. Холостяцкий беспорядок комнаты. Кучи книг по углам. Пушковые альбомы репродукций... Порой зубами скрежещешь от тоски по тому, что было. Друзья где-то без тебя летают... А ты с неба, с полетов, где пела душа, брошен в эти знойные пески, в дурманящие чабрецы, в заросли колючек, которые, если настать их на водке, якобы излечивают какие-то болезни.

Неравнодушный к живописи, Уралов и сам, бывало, понемногу писал. Этюды его сверкали красками яркими, полыхающими, а здесь и этюдник засох, припорошенный пылью, — Уралов терпеть не мог эти серо-желтые пустынные топа, окружавшие его. Бесцветность, полигонная пустыня, песчаные барханы, которые тянутся до самого горизонта, — при одном взгляде на них так тоскливо становится, хоть волком вой. Арша песков, пустота, царство ящериц, да и сам ты тут, как ящерица, живешь. А когда выпадает забраться подальше в те необозримые пески, то окажется, что все они в воронках, в ямах, изрытые, расковырянные, живого места нет. Песок точно начинен металлом, тонны можно было бы в утиль сдавать, солдаты кое-чему нашли даже применение: возле казармы урны для мусора — из черных опрокинутых бомбовых стабилизаторов.

Служба такая, что нечасто звучит тут смех, нечасто услышишь приветливый неофициальный голос. Бесконечные цифры, зашифрованные команды, рапорты — их только и слышишь в течение дня на командном пункте, пежностям и лирике нет здесь места, — властно врываются басовитые радиоголоса невидимых тебе людей; и каждое слово летчика, которое доносится с воздуха, записывается здесь на магнитофонную ленту, так же как фиксируется и каждое твое слово. Стоишь, дежуришь, напряженно вглядываешься в сетку прозрачного плексигласового планшета, на которой сержант-вычислитель выводит все новые и новые цифровые обозначения. Летом духота

на этом песчаном поле — микроклимат Сахары, работать приходится раздетым, и солдаты сидят среди приборов полуголые, загорелые, мускулистые, делают записи, пометки, приписывают, передают команды. Вычислители, радисты, наблюдатели, повара — это все твои побратимы, такие же работяги, как и ты. Для них тоже весь гомон планеты, ее музыка и ее голоса чаще всего сводятся к нескольким чеканным словам: «Выхожу на рубеж!», «Работаю на цель...». Разве изредка кто-нибудь прорвется неположеной вольностью: «У меня «лампас» на борту». А тот «лампас», бывает, отбомбится на «двойку» и заведет потом с тобой долгую радиотяжку, что он, мол, собственными глазами видел свое попадание, и ты должен ему доказывать, стоять за правду, как кремень.

Неспокойно, тревожно твое хозяйство, и за все ты отвечаешь, начиная от сложной работы КП и стаций радиолокатора и кончая каким-нибудь белым огромным — двести на двести метров — крестом, выложенным где-то в барханах, который надо своевременно побелить известкой, так как он быстро линяет, заносится песком и пылью.

Однажды Уралов был по делам службы далеко от полигона, ехал по открытой спящей степи, среди блеска стерни, среди стрекота комбайнов, которые, как корабли, двигались от неба до неба среди золотых россыпей зерна, что целыми горами краснело на залитых солнцем токах. Дорога его лежала мимо элеватора, бетонного исполинского сооружения без окон и как будто даже без дверей. Неподалеку от элеватора попался артезианский колодец, вода сама текла из него, и Уралов остановил машину, чтобы напиться.

Там и произошла его встреча с Галей. Полнолицая смугляпка с высоким лбом, вышла она с ведром из ближнего двора, огороженного желтым поздраватым камнем, и, приближаясь к колодцу, уже улыбалась Уралову по-доброму, как будто давным-давно знала его. У нее были брови черные, как в песнях, которые не раз слышал он в этом краю, а очи были такие ясные, такие пленительно живые, каких, верно, и в песнях не бывает. Те очи так и излучали мягкий, доверчивый свет, так и проникали в душу Уралова каждым своим лучиком! И вблизи улыбка не угасла, но сквозь светлую ее приветливость стала заметна и печаль в глубине глаз, и видны были дрожав-

шие на ресницах слезинки. Кто мог таким глазам горю причинить? Кто посмел их обидеть?

Непринужденно завязался разговор, и Галя призналась, что вправду недавно поплакала, потому что у нее вышел разлад со свекровью, которая сегодня навьючила ее корзинами и послала торговать, а ей так совестно было... Поблескивая слезами, волнуя своею доверчивой откровенностью, Галя рассказывала, как шла она к станции мимо элеватора, где муж ее весовщиком, надеялась, увидит ее, согнутую базарной ношей, пожалеет, защитит, но он еще и крикнул вдогонку:

— Гляди там, не проторгуйся!

И хохотал в компании приятелей, с которыми каждый вечер только и знает, что забивает «козла»... Им-то ханьки, а у нее лицо горело от стыда, и слезы падали, и камень от них под ногами вскипал. Ведь только вчера была комсомолкой, вожатой в школе была, а тут ее хотят торговой сделать!

— Так вот что, Галя... Садись-ка со мной.

И хотя в голосе его была в этот миг сердитая и даже будто неприятная резкость, но было и нечто такое, что невольно заставило Галю вздохнуть. Она даже взглянула не без интереса на его потрепанный, запыленный «газик».

— Садись, садись,— повторил Уралов волевым, командирским тоном.— Я совершенно серьезно.

И хотя на этот раз она не села, однако через некоторое время это все же произошло: среди бела дня забрал ее Уралов, и все тот же «газик», развив скорость, помчал их в раздолье степей золотых, и Галя без сожаления глядела, как проплывает стороной на горизонте элеватор, этот безглазый степной небоскреб.

Мчал ее Уралов просторами, где земля светилась солнечным блеском жнивья, селами, где хаты утопали в виноградниках, где сады ниспадали каскадами груш, яблок и абрикосов, а роскошные виноградные лозы выметывали буйные широколистые побеги на самую улицу. «Все, что ты видишь,— это я, это мое, это для тебя»,— как бы говорила ему Галя, сидя рядом. И краешком глаза он видел, как она расцветает сквозь тревогу, освобожденная от свекровьных корзин, а сам он мало говорил, только еще больше бледнел, крепко сжимая руль обеими руками.

Уралов повез ее напрямком, там, где раньше не ездил, и «газик» вскоре поглотило море холмистых песков — полигон, мертвая его зона.

— Куда это ты меня завез? — улыбалась Галя, когда они забуксовали, хотя видно было по ней, что не пугает ее этот горячий мир песка и молочаев, мир бомбовых воронок и ржавых стабилизаторов, торчавших повсюду.

В песках пришлось и заночевать, там и первая ночь для них промелькнула, там и рассвет застал их в объятиях друг друга. Слегка отсыревшая от росы плащ-палатка среди степных колючек и репейников, молчаливый «газик», тоже влажный от росы, остывший за ночь, да еще этот тихий рассвет и были свидетелями их признаний и их любви.

Зажили они дружно. Галя, чтоб показать мужа родителям, повезла его в родное степное село, где, перед тем как выйти за своего весовщика, она некоторое время секретарствовала в сельсовете и где ее соблазнил местный заведующий клубом. Ничего не утаила Галя от Уралова, чистосердечно рассказала все о себе, и он выслушал молча, попросил только никогда об этом больше не вспоминать. Родителям зять поправился. Мать, правда, заметила, что нос клювиком да что суровый очень, редко смеется.

— Это у меня служба такая,— угрюмо пошутил Уралов.

Жить стали среди воронок, среди взрывов, среди заносов бесплодных песков. Уралов сначала побаивался, что не привыкнет Галя, затоскует от полигонного однообразного житья, ибо хоть и есть у них немалая библиотека и лудовые альбомы с репродукциями знаменитейших картинных галерей, хоть есть и клубик и экран, но ведь есть и пески, целая пустыня зловещих песков вокруг! Но не затосковала ясноокая его подруга, по крайней мере, ко показывала этого, была все такая же веселая, как и прежде. А он с притворной суровостью жаловался на не товарищам:

— Эта хохлушка каждый день мне какое-нибудь новое слово подкидывает. Что-нибудь ввернет непонятное, а ты ходи и думай потом целый день, что оно значит: может, обозвала как?

— Глупенький,— вмешивалась Галя,— это же все ласковые слова...

— И надолго тебе их хватит?

— На всю жизнь, чернобровый мой...

Это его, белокурого, даже рыжеватого, она называла чернобровым!

Когда он замечал, что его Галя вдруг запечалилась, он считал необходимым развлечь ее и не находил ничего лучше, как повести на одну из наблюдательных вышек, откуда они вдвоем любовались, будто грандиозным спектаклем, бомбовыми взрывами, которые извещали о себе оранжевыми вспышками в глубине песчаной арены, в ослепительных далях полигонных холмов. Самолеты шли на такой высоте, что их и не видно было, даже гул их едва долетал; казалось, сама земля извергает эти оранжевые, багровые и каких-то марсианских оттенков вулканы. Тучи взрывов и эти причудливые светло-красноватые облака разрастались затем в воздухе в целые острова, которые долго, медленно таяли, как бы ожидая, пока их зафиксируют с вышек бойцы-наблюдатели.

А тем временем отяжелевшие сады юга осыпались абрикосами, земля покрылась ими так, что некуда было ступить, а собирать некому, и соседний с полигоном колхоз обратился к Уралову за помощью. Это была отраднейшая для Гали пора, ибо Уралов, прихватив и Галю, и всех тех, кого можно было прихватить из своего войска, повел их на штурм в солнечное абрикосовое царство, где все светилось и пахло абрикосами, и земля казалась золотой от них, и деревья блестели золотом плодов так, что, казалось, спекулянты и заготовители должны были бы увидеть их и за тысячи верст!

То была приятная работа, радостная усталость, и не забыть тех песен по вечерам, и костров, и шалашей...

Но и оттуда — от радостного труда, от песен и шалашей — дорога опять приводила в пески.

Через некоторое время Уралова — как бы в порядке повышения по службе — перевели с песчаного полигона на другой, приморский, степной, где перед глазами Гали впервые встали похожие на призраки обелиски ракет. Здесь бомбили только ночью, иногда на рассвете, а днем разбросанные по степи макеты самолетов, машин, ракет своею неподвижностью способны были нагнать только уныние и тоску.

Однако и ракетная степь Галю не устрасила, не испортила ее веселого, жизнелюбивого права. И хотя жизнь тут была еще более беспокойная (бывали такие дни, когда им и совсем приходилось переселяться за пределы полигона), Галя и здесь нашла себя, обвыклась, уже одним

своим цветущим видом радуя и Уралова, и его полигопных товарищей. Прирожденная Галипа доброта, бесхитростная, любвеобильная и деятельная ее натура вскоре и здесь проявили себя. В отличие от бесплодных песков земля на этом полигоне была такая, что могла бы все родить, — не кучегуры, а гладь черноземная расстилалась вокруг, и Галя не преминула этим воспользоваться. Как только настала весна, Галя, несмотря на то что была беременной, принялась копать, делать грядки и клумбы, привлекла к этой работе и солдат, которые потом своим глазам не верили, когда увидели на столе в столовой свежий зеленый лук собственной посадки, а свою казарму и командный пункт — в венке цветников, где въюнок обнимался с настурцией, а нежная петунья и царская бородка красовались среди ярких гвоздик и крепких полноцветных бархоток. Как и подобает доброй хозяйке, Галя еще и кур да уток развела, — правда, потом оказалось, что ни она, ни Уралов не умеют резать птицу. Когда все же приходилось это делать, Уралов с решительным видом появлялся на пороге с мелкокалиберкой в руках и, наметив среди двора синеголового селезня, на которого указывала ему Галя, валил его с первого выстрела.

Потом у них родился ребенок, славяньская дочурка, которую они, по обоюдному согласию, решили назвать Олэной — Аленкой.

Осчастливленный рождением дочки, Уралов перестрелял на радостях всех селезней, всех уток и кур для широко затеянного «рая» — праздновали первое рождение человека на полигоне. На празднество Ураловы пригласили всех, кто только был свободен в это время от дежурства.

— Ничего в жизни не боялся, — признавался в этот день Уралов товарищам, — а тут, ох, передрожал! И знаете, чего боялся всего больше? Где-то вычитал перед тем, что в Японии тридцать шесть тысяч дефектных детей родилось после Хиросимы. Радиация, патология — всякие глупости полезли в голову. Только тогда от души отлегло, когда медсестра сказала, что все хорошо, и на руки мне подала вот эту нашу красавицу степнячку, — говорил Уралов, растроганно заглядывая в блестящую никелированную кроватку.

Там, сморщив красное личико и ничего еще не подозревая о земных страстях, сладко спала чистым сном младенца поворожденная.

— Вот она, властительница полигона,— говорили о ней солдаты, а мать ласково прибавляла:

— Ясочка наша.

И Уралов охотно соглашался:

— И правда, ясочка!

Хотя и не совсем понимал, что оно такое «ясочка».

Было в самом деле удивительно: вот только что родилось, а уже стало главенствовать здесь это самое юное существо, хрупкий росточек жпзни, эта крохотка-несмышлениш Аленка! Уже с самого рождения ее окружали нежность, трогательная забота и любовь. При одном упоминании о ней лица бойцов становились мягче, слова ласковей, и не было здесь человека, на которого бы не распространялась ее власть — власть любви!

Когда впервые дитя улыбнулось, это стало событием, сенсацией на весь полигон. Все бегали к Уралову на квартиру поглядеть на Аленку, козыряли, отдавали ей честь и в последующие дни тоже не переставали бегать на квартиру за ее улыбками. Старшины-сверхсрочники подставляли ей лицо, чтобы поймала за ус, молодые солдаты были в восторге, когда она вцепится кому-нибудь в волосы, подергает за ухо, пощекочет своею ручонкой.

Про Уралова уже и говорить нечего. Он с рождением дочки стал просто неузнаваемым — не таким категоричным во всем, как прежде, разговорчивее, приветливее. Улыбки дочки, детские нежные прикосновения словно бы проникали в самую его душу и влияли на нее чудодейственно. Он не стыдился собственноручно стирать пеленки — более того, проделывал это с таким видом, будто совершал какой-то торжественный и важный ритуал.

— Разве не диво, Галя, а? — склонялся он над кроваткой, прибежав со службы. — Еще говорить не умеет, а уже смеется. Нет для нее плохих людей на свете. Сплошное доброжелательство: всему на свете улыбается.

Это была просто идиллическая картина, когда под вечер Ураловы выходили прогуляться. Он, которого и полигонный загар не брал, бледный, вечно взволнованный, нес Аленку на руках, а его полненькая ясноокая Галя шествовала рядом, не в силах скрыть радость своего благополучия. Это были истинно счастливые супруги, как бы созданные друг для друга, даже ростом одинаковы, небольшие оба, — они проходили не спеша мимо КП и шли в открытую степь. Все знали, что Уралов понес

прогулять, развлечь дочку; ему казалось, что ей уже хочется каких-то детских развлечений, и он жалел, что на полигоне нет чертова колеса или карусели, а есть лишь блестящие острия ракет в степи — единственное, что только он и мог показать своей любимой дочке. Еще, правда, были в степи, кроме ракет, спортивный «козел», «кобыла», волейбольная площадка и старая облупленная овчарня, оставшаяся на территории полигона от тех времен, когда полигона еще не было, а земля вся принадлежала совхозу. Была рядом с овчарней и хата чабанская, она тоже облупилась, саманом светила — развалина такая, что, кажется, и Алепку отпугивала своей драной крышей и провалами окон. Осматривая эти полуразрушенные остатки чабанской эры, Уралов давал волю своей фантазии, рисовал перед дочкой и женой шутливые картины своего будущего, когда Аленка будет уже большой и вместо полигона тут снова будут владения совхозных чабанов, а он, Уралов, станет тогда главным пастухом, взберется вон на ту вышку, где теперь КП, и с ее высоты будет руководить отарами, паблюдать за овцами в стерсо-трубу.

Посмеявшись над этой выдумкой, они отправлялись дальше, приостанавливаясь около высокой, нацеленной в небо ракеты. И им казалось, что их ясочка не сводит глазенок со сверкающей махины, с этой огромной игрушки, и какие-то первые знаки уже запечатлеваются в ее сознании, чистом и непорочном, как утренняя зорька. От ракеты не спеша они шли туда, где седеют древние могилы. Уралов считал, что дочка лучше всего себя чувствует на степном кургане, где был установлен локатор. Здесь свежий ветерок обдувал Аленку, она оживлялась и будто с любопытством паблюдала, как локатор, медленно вращаясь своим обручем, бросает подвижную тень на травянистую глобальную выпуклость кургана. Эта была пока что и вся Аленкина планета, на ней не было ничего, кроме серебристой полыни да локатора, который должен был служить ребенку развлечением.

Все было бы хорошо, если бы не ночи. По ночам Аленка спала плохо. Случалось, что ни Гале, ни Уралову не удавалось прилечь и на минутку, ребенок криком кричал всю ночь напролет. Детский плач слышали и полигонные часовые, но никто ничем не мог помочь. Галя в отчаянии обливалась слезами, а Уралов, стиснув зубы, метался из угла в угол, не находя себе места, — душу ему разрывал

Аленкин мучительный крик. Воин, солдат, он не признавал раньше нежных, ласковых слов, нередко посмеивался над Галей, а тут и сам научился.

— Ну, что болит у тебя, доченька, что? — припадал он к ребенку. — Животик? Головка? Скажи! Ну покажи, где болит!

А дочурка только смотрит на него глазенками, затуманившимися от боли, ранит его своим криком: помоги! Ты же сильный, а я беспомощна! Вас много, взрослых, а я одна...

Только под утро, когда всходит солнце, Аленка перестает плакать, успокаивается, а немного поспав — расцветает улыбкой. И так день за днем, ночь за ночью: днем успокоится, а только наступит ночь — ребенок в плач, даже синеет, заходится от крика.

Стал привозить Уралов из города врачей, лучших специалистов. Все осматривают, а ничего особенного не находят, поставить диагноз не могут. Это, говорят, что-то такое случайное, временное, а вообще ребенок здоров. Чтобы как-нибудь развлечь дочку, Уралов купил в военторге аккордеон, дорогой, роскошный, хотя играть на нем совсем не умел. Учился теперь, упорно упражнялся ночами, старательно растягивал эту чертову кожу. А когда уставал, в полном изнеможении швырял инструмент в угол, отстранял от девочки опухшую от слез жепу, сам наклонялся над крохотным тельцем, борющимся за жизнь, и молча принимал на себя ее боль, ее крик, хватающий за душу дочкин плач. В одну из таких ночей, доведенный беспрестанным криком ребенка до беспамятства, Уралов бросился к машине, завел и помчался в совхоз к Чабанихе — незадолго до того он слышал, что есть там такая бабка Чабаниха, мать капитана, которая травами лечит, — народная медицина, и все такое... Где она живет, точно он не знал, только приблизительно представлял приметы, поэтому жадно разглядывал пероглифы телевизионных антенн над домами, искал металлическую вышку — по этим пероглифам да по вышке и разыскал он Чабанихину хату. Забарабанил в окно. Старуха появилась на пороге, как призрак, как впадение прошлого, растрепанная, скуластая, губы сжаты, под нахмуренными бровями — ямы глаз... Колдовское непроницаемое лицо Пифии, Сивиллы, по опе как раз чем-то внушало доверие: эта поможет, эта спасет! Как горячо он ее умолял — та поначалу упрямилась, говорила, что давно уже перестала этим заниматься.

— На колени упаду, землю буду есть, только поедете, помогите! Век буду благодарить!

В конце концов уговорил, подхватил в «газик» и помчал ее в свою ракетную степь. Когда проезжали мимо ракет, уже рассветало, ракеты сняли своими оболочками, но бабка как будто и не видела их, даже не оглянулась ни разу в ту сторону. Осмотрела ребенка, только что заснувшего, измученного после бессонной ночи, буркнула, что это не «сглаз» и не «младенческое» и что у нее нет от такого недуга зелья... Просто, по ее мнению, не подходит ребенку это место, не для него такие игрушки и грохот...

Аленке становилось все хуже. Однажды ночью, когда Уралов был на КП, из дому позвонила жена. Он слышал, как она всхлипывала в трубку, и жизнь в нем остановилась, холод смертельной тоски вступил в грудь.

— Коля, быстрее! Аленке совсем плохо... Посинела, глазки закатываются...

А когда он прибежал домой, уже не закатывались глазоньки, уже не кричала его доченька: вечная чистая улыбка застыла на ее устах.

Она еще лежала в белой своей постельке, а возле нее на полу валялся аккордеон, хищно сверкая зубами клавишей. Жена билась на кровати в рыданиях. Охотничье ружье висело на стене. Стоял на столе полевой телефон. Все было как раньше, не было только ее, Аленкиного, дыхания, была лишь бесконечная всесветная пустыня вокруг. Каждая вещь ранила его. Подавленный, ослепленный горем, выскочил он во двор, но рыдания Гали снова вернули его в дом.

Утром весь полигон был в трауре. Ветер развевал над казармой красные флаги с черными лентами. Потрясенные трагическим концом, офицеры, солдаты о чем-то шепотом переговаривались между собой, советовались. Оказалось, что никто не мог сделать гроб. Люди, которые разбирались в электронике, имели дело с тончайшими приборами, картами, расчетами, не умели смастерить простой маленький гробик для ребенка! Потому что в этом никогда не было пужды. До сих пор здесь никто еще не умирал. Казалось, что тут все собрались для вечной жизни. И кладбища на полигоне не было — это была у них первая смерть. Все она начиняла, Аленка. Только оркестр был свой да флаги черно-красные склонялись скорбно.

Траурная музыка зазвучала над степью, и бомбы в этот день не рвались.

Похоронить Аленку решили на том самом кургане, где стоял прежде радиолокатор. Теперь его там уже не было, солдаты выкопали на кургане для своей любимицы маленький окопчик. Туда шла по степи вся процессия. Офицеры молча несли Аленку над головами, несли ее по своей ракетной степи, между боевыми мишенями, сквозь их настороженный грозный блеск, а девочка, проплывая, улыбалась и сейчас. Она уходила от Уралова в вечность со своей улыбкой, с ее непередаваемым очарованием и как бы говорила ему: «Папочка! Я не видела ничего, кроме этих твоих ракет. Не видела весен. Цветения вишневого не знала. Ни синих рек, ни городов далеких, сказочно-прекрасных. Я успела увидеть только эти грозные блистающие ракеты, среди которых и прожила свою маленькую жизнь. Короткою жизнью зарницы жила я. Появилась, осветила улыбкой ваш полигон, сверкнула разливом счастья тебе, папочка, и маме, и вот теперь я иду от вас, ухожу от вас навсегда!..»

Как хотелось ему в этот миг уничтожить, изувечить здесь все, как жгло желание поделиться с нею своей собственной жизнью — да что поделиться! Он, ни секунды не колеблясь, отдал бы ей всю свою жизнь без остатка, только жила бы она, его ясочка, его звездочка, которую ему так и не удалось спасти...

Идут. Ветер рвет красно-черные флаги, развевает над степью, льются рыдающие звуки траурного марша; с трубами идут те, кто еще вчера дежурил на КП — радисты, вычислители, планшетисты, а теперь делят с Ураловым бремя его тяжелого горя. Слепящий день похож на ночь. Блестят слезы на загорелых солдатских щеках. Голосит Галя. Стиснув зубы, шагает рядом с ней Уралов — грудь его переполнена болью. Трещит под ногами сухая трава, улыбается в затуманенное небо Аленка. Трубы, как удавы, обвинили оркестрантов, а они, бросая в ветряную степь звуки печальных маршей, музыкой бунтуют против горя, тяжело шагают, скованные удавами-трубами, как Лаокооны.

Так и расстался он со своей Аленкой. Пустой и бесцельной после этого стала его жизнь. Проснется ночью — все Аленка перед глазами со своими ручонками, с шелком волос, с улыбкой — детская ее улыбка застилает собою все небо, весь мир! Нет и не будет во всех

галактиках ничего лучше и милее этого — улыбки детской, ласковых ручонки, первого лепета... Было что-то бессмысленно жестокое в этом ударе судьбы, и жизнь его, столь устойчивая прежде, сразу как бы пошатнулась. Уралов чувствовал, что утешения не найдет, примирения с несчастьем не будет и что новое, обретенное в горе прозрение не перестанет терзать его. Зачем это солнце в небе, когда ее нет? Зачем все чудеса мира, все науки, к чему все радости земные, если все это ей, его ясочке, уже не нужно? Зачем, наконец, он сам, Уралов, и его тяжелый труд, и его пеистовая преданность делу?

Стал упорно добиваться перевода куда-нибудь в другое место. Хоть на Курилы, только не здесь!

Сегодняшняя его поездка в город тоже была связана с этим. И, возвращаясь к вечеру домой, он свернул к кургану, где лежала Аленка, зная, что это уже прощание. Здесь, на могиле, и ночь его застала. Все вокруг налилось темнотой, и небо над степью нависло, изрешеченное звездными пробоинами, как гигантская мишень.

Уралов, съездившись, сидел на кургане, какая-то почная птица пролетела над ним, просвистела крыльями; вспомнилось детство в кустанайских степях, и какая там была на озерах охота, и как он, еще мальчонкой, бегал за охотниками, чтобы разными услугами взрослым заработать себе право пострелять. Сколько помнит себя, он всегда бредил охотой, далекий выстрел настаораживал и бросал его в дрожь. Его охотничий пыл удивлял даже взрослых, им было смешно, что мальчишка, услышав отдаленный выстрел, бледнеет от волнения, а он только и мечтал о той поре, когда вырастет и приобретет собственное ружье. Потом выяснилось, что у его деда-кузнеца сохранилось старинное ружье — катериновка, четвертый калибр, весом не менее пуда. Пушка, да и только! Говорили, что когда-то еще дедов дед, пугачевец, сделал его. Сам дед так и не выстрелил из него ни разу — боялся. А вот этот малец, Уралов, взял зарядил, вместо дробн шариков из подшипника набил, пошел на площадь, приладил к плугу, к курку привязал шпурочек, чтобы испытать издали. Вот это был выстрел!

Однако ружье не разорвало. После этого зарядил снова, пристроил свою катериновку к велосипеду и покати на озеро в степь. Встречные парни-казахи смеялись: «Всех гусей твоя пушка перебьет!..» В поле гусей тьма,

на просянище пасутся, летают, гогочут, валом валят. Он зарылся в копенку проса, выставил наружу только ствол своей гаубицы, под плечо картуз подложил, чтобы плечо отдачей не раздробило. Сидит не дышит, а гогот все ближе и ближе, гуси уже чуть ли не из-под него просо дергают, и вот он, затаив дыхание, прицелился и пальнул. Удар, искры из глаз — и он ничего больше не помнит. Очнулся. «Где это я? Что со мной?» Ружье отлетело далеко, картуз тоже, плечо горит, и... ни одного гуся. Однако это не отбило в нем страсти к охоте. Он снова и снова ходил со своей пудовой катериновкой на гусей и всякий раз после выстрела падал, оглушенный, пока в какой-то инструкции не вычитал, что надо было давать заряд вдвое меньший, чем давал он...

Трудно сказать, почему именно сейчас вспомнилась ему эта ранняя мальчишеская страсть, блуждающим воспоминанием пришла она к нему среди ночной степи на могиле, где вечным сном спит его дочка. Ушла, не пожив на свете, осиротила всех на полигоне. Не раз приходилось ему слышать жалобы на быстротечность человеческой жизни. Промелькнула как сон, пролетела мгновению, не успел и оглянуться... Это так. Но сейчас его мысли о другом — о том, как много может вобрать в себя человеческая душа, мозг человеческий: целые галактики жизни может вместить в себе человек! Когда были те озера, гуси, просянище? Когда он впервые увидел трамвай? Первый самостоятельный вылет... Как все это далеко, далеко! Словно за далью веков. Почти в античности. И ничего этого Аленка не знала — ни гусей, ни просяниц, ни озер, и никогда уже не увидит. И в этом есть какая-то чудовищная несправедливость. Свежая житейская рана, она заслопила от него все, что было и что есть, болью своей терзает его и терзает. Фатальность? Если это фатальность, то он и ее ненавидит! Забрать у него Аленку, в самом расцвете загубить этот свежий росистый бутон, который уже умел всем дарить радость, — нет в этом смысла, нет, и никогда никто не убедит Уралова в том, что так бывает, и что ничего не поделаешь, и что «такова уж судьба». Не должно быть такой судьбы! За что она наказана, за что она погибла, его Аленка? Не было в ней ни злобы, ни ненависти, ни хитростей, ни коварства, не было ошибок и злых намерений. Была только ясность чистейшей улыбки, было только то, с чем человек рождается для жизни...

Сверлит Уралова мысль, тревога, что, возможно, есть частица и его вины в происшедшем. Когда привозил Чабаниху, она предостерегала, что место, мол, не подходит для ребенка и не такие ему надобны игрушки. Только под тихими звездами, а не среди грохота и взрывов здоровым и счастливым будет зачатие человеческое... он не придал тогда значения словам старухи, а теперь чем дальше, тем больше гложет его неотвязная мысль: «Может, и в самом деле все здесь пугало ребенка, грохот тревожил и эти взрывы, которые то и дело сотрясают землю, может, они и в самом деле не для детской психики». Причину смерти девочки так и не удалось установить. Командиры и товарищи считали Уралова человеком упорным, волевым, настойчивым, человеком, для которого чувство долга превыше всего. А вот тут он не уверен, все ли он сделал, чтобы спасти Аленку, выполнил ли он свой долг перед нею до конца. Одно только знает, что эта тяжелая драма не прошла для него бесследно, что угасшие улыбки Аленки для него никогда не угаснут и никогда он уже не будет таким, каким был прежде. Глубокое внутреннее потрясение как бы шире открыло ему глаза на мир, на самую сущность жизни, и то, что ранее его могло ничуть не тронуть, сейчас уже не оставляло равнодушным. Так ли ты жил? Так ли живешь? Так ли все вы, люди, живете? Множество таких вопросов задала ему Аленка, спросила и ушла навсегда, а ему оставила вечность на размышления!

Откуда-то из глубокой темноты слышится звон колокольчика. Приближается отара. Ведет ее не иначе как чабан Горпищенко, потому что только он отваживается углубляться с отарой так далеко в полигонные земли, да и полигонное начальство к нему не очень придирчиво — ведь у старика сын летчик и сам он человек заслуженный. Во время последних важных учений приехавший маршал быстро с Горпищенко сдружился, и для них обоих — для чабана и для маршала, — видно, было о чем поговорить у костра в степи около чабанской кахи «в кожухе». В те дни все, что делалось на полигоне, было окутано особой секретностью, право доступа сюда имели только люди самые необходимые, остальных всех выселили. И чабан Горпищенко тоже только издали мог видеть, как незнакомые автомобили мчались в направлении полигона, как за один день появились там новые палатки и как потом на далекой косе, выходящей в море, вырос-

ло высокое ступенчатое сооружение, а в нем, словно в зыбке, в свивальнике, лежало что-то блестящее. Когда-то там орлы и другие дикие птицы гнездились, а теперь воп для каких птенцов люди гнезда вьют...

— Хотите увидеть? — спросил его маршал при встрече.— Смотрите завтра в двенадцать.

И чабан смотрел. Слышал удар, видел взрыв и как отделилась ракета. Видимая, настоящая, она вначале медленно, будто нехотя выходила из огненного вихря, а потом вдруг понеслась молнией и исчезла неуловимо, чтобы опуститься где-то, может, на далеких водах океана, тоже ровных и открытых, как степь.

И сразу же после этого все разъехались, уехал и маршал, исчезли палатки, а берег на косе снова стал пустынным.

— Это кто тут почует? — спрашивает чабан, подходя к Уралову, и, узнав его, добавляет как-то смущенно: — А, это ты...

И, шурша травой, усаживается рядом.

Сидят оба молча, вслушиваясь в шорохи отары, пасущейся на чистой, не загрязненной ничьими овечками траве полигона. Из темноты время от времени доносится звон колокольчика, нежный, мелодичный.

— Для чего эта музыка? — спрашивает Уралов.

— А чтоб не растерялись... Да и любят овечки музыку. Сопилку, песенку или тронку вот такую...

— Как, как она называется?

— Тронка.

— Никогда не слыхал такого слова, — с грустью говорит Уралов. — Как много я еще не знаю!.. Красивый звук. Это медь?

Чабан встает, ловит овечку, подошедшую совсем близко, снимает у нее с шеи звопочек, чтобы показать Уралову. Тот берет в руки что-то тяжелое, металлическое, покоренное. Похоже на снарядную гильзу, согнутую вдвое. Позвонил, задумчиво послушал. Как антипод тишины — таков здесь звук этой тронки. Среди тьмы и молчания степи она как голос жизни.

— Кусок обыкновенной гильзы, — говорит он, возвращая тронку чабану, — а какой нежный издает звук.

Что-то просвистело в ночном воздухе: летучая мышь пролетела или какая птица, невзначай поднятая отарой из травы.

— Перепелка или что? — промолвил, глядя вверх, Горпищенко. — Уже и перепелок теперь меньше стало. А лебедей? Когда-то у вас там, на косе, лебедей мужики возами набивали. Поедет и полон воз, как снегу, накладет. А теперь и птицы переводятся. Орел разве изредка покружит.

— Сколько он живет, орел?

— Да больше нас. Стоишь смотришь порой на него и думаешь: чего только эта птица не видела на своем веку! От чумаков до ракет — все он оком своим охватил...

— Хищник...

— Хищник-то хищник, а ты присмотрись к нему. У птиц свои законы. Даже коршун не бьет чужих птешников, когда они еще в гнезде...

Уралов спросил недоверчиво, нервно:

— Кто это видел?

— В народе давно подмечено... Пока пташка сидит на гнезде, никогда ее не тронет... — вздохнул чабан и, помолчав, обернулся к Уралову: — Правда, что тебя куда-то переводят?

— Не только меня. Весь полигон сворачиваем.

— Канал таки подпирает?

— Да и канал.

— Один полигон сворачиваем, а другой уже на его место спешит. Слышал — в Черпиговке? Тоже полигон. Только иной. Полигон железобетонных изделий — так он называется. Железобетонные кольца изготовляют, облицовочные плиты для каналов, потребность там большая в разных бетонных изделиях. Моя Тонька как вспыхнет из-за чего-нибудь, так сразу и грозит: «Брошу к бесам вашу отару, в Черниговку на полигон пойду! Мотористкой бетономешалки стану!»

По ласковости голоса слышно, что старик улыбается в темноте.

— Но и мы свой полигон ликвидировать не собираемся, — ревниво говорит Уралов. — Только перекочем на другое место.

— Пока бандиты вокруг хаты ходят, разве можно ликвидировать? Никак нельзя, — оживился чабан. — Того вон даже над Свердловском сбили, чего его туда занесло?.. Силою своею все хвастают... А это не та сила, чтобы ею хвастать. Вот ты сорт выведи, колосок вырасти полновеснее, чем есть, агнят да шерсти побольше возьми, болезнь неизлечимую исцели... Вот это сила.

— Что от Петра слышно?

— Привет тебе Петро передает, позавчера письмо было...

— Спасибо.

— «Уралову, пишет, передайте привет и жене его...»

Чабан умалчивает о том, что, передавая Уралову и Гале привет, сын еще интересовался и тем, как маленькая Уралова растет. Чувствует старый, что нельзя сейчас об этом говорить — тяжело раненный возле него человек. Хоть и молчит чабан, но душа его полна сочувствия к Уралову, проникнута сейчас его горем, потому что в этой драме на полигоне было нечто такое, что касалось не только Ураловых, а глубоко тронуло души многих людей. Пройдет время, изменится степь, не будет уже тут и следов полигона, а чабан и тогда не одному еще расскажет, как родилось на полигоне дитя, как росла в этой ракетной степи на радость гарнизону славная девочка, и как стала потом кричать по ночам неизвестно отчего, и как угасла. Расскажет, как хоронили ее на этом кургане под музыку двух духовых оркестров — военного и совхозного — и как все бомбардировщики в тот день отметили свои полеты.

После паузы он снова заводит речь о капале:

— Как придет большая вода, изменит она весь край. Вволю напьется степь днепровской воды и зазеленеет. А то еще лето в разгаре, а тут уже все сторело, горячая вьюга свистит, тучи пыли гонит. С водой будет веселее! Еще и рис будем сеять, как в Тарасовке. У них там, говорят, очень хорошо уродился, корейцы постарались... Семей сорок их в Тарасовку приехало, чтобы и наших научить. Потому, хоть возле овец, хоть возле ракет, хоть возле рису, — все уметь надо. Когда я в Средней Азии был, кое-что видел. Он теплой воды, скажем, не любит, ему только свежую, проточную, прохладную давай. А у соседей механизаторы уже и кукурузу на поливных посадили: лес! Будет вода — все будет. И сады какие зашумят!.. Приезжай когда-нибудь в гости, увидишь. Запомнилось мне слово вашего маршала, умное слово, в самую душу запало. Сидим вот так, как с тобой, толкуем, и говорит он: «Даже если у меня есть самые наилучшие ракеты, даже если есть сила весь мир завоевать, не хочу я этого. Не нужны мне континенты-пепелища. Я хочу их видеть в зелени и в цвету, хочу под всеми звездами слышать шепот влюбленных...» Вот так, сынок.

Старик встает и, не прощаясь, уходит, исчезает где-то внизу за курганом; вместе с ним отдаляется в темноте и мелодичный звук тронки.

А Уралов и зарю утреннюю встретит здесь. Уже заблещет рассвет на голых ракетных оболочках, когда появится в степи женская фигура, торопливой, стремительной походкой приближаясь к «газику», к кургану. «Галия идет», — подумает Уралов и не ошибется. Это она спешит сюда, и в руках у нее полыхает охапка живых цветов, целый сноп густо окропленных росой бархоток и петуний, гвоздик и царских бородок. Поднявшись на курган, она молча кладет их там, где следует положить, лицо ее бледнит рассвет, а губы измученно подергиваются, но при взгляде на Уралова складываются в нечто похожее на улыбку.

— Бедненький, разве можно так!.. И роса на тебе... Я так и думала, что ты здесь. Пойдем, милый... Пойдем...

Они сходят вниз, где застыл под курганом накренившийся «газик», садятся, и Уралов, включив скорость, трогает с места. Отъехав, еще раз останавливается, и оба молча оглядываются на курган, увенчанный малепьким, покрашенным охрой обелиском, который в это мгновение для них бесконечно выше всех этих холодных ракетных обелисков, сверкающих в утренней степи. Хмурясь, Уралов сообщает жене, что все уже решено: они переезжают, и полигон сворачивается, и эти ракеты сегодня же будут повалены его солдатами.

Светает, степь ширится, как бы раздвигаясь после ночной мглы, а на востоке за блестящими столбами ракет, между седыми казачьими могилами неожиданно появляется вишнево-красная верхушка еще одного кургана: и тот курган, свежий, яркий, молодой, все растет и растет, все выше поднимается над полосой горизонта, пока не становится наконец совсем круглым, становится уже не курганом, а солнцем.

Прошло еще одно лето человеческой жизни.

Отголублило море солнечной голубизной, разобраны в «Парижкоме» палатки пионерских лагерей — дети пошли в школу; не летают больше чайки на степные свои водопой, не бежит марево, пущены комбайны на плантации засохших почерневших подсолнухов, которые, кажется, еще недавно так пышно цвели; птицы на побережье табуны перед отлетом в теплые края; некоторые уже и снимаются, улетають, давая изображение на экранах локаторов; в Асканийском заповеднике поднялись в воздух даже лебеди и гуси канадские, считавшиеся акклиматизированными; и бухгалтерия теперь целую зиму будет высчитывать определенную сумму из зарплаты зрителя за понесенный убыток, пока весной гуси и лебеди не вернутся снова, как уже было однажды.

Набосклон в сухой дымке, чаще дуют ветры с севера, и седая трава на солончаках струится, как вода, а кусты чертополоха и ковыля летчику Серобабе с воздуха кажутся овцами, разбежавшимися по пастбищу. Тем временем настоящие отары — «золотое руно» степняков — бродят по всему приморью, выгуливаются перед зимой. Когда в июне в сезон стрижки стригали выпускают овец из кошар без рупа, отара становится словно бы меньше наполовину, а сейчас чабанские отары снова увеличились, хотя это просто за лето выросла шерсть; овец уже принимаются вторично купать (первый раз купали в начале лета), чтобы в зиму попли чистыми, здоровыми.

В Горпищенковой кошаре купание овец уже началось, и распоряжается здесь Тоня — она осталась за старшую, потому что отец и мать в эти дни где-то далеко, полетели по вызову сына: женится Петро. По этому случаю он вызвал родителей телеграммой-молнией. На аэродроме мать с испугом подходила к реактивному, а отец еще и пошутил с летчиком:

— Ты нам сверхзвуковую скорость давай, чтобы меньше грохотало, а то мы со старухой поговорить хотим...

Поднялись в воздух и полетели.

Незадолго перед этим Петра перевели в другое место, и служба у него стала какой-то другой; летчик Серобаба уверяет, что в тот гарнизон, куда перевели Петра, попадает не всякий, серых да рябеньких туда не берут и что «Петра ты, Тоня, пожалуй, увидишь в голубом скафандре...».

Военное судно-мишень все еще стоит в далеком заливе, но теперь оно совсем забыто, его, наверно, сплошь затянуло паутиной; уже и не бомбят его, никто внимания на него не обращает. Только Тоня, как посмотрит в ту сторону, невольно вздрогнет: так нелепо могли бы погибнуть они с Виталиком! Едва не стала для них могилой та опустевшая железная громада, где только пауки, да обломанные мачты, да опухольями вздулась палуба от взрывов.

Словно бы сразу взрослее стали они после того приключения, словно бы новыми глазами смотрят и на себя, и на свою любовь, и на людей, и на жизнь. Как тот, кто однажды побывал под расстрелом и, оставшись в живых, не забудет этого,— так Тоня и Виталий не забудут тех ночей на железном острове, не забудут тягостного одиночества, когда они, как обреченные, сиротливо сидели, прижавшись друг к другу, а небо над ними на подзвездных высотах угрожающе, зловеще гудело...

Будто в бреду, видит Тоня себя, измученную жаждой, и неутомимого даже в тех условиях Виталика, который, создав возле себя целую мастерскую, часами хлопочет, что-то трет, пилит, силясь добыть хоть первобытным способом искру огня. Напрасными были все его усилия. Лишь потом, шаря по судну, он нашел какое-то стеклышко, и оказалось, что оно обладает свойствами линзы, а значит, можно собрать лучи пучком, навести их на край штанины и поджечь ткань.

Солдаты с полигона первыми заметили вечером сигналы с судна, огненные точки и тире, что передавал побережью Виталик, размахивая с мачты пылающим клубком. А потом они попали в мощный луч прожектора, примчался катер, и на нем капитан Дорошенко да знакомые ребята с полигона с шуточками насчет съеденной гармошки...

А теперь уже и полигона нет, его бескрайние степные просторы ныне свободны для чабанских отар, и Тоня, углубившись в эти просторы, натывается подчас на про-

чные укрытия в земле да на остатки клумб у командного пункта, да еще читает на стенде полусмытые дождем слова: *«Воин, выполняй устав безусловно, смело и честно!»* И эти слова, хотя адресованные и не ей, трогают, однако, и в ее душе какую-то ранее не звучавшую струну...

Не удалось пока Тоне организовать девичью чабанскую бригаду — разлетелись ее одноклассницы кто куда: одни работают по своим отделениям, на фермах или в поле, Лина и Кузьма на канале, Алла Ратушная попала в институт, а Нина Иваница и Жанна Перепичка устроились в городе на текстильном комбинате, пишут, что хоть и трудно, однако им очень нравится, «такие красивые яркие ткани, Тоня, выпускаем — всех наших степнячек одежем в самые лучшие наряды, довольно им в ватниках ходить...». Работа этих девчат Топю не на шутку привлекает, их ткани, струящиеся цветными водопадами из ступок, часто встают у нее перед глазами, и если эта чабанская степь в самом деле будет когда-то распахана и рис здесь посеют, то, может, и сама она тоже окажется в городе с девушками на текстильном. А покамест, словно бы нарочно, надевает на себя заношенный отцовский ватник, повязывается суконным платком, обувается в резиновые сапоги и идет наводить порядок у кошары.

Ныпче Топя с чабанами купает овец.

Овечья ванна для купания имеет вид длинного зацементированного рва, наполненного какой-то бурдой — это подогретая вода с дезинфицирующим раствором. Загнав в загородку часть отары, чабаны ловят овцу за овцой и бросают в этот ров, овца испуганно плывет по нему, а сверху Тоня еще и рогулей ее придавит, чтобы с головой окунулась в ту взбаламученную теплую бурду, чтобы вся короста с овечки сошла. «Калеки двадцатого века, будете вы у меня чистенькими!» — мысленно приговаривает Тоня, пуская в ход рогулю. Порой перед глазами Тони вместо овечек возникают вы, городские вертопрахи, маменькины сынки, те, что, обмотавшись пестренькими шарфиками, бьют баклуши на проспектах да пьянствуют вечерами по ресторанам на отцовские деньги, а потом кривляются в рок-н-роллах со своими такими же партнерами-тунейдками. Это вас Тоня, стоя над рвом в резиновых, забрызганных раствором сапогах, в платке и ватнике (в этом тоже вроде ее вызов вам), это вас она сверху еще и рогулей придавливает, поглубже окунает

в овечью ванну, чтобы вся нечисть сошла с вас; это вы, голубчики, выбравшись из рва, встряхиваетесь перед Тоней на площадке и, очищенные от коросты, вприпрыжку скачете снова в отару, уже чистую. Может, не так теперь будете крутить носом, услышав чабанский дух и запах овечьих медикаментов, не смертельно будет уже пугать вас чабанское ремесло, и, прежде чем зубоскалить над рабочим ватником, распахнувшимся на Тоне, вы подумаете, откуда берутся ваши шарфики и модные штаны, узнаете, что не из воздуха появились опи, а что их добыли неусыпным трудом чабанским здесь вот, в степях.

— Так их, Тоня, окунай поглубже, отмывай почище! — крикнет иной раз Демид или Корней, загоня овец в ров, и девушке кажется, что и чабаны сейчас думают о том же, что и она.

— А знаешь, когда-то уже была мода на узкие штаны, — говорит между делом Демид своему напарнику. — Я сам, можно сказать, в стилигах ходил...

— Трудно узнать в тебе бывшего стилигу, — отвечает Корней, исподлобья глянув на подпоясанного веревкой, забрызганного своего напарника. — Здорово перевоспитался...

— Еще когда ходил в парубках, загорелся было желанием такие штаны раздобыть, чтоб на целый век хватило... Дай, думаю, сошью штаны из линтваря. Добротные получились, всем на зависть. Дождь идет, а я себе разгуливаю в них — не промокают мои штаны! А только после дождя, как ударила жара, чувствую я, что штаны мои словно бы уменьшаются. Да так, скажу тебе, уменьшились, так сели, что уже и не согнуться, хожу, как на параде, гусиным шагом, а потом цурка так придавила живот — хоть кричи!

Они еще долго оба с серьезным видом рассуждают о легендарных тех штанах, пока Корней, словно бы соревнуясь с Демидом, не начинает свою байку.

— А у нас, когда мы у батька были малышами, — говорит он, — кожух был... Скажу тебе, Демид, такой кожух, что по всей Таврии не сыщешь! Не хуже твоих штанов. Семья большая, одежды путной кот наплакал, кожух только и выручает: острижем его, бывало, рукавиц из шерсти понавяжем и валенок наваляем. Сколько ни стрижешь, а кожух все теплый, на следующую зиму шерсть на нем вновь как была!

— Вон кому б такой кожух! Век могли б не сеять и не жать...

Перемигнувшись, чабаны посматривают в сторону овчарни, где в это время месят глину несколько женщин-тунеядок, которые, согласно закону, по приговору суда направлены из города отбывать свой срок в совхозе. Другие совхозы от них отказались, не хотел брать и Пахом Хрисанфович, который после болезни хоть и с третью желудка, но с прежней энергией приступил к исполнению своих обязанностей.

— Не навязывайте мне этой публики! — упорно отбивался он от тунеядок. — Почему ко мне? Почему не в «Приморский»? Разве у меня хозяйство хуже, чем у них?

Однако Лукия Назаровна была другого мнения: кто-то же, мол, должен перевоспитывать и эту публику, — и вот тунеядок, взятых из рук правосудия, привезли в совхоз — привезли под конвоем, а здесь расконвоировали: работайте на воле, как все. Были среди привезенных спекулянтки, пойманные на горячем, и злостные сектантки, и выловленные на курортных пляжах женщины легкого поведения; одна из них — рыжая, видная — считала себя женщиной порядочной, замужем, только беда вот — путала мужей: один раз называла себя женой летчика, а другой — моряка-подводника. Эта последняя, по прозвищу Варя-алкоголичка, с двумя молчаливыми сектантками при распределении попала в Горпищенкову бригаду.

Что и говорить, было над чем потешаться чабанам! Без внутренней улыбки не могли они смотреть, как эта не то летчица, не то подводница, высоко подобрав юбку, ходит теперь со своими товарками, как журавлиха по кругу, месит и месит после горячих пляжных песков холодную в замесе глину, которой будет потом замазывать дырки в стенах кошары, чтобы зимой на ягнят не дуло. Иной раз Тоня разрешает ей уже и отару пасти, к этому делу Варя охотница, нарядится в самое лучшее, идет к отаре, будто на танцы, красуется возле нее с городской сумочкой в руке, с ногтями, на которых еще и лак не сошел, с остатками завивки на голове гнедой, то бишь каштановой, масти... Походит, попасет, достанет из сумочки зеркальце, подкрасит губы и снова пасет. А лицо помятое, испитое, голос хриплый, и хоть, может, во время своих оргий где-то там была она совсем иная, здесь в ней осталась лишь покорность, появилось что-то жалкое, она готова без всякого протеста выполнить любое распоряжение Тони. Девушке иногда становилось просто жаль ее. «До чего может опуститься человек», — думала Тоня не раз,

и ей хотелось искренне верить, что эта тунеядка со временем перестанет быть такой, хотелось верить и в правдивость ее слов, когда она с каким-то неумелым заискиванием рассказывала Тоне о своем летчике, а в другой раз о подводнике, который был якобы ее законным мужем, и вся беда в том, что она не позаботилась вовремя зарегистрировать с ним брак.

— Он как узнает, обязательно меня разыщет, добьется, чтобы сняли судимость, и мы тогда по-новому заживем,— говорила она, прихорашиваясь перед зеркальцем, а Тоня смотрела на несчастную жепщину с жалостью и сочувствием.

Корней и Демид, хотя и не были к таким особам сердобольными, но и они через некоторое время с приятным удивлением стали замечать, что дамочка эта понятливая в работе, выполняет поручения с душой и почему-то особенно внимательна к больному, искалеченному ягненку, который и до сих пор прыгал при их отаре. Она за ним нянькой ходила, и, когда ягненок блеял, отстав, она тотчас бросалась к нему, и даже слезы у нее на глаза навертывались при виде того, как ягненок мучится, силясь встать на пзуродованные ножки. И чем основательней Вара втягивалась в работу, тем лучше к ней относились чабаны. Особенно Тоня крепко верила в свою «педагогическую поэму», да и чабаны огонь своих насмешек чаще направляли теперь на сектанток, которые были очень упрямы и работы поначалу избегали, а на чабанские насмешки отвечали молчанием либо мрачными цитатами из Библии.

Но вот теперь и они уже работают. Тоня своей бригадирской властью заставила их убирать кошару для овец: там подмажьте, там подметите, там подстелите. Трудятся послушно, видимо, все, что приказывает Тоня, считают делом богоугодным. А может, просто, глядя на целодневную чабанскую работу, они и сами приохотились, душой потянулись к труду. Приготовили замес, взялись обмазывать стены глиной; работают дружно, уверенно — взглянул бы кто со стороны, даже и не подумал бы, что перед ним осужденные люди, лишь отбывающие свою повинность.

После обеда тунеядки и вовсе повеселели, особенно подводница, которой добросердечная жена Корнея даже стопку поднесла, даром что своего мужа все время приструнивает, чтобы не заглядывал в чарку. Теперь уже не

сектантки, а Варя хриплым своим голосом цитировала им Библию:

— Суета сует и всяческая суета! Страшный суд, атомный суд — ну и что? Кроме дружишников, никого не боюсь!

Ей было весело, весело было и чабанам, которые с любопытством смотрели, как она, неуклюже прижав к себе древко вил, у всех на виду подкрашивает губы.

Невесело купала овец только Тоня — из дому она вернулась чем-то огорченная, заплаканная. Это не укрылось от Вари-тунейдки, она, кажется, первой заметила, что девушка расстроена.

— Что случилось, Тоня? — спросила она негромко, перед тем как уходить от чабанов, а Тоня лишь отмахнулась: идите, мол, занимайтесь своим делом!

А сама принялась почти со злостью орудовать своей рогулей над пенистой овечьей ванной.

Было о чем задуматься Тоне. Завтра в совхозе станет меньше еще одним выпускником их класса, еще с одним придется распрощаться, и этим одним будет ее Виталик. Уже несколько дней она знала об этом, знала, что разлука неминуемо надвигается, и готовила себя к ней, а сейчас, когда в переданной школьниками записке прочитала, что день отъезда назначен па завтра, не могла удержаться от слез. При детях, при школьниках так и брызнули обильные слезы, а они, двое мальчиков из четвертого «Б», смотрели с испугом на нее, на бывшую свою вожатую, и что-то лепетали Тоне про школьный исторический музей, просили от имени учителя и кружка юных историков дать какие-нибудь старинные чабанские вещи для этого музея. Взяв себя в руки, немного успокоившись, Тоня стала обдумывать, что бы им, в самом деле, дать, ведь к своему школьному музею она была равнодушна. Герлыгу? Отцовская разукрашенная медью герлыга висела на гвоздике под крышей, ее раскачивал ветер, и мальчонки-историки смотрели на нее с восторгом — она была блестящая, исхлестанная травами, отполированная, как слонобая кость. Но эту вещь Тоня не имела права отдать: герлыга еще будет служить и отцу и ей. Не могла она дать им и эту звонкую тронку, что, снятая на время купания отары, лежала сейчас возле хаты, — у юных историков так и разгорелись глаза, когда они увидели ее.

— Если бы звоночек этот... тронку, — робко просили они. — Это же настоящий чабанский экспонат...

— Нет, тронку не дам,— сказала Тоня.— Без нее ночью никак нельзя.

В конце концов она передала для музея чабанское деревянное корытце, из которого чабаны ели когда-то тузлук. Теперь тузлук давно уже едят из мисок, а корытце к тому же и разохлось.

Дети охотно взяли корытце, и Тоня прикинула в уме, где они его поставят в школьной музейной комнате. В создании той комнаты была частица и ее энтузиазма, комната вышла на славу, в ней посетитель видит обыкновенные вещи, которые, попав сюда, сразу становятся необычными, становятся экспонатами. Среди экспонатов уже есть герлыги. И постолы чабанские. И каток да валец деревянный. На стенах яркие рушнички да полуистлевшие вышивки с материнских рубашек, раздобытые у здешних матерей и переселенок из западных областей Украины. Есть в этом музейчике также разные подарки, присланные бывшими воспитанниками школы, что разбрелись теперь по всему свету. Один прислал марки вьетнамские, другой — камешки с Урала. От капитана — куклы японские. Но самым интересным экспонатом музея был редкостный любительский снимок, на котором можно было узнать первого советского космонавта сразу же после его приземления. Это был подарок родной школе от одного из ее воспитанников, чья теперешняя служба позволяла видеть космонавта раньше и ближе, чем могли его видеть другие. На снимке космонавт был заросший и еще словно бы измученный полетом, не похожий на того, что смеется со страниц газет. Перед этим снимком Тоня часто останавливалась, и Виталик даже чуть-чуть ревновал.

Маленькие школьники оказались назойливыми, они принялись кланяться, чтобы Тоня дала для музея и свою фотографию:

— Вы ж теперь чабанка, гордость школы, так про вас учитель сказал.

Тоня отказала наотрез — равно, мол, а жена Демида, хозяйничавшая у летней кухни, услышав разговор, крикнула зычно:

— Может, вам и печку эту передать в музей? В других совхозах чабанам уже газовые плиты собираются ставить, а наше начальство и в ус не дует! И окна вон побиты, а стекла кто вставит?

Она кричала на детей, как на взрослых, как на винов-

ников всех ее невзгод, запасы критики были у нее неисчерпаемы, а голос оказался таким, что дети, удаляясь со своими трофеями в степь, еще долго удивленно оглядывались.

...Работает Тоня, купает овец, быстро, споро и как-то даже сердито, будто хочет их рогулей потопить; работает, а душа горит, а мысли все о Виталике. Завтра на рассвете, когда она выгонит отару на пастбище, Виталик уже уедет, уедет неведомо куда и насколько. Капитан Дорошенко забирает его с собой. Поговаривали о капитане, что он лучевую болезнь схватил в океане, а он вот выздоровел, едет на кораблестроительный принимать вновь построенное судно, экипаж новый набирать и первым в состав будущего экипажа берет Виталика корабельным радистом. Виталик был на седьмом небе, когда капитан, получив радиogramму, предложил ему новую должность. Примчался он к Тоне в тот день запыхавшийся, расцветший:

— А ты как? Может, ты против?

Пожалуй, она могла бы его удержать, удержать здесь силой своего чувства, своей любви, но Тоня не сделала этого: разве может она приковать его к себе, когда перед ним открывается океан! Сама же одобрила, сама же вместе с ним радовалась, мечтала, а теперь, когда приблизился час разлуки, то и слезу пустила. Даже зло берет на себя за то, что оказалась плаксой. Виталик заедет сегодня прощаться, а она и переодеться не успела — как была с утра, так и после перерыва вышла работать в своей чабанской одежде, пускай видит ее такой, как она есть, в этом ватнике и в сапогах, забрызганных в овечьей купели. Не видел он ее еще такой — так пусть увидит. Пусть знает, что всю зиму эти сапоги будут месить грязь да навоз, лицо обветрится, исхлестанное дождями, руки огрубеют и потрескаются в работе, разнося силос тяжелый да прижимая к груди ягнят пахучих, влажных, когда в кошаре холодно и нужно их согреть своим теплом... А если кто думает, что Тоня, только проводив Виталика, на другой же день побежит в клуб на танцы и к ней можно будет приставать, — ох, очень тот рискует схватить от нее горячую оплеуху! Так влепит, что эхо покатится по всей Центральной! Праздничные блузки, платья и туфли на тонких каблуках — все спрячет: до возвращения Виталика в резине будет ходить, в ватнике, в лохмотьях! Она покажет вам, калеки двадцатого века, что и сейчас люди умеют любить и преданно ждать любимых!

Виталий приехал, примчался на мотоцикле уже под вечер, при заходе солнца и, застав все чабанство еще за работой, пошел прямо к Тоне, улыбаясь ей. Его нисколько не удивила ее чабанская роба, а рогуля, которой Тоня умело орудовала, даже заинтересовала хлопца — он попросил:

— А ну, дай и я попробую.

И хотя был хлопец одет уже по-городскому, в тужурке чпстенькой и в новых туфлях, однако, став у рва и орудуя рогулей, принялся весело подталкивать барашков, чтобы ныряли в подогретый мутный раствор.

Хлопец еще был здесь, возле кошары, еще стоял над цементированным рвом, откуда разносился запах креолина, еще был сам частицей этой степи, а Тоня уже видела его где-то на океанских просторах, среди аппаратуры в радиорубке, среди разбушевавшихся волн, что бьют до самой верхней палубы, брызгами стреляют в иллюминатор... В штормовые далекие рейсы пойдет он, а мог бы неотлучно быть здесь, возле нее. Может, сказать: не уезжай? Еще не поздно. Нет, не скажет она этого. Лучше ждать будет, вроде тех збурьевских женщин, что по полгода ждут своих китобоев!

На время купания тронка снята с овечьей шеи, и дети чабанские теперь забавляются ею. И Виталик взял тронку, позвонил, как школьным колокольчиком. Внимательно рассмотрел: медная снарядная гильза сплюснута, согнута вдвое, словно побывала в руках какого-то силача. Смерть таила в себе, а стала нежным степным звоночком...

— Грубая, корявая работа, а звук такой нежный...

Тоня, повеселев, рассказала, как юные историки просили сегодня эту тронку для школьного музея, а она не дала.

— И верно. Чего ей там пылиться? Ей по степи гулять.

— А ты привезешь им что-нибудь? — спросила Тоня.

— Я меч-рыбу им привезу... Золотую макрель. Нет, кита голубого!

— А я им корытце чабанское подарила, — сказала Тоня и добавила с несвойственной ей застенчивостью и смущением: — Фотографию мою тоже просили, зачем она им? Где они меня там поместят?

— Как где? А там, где и космонавт.

— Такое скажешь... Вон мой космос, — кивнула Тоня в открытую бурую степь, и в голосе ее прозвучала грусть.

Виталий смотрел на нее, опечаленную, немного усталую, в одежде рабочей, вспомнил, какой беззаботной была она в степи в тот день, когда чаек поили. Не та уже хохотушка-десятиклассница, другой стала, более серьезной, задумчивой, — новые обязанности словно бы наложили на нее свой отпечаток. Не школьница стоит перед ним, а молодая чабанка, оставленная здесь за старшую, временно заменяющая отца, а может, и не временно.

— Всех выкупала.

— Всех.

— А теперь?

— Овчарию будем утеплять.

Начинается пора ветров, туманов да осенней стужи, коротких дней и длинных ночей. Еще затемно будет выходить с отарой в степь, по глазам печальным, по щекам этим пежным будут сечь холодные дожди.

Тебе открываются океанские дороги, а ей жить здесь, на этих фермах, в степях, где люди в тяжелой работе равно стареют, зато долго живут и растят детей целыми стайками.

— Я буду посылать тебе радиogramмы. Отовсюду!

— Хорошо, — тихо отвечает девушка.

Не та, не та сейчас Тоня, не вспыхивает всякий миг, как прежде, весельем — грусть таится в ее орехово-карих глазах, но как он любит ее и такую, любит даже еще крепче! крепче! крепче! «Нигде, пикогда я тебя не забуду! Знай, что никто так не ждет своих любимых, как моряки. Всюду ты будешь со мной. Из самых дальних плаваний к тебе вернусь! А чтоб все тут знали, что нас с тобой объединяет, так вот тебе моя клятва, пусть будет она вот какой!..»

Хлопец внезапно хватает Тонию в объятия и при всех целует, целует самозабвенно, и молча смотрят на их прощание чабаны и чабанки у хаты, и сектантки у кошары, и гнедая тунейдка-подводница платочком вытирает глаза, растроганная чужой любовью.

Это, собственно, и было их расставанием. Было после этого лишь удаляющееся стрекотание мотоцикла в степи, да разлив багрово пылающего солнца по линии горизонта, да на его фоне испуганная, продрогшая отара меринсов.

— Хэлло, кептен!

Это Гриня Мамайчук кричит из машины во двор Дорошенко. На совхозном «газике» Гриня отвезет капитана

и его тонкошеего юнгу в Лиманское, к причалу. Еще темно, еще только пропели петухи, в небе еще не погасли звезды. Юнга уже здесь, ежится у машины, выслушивая последние напутствия матери, с затаенной душевной болью посматривает на металлическую вышку, что устремилась вензелем антенны в небо над бабкиным виноградником: наверно, к тому времени, когда приедет хлопец в отпуск, виноград и по вышке цепко полезет туда, до самого неба, — буйный, широколистый, в молодых гроздьях.

— Юноша, ты вступаешь во всемирное племя матросов, — хлопает юнгу по плечу Гриня-пеуправляемый. — Ты будешь под Южным Крестом, однако и наш Чумацкий Воз — Большую Медведицу — не забывай... Созвездие ничем не хуже других!

Блекнут созвездия, сереет небо.

А капитан, оказывается, последним покидает не только палубу корабля, он последним покидает и родной дом. Вот он наконец сходит с веранды, появляется из сумрака двора, рядом с ним шагает старая Дорошенчиха.

— Ты там береги себя, сынок, — слышен голос старухи. — Все можно купить, а здоровье не купишь... Береги!

— Не беспокойтесь, мамо, я чувствую себя совсем здоровым, — отвечает на ходу капитан. — Травки ваши свое дело сделали...

— Не смейся, сынок, пад моими травками. Есть в них сила. А к тому же солнце наше, воздух степной — они целебны...

— А я не смеюсь. Чувствую, что любую медкомиссию сейчас пройду.

В голосе и в походке капитана в самом деле чувствуется бодрость, кипение сил, возрожденных, молодых.

— Вручаю тебе, Ивац, свое самое дорогое, — говорит ему Лукия у машины и вся трепещет, и голос ее дрожит от волнения.

— Не беспокойся, Лукия. Все будет в порядке, — говорит он, улыбаясь, и, расцеловавшись с матерью и Лукией, садится в «газик», где в уголке в ожидании дороги уже притих и не дышит его будущий судовой радист.

Гриня дает газ, машина скрывается в рассветной мгле, оставляя обеих женщин возле двора, у вкопанной в землю скифской бабы.

Степь еще безмолвная, предутренняя, лишь ветер свистит над дорогой, что пролегла на Лимапское. Было что-то

грустное и в этом посвисте ветра, и в голых открытых просторах, где уже ходит осень с седыми глазами.

— Товарищ капитан! — заводит разговор Мамайчук. — Разрешите спросить?..

— Пожалуйста.

— Правда ли, что судно, которое вам предстоит принимать, строится по специальному заказу Академии наук?

— А почему это вас интересует, молодой человек?

— Да, видите, — замаялся Мамайчук, — весьма интересуюсь, что там у нас внутри... Из чего то есть состоит ядро нашей планеты, из каких энергий? И если вы в океан, чтоб алмазным буром пробуривать земную кору, чтоб до самого сердца планеты дойти, то прошу в это дело включить и меня: весь к вашим услугам!

— Но вы же, молодой человек, насколько мне известно, Духовной академии отдали предпочтение!

— Ха-ха! Трижды ха-ха! — Мамайчук громко хохочет. — Вы тоже поверили? Да это же был обыкновеннейший розыгрыш, рассчитанный на моего друга Яцубу. Чтоб к бороде моей не цеплялся, чтоб чувство юмора в себе по возможности развивал. Идти в попы — это же архаично, вот планету бурить — совсем другое дело!.. Да и вокруг света поплавать — это тоже занятие подходящее. И уверяю вас, что чем-чем, а уж лянтарными мундштуками Мамайчук не стал бы в чужих портах промышлять, как это делают некоторые из ваших морячков!

— Не к лицу мужчине распространять сплетни, — сказал капитан чуть обиженно.

— Почему сплетни? Когда я еще в городе был, у меня у самого были друзья, славные такие модернаги из матросов. У них был обычай: покупают ковер, скажем, где-нибудь в Швеции, а приедут домой — заходят в ресторан, ковер на стол.

— С такими мыслями на мое судно лучше не показываться.

— Ну, зато ваш юнга-радиот в этом отношении пикакой опасности не представляет. — Мамайчук промолвил это так, будто Виталия у него за спиной вовсе не было, будто безлюдной была темень брезентового шатра. — Это такой моряк, который скорее собственных штанишек лишится, чем заграничным ковриком обогатит родной порт. За это будьте спокойны. Вот только как он в смысле качки да морской болезни? Пожалуй, только судно покачнет-

ся, он сразу вам и SOS закричит! Терпим бедствие, тоном, спасите!!!

— У него в радиорубке будет на этот случай отдельный передатчик, аварийный,— серьезно объяснил капитан.— В обязательном порядке устанавливаем его согласно международной конвенции. Эта штука включается автоматически. Будем, однако, надеяться, что надобности в ней не возникнет.

— Скажите, рикши еще на свете есть? — спросил Мамайчук так неожиданно, что капитан невольно улыбнулся: так и бросает этого «неуправляемого» от земного ядра до рикш.

— Почему вдруг рикши?..

— Просто не верится, что где-то люди еще ездят на людях. Один двуногий везет на себе другого. И не инвалида, а какого-нибудь паршивого колонизатора...

— Бечак называется такой велосипед,— сказал капитан, и лицо его нахмурилось.

Возможно, вспомнились ему чужие портовые города, стоянки рикш, где эти худые запыленные люди на трехколесных своих велосипедах зорко высматривают пассажиров, с криком бросаются на каждого, за полы хватают...

— На вид такой невинный велосипед с коляской. Но наш советский моряк никогда не сядет в ту коляску.

— Понимаю,— согласился Мамайчук.— Я бы тоже не сел. Но увидите вы там что-нибудь и веселее?

— Увидим еще малолетних грузчиков, что таскают на себе тяжелые корзины с углем в порту. И безработных, роющихся в мусорных ямах. И детей, что, подстелив газету, спят на асфальтах вечерних городов...

— Это уже агитация, кептен.

— Понимай как хочешь.

— Может, там зато хоть бюрократов меньше?

— Не считал. А вот знаю наверняка: очень-таки одиноко, неуютно чувствует себя там человек. Неон чужих витрин не слишком-то греет... Клыкастый, жуткий мир окружает там не одного только рикшу... Пока на ногах — до тех пор ты существуешь. А упадешь — переступят, будто тебя и не было.

— Дух коллективизма — это я признаю,— буркнул Мамайчук.— Это верно, у нас есть. Разрешите употребить ароматическое зелье? — Небрежно бросив на губу сигаретку, он так же небрежно сверкнул перед ней огоньком

зажигалки. На правой руке при этом блеснул перстень.

— Женишься? — спросил Дорошенко. Он слышал, будто Гриня тайно уже обручился с Тамарой-зоотехником, которая наконец прогнала своего пьянчугу и живет теперь одна.

— Обязательно, — откликнулся Гриня, — если только скромная моя особа будет признана достойной душевно совершенной женщины. Как, по-вашему, не грех привести поистине прекрасную женщину в хату, где нет холодильника, где по ночам батя-инвалид скрежещет зубами во сне?

— Веди, — сказал капитан и умолк.

А Гриня вскоре после этого уже перекинулся мыслью на те никогда не виданные им архипелаги, где якобы и ныне люди живут по первобытным законам, не зная испорченности цивилизации, и хоть не имеют холодильников, зато не умеют лгать, лицемерить, убивать, замысливать зло друг против друга.

«К ним, к ним нужно идти человечеству за наукой жизни, — размышлял Мамайчук. — Туда, где под звуки тамтамов наивные дети земли смеются да веселятся и еще не знают, что существует на свете стронций...»

— А ну, стоп.

Это Виталий наклонился к водителю, схватил его за плечо.

И когда Гриня послушно притормозил, Виталий высунулся из машины.

— Что ты там услышал?

— Тронка где-то звенит.

Гриня был другого мнения:

— Это ветер в траве свистит...

— Нет, тронка.

— Нет, ветер.

— Тронка!

Так и не придя к согласию, они тронулись дальше. А капитан, посмотрев в ту сторону, откуда хлопцу слышался звон тронки, отчетливо увидел в глубине степи на светлеющем горизонте далекую чабанскую фигуру и рельефно-резкие пласты отары у ее ног.

Уже совсем рассвело, когда они прибыли в Лиманское. Остановились у причала, и здесь, при утреннем свете, оказалось, что Гриня начисто выбрит, от бороды и следа не осталось, зато, показывая характер парня, горит на

нем стилижная пурпурная рубашка, из-за которой майору Ядубе еще придется вести баталии.

Всходило солнце, и они смотрели на него.

— Чего приумолк? — Виталий по-дружески обнял Мамайчука. — Может, раскритикуешь и его, это светило?

— Не могу, отроче, не могу. Наоборот, смотрю на это ясное светило и говорю ему: «Свети! Моя критика тебя никогда не коснется... Ибо тут был один такой, все вокруг себя — небесное и земное — раскритиковал, оглянулся: ничего ему не остается».

— Скучно стало? — улыбнулся Дорошенко.

— Да, скучно. Оглянулся — то не так, это не так, а что же так? На солнце — пятна, на земле — беспорядки. Что же делать, кого любить? И возвратился он из пустыни своего маловерия в степной чабанский совхоз опоры для души искать...

— И нашел?

— Когда вокруг трудятся, что-то творят, кого-то любят, то соответствующие биотоки и тебя захватывают, воздействуют и на тебя. А более всего исцеляет, конечно, любви! В ней — бог! Песнь Песней! Целебности! Быть может, в этом и разгадка того, что перед вами сегодня здесь не ущербный вытик, не хлюпик жалкий, а Гриня-монолит, Гриня-цельность, человек, готовый выдержать любые перегрузки жизни... Говорят: ты скептик. Возможно, и есть малость, но ведь верю я, что скоро нам, малым жителям земли, откроются глубочайшие тайны мироздания! Какой лишь прок нам из всех этих тайн, станем ли более счастливыми, окупившись в холод космический, — это уже другой вопрос...

Прибыли с моря со свежим уловом рыбаки, начали выходить на берег в своих зюйдвестках, в тяжелых рыбацких сапогах.

Старшой рыбак — мужчина богатырского роста — не спеша направился к капитану, протянул руку:

— Очковтиратель Сухомлип.

И не смеется. Полнощекый, зарос рыжей щетиной, и только по лукавым искоркам глаз, сверкающих под кустами бровей, Дорошенко узнает своего давнишнего приятеля, неистощимого в выдумках Тимофея Сухомлипа. Много лет работал он директором винодельческого совхоза, звезду Героя Социалистического Труда получил, а теперь вот, пожалуйста, в зюйдвестке, в ботфортах рыбацких, увязающих в песке. Рыбой и морем пахнет.

— Бычков, говоришь, полавливаете? — весело щурится Дорошенко, пожимая руку бывшему однокашнику своему.

— Бычок тоже рыба. А ты не за кашалотами ли?

— Нет. Просто... предстоит дальняя дорога.

— Недоплавал? А мороз на висках?

— Одно другому не мешает. Рапо нам с тобой свертывать паруса.

— Пора и парусам дать облегчение... Ну куда тебе отсюда: глянь, какая благодать! Лиманы, косы, острова...

— Тихая, безветренная заводь, — иронически бросает Мамайчук, который, скрестив ноги, стоял у машины.

— А что ж, если и заводь? — насторожился Сухомлин.

— Для кого заводь, а для кого берег Мирового океана, — поворачивается к Сухомлипу спиной Мамайчук, пламенея на весь берег кумачом своей рубашки.

Дорошенко окидывает взором простор лимана, живой блеск воды, ее свежее дыхание. В самом деле, хорошо здесь. И белые пески берегов, и эта неизмеримая тишина, и ласковый степной ветерок. Как в прикосновении женской руки, есть что-то невыразимо нежное для него в этих бризах, освежающих ветерках, что дуют днем с моря, а ночью с суши и словно бы соединяют в вечном круговороте море и степи. Но с чем сравнить те дали, уходящие за горизонт, что так манят к себе и вызывают такой взлет души! Да, это только берег Великого океана, родной причал, откуда слышен зов просторов, странствий, беспокойных дорог, зов, который, кажется, и со смертного одра поднял бы Дорошенко. Еще в океан, еще один рейс, даже если он и окажется твоей лебединой песней...

— Вот так... Организуем ушицу, — приговаривает Сухомлин, выбирая наилучших бычков-кнотов, лоснящихся в корзинах, уже на битом льду. Затем, отойдя в сторонку, принимается устанавливать трепюги, разводить костер.

Пока рыбаки выгружают оставшуюся рыбу, развешивают на кольях мокрые сети, Дорошенко подходит к Сухомлину и, присев, начинает вместе с ним чистить кнотов.

— Ну расскажи, как же это случилось? — спрашивает он Сухомлина. — Как это ты в очковтиратели угодил?

Сухомлин спокойно воспринимает вопрос. Неторопливо скобля рыбину, обстоятельно начинает рассказывать про то, как на автомобильных шинах погорел, на тех ши-

нах, что незаконно закупил было целый контейнер где-то на сибирской новостройке; потом насмешливо, словно бы надеваясь над собой, рассказывает притчу о виноградарском комсомольско-молодежном звене, которым он на совещаниях козырял, хотя это звено состояло в основном из таких комсомолок, у которых уже и внуки были...

— Вот так я жил. Таким был. Только здесь и почувствовал себя человеком, Иван... Ты не можешь себе представить, что это значит — быть директором, да еще винсовхоза. Сколько тех дегустаторов на свете! Едут отсюда, едут оттуда, ведешь их в подвалы, угощаешь, а кос-кто еще и канистру подсовывает — налей, дескать, и домой! А потом на всех активах тебя же еще и дерут как сидорову козу! Круглый год штурмы, авралы, нагоняи, с каждого совещания возвращаешься в синяках, — бывало, влепят выговор за здорово живешь. И это жизнь?

— Но ведь и Героя все-таки дали?

— Какой из меня герой? За что? Разве за телефонные звонки, что их годами выдерживал? На квартире у меня, как и положено директору, телефон. И все звонки — из бригад ли, из района, милиции или «Заготскота», — все ко мне! Ни днем, ни ночью покоя нет. Подымают, вызывают, накачивают. Дети выросли, я их почти не видел. Книжки некогда было прочесть. Вот здесь, в рыбартели, как стал работать сторожем, — только и начитался вдоволь. Летом, пока охранял рыбацкую хату вон там в заливе, целый университет прошел. За столько лет впервые над своей жизнью задумался. «Да неужели же, думаю, это мы, степняки, потомки могучих аятов Поднепровья, становимся очковтирателями? А? Неужели ж это ты, товарищ Сухомлин, совесть на медальку променял?» Как пошло разоблачение очковтирателей, повез я медаль в райком, хотел сдать. «Сам, говорю, сдаю, не по совести получена». Но приняли. «Носи, говорят, на здоровье, раз уж дали. Ведь не совсем же она замагарычена — ты все-таки как вол трудился...» Есть очковтиратели злостные, непримиримые, что и сейчас еще злятся, а я, поверь, Иван, искренне сегодня говорю спасибо тем, кто вывел меня на путь праведный. Да разве только меня? Как после градобоя колоски на ниве поднимаются, так нынче поднимаются, отходят душой люди после того, что было. Лишь который уж вовсе сломан, тот так и останется лежать, затоптанный в грязь. Веришь, душою поздоровел. Даже сам теперь удивляюсь: как мог до такого позора, до приписок дока-

тяться. Рядовое винхозайство, а сколько шуму вокруг него — это же даром не дается... До того дошел было, что в районе по квартирам с бутылкой бегал, в чайной всяких пустобрехов поил да угощал, чтобы только славу добыть. А что в ней, в славе? Как-то в городе в галерее картину видел: старикан вот этакий, как я, только босой, гол-голе-хонек и с крыльями на спине. Куда-то мчится. Долго прикидывал я, покуда догадался, что это намек, аллегория, что это так намалевано Время. Потому что Время старое и Время новое летит как на крыльях. Кресты, ордена, медали перед ним кучею на земле, и тот крылатый дед безжалостно топчет, попирает их босой своей ногою: слава для него ничто. Топчет кучу монет, всяких там динариев, потому как и богатство для него тоже ничего не значит. Бережно прижимает к груди лишь книгу, на которой написано: «Истина». Истина — только она, брат, для него дорога! Всего дорожел!

Дорошенко слушал и не узнавал прежнего Сухомлина. Несколько лет назад видел его измотанным, очумелым, замороченным множеством хлопот. Даже и поговорить с ним Дорошенко тогда толком не успел, потому что Сухомлин ждал какую-то комиссию, как раз, видно, готовился кого-то задабривать, и вся его лихорадочная деятельность была направлена на то, что сегодня вызывает в нем лишь улыбку. Словно бы возрожденный перед тобою человек, с душой открытой, здоровой, раскрепощенной.

Приведя в порядок рыбу и снасти, подошли к ним рыбаки, начали подшучивать над Сухомлиным — хороши, мол, повара на этом берегу получают из очковтирателей. Старшой не обижался.

— А вы, значит, снова в рейс? Слова поднимаете парус? — обращаются рыбаки к капитану и, узнав, что он забирает с собой еще одного степняка, окружают смущенного Виталия, шутливо дают хлопцу разные советы.

— Ты там не осрами нас! Держись петухом!

— Сам знаешь, сколько край наш капитанов дал.

И они поименно называют своих прославленных земляков — капитанов дальнего плавания, китобоев, штурманов, а заодно с ними еще и знатных чабанов да механизаторов, помянули и генерала — дважды Героя Советского Союза, который хотя и не был моряком, зато был родом отсюда, с Лиманского.

— Даем, даем кадры для моря, — присаливая уху, говорил Сухомлин. — Недаром же деды наши на море каза-

чествовали, и самое Черное море в древности называлось Казацким.

— Ну, тебя там купать будут па экваторе,— предостерегали Виталика,— этого не бойся. А вот когда пошлют к боцману попросить кусок ватерлинии — тут сперва подумай.

— Или еще заставят кнехты сдвигать с места, так ты посмотри получше, какая там основа. А то иной, доверчивый, начнет над теми тумбами тужиться, аж глаза на лоб вылазят.

— Было когда-то, было,— в раздумье говорит капитан,— когда мы парнишками вот такими приходили напиться в матросы. И над кнехтами тужились, и котлы пробовали с места сдвигать. А теперь, экзаменуя таких, как он,— капитан кивнул на Виталика,— будьте сами на чеку. Ведь он не после букваря к вам... Уже и электроника, и кибернетика, и тошкости радиотехники — все под той кепочкой есть.

С отцовской нежностью смотрел капитан Дорошенко на хлопца, что до самых глаз надвинул козырек своей кепчонки. В нем, притихшем и пемного застенчивом, узнает капитан свою далекую юность, что пришла когда-то босиком на этот причал, пришла с котомкой за плечами, в заплатах батрацких... Со скромным багажом выходила когда-то твоя юность на золотую линию жизни, а эта идет вооруженная знаниями, и хотя многое отличает вас, много между вами непохожего, но разве не объединяет вас самое главное — жажда труда, сила любви, порыв души?

— В какие же рейсы берете вы нашего степняка? — допытывались рыбаки.— Правда ли, что повезете в океан водородную бомбу топить?

Капитан Дорошенко задумался, стоял посуровевший, серьезный. «Друзья мои,— хотелось сказать.— Вы не слышали звука счетчиков Гейгера, не видели Хиросимы, но мысли ваши о том же, что и мои... Тесной становится планета, а человек великаном стал. Он может разрушить это небо, хотя и не может его создать вновь. В состоянии сжечь облака, что вон лепестками алеют на востоке, но слова не воссоздаст их. Во власти человека отравить воздушную оболочку планеты, отравить воды океанов, хотя потом очистить их он уже никогда не сможет... Но если может человек так много, то под силу же ему и прекратить все это! Стоим па том рубеже, когда планета, этот

чудесный корабль человечества, нуждается в защите. Для этого хочу жить. Сколько буду жить, всякое дело мое, каждый шаг будет против бомбы. И когда родина прикажет потопить ее — буду считать это вершиной своей жизни»...

Сухомлин еще не доварил уху, когда к причалу прибыла учебная мотопарусная яхта с кораблестроительно-го — она пришла за капитаном Дорошенко. На мотопаруснике — будущие мореплаватели в робах, все молодые, веселые хлопцы-практиканты, которые сами эту яхту и построили, сами и вызвались доставить на завод прославленного капитана Дорошенко.

Вскоре капитан со своим юным радистом были уже на борту, среди практикантов; причал тронулся с места и поплыл от них вместе с кряжистой фигурой Сухомлина, с котлом на треногах, с рыбаками в зюйдвестках, с Гриней Мамайчуком в полыхающей рубашке. Хаты и тополя поплыли, и вся степь поплыла... Туго округлились паруса, сильный и ровный ветер легко гонит яхту по воде.

Будет еще после этого простор лимана, и ветер попутный, и белая метель чаек над головой, покуда не возникнет на горизонте залитый солнцем заводской берег и перед глазами капитана не появится судно, что ждет его, ждет океанских просторов.

Издавна знакома ему эта степная верфь. Весь огромный берег в высоких крапах, а в их черном лесу рдеют, подобно красным гигантским кострам, заложенные корабли. Крапы, краснопылающие борты сооружаемых судов и зелень тополей! Вся территория завода в пирамидальных стройных тополях, все цехи... Вот он, его красавец, возвышается над тополями, на железобетонном стапеле, грудью к солнцу, к океану! Одни еще на стапелях, а другие, уже спущенные, стоят у строительного пирса, там все кипит сейчас, ведет завершающие работы огромный коллектив кораблестроителей, друзей твоих, знакомых и незнакомых. Размеренным строительным грохотом полнится степная верфь, бурлит трудовая жизнь, звучит скрежетом, ударами, шумом молотов, шпцеванием газовых резцов, бьет ослепительными вспышками и звездопадом электросварки... Каждый там творит что-то свое, делает вроде бы малое какое-то дело — тот сваривает швы, тот проверяет их (если нужно — рентгеном), тот столярничает, тот красит, высоко поднявшись и гоня шариковой щеткой по выпуклости борта, или наносит краску пульве-

ризатором, женщины в марлевых повязках хлопчут с изоляционным материалом, с той самой синтетической стекловатой, которая так въедается в тело, еще кто-то уже оснащает рубку радиоаппаратурой, устанавливает навигационные приборы, и вот, как вершина, как апофеоз всей их работы, вырастает еще один красавец корабль, который тебе вести сквозь штормы и ураганы.

Сама жизнь человеческая здесь обозначена такими веками, как закладка корабля или спуск его на воду. Все ждут того дня, когда на спусковых дорожках будут смазывать полозья салом, не тем салом, которым любили закусывать чумаки, а специальным техническим, которое привозят сюда в бочках и на территории завода перетапливают, — степные чабаны, правда, уверяют, что для смазывания полозьев нужен именно бараний жир, без него, мол, ни один корабль на воду не сойдет!

День спуска становится здесь настоящим праздником труда, тысячи людей напряженно следят за творением рук своих, с волнением слушают, как среди глубокой тишины звучат по радио последние распоряжения спусковой команде, что работает на глазах у всех, работает четко, слаженно, делает свое дело словно бы навечно. Ключами отвинчивают блоки, выбивают молотами клинья, и вся громада корабля, поднятая на высоком стапеле, удерживается лишь двумя курками, и трос, что связывает курки, натягивается струной...

— Руби курки!

И вздрогнет тогда на стапелях молодой океанский великан и плавно, величаво скользнет по смазанным полозьям, навсегда уходя с территории завода навстречу воде, навстречу океану...

Впервые видит Виталий эту огромную мастерскую кораблей. Всем самым сокровенным, самой душой открывается ему завод. Стоя под крылом паруса, не может глаз отвести хлопец от новопостроенного красавца корабля, который уже в полнеба вырастает перед ним на стапелях. Словно не водяной, а какой-нибудь космический гигант нацелился грудью стальной в небо для старта. Где же побывает на нем Виталий? С каких океанов, с каких широт будет посылать в эфир свои вести? Но знает — где бы он ни был, под какими бы созвездиями ни проходил, всюду, как позывная мелодия родных степей, нежно и печально будет звенеть ему тронка.

РАССКАЗЫ

1

Здесь, в открытой южной степи, собиралось осенью великое множество птиц. Здесь они в последний раз паслись и отдыхали, перед тем как пуститься в далекие путешествия за моря. Осенью почти в каждой хате жили перепела — детвора ловила их чуть ли не голыми руками, такие они были тяжелые, сытые и ленивые.

А сейчас птицы возвращались из-за моря похудевшие, легкие, быстрые. Заклестотали по всему побережью, замелькали в степи, под окнами Солончанской МТС, не пугаясь ни людей, ни машин, надеясь в знакомых местах утолить свой весенний голод.

От этого птичьего клекота Зоя проснулась. Отцовской фуражки на гвоздике уже не было. За окном шумела птичья ярмарка, во дворе былолюдно, шумливо. Возле мастерских уже стояли выстроившиеся тракторы, нацеленные моторами в степь. Весь коллектив МТС высыпал из помещений на традиционное открытие весны.

«Выходят! Как же это я?!» Девушка спрыгнула с постели, начала быстро одеваться. Вымытые вчера волосы тонко пахли земляникой. Зоя укладывала их на голове тугим темным калачиком. Еще недавно она заплетала косички, как заплетают их пионерки, носила двумя свяслицами на затылке, а в эту весну начала укладывать подевочки. И туфли стала носить на высоком каблуке, хотя на рост не могла пожаловаться: была высоконогая, гибкая, как молодой тополек.

Обуваясь, выставила вперед ногу, притопнула ею, засмеялась: чего там! И нога была крепкой, стройной, девичьей...

Когда Зоя выскочила во двор, первые машины трогались в путь. Трактористы сегодня держали руль особенно хватко и горделиво. Директор МТС Карп Васильевич Лысогор, отец Зои, вместе с замполитом похаживал возле тракторов, давая бригадирам последние наставления. Озабоченный, возбужденный, он даже не заметил дочери. Видимо, те, кто выезжал в степь, были для него в эти минуты более родными, чем Зоя. Когда она проходила мимо, Карп Васильевич крикнул через ее голову тем, другим:

— Возвращайтесь героями!

А Зое и самой хотелось сесть за руль, нажать на педали и двинуться в степь, в светлые весенние просторы. Там небо сегодня синело, свежее и высокое, выше, чем всегда. Там пьяняще пахла оттаявшая земля, и птицы взвываясь над нею, пробовали свои чистые голоса.

Разве не могла бы и она, Зоя, сидеть вот так, в комбинеzone, на высоком тракторе, как с гордостью сидит Оксана Бойко, прославленная трактористка? Тогда и ей, Зое, отец пожелал бы вернуться героиней, тогда, может, и возле нее вертелся бы красивый механик Савва Грек, так же как вертится он сейчас возле Оксаны...

— Дай руль, Оксана,— обращается к трактористке Зоя. — Хоть со двора выведу.

— Э, дивчина, это тебе не на радиоузде кнопки нажимать! У меня конь норовистый: боюсь, что не ты его будешь вести, он тебя поведет.

— Поведу, я пробовала.

— Что-то не верится мне... Боюсь, что вырвется!

— Да и Карп Васильевич как раз поглядывает в нашу сторону,— весело говорит Савва-механик, подмигивая Оксане. — Еще, чего доброго, за такие забавы выговориче влепит!..

Оба они смеются, а Зоя, покраснев, стоит перед ними пристыженная, лишняя.

— Я тебе сочувствую, Зоюшка,— нахально смеется Оксана. — Мне в твои пятнадцать лет тоже трактор снился чуть ли не каждую ночь.

«Не пятнадцать, а семнадцатый!» — хочется крикнуть Зое, чтобы знала об этом и не заносилась Оксана и чтоб Савва-механик знал. Но где-то поблизости уже шумит отец.

Вот он останавливается возле Оксаниного трактора, ласково пошлепывает ладонью по его металлическому крылу:

— Ветеран!.. За Волгу своим ходом ходил... Вытянет сезон, Оксана?

— Вытянет, Карп Васильевич, да, может, и не один еще сезон. Это он только на вид вроде пожилой, а душа у него молодая.

— Молодая, говоришь?

Заметив дочку, Карп Васильевич окидывает ее удивленным, радостно незнакомым взглядом. Зое становится почему-то неловко, и она торопливо отступает в толпу провожающих.

Стояла, слушала разговор из-за чьих-то замасленных спин. Горько ей было слушать, как Оксана перекидывается шутками с отцом, неприятно было девушке смотреть, как они разговаривали. И то, что, смеясь, трактористка кокетливо встряхивала золотыми волосами, было сейчас неприятно. Зоя на мгновение представила себе, что отец может ввести Оксану в дом и станет она для Зои...

Нет, не хотела бы она такой мачехи.

II

Во все концы от МТС, в близкие и далекие колхозы, пролегли свежие узорчатые следы. Пошли тракторы, свободно стало во дворе. Отныне каждое утро будет звенеть оживающая степь, наполненная бархатной музыкой моторов. Скоро завьются на горизонте первые дымки над степными вагончиками, над знаменитыми палубами трактористов. Появятся там на окнах голубые шторы. Над каждой палубой поднимется стройная антенна, вытянется в небо, тонкая, чуткая...

Таких палуб семнадцать. Далеко разбросаны они одна от другой, едва виднеются то тут, то там в затканном хрустальным маревом просторе, глубоко осели колесами в землю разных колхозов, которые обслуживает Солончанская МТС. На все четыре стороны света — равнина и равнина, бывшее морское дно. А если подняться на вышку, то на юге, вдали, можно увидеть и самое море, оно синее вровень с суходолом, даже выше суходола.

Семнадцать палуб — семнадцать антенн над ними, и все они как бы прислушиваются со всех сторон к своему полевому штабу.

Стоит посреди степи усадьба машино-тракторной станции, и видна она на много километров. При отступле-

нии оккупанты разрушили постройки, а сейчас все опять уже стало на свои места, покрылось свежей рябой черепицей: мастерские, контора, жилые домики, гараж... В стороне — склады горючего с вкопанными в землю белыми цистернами.

Зимой двор заполняется множеством сельскохозяйственных машин, в мастерских с утра до ночи пылают горны и визжат станки, а в накуренной конторе томятся по углам беспризорные бухгалтеры, оттиснутые от своих столов властным степным людом. Идут совещания, семинары, различные курсы колхозных механизаторов.

При конторе, рядом с кабинетом директора, оборудована Зояна радиорубка. Зоя — радистка-диспетчер. Именно на нее направлены своими чуткими острями все семнадцать антенн на степных палубах трактористов. Поддерживая радиосвязь с бригадами, Зоя на некоторое время становится той точкой, где скрещиваются разбушевавшиеся страсти увлеченных трудом людей — бригадиров, механиков, учетчиков. Первые обращения с палуб — к ней, первый голос к палубам — ее голос.

Когда начинается сезон и тракторы на полях не остывают круглые сутки, заметно возрастает роль Зои. В работе Зоя находит истинное наслаждение, работа объединяет ее с коллективом, который давно уже стал для девочки и родней, и самой верной опорой в жизни.

С коллективом Зоя особенно сроднилась в годы войны. Наука дружбы, тяжелые испытания, выпавшие тогда на детскую долю Зои, — как они пригодились ей сейчас, когда Зоя, по выражению энтээсовского сторожа, «оперилась»! Сидит она в своей чистенькой радиорубке, окруженная блестящей аппаратурой.

В то далекое военное лето Солончанская МТС в полном составе двигалась на восток. На всю жизнь запомнились Зое грозные картины тех дней.

...Сухим удушьем пышет южная степь, плачут в будках дети, наблюдатели то и дело предупреждают колонну о вражеских самолетах. День за днем пылит бесконечный бурый шлях, скрежещет тяжелое железо.

Трактористов не хватало, часть их пошла в армию и в партизаны, но, несмотря на это, ни один трактор не остался без водителя. Карп Васильевич мобилизовал всех, в том числе женщин и подростков из семей трактористов. Свою жену он тоже посадил на трактор. Сам объяснил ей, что надо делать, сам запустил для нее мотор.

— Веди!

Зоя тряслась на тракторе возле матери. Колонна шла, растянувшись на многие километры. Десятки мощных тракторов и запыленных комбайнов, многокорпусные плуги и молотилки, мастерские, облупленные под ветрами степные палубы трактористов — все было поставлено на колесо, все двигалось по строгому маршруту, нанесенному на карту, которую старый коммунист Лысого хранил в пагрудном кармане гимнастерки.

В те дни Зоя лишь изредка могла разговаривать с отцом. Но, вероятно, именно в те дни ее детскому, острому уму полностью открылись и сердце отца, и его будничное величие, и его несгибаемая воля.

Карп Васильевич был душою колонны, ее вдохновенным вожак. Потрепанный директорский «газик» неутомимо, днем и ночью, метался вдоль колонны, вынося Карпа Васильевича то в один ее конец, то в другой. Директор с первого взгляда замечал малейшее нарушение порядка, больше того — он, кажется, наперед угадывал самые потаенные мысли и намерения каждого из подчиненных. Подбадривал уставших, сдерживал ретивых, внося в горячую, тревожную жизнь похода свою волю, свой продуманный темп, заранее рассчитанный ритм.

Проносась мимо трактора, на котором стояла возле матери Зоя, директор смотрел на дочку и на жену не улыбаясь. Небритый, запыленный, похудевший, внимательно провожал их глазами, иногда бросая коротко, почти жестоко:

— Мария, дистанцию!

Как-то колонна попала в сыпучие пески. Надо было самим на протяжении нескольких километров гатить дорогу. Рубили лозу, носили на дорогу и стелили ее под тракторы и комбайны. Зоя тоже носила наравне со взрослыми.

Хотя они ехали уже по чужим областям, в незнакомых районах, Карп Васильевич всюду чувствовал себя хозяином. Зоя припоминает: встретила на их пути большая железнодорожная станция. Самолеты только что бомбили ее... Страшное было зрелище: забитые эшелонами пути, свежие воронки, грозные пожары вокруг... Уже рвались где-то боеприпасы, каждую секунду могли вспыхнуть на путях многочисленные цистерны с горючим...

В колонне кое-кто поддавался панике: скорее назад, обойдем этот ад стороной! И в самом деле: казалось бы,

что Карпу Лысогору до той станции, мог бы держаться от нее подальше, горючим зарядился бы где-нибудь в другом месте. Так нет! Вызвав коммунистов и комсомольцев, Лысогор кинулся с ними в самое пекло, где все трещало, корежилось, дышало огнем. И вот уже вместо паровозов в эшелоны впряглись мощные солончанские тракторы, двинулись, оттягивая вагоны, платформы и цистерны подальше от пожаров. Как хотела тогда Зоя скорее вырасти, чтоб стать похожей на отца!

Потом выпали снега, ударила лютая зима, стало еще труднее. Но даже там, за Доном, где остановилась зимовать МТС, коллектив готовился к посевной, словно у себя в Солончаках. Правда, мастерских не хватало, приходилось работать на морозе под открытым небом, и кожа маминных пальцев не раз прилипала к сизому, холодному металлу. Ночью спали в степных вагончиках, и к утру маминны косы примерзали к стене.

То был настоящий фронт, и Зоя считает, что потеряла мать на фронте, за Доном...

Возвращались на Украину по железной дороге. Все погрузили, ничего не растеряли. Даже вылинявшие степные палубы стояли, надежно укрепленные, на платформах. Еще шла война, и все же военные коменданты открывали мирному солончанскому эшелону зеленую улицу.

Оксана Бойко тоже принимала участие в том походе; она дружила с Зонной матерью. Зоя до сих пор помнит, как горько переживали они обе, — и Оксана и мама, — когда муж Оксаны, тоже тракторист, на одной из переправ пошел под лед.

Не думали тогда ни Зоя, ни Оксана, что пройдут годы, появится со временем в их коллективе этот самый Савва-механик, этот чернобровый красавец, и посеет между ними ревнивую неприязнь...

III

«Интересно, будут ли ревновать при коммунизме? — думала Зоя, сидя в своей радиорубке над раскрытыми лекциями заочного курса. — Прекратятся ли когда-нибудь эти распри человеческих чувств, наступит ли в будущем примирение всех со всеми?»

До сих пор, когда она замечала в людях проявление ревности, зависти, честолюбия, ей казалось, что при определенных усилиях человек может противостоять этим пековым унижительным страстям. И вот теперь она сама и завидует и ревнует. Обидно, больно ей сознавать это. Новое, недоброе чувство врывается в ее ровные, ясные отношения с людьми.

«Нашему Жаворонку легко летается: все ему родные!» — говорили трактористы. Они называли Зою своим Жаворонком. В самом деле, они привыкли к ней, как привыкли к жаворонку, который всю весну звенит у них над головой. И относились к ней, как к этой весенней птичке: с ласковым превосходством, с добродушной нежностью, с полным доверием. Эти обветренные степовики хорошо знали, что диспетчер никогда их не подведет, держит связь отлично; знали, что Зоя ни на кого из них не нажалуется за те несдержанные выражения, что иногда сами собой врываются к ней в рубку. Считалось, что Зоя им должна это прощать, — ведь она для них, степовиков, как медсестра для гвардейцев переднего края.

И Зоя им все прощает, понимая, что бывают такие моменты, когда человеку никак невозможно сдержаться.

Всегда приветливо, как-то по-сестрински звенит в эфире ее милый голосок. Уже по одному дыханию, по ее первой интонации опытный бригадир может определить, кто будет сегодня говорить с ним сверху и чем обернется для него этот разговор.

В каждой бригаде знают, что Зоя «болеет» за них, что она радуется их успехам. Это знала до сих пор и Оксана Бойко, ибо до сих пор так и было. Но как будет дальше? Неужели нынче появилось что-то чужое, неискреннее в жизни Зоинной радиорубки?

До сих пор Зоя была доброжелательна ко всем без исключения.

В течение сезона Зое первой приходится встречать прибой горячих трудовых страстей, которые неудержимо бурлят, накатываются на диспетчера из бригад. Если радости, то еще свежие, горячие, неприрученные; если сомнения, то самые откровенные; если упреки, то самые тяжелые, самые резкие. Слушать должна все, даже то, что режет ее девичий слух, но запоминать самое существенное.

Вот так и сейчас. Выслушав долгую исповедь, отсеяв лишнее, записывает в журнал: у Паливоды авария. Причины такие-то. Меры принять такие-то.

Потом, посмотревшись в зеркальце, Зоя выходит из рубки и направляется через двор к гаражу.

Думает о чем-то приятном, и тугие губки ее подергиваются, под ними живчиком бьется сдерживаемый смешок. Идет, как всегда, склонив голову чуть набок, закрывшись от солнца розовой косынкой. Лицо чистое, по-детски нежное, а во всех движениях гибкой фигуры, перехваченной узким поясочком, уже есть что-то неосознанное жемское.

Возле гаража стоит наготове «буревестник» — разъездная ремонтная мастерская-летучка. Она оборудована всем необходимым и, как степная палуба, тоже радиофицирована. Командир «буревестника» — он, Савва-механик.

Увидя радистку, Савва шутя берет под козырек. В офицерском галифе, в синей безрукавке, стройный, смуглый, как черт. И в блестящих глазах у него тоже водятся чертики: все время скачут, весело, дерзко.

— Привет нашему Жаворонку! Чем нынче порадуешь?

Зоя смотрит на него из-под косынки широко открытыми глазами. Смотрит удивленно, не мигая, и глаза постепенно становятся влажными, приобретают необычный блеск.

— У Паливоды авария. «Натик» лег.

— Опять у Паливоды?! Когда же ты меня пошлешь... к Оксане?

— Не бойся, если что-нибудь случится, пошлю. Но у нее это редко бывает.

— К сожалению.

— Наоборот!

Выяснив, чего хочет Паливода, и беззлобно ругнувшись по этому случаю, Савва бежит к мастерским, чтобы взять нужные запасные части для починки трактора.

Зоя уже может уходить, но что-то приковывает ее к месту. Сказала Савве, что послала бы к Оксане... Так уж и послала бы? Конечно, нелегко это, но...

Возвращаясь к машине, Савва на ходу полусхвату пытается обнять Зою свободной рукой:

— Славная растет кому-то невесточка!

Изогнувшись, девушка волной выскальзывает у него из-под руки, слегка бьет механика по горячей плотной спине:

— Давай без этого, Савва...

И стоит, будто ждет чего-то. «Буревестник» тем временем трогается, набирает скорость, удаляется в открытую степь. Легкая пыль поднимается за ним. Еще вчера не пылило, а сегодня уже завихривается вслед. Что будет завтра? Быстро сушит ветер землю. Надо бы, ой, надо бы дождя!..

Зоя стоит задумчивая, провожает машину глазами. Уже далеко вьется вслед «буревестнику» серый вихрик по степи... Вот он поворачивает, исчезает за зеленым валом лесополосы.

Но не исчезает Савва из Зопных мечтаний. Все время рисуется в девичьем воображении его образ. Вот легко шагает Савва с неуклюжим Паливодой по пахоте, и ласточки заигрывают с ним. А вот ночь, и он уже в другой бригаде, может, даже в Оксаниной, лежа наизничь под трактором, умело, красиво работает, освещенный багровыми факелами.

Когда он вернется? Вернулся бы к вечеру, может, вышел бы опять во двор со своим голосистым баяном... Но разве не от нее, не от Зои, зависит возвращение Саввы? Может, она сама, перехватив Савву в степи, пошлет его прямо от Паливоды в какую-нибудь другую бригаду, прикажет мчаться туда как можно скорее, не заезжая в МТС.

И прикажет и пошлет, несмотря ни на что.

Странно он к ней относится... «Растет кому-то певесточка!»

Не для кого-то, а для тебя хотела бы расти, Савва!

Все сильнее припекает солнце. Пышет зноем двор, млеет слепящая, залитая хрустальным маревом степь.

IV

Шли дни, а дождей не было. Проходили где-то стороной, минуя Солончанскую МТС.

Карп Васильевич возвращался домой с каждым разом все более мрачный. Бывало, раньше придет — картуз у него на затылке, лицо сияет, а сейчас козырек надвинут на самые глаза, и пыль на нем — хоть буквы пальцем выводил.

Однажды Зоя слыхала, как отец в кабинете пробирал приезжего доцента из института механизации.

— Что вы все ездите по мелочам? — гремел он на гостя. — Вы мне тучи приручите. Пора!..

Доцент что-то твердил в ответ: видимо, возражал.

— Неправда, созрело! — не успокаивался отец. — Можно и нужно взять в свои руки движение воздушных течений... Доколе нам терпеть эту анархию в природе? Где-то тропические ливни, потопаы, а у нас каплю дождя не добудешь! Посмотрите вокруг: все держится на честном слове да на агротехнике...

По вечерам уже не слышно было Саввиных песен. Если он не выезжал, то по нескольку раз на день появлялся в конторе, злой, ошестинившийся — не подступись. Становился в дверях, опираясь плечом о косяк, и посматривал оттуда на барометр, висевший на стене между окнами.

— Снимите его, не то на ваших головах разобью! — угрожал Савва конторщикам.

Прибор действительно вел себя позорно. В то время как на земле все выгорало, барометр в конторе уже третий день показывал дождь.

Каждый по-своему глубоко переживал то, что причиняло боль всем.

По утрам, открывая в своей радиорубке окно, выходящее в степь, Зоя не видела там ничего утешительного. Чем дальше, тем больше степь теряла свои яркие краски, свою весеннюю свежесть. Уже начали проступать на ее зелени блеклые ржавые пятна. Воздух был сухой, даже на рассвете не выпадала роса.

Днем не только солнце — все небо, казалось, дышало зноем. Ливня, утрачивая свою голубизну, небо горело над головой — цинковое, белесое, беспощадное. А по краю огромной белесой чащи, вдоль всего горизонта высились неподвижные грязноватые стены пыли, предвестники далеких черных бурь.

Трактористы со своих палуб разговаривали с Зоей невесело, приглушенно. И сама она сидела среди своей аппаратуры, среди запыленных цветов и недочитанных книг настороженная, все время как будто к чему-то прислушивалась. Иногда ей казалось, что где-то гремит, и она бросалась к окну. Но горизонт по-прежнему был голый, ненавистный.

Переключаясь с трактористами, Зоя теперь прежде всего спрашивала:

— Как хлеб?

И никого не удивляло, что, сидя в своей келье, энтэ-эсовская радистка, как и все, беспокоится о колхозных хлебах, хотя трудодни ей не записываются, хотя сама она

п не пахала и не сеяла. И трактористы серьезно отвечали Зое, зная заранее, что это не для сводок, а для нее лично.

Нерадостными были их ответы.

— Земля местами трескается,— передавали с одного конца.

— У тракторов ребра болят, машины аж стонут,— передавали с другого.

Далеким бригады то и дело сами справлялись у Зои, не хмурится ли небо, не собирается ли дождь там, над МТС? Чем она могла их порадовать? Если б могла, сама превратилась бы в тучу и зашумела над ними дождем.

Бригада Оксаны работала в одном из самых отдаленных колхозов. Каждый вечер и каждое утро оттуда требовали метеосводок.

Требовали резко, пастойчиво, раздраженно.

V

Вечером, вернувшись с бюро райкома, отец ужинал. Зоя стояла у открытого окна. Звезды на горизонте мигали, дрожали, как живые. Вровень с окном тускло белели покрытые пылью расцветшие акации. Воздух был насыщен их густым, сладким ароматом.

Акации сажала еще Зоина мать... Знать бы, почему папа до сих пор не женился вторично? Уже и виски посидели, а в последние дни и плечи у него как-то по-стариковски опустились.

Квартира большая, гулкая, а голосов в ней мало... Этажерка с книгами. Пианино. На стенках венки из сухих колосьев. В углу алеют шелка переходящих энтээсовских знамен: от министерства, от центрального совета профсоюзов и то, которое МТС получила в эвакуации от облисполкома. Конечно, знаменам надлежало быть в клубе, но клуб еще не закончен, и директор хранит их дома. Знамена — дома, а личная корреспонденция, наоборот, хранится в конторе, аккуратно подшитая в папки наравне с официальными документами. Пожелтевшие письма фронтовиков, письма многочисленных воспитанников Солончанской МТС. «Дорогой Карп Васильевич!», «наша МТС», «наш коллектив», «наши хлопцы»... Где тут разграничить свое от общего, как отделить свое от своего же! Да и падо ли отделять?

Не успел отец поужинать, как в комнату ввалился старший агроном, дородный, розовощекий мужчина, которого в МТС называли «матерью-героиней». Поводом к этому послужило то, что как-то в праздник, будучи на веселе, он по ошибке прицепил на грудь рядом со своими медалями медаль своей жены. Добродушный агроном охотно откликнулся, когда его так называли.

— Говорил я тебе, Карп Васильевич,— громко сказал агроном, усаживаясь за стол,— не жалея дочь и приводи в хату мачеху. Не послушал меня... А теперь, видишь, должен ленивые вареники есть.

— При мачехе, может, никаких не ел бы,— заступился за дочку Карп Васильевич и, переводя разговор на другое, сообщил, что скоро прибывает партия новых тракторов.

— Опять нам будут хлопоты с кадрами,— забеспокоился агроном.— Готовь, выращивай — и все для чужого дяди.

— Погоди плакать, это еще не все, Филипп Захарыч. Как стало сегодня известно, часть трактористов нам придется передать лесозащитной станции.

Агроном всплеснул руками:

— Когда?

— Скоро... Как можно быстрее.

Зоя внимательно прислушивалась к разговору. Для нее не было безразлично ни то, что МТС получает новые тракторы, ни то, что часть трактористов перейдет на лесозащитную станцию. Жаль, конечно, отдавать, но ведь и туда нужно. В конце концов там проходит передний край борьбы против засух и суховеев. Вот кого только отпускать туда? Агроном настаивал:

— Пусть они еще столько поработают под пимн, сколько мы поработали!

— Нет, — спокойно возражал отец. — Мы пошлем туда не худших, а лучших. Самых лучших!

— Это ты серьезно, Карп Васильевич?

— Вполне серьезно. И чтоб не откладывать. Давай сейчас и подберем людей.

Зоя слыхала, как отец называл фамилии трактористов, — он называл действительно самых лучших. Может, и Оксану Бойко назовет? Хотела ли этого Зоя? Конечно. Пусть перешла бы Оксана на лесозащитную, может, забыл бы о пей Савва Грек и стал бы замечать других.

Но отец, почему-то не называет Оксану. Хотя, видимо, думает сейчас над этим. Ведь речь идет как раз об ее восьмой бригаде...

Так и не назвал.

Разочарованная, Зоя услышала из отцовских уст фамилию другого тракториста из бригады Оксаны Бойко.

VI

На другой день Оксана примчалась в МТС на мотоцикле. Ветром ворвалась в контору и, узнав, что директора нет, накинулась на старшего агронома:

— Что это такое, я вас спрашиваю? Вы хотите развалить мою бригаду, забрать от меня самых лучших трактористов?

— Не трактористов, а тракториста,— спокойно урезонил Оксану агроном.— Одного.

— Так почему именно Опришко?

— А почему не Опришко? Ты же знаешь, куда это... На лесозащитную.

— Чужому дядьке!

— Не чужому дядьке, товарищ Бойко, а для нас же, для общего дела.

Зоя слушала, улыбаясь тому, что «мать-героиня», быстро переориентировавшись, уже убеждает Оксану отцовскими доводами.

Через некоторое время, проходя по коридору, Зоя поздоровалась с трактористкой. Ладонь у Оксаны была в мазуте, и вместо нее она подставила свой полный загорелый локоть.

Заглушая обиду, девушка должна была пожать сопернице локоть.

«Зачем она это делает? — горько думала Зоя позже. — Чтоб подчеркнуть, что я белоручка? Но разве могут все быть такими, как она, Оксана? Может, и мне хотелось бы надеть такие же защитные очки, мчаться ветром по полю, смело тряхнуть агроному душу. Но ведь не у каждого Оксанин характер, и в конце концов в скромной радиорубке тоже пужно кому-то сидеть. Конечно, ей неприятны и мои босоножки, и мои заплетенные косы, и мои белые руки. Но разве я виновата в этом? И даже в том, что мне очень нравится Савва Грек, — разве я перед кем-нибудь виновата?»

Когда Оксана уехала, конторские девушки, смеясь, говорили Зое:

— Ну и клятая же у тебя будет мачеха! Огопы!..

— С чего вы взяли, что... у меня?

— А ты будто и не знаешь, что она давно уже сохнет по Карпу Васильевичу.

«Как же, сохнет!.. — подумала Зоя. — Ходит такая раскормленная, в комбинезон не вмещается».

— Выдумки, — возразила Зоя подругам. — Там будто бы Савва паш...

— Савва там тяплет пустой помер, Зойка... Ничего он там не добьется!

«А все-таки добивается! — воскликнула в душе Зоя. — Сами девчата говорят. Не может быть, чтобы он да не достиг своего!»

Девушке казалось, что все смотрят на механика ее глазами, что для всех он такой же неотразимый, такой же прекрасный, как и для нее.

Конечно, девушки шутят, говоря, будто Оксана «сохнет». А хотя б даже и «сохла»... Может, лучше, чтоб она была Зое мачехой, чем...

Соперницей стоит она перед Зоей сегодня, соперницей будет стоять перед ней и завтра и послезавтра.

VII

Иногда из эфира к Зое неожиданно прорывались какие-то посторонние голоса и тоже запрашивали о дожде. Ничего в этом не было удивительного — радиофицированных МТС с каждым годом становилось на юге все больше и больше.

Один такой голос до глубины души порастил девушку. Вероятно, если бы сквозь эфир к ней донеслись позывные Марса, она не была бы так взволнована, как услышав этот голос. В отличие от других, он был безгранично радостный, счастливо тревожный, задушевный. Зазвенел, будто совсем близко. Зоя даже вздрогнула от неожиданности. Дважды подряд неизвестный повторил энергично и радостно:

— Ты видишь тучу? Ты видишь тучу?

И исчез, затерялся в эфире. Оглушенная девушка выглянула в окно, отыскивая в небе загадочную тучу, по

никакой тучи не увидела. «Да ведь это он не ко мне! — спохватилась наконец Зоя. — Это он обращался к кому-то из своих, а ко мне прорвался случайно. Но какой хороший, приятный голос... Как будто Саввин!»

В этот день она не раз ловила себя на том, что опять хочет услышать этот загадочный юношеский голос. Пусть бы сказал еще что-нибудь, пусть бы рассказал подробнее о той радостной туче: где она сейчас, с какой стороны ее высматривать.

Однако неизвестный голос больше не повторялся.

«Интересно, кто бы это мог быть? — спрашивала себя Зоя. — Лесозащитная станция или какой-нибудь летчик с приморского аэродрома? Почему бы нет? Возможно, он поднялся так высоко, что увидел дождевые тучи, которые уже движутся сюда...»

Между тем солнце парило, как и раньше. Открытые небу хлеба, казалось, из последних сил цеплялись за жизнь. На них больно было смотреть.

Когда Зоя под свежим впечатлением рассказала подругам об услышанном ею таинственном голосе, девушек разобрало любопытство.

— Не причудилось ли тебе? Не пригрезилось?

— О нет.

— По-твоему, кто же это?

Зоя улыбнулась:

— Друг.

Она промолчала о том, что голос, донесший до нее добрую весть, был для нее похож на голос Саввы. Девушки допытывались шутя:

— Ты, Зойка, наверное, не все нам рассказала. Признавайся, где это ты завела друзей? Среди летчиков? Или среди моряков?

Зоя лишь краснела в ответ.

А во второй половине дня наступило наконец долгожданное.

Из-за горизонта медленно выполз чуть заметный уголок спней тучи. Залитая солнцем степь сразу притихла, заатаила дыхание, как бы ожидая, что из этого выйдет. А уголок тем временем упрямо тянулся вверх, разрастался вширь, постепенно превращаясь в тучу, в темно-синий горный хребет, который скоро уже закрыл собою огромный сектор неба.

И вдруг хребет разломился, огненная трещина пересекла его поперек, сверху до самого низа. Загре-

мело. Облегченно вздохнула степь и радостнее стало вокруг.

Все пришло в движение. Пока в небе нарастала гроза, пока там все переворачивалось, гудело и строилось, табуны вихрей помчались по равнине, по потемневшим степям заволновались, забурунили зеленые валы лесополос, засуетились в воздухе птицы.

Нежным шелестом отзывались на все, что происходило вокруг, акации, посаженные возле конторы.

Карп Васильевич, разительного помолодевший, уже стоял на крыльце и, скинув фуражку, смотрел вверх, словно ожидая оттуда кого-то дорогого, желанного...

Зоя щебетала в своей рубке. Как только показался на горизонте тот далекий уголок, она кинулась к карте, лежавшей на отдаленном столе и утыканной красными флажками. Все бригады были перед радисткой как на ладони. Взволнованно оглядывая их, Зоя старалась определить, которым из них уже «все видно», а какие еще ничего не знают. Вот тут, наверное, уже бегут по пивам первые радостные тепы, опережая дождь. А там, дальше, еще жжет, там еще не знают, какой радостью охвачены все в МТС: и рабочие, и начальство, и Зоя-радистка.

Все должны об этом узнать, пусть радуются все!

И, вызывая по очереди далекие, тонущие в зное бригады, Зоя начинает делиться своим богатством.

— Вы видите тучу?

— Вы видите тучу? — заливается она жаворонком.

С детской щедростью раздавала Зоя всем свое радостное богатство и, раздавая его, не беднела, а, наоборот, сама становилась еще богаче.

Все ближе гремело, вспыхивало... Седая полноводная туча уже висела над всей степью. Светлые паруса дождя уже распускались на горизонте. Все ближе и ближе... Вот уже донесся от шляха запах примоченной горячей пыли. С тихим звоном упали первые крупные капли, все встрепнулось за окном, и уже широкой, чарующей музыкой зашумел дождь, тот исцеляющий майский дождь, о котором говорят, что это сыплется с неба золото.

Долго его ждали, его еще и сейчас ждут где-то неоглядные Зоины поля, неисчислимые друзья девушки... И она спешит порадовать их, подбодрить.

Когда дошла очередь вызывать Оксану Бойко, Зоя на мгновение заколебалась. Много боли прицепила ей соперница, надо ли сейчас осыпать ее таким счастьем?

«Надо, надо!» — звучало в сердце, и Зоя, вызвав Оксану, уже пела сопернице в далекий степной вагончик:

— Оксана, Оксана, ты слышишь, ты видишь?.. К вам пошел дождь!

Оксана благодарно, ласково отвечала, что видит.

Счастливая, взволнованная Зоя, наверное, и сама не знала, какой красивой стала она в эти минуты. Вдохновение красило ее, прихорашивало щедро, как мать. Глазеньки сияли, щеки зарделись. Стоял под окном промокший механик Савва Грек и, как будто впервые увидев, внимательно разглядывал девушку. Пробежал он мимо и, прячась от дождя, остановился, незамеченный, под окном. Передохнув, двинулся было дальше, но вдруг почему-то остановился: что-то приковало его к месту.

— Жаворопок!

Девушка вздрогнула, подняла глаза на Савву, улыбнулась.

Поседела в дождях даль, вода уже блестела на шляху, земля набиралась сил. Хлеба заметно свежели, будто наливались густым зеленым соком.

Ожидая, пока разыщут председателя колхоза, скульптор сидел на крыльце конторы и спокойно попивал минеральную воду. Стояла сильная жара. Молодые деревца устало опустили ветви, будто хотели совсем свернуться и укрыться в собственной тени. Безлюдный двор, просторный, песчаный и горячий, напоминал собой кусочек пустыни, случайно заброшенный сюда. Был час обеденного перерыва, и все живое попряталось в тень, притаилось, затихло. Лишь в конторе кто-то изредка пощелкивал на счетах да над цветниками гудели неутомимые пчелы. После городского шума и грохота, после утомительной дороги скульптор отдыхал. Снял галстук, расстегнул ворот рубахи и почувствовал себя почти как дома.

Его покой неожиданно был нарушен табунком полуголых, до черноты зажаренных солнцем мальчишек. Выпорхнув откуда-то из-за стены и увидев на крыльце незнакомого пожилого человека в белом костюме, они остановились крайне заинтересованные: кто бы это мог быть?

Стали энергично высказывать разные предположения:

— Лектор? Кандидат наук?

— Наверное, приехал по зеленому конвейеру.

— Или за мериносами...

— Гляди, какая лысина: хоть на коньках катайся!..

Скульптор добродушно усмехался, любясь ребятами. Мысленно он уже начинал лепить их стройные фигурки, переводил из глины в бронзу, выставлял на видных местах в городском саду.

Тем временем подошел председатель, приветливый краснощекий человек с искристыми неуловимыми глазами. Откуда-то ему уже было известно, что скульптор приехал лепить знатную колхозницу Меланию Чобитько,

— Сейчас все организуем, — заявил председатель. — Я уже дал команду.

И, дружелюбно оглядев гостя, пригласил его в свой кабинет.

В просторном, залптом солнцем кабинете было пышно и багряно от знамен. Порядок во всем, блеск, чистота.

— О, у вас, как у министра, — заметил скульптор.

Председатель принял его комплимент довольно спокойно.

— А как же... Вот поляков здесь принимал, еще и стульев не вынесли. Прошу, садитесь, — указал он гостю место против себя.

Усевшись, они некоторое время молча изучали друг друга. Председатель застыл за столом, как кобчик, зоркий, крутошей, весело настороженный. В первый момент скульптору странно было видеть на блестящем стекле стола рядом с резным письменным прибором загорелые руки председателя и черные рукава его пиджака. Однако вскоре скульптор и в этом нашел своеобразную привлекательность и гармонию. Эти узловатые руки тоже стоили того, чтобы их вылепить.

— Расскажите мне, пожалуйста, о вашей героине, — попросил скульптор, кладя ногу на ногу. — Я о ней знаю только из газет.

— Про нее и в журналах писалось...

— Читал. И фотографии вырезал, правда, одни только профили: анфас нигде не попадался.

— Что ж вам о ней рассказать?.. — мялся председатель, видимо не зная, что именно нужно от него этому лысому субъекту с холеным, как будто пакрахмаленным лицом. — Золотой человек. Скромная, работающая, настоящая патриотка. У нас ее очень уважают. Отец погиб на фронте, кончила семь классов. Звезду заработала на кукурузе, а в этом году взялась еще и за подсолнухи.

— Это все хорошо, но для меня этого слишком мало. Вы понимаете, товарищ председатель... Как бы вам это попроще?.. Одним словом, мне не анкета ее нужна, — меня интересует ее душа, характер.

Хозяин задумался, вздохнул. Поди разбери вас, кому что надо: тому дай анкету, тому душу, а тому еще что-нибудь.

— Характер вы сами увидите. Тихий, добрый... Отпо- сительно же души, — усмехнулся, поглядев в потолок, председатель, — не знаю, откроется ли она вам.

— А почему бы и нет?

— Да так... Душа — вещь тонкая, к ней особенные ключи пужпы. Но позвольте поинтересоваться: зачем вам душа? Вы же будете лепить, вам, так сказать, фигуру дай, физиономию...

— О нет, не только это! — горячо возразил скульптор, и председатель сразу почувствовал, что залез не в свои сапи.— Внешность, конечно, для нас тоже много значит, но подлинные источники красоты...

Гость не успел закончить свою мысль. В дверь кто-то сдержанно постучал.

— Заходи! — крикнул председатель, видимо по стуку узнав посетителя.

Дверь открылась, и в кабинет, сверкая Золотой Звездой, песмело вошла плотная девушка в черном шерстяном жакете, повязанная снежно-белым платком. Скульптор скорее угадал, нежели узнал в ней Меланию Чобитько.

— Вы меня звали, Иван Федорович?

— Звал. Вот познакомься: товарищ скульптор приехал тебя лепить.

Знакомясь, скульптор окинул девушку острым взглядом профессионала. И ему сразу стало понятно, почему она появлялась в газетах только в профиль. Мелания не могла похвастать красотой; и фотокорреспонденты, вероятно, немало потрудились, подыскивая для нее позу, когда девушка выглядела бы лучше, чем была в действительности. Что ж, фотографам это удастся, но как быть скульптору?

Председатель посадил Меланию по правую руку от себя, под знаменами и венками из сухих рисовых колосьев. Смотрел на нее ободряюще, почти восторженно, как на писапую красавицу. Кто знает, может, Мелания и казалась ему такой? Но она сама, видимо, хорошо сознавала свое несовершенство и все время смущалась под внимательным, паучающим взглядом скульптора, будто в чем-то провинилась перед ним. Сидеть ей было пестерпимо трудно. Ей мешали собственные плечи, собственные руки и ноги, и вся она, казалось, сама себе мешала.

— Вот, значит, Мелашка, наш уважаемый гость, товарищ скульптор, — зачем-то еще раз пояснил председатель. — Он хочет лепить тебя для выставки.

Председатель лукаво посмотрел на Меланию, и скульптор посмотрел, и она сама как бы взглянула на себя со стороны.

— Такое придумали! — сгорая от стыда, потупилась девушка. — Нашли кого!..

Скульптор следил за ней с беспощадностью мастера-профессионала. Мелания как бы парочно взялась разрушить все его творческие замыслы. Держалась принужденно, через силу, мешковато, и чем дальше, тем эта нескладность не только не уменьшалась, а, наоборот, еще больше бросалась ему в глаза. Он понимал, что нелегко будет девушке сидеть перед столичным скульптором, зная заранее, чего он хочет, желая ему угодить и не умея угадать, как именно. Он все ждал, что вот Мелания придет в себя, освоится, станет вести себя свободно, естественно. Но где там!.. Сидит как на иголках и то и дело криво улыбается Ивану Федоровичу, прикрывая губы платочком. Вначале это забавляло, но потом начало раздражать. Может, она вообще не умест быть иной, может, эта неуклюжая, примитивная манерность уже влезла в существо девушки, стала второй натурой, и ничем ее не выбьешь?! Ах, Мелания, Мелания, трудно тебя лепить!

Разговор не клеился. Мелания слова не могла сказать, чтоб не взглянуть на председателя и не спросить глазами: так ли, мол, впопад ли? Скульптору было обидно за нее. Такая здоровая, свежая, парядная — и в то же время совсем беспомощная... Будь такая возможность, она бы, видимо, с радостью согласилась, чтобы председатель и говорил, и шутил, и позировал вместо нее, лишь бы только самой избавиться от этой мороки. «Неужели она всегда такая? — первичал скульптор. — Неужели не бывает у нее... этой... искры?»

— Скажите, у вас есть родственники, друзья? — спросил он, заходя с другой стороны.

Мелания густо покраспела.

— Родственники есть, — чуть слышно прошептала после паузы. — И друзья... О каких друзьях вы спрашиваете?

— Она еще не замужем, — брякнул председатель, неприязненно взглянув на скульптора.

Скульптор понял, что дал маху, что это бестактно и не надо было вовсе об этом спрашивать. Да разве все предусмотреть, разве угадаешь, как к ней подойти!..

С какой стороны ни заходил — все она была не та, какой он хотел и надеялся ее увидеть. Попробуй-ка выхвати характер из этого хаоса небрежных линий, неуклюжих жестов!..

«Все это типичное не то! — наконец горько признал скульптор. — И мне, собственно, здесь нечего делать. Возвращаться, пока не поздно! Но чем же теперь отговориться, как выпутаться из всей этой истории? Чтоб ее не обидеть, так, будто ничего и не было? Ведь она, в сущности, ни в чем не виновата... Так же, впрочем, как и я».

— Вот, Мелаша, ты имеешь шанс, — весело сказал председатель. — Когда-то только богинь лепили, а теперь уже и до нас очередь дошла. Вперед прогрессируем. Разве не так?

— Лучше бы вы взяли мою подругу... Ганю.

— Ганя Ганей, а ты тоже не приbedняйся. Лепись... Тсперь перед нами еще одна проблема: падо где-нибудь устроить гостя.

— Да я ненадолго, — предусмотрительно начал отступать скульптор. — Возможно, завтра и уеду.

— Как?! — поразился председатель. — За ночь выспите?

— Лепить я, собственно, буду дома, в своей мастерской. А здесь разве что сделаю какне-нибудь заготовки. — В голосе скульптора послышались нотки оправдания. — У меня свой метод. Для меня главное — увидеть живого человека, запечатлеть в памяти, чтоб уже потом...

— Ну, это дело ваше, — перебил председатель. — Не мне судить о вашем методе. Но устроить вас мы должны. Сейчас что-нибудь придумаем.

— Что тут думать, — мягко вмешалась Мелания. — Если уж ко мне приехали, так пусть у меня и останавливаются. Никого с места не согнут.

— В самом деле, — подхватил председатель, который, очевидно, на это и рассчитывал, — у тебя просторно, спокойно, малышей нет. Ты там уж прояви инициативу.

— Не беспокойтесь. Голодать не будут.

Все поднялись. Скульптор пошел в угол к своему чемодану, но Мелания оказалась более проворной, чем он: чемодан уже был у нее в руке. Несмотря на искренние протесты гостя, она понесла его багаж.

— Если уж взялась, то не выпустит, — смеялся председатель, провожая гостя на крыльцо. — У нас такие кадры.

Легко и быстро шла Мелания через колхозный двор. Скульптор с непривычки едва поспевал за ней. В эти минуты он чувствовал себя, больше чем когда бы то ни было, помошным, изношенным и стареющим человеком.

Хата у Мелании была как в веночке: прохладно, зелено, чисто. Пол засыпан травой, печь разрисована петухами, стол накрыт вышитой скатертью. На месте божницы этажерка с книгами, над ней портрет Ули Громовой, вырезанный из какого-то журнала.

Вскоре на столе появились миски и тарелки. Скульптор искоса поглядывал на них тревожным взглядом вечно запуганного диетика.

— Прошу вас, не ставьте столько... Я диетик.

Мелания на мгновение растерялась:

— Так что же это будет?

— А ничего не будет.

— Нет, вы скажите, что вам можно, я все достану. Сливки употребляете? Яйца, молоко, мед? Вы уже сами выбирайте, потому что я не знаю.— Поставила на выбор, подала чистый рушник.— Будьте добры, чем богаты, тем и рады.

Скульптор ел, и каждый кусок застревал у него в горле. Вот завтра он уедет, ничего не сделав, потерпев еще одно творческое поражение. Сколько этих поражений только за послевоенные годы! Там формализм, там патриархальность, там еще какая-нибудь чертовщина. «Может, взгляд притупился, может, я уже чего-то не вижу? — думал скульптор, давясь белым душистым хлебом Мелании.— Генералы мне удавались, почему же не удастся простой человек труда? Ехал сюда, надеясь глубже постичь его, проникнуться его высоким, благородным пафосом, а чем все это кончается? Позором! Разочаровался и удрал. Что после этого скажет обо мне председатель колхоза, что подумает эта недалекая, наивная, но добрая и хорошая Мелания?» Раньше скульптор как-то мало обращал внимания на таких, как они, а сейчас это его уже беспокоило, их мнение было для него совсем не безразлично. «А может, другой сумел бы вылепить Меланию?— вдруг промелькнуло жестокое предположение, и скульптор стал перебирать в памяти своих коллег, преимущественно молодых талантливых мастеров.— Может, они лучше видят, может, я просто выдохся или в чем-нибудь ошибаюсь и не могу постичь, открыть ее душу? О, это было бы ужасно!»

Звеневая тем временем переделась в другой комнате и стояла на пороге, босая, подтянутая, привлекательная в своем рабочем костюме,

— Мне надо идти... У меня подсолнухи... А вы тут отдыхайте. Вот кровать, вот простыни.

— Благодарю.

Мелания вышла, в хате сразу потемнело: со двора она тихо прикрыла ставень. Заботилась о том, чтоб не жарко было уважаемому гостю!

До вечера скульптор успел и отдохнуть, и пабросать несколько портретов ребятишек, которых он видел возле конторы, и походить с председателем артели по хозяйству. Они побывали на фермах, в кузнице, на электростанции. Слух о приезде скульптора уже успел облететь село, и всюду гостя встречали приветливо и любезно. На ферме щебетливые доярки устроили ему настоящий допрос, живо интересуясь, кого он уже вылепил на своем веку, и хорошо ли у него выходит, и в какой позе он изобразит Меланию Чобитько.

— Вылепите нашу Милю такой, чтоб все на нее заглядывались,— требовали колхозницы.— Она этого достойна!

Когда он вошел в кузницу, кузнецы перестали грохотать своими молотами и, закурив, с готовностью отвечали на его вопросы. Гость хочет знать, кто это здесь так влюблен в цветы?

— А это ж наши девчата... Везде понасеяли: и возле конторы, и возле клуба, и даже около кузницы. Началось с того, что Мелашка...

Ах, опять Мелашка! Куда ни ткнешься, всюду попадаешь на ее след.

— Такая уж она у вас ловкая?

— Эге!.. Видно, мало вы ее знаете... Неусыпный, преданный, золотой человек.

— Восход солнца всегда в поле встречает.

— Вы уж ее, товарищ скульптор, не обидьте... Дайте волю своему таланту.

Дать волю своему таланту!.. Скульптора и трогало и угнетало то уважительное внимание, которое проявляли колхозники к нему и к его искусству. Ему казалось, что он не заслужил такого почета и такого доверия. Совесть его была неспокойна, он чувствовал себя человеком, который, помимо своей воли, присваивает себе то, что ему не принадлежит.

Чем дальше, тем больше убеждался скульптор в том, что ему надо немедленно уезжать отсюда. Нечего сидеть на шее у этих честных, работающих людей, скрывать от

них свое творческое бессилие, злоупотреблять их гостеприимством. Они с тобой почему-то нянчатся, они от тебя чего-то ждут, а ты... Чем ты их порадуешь? Езжай прочь, это для тебя самый лучший выход!.. Тебя беспокоит, как они потом истолкуют твой поступок? Об этом уже сейчас можно догадаться: не Мелания, а ты будешь виноват во всем... Она для них «золотой человек», независимо от того, вылепишь ты ее или нет.

— Вот это наша электростанция, — пояснил Иван Федорович, выходя на плотину, в конце которой видно было массивное красное строение. — Разве не красавица, а?

— Красавица, — согласился скульптор и, остановившись, загляделся на бешеный водопад, падающее сиюминутное снежно-белой пены. — Давно построили?

— Пустили в позапрошлом году, а строительство начали еще в сорок четвертом. Вся эта плотина, можно сказать, насыпана женскими руками. Прекрасные у нас женщины, если подумать... Если бы мне ваш талапт, я бы всех наших колхозниц вылепил как героинь современной эпохи!

— Попробуйте, — улыбнулся скульптор, — и вы убедитесь, что это не так просто.

— А я и не говорю, что просто... Но ведь заслуживают, честное слово! Возьмите хотя бы прошлые годы: мы еще где-то на фронтах бьемся, на тех Одерах и Балатонах, а они здесь, как гвардейцы, и молотилку по полю на себе перетаскивают, и вот какую плотину возводят к нашему приходу. Думаете, поднять сотни кубометров земли — это так уж просто? Между прочим, Мелашка здесь тоже отличилась, не выпрыгала из тачки дни и ночи...

Слушая председателя колхоза, скульптор представлял себе Меланию в различных обстоятельствах, однако уже ничто не могло поколебать его первого впечатления. И в поле за молотилкой, и на тяжелых земляных работах во время строительства электростанции — всюду Мелания оставалась одинаковой, той некрасивой, скованной, неуклюжей, какой он встретил ее сегодня в копторе. Напрасно теперь Иван Федорович силился как-нибудь поправить положение и снова поднять свою колхозницу в глазах скульптора. «Я отдаю должное ее повседневному героизму, ее славным делам, — думал гость о Мелании, — но разве этим заменишь, компенсируешь то, чего, к сожалению, не хватает ей лично?»

— Люди у вас действительно прекрасные, и я понимаю ваши чувства, Иван Федорович. Хотел бы, чтоб и вы меня поняли...

— Да что тут понимать!.. Вы, значит, решили все-таки ехать?

— Решил.

— Ну хорошо. На завтра меня вызывают в район, так заодно уж подброшу и вас до станции, чтоб лошадей лишней раз не гонять.

Разошлись холодно. Иван Федорович, буркнув, что ему надо к трактористам, подался через плотину в степь, а скульптор направился домой (так мысленно назвал он хату Мелании).

По дороге скульптора ждал маленький конфуз: он заблудился. Все хаты казались ему на один мапер: всюду, как и у Мелании, подведены голубым, везде под застрехами белеют изоляторы и в стенах исчезают провода, во всех окнах одинаково пламенеют лучи солнца, которое, уже побагровев, садится на той стороне реки, за горой.

«И нужно же такому случиться! — горевал скульптор, останавливаясь у чьей-то калитки. — Среди бела дня — и заблудился! Куда теперь?»

В это время на другом конце улицы поднялась туча розовой пыли: возвращалось стадо с пастбища, и волею-неволей надо было куда-то сворачивать.

Но куда?

Скульптор не подозревал, что рядом, у него за спиной, уже стоят наготове спасители. Это были те самые ребята, с которых он рисовал эскизы на будущее. Стояли как будто равнодушно, заложив руки за спину и закусив губы, чтоб не смеяться. Они, вероятно, все время шли следом, заметили, как он миновал хату Мелании и как растерялся, увидев стадо, запрудившее перед ним улицу.

— Мы вас проводим, — уверенно сказал белоголовый смельчак лет восьми. — Мы знаем, куда вам надо.

— А куда?

— К Мелашке Чобитьковой.

— Верно.

— Только давайте быстрее, потому что вас чередá запылит.

— А вас пет?

— Мы не боимся.

Смущенно оглядываясь, скульптор двинулся за ребятами.

— Хаты у вас одинаковые, сбили меня с толку.

— Это вам только кажется, что одинаковые. А зайдите в середину, так они очень разные!

— Возможно, не спору.

— А что все побелены и голубым подведены, так это к Первому мая готовились. Субботник был.

— Завхоз одинаковую синьку для всех привез... Чтоб не поссорились, говорит... Вам вот сюда.

— Вижу, уже вижу... Спасибо, что проводили.

— Не за что!

Скульптор вошел во двор, притворил за собой калитку и облегченно вздохнул.

Мелании дома еще не было.

Вернулась она уже после захода солнца со снопом травы и васильков, собранных где-то на полевой меже.

Своего квартиранта застала на огороде. Словился среди зеленых зарослей, приглядывался, прищупывался ко всему, что она посадила и посеяла.

— Изучаете?

— Да нет, так интересуюсь. Это и вся ваша грядка?

— А зачем мне больше?

— Я здесь вижу лишь цветы. Крученые панычи, и анютины глазки, и фиалки... А где же ваши подсолнухи, кукуруза?

— Все там,— засмеялась Мелания и махнула рукой за гору.— Мое все там, и я вся там.

Добродушная, веселая, она в этот момент нравилась скульптору. Ему хотелось сейчас увидеть выражение ее лица, но сумерки сгустились, и, кроме девичьего силуэта со снопом в руке, он ничего не видел.

— Надо идти,— спохватилась Мелания, направляясь к хате.— Сегодня еще комсомольское собрание... А ключ у вас?

— У меня. Если не потерял.

— В другой раз оставляйте его вот здесь, за ставнем.

— Да ведь я... завтра уеду.

— Уже?..

— Уже... Может, осенью прпеду.

— Вам виднее, — глухо промолвила девушка, отпирая хату. В голосе ее слышалась приглушенная обида.

Скульптор виновато молчал. Хотел как-то утешить ее, объяснить ей все... Но поймет ли?

Сидел на завалинке, стыдясь войти в хату. Там шумело радио, возилась неутомимая Мелания. Что она ду-

мает о нем? Ведь теперь ей все понятно, не так она, пожалуй, наивна, как это ему вначале показалось.

Вскоре к Мелании забежали девушки, вероятно, ее подруги по звену. Притворно пугаясь одетого в белый костюм скульптора, они шмыгнули мимо него в дверь, и сразу в комнате зазвенел смех, зазвучали девичьи выкрики и шутки. Вспоминали какого-то Дмитра из «Хвыли коммунизма», потом выяснилось, что Дмитро влюблен в Меланию; и скульптора уже не удивляло, что кто-то может быть в нее влюблен.

Вечер был прекрасный, звездный, песенный. Воздух посвежел, наполнился прохладными запахами ночных цветов.

Где-то возле клуба гремел громкоговоритель, из Большого театра транслировали концерт.

Мелания вышла с девушками наряженная, как на праздник. Сказав гостю, что ужин на столе, схватила подруг под руки, и так гурьбой они исчезли в сумерках. Скульптор еще долго слышал их громкий смех и, допуская, что девушки могли смеяться над ним, не в силах был обидеться. Поднялся и, устало спотыкаясь, пошел спать.

На другой день скульптор уезжал с Иваном Федоровичем на выездной тачанке.

С Меланией скульптор даже не простился. Утром, когда он поднялся, на столе его уже ждал приготовленный диетический завтрак, а самой девушки и след простыл: побежала на работу. Пришлось запереть гостеприимную хату и положить ключ за зеленый ставень, как было сказано ему накануне.

И вот теперь он едет, покачивается с председателем на тачанке. Неудобно так выезжать, не простившись: в самом деле будто удирает.

— Иван Федорович, — обратился он к председателю, — нельзя ли заскочить на минутку к Мелании? Туда, где она работает.

— Как это нельзя? — откликнулся председатель. — Все можно! Правда, круг сделаем, ну да это небольшой минус... Гауи, Мишка, через вторую бригаду, — приказал он кучеру.

— Это что у вас посажено? — спросил скульптор, показывая на зеленую кустистую плантацию.

— Арахис.

— Впервые слышу.

— Земляные орехи. Те, что вы знаете под именем жареных китайских орешков... Растут они, конечно, не жареные,— зачем-то добавил председатель.

Узкая дорога потянулась вверх между глинистыми косогорами, покрытыми кустарником. Впереди, где-то совсем близко, поперек дороги синело небо, сзади, в просторных низинах, на километры раскинулись плавни. Ниже плавней спокойно блестела речка, а вдоль нее сгрудилось белыми хатками село. Вои и хата Мелании с крылатыми ставенками... Загляделась на юг, искоса поблескивает окнами, как бы отворачиваясь от залетного гостя...

Лошади захрапели, папрягаясь на подъеме, и всем пришлось сойти. Шагая по обочине дороги, скульптор то и дело подбирал со склонов глину, разминал ее пальцами.

— Богатые глины! — бормотал он, обращаясь к председателю. — Можно лепить.

— Видите, а вы переночевали — и айда. Я, откровенно говоря, планировал использовать ваше пребывание. Думал, для нашего клуба вы что-нибудь такое, знаете... Какой-нибудь шедевр... Глин у нас непочатый край!..

Выбрались на гору, в поле, и скульптор неожиданно остановился.

— Позвольте,— застыл он на месте,— что это?

От восторга у него перехватило дыхание. То, что он увидел, на мгновение ошеломило и ослепило его: на широчайшей равнине, сколько хватало глаз, ярко золотились подсолнухи. Стояли до самого горизонта пышноголовые, стройные, неисчислимыи и все, как один, повернутые к своему небесному образцу, к солнцу. Казалось, они и сами излучали свет своими желто-горячими коропами, и, может, поэтому вокруг было как-то особенно ясно, чарующе и празднично, словно в заповеднике солнца. Тут даже воздух, казалось, переливался золотистыми оттепками.

Кучер остановил лошадей и равнодушно стал закуривать, а председатель направился со скульптором к подсолнухам. Горячее цветение пьяняще дохнуло на них густым неповторимым ароматом.

— Вот это Меланьины,— с удовольствием пояснял председатель.— Вот и табличка выставлена, читайте. А дальше пошли— уже других.

Скульптор зачарованно смотрел в даль, заполненную до самого небосклона яркоголовым солнечным братством.

— Нет, это что-то неземное! — тихо восклицал он. — Даже не верится, что все это яркое, совершенное, божественное выросло из простой серой массы, из пыли, из земли!..

— Не само выросло, — пошутил председатель. — Посадили, выпестовали — вот и выросло... Живые люди плюс агротехника и плюс, конечно, природа. Вон они где, те, что все это вылепили!

В глубине золотых плантаций белой чаечкой вынырнула чья-то косынка. За пей показалась вторая, третья...

— Вылепили, говорите?

— А как же. Мастерал.. Во всяком деле есть и свои мастера, и свое, так сказать, вдохновенье.

Девушки двигались междурядьями, медленно приближаясь к дороге. Там, где они проходили, с подсолнухами творилось что-то удивительное. Утрачивая свой царственный дремотный покой, они неожиданно оживали, казалось, сами, разогнавшись, летели навстречу друг другу, и, соединившись на мгновение в поцелуе, снова разлетались в разные стороны, и опять свободно смеялись, шаловливо покачивались, перемигиваясь с солнцем.

— Что они делают? — обратился к председателю удивленный скульптор.

— О! Да разве вы не знаете? Искусственное опыление!.. Чтобы не ждать, как говорится, милостей от природы!

В первой из девушек скульптор узнал Меланию. Так вот какая она, настоящая! Что-то почти величественное было сейчас в ее позе, во взгляде, в движениях. Не шла, а как бы наплывала из золотистого душистого моря, гордо выпрямившись, легко и ритмично позванивая в свои золотые литавры. Увлеченная работой, она, видимо, совсем не замечала скульптора: ей было не до него. Лицо вдохновенно разгорелось и, осветившись какими-то новыми мыслями, стало как бы тоньше, интеллектуальнее, богаче; на нем появилось много новых, неожиданных оттенков. Откуда взялись и красота, и характер, и идеальная чистота линий!

Скульптор почувствовал вдруг, как наяву молодеет, как умение и талант вновь возвращаются к нему. Запомнить, схватить, вылепить! Вот здесь, сейчас, в это мгновение!

— Здравствуйте, девчата! — крикнул, поднимаясь на цыпочки, председатель. — Пчелы на вас жалуются: хлеб у них отбиваете.

Пыльца вьется над девушками, как золотой дымок, оседает на косынки, на ресницы, на брови...

Молча смотрит Мелания на скульптора, будто припоминает, кто он и зачем он здесь. Разгоряченная, переполненная счастьем, она вся еще живет в другой сфере, где чувствует себя властительницей, где можно держаться свободно и естественно. Той скованности, принужденности, неуклюжести, которые так раздражали скульптора накануне, как не бывало.

— Мелания! — бормочет он. — Мелания!..

И взволнованно умолкает.

Девушка с достоинством ждет, что будет дальше. Глаза ее лучатся, душистые подсолнухи ласково кладут свои головы ей на плечи, на грудь.

— Мелашка, — поспешил на выручку председатель. — Наш уважаемый гость уже уезжает... Так они хотели с тобой...

— Ничего я не хотел, — с неожиданной решимостью сказал скульптор. — И никуда я не поеду! Я остаюсь здесь, я открою свою мастерскую вот на этих плантациях, под этим небом!

Мелания переглянулась с подругами и сдержанно улыбнулась:

— Вам виднее.

Заняла новое междурядье, и через минуту ее полные загорелые руки уже снова вырвали в подсолнухи, плавно касаясь их дисков, с девичьей нежностью, с классической грациозностью.

Подруги, следуя ее примеру, тоже стали каждая на свое место, и шершавая горячая чаща зашелестела, веселые подсолнухи начали дружно целоваться; девушки двинулись в противоположный конец плантации.

— Сбросьте мой чемодан, — сказал скульптор, не поворачиваясь к тачанке, — и можете ехать.

Стоял, весь во власти своего открытия. Исчезло все постороннее. Видел только море подсолнухов, белую косынку и артистические изгибы рук, которые, ритмично поднимаясь, плавно позванивали в золотые литавры.

Это — там, высоко в горах, в царстве скал дремучих девственных лесов...

На каменистом склоне, в зеленой чаще деревьев, чуть виднеется домик лесника с гибкой радиоаппаратурой на крыше. От домика по крутогору сбегает извилистая тропинка к потоку. Каждое утро спускается по ней босая смуглая чернобровая девчушка лет десяти. С кувшином в руке легко прыгает с камня на камень, озирает утрепный мир диковато-ясными глазенками, улыбаясь горам, небу, солнцу.

Это — Натэлла, дочь лесника, юная хозяйка здешних мест.

Поблескивает кувшин в загорелой худенькой руке, шуршат под погами теплые приятные камешки.

Пенится, бурлит поток. Сколько помнит себя Натэлла, все слышит она этот шум. Ласковый, мелодичный, он, будто колыбельная песня, убаюкивает ее по вечерам, и он же первым будит Натэлле каждое утро, мягко вплетаясь в роскошь детских сновидений, в ту сладкую утреннюю полудрему, когда не сразу и отличишь: поток ли это играет или, может, дождь шумит за окном...

Чем ближе поток, тем звонче, тем задорнее вызывает он между камней, будто взбудораженный приходом Натэллы, будто радуется встрече с нею.

— Здравствуй, поточек!

И поток улыбается в ответ, сверкая струей и белоснежными комьями пены, что вскипает в омуте под водопадом.

Блестят глыбы, обросшие зеленым бархатом мхов, мчит, журчит поток, переливаясь на солнце. Знает, что любит по утрам Натэлла поиграть с ним. Присев на камень, опустит руку в родничково-чистую прохладную воду;

чуть понежит ее, потом умоется, пригоршнями брызгая горную щекочущую воду на лицо, а тогда уже сядет погреться на камне, старательно заплетая влажные блестящие косички.

Неутомимый поток будет ворковать целое утро — кому еще беседовать с нею во время длинных летних каникул. Отец еще на зорьке пошел осматривать лес, бродит где-то по кряжам, у самого неба, с винтовкой на плече. Натэлла осталась теперь полновластной хозяйкой этого замкнутого мирка: бревенчатого домика, и прозрачного потока, и покрытых лесами гор, со всех сторон обступающих жилище лесника. Одна-одинешенька на все ущелье, в котором мог бы разместиться маленький городок. Но Натэлле не страшно, она привыкла. Всякий кустик знаком, всякий ручеек приветливо журчит из-под скал... Много их извиливается по склонам гор, по тенистым оврагам, и все звучит по-разному, и вода в них тоже разная — каждый ручеек Натэлла может узнать на вкус.

Всю бесчисленную семью ручейков вбирает в себя вот этот бурлящий поток, мчащийся с гор, откуда-то из-под самых туч. Натэлле там еще не приходилось бывать, хотя облака для нее не такие уж далекие и недосыгаемые, какими кажутся детям долины и равнины. Вся жизнь облаков открыта глазам девочки — они кочуют почти задевая домик лесника, а иногда опускаются и ниже мягкими, глубокими снегами. В дождливые дни облака вихрятся над самым ущельем, цепляясь влажными седыми прядями за верхушки сосен и оголенные камни скал на ближайшем перевале. Безжалостно терзают их ветры, что бушуют над перевалом, не достигая ущелья.

— Папка, поведи меня выше, на перевал, — не раз просила Натэлла.

— А что тебе там?

— Хочу поблизи увидеть места, где тучи бьются с ветрами...

И отец обещает со временем прорубить тропинку на перевал. А пока что в часы ненастья Натэлле приходится тихонечко сидеть в избушке, где порой в полдень становится темно от густых туч, проплывающих за окном, а от раскатов грома содрогаются бревенчатые стены, сплошь обвешанные срезанными кругляками — образцами пород деревьев этого лесничества.

Ревут, бьются в горах грозные стихии, гудят над избушкой вековые деревья, и робко тянется к столу детская

ручонка, чтобы выключить приемник, переполненный шумом, треском да визгом — отзвуком страшного сражения, бушующего где-то совсем рядом, на перевале.

Туда нет дороги. Отсюда вообще нет дорог — только узкая, еле заметная тропинка вдоль потока, в далекую долину, где живут дядя Леван и тетя Этери. Во время учебы Натэлла живет там, у дяди Левана, а к отцу приезжает только в гости — верхом на лошади или на ишаке. Только так можно добраться сюда, в подоблачное обиталище лесника. Спускаться в долину пужно целый день, а чтобы подняться — дня два, не меньше.

Конечно, машиной было бы побыстрее, но какая машина проберется в горы козьей тропой, по узким карнизам вдоль обрывов, где даже на ишаке ехать небезопасно?

Редко бывают здесь люди. Появится навьюченный мешками дядя Леван, забредет кто-нибудь из охотников, или пройдут незнакомые молодые люди, измеряя горы своими диковинными инструментами. А прошлым летом забрались сюда столичные пионеры с рюкзаками на спинах, с палками в руках. Собирали в горах образцы минералов и редкостные лекарственные растения, а Натэлла охотно им помогала.

Как-то раз у потока появилась палатка геологов. Они задержались здесь дольше других. Старшей среди геологов была Нина Федоровна, Натэлла с ней быстро сдружилась, даже ночевала у нее в палатке.

Нину Федоровну больше всего интересовали горные источники, и юная хозяйка гор с радостью познакомила ее со всеми ручейками, радушно показывая свои малодоступные владения. Особенно понравился геологам Олений источник. Уже собираясь в долину, Нина Федоровна набрала полную бутылку его воды, наклеила этикетку и положила в рюкзак бережно, словно настоящее сокровище.

Все возвращались в долину — и школьники с коллекциями, и геологи с пробами... Часто их вспоминает Натэлла. Может, поднимутся нынешним летом, может, уже пробираются тропинкой вдоль потока?

Но никто не идет, не слышно человеческих голосов... Только поток шумит ровно и монотонно.

Светит солнце, зеленеют горы, родниковой свежестью дышит вода. Хорошо здесь, но там, в долине, лучше. Поток разливается там рекой, широко течет среди колхозных садов и виноградников...

На впноградниках ссйчас людно, весело, у реки пере-
кликается детвора — сверстники Натэллы. И вечером там
всюду жизнь, разговоры, смех, сигналают машинны, в клубе
показывают кино...

Если бы Натэлле хотя бы малепький самолет! — по
праздникам она летала бы туда с отцом. Скалы самолету
не преграда, бездорожье — нипочем, ему весь небесный
простор — открытая дорога...

Если уж очень заскучает Натэлла по своим подруж-
кам, по родне, тогда подает им какую-нибудь весточку.
Разные для того есть способы. Можно пустить по воде
бумажный кораблик, а то просто послать в долину зеле-
ные ветки деревьев, которые там не водятся. Поток и в
этом охотно помогает Натэлле, он у нее как бы за письмо-
посца. Бросит девочка на воду ветку рододендрона:

— Плыви!

И течение ловко подхватит, радостно помчит твоё по-
сание вниз, торопясь, подскакивая, будто озорной бесс-
лый гонец.

Ни ежевика, ни рододендрон внизу не растут, их не
увидишь на колхозных плаптациях, и если тамошняя де-
твора поймает на реке необычайную веточку, то сразу
догадается:

— Это — от Натэллы!

— Это оттуда, из-за облаков!..

* * *

Однажды Натэлла проснулась, разбуженная отдален-
ным гулом, похожим на гром. Но это не мог быть гром —
небо сияло улыбками, и к тому же прогрехотало где-то
внизу, в наполненном шумом ущелье, а не выше, на пере-
вале, где все лето обитают грозы.

Чтобы это могло быть?

Взбежав на скалу, Натэлла пристально вглядывалась
вниз. Ни облачка, ни дымка. Блестят глыбы гор, спокойно
дремлют под солнцем леса. Пусто, безлюдно в ущелье.
Только шум потока нарушает извечную тишину.

А может, почудилось? Или, может быть, скала где-
нибудь рухнула, подмытая потоком?

Но тут же еще более гулкий гром прогрехотал внизу.

— Папка! — в тревоге вскрикнула Натэлла, услышав
знакомые шаги отца на тропе. — Что это? Будто гром...

Отец вышел из-за деревьев в своей горной шляпе, в черной расстегнутой гимнастерке, с ружьем на плече. Усталый после обхода, медленно спустился по камням, улыбаясь Натэлле каждой черточкой знакомого лица, обросшего, не бритого вот уже несколько дней.

— Тебя испугал этот грохот, доченька?

— Нет, я не испугалась, но только странно... Ведь на тебе ни тучки...

— Это хороший гром, доченька... Камни взрывают, дорогу строят.

Строят дорогу! Натэлла захлопала в ладоши, кинулась к отцу с радостными объятиями.

— Настоящую, широкую, да? И к нам пойдут машины?

— И к нам, и выше, за перевал... Тогда уж я наверняка смогу показать тебе, где встреются с тучами...

— А там что — за перевалом?

— Еще перевал... Намного выше, чем наш. А дальше — снова долины и города.

Незнакомые долины и города... И в те края Натэлле будет открыта дорога. Как это чудесно!

С каждым днем грохот нарастал, перекатывался в горах победным могучим эхом. Каждый новый взрыв Натэлла встречала с замиранием сердца, с затаенным восторгом: все ближе дорога!

И вот наконец наступил долгожданный праздник: в ущелье появились строители. Все, как один, молодые, загорелые, покрытые серой каменистой пылью — другого и следа не осталось от разрушенных скал. Словно настоящие фронтовые бойцы, хотя в руках вместо автоматов блестели у них кирки, а коней заменили им грохочущие мощные машины.

Все вокруг разом ожило, далеко зазвучали по ущелью перекликающиеся голоса, — столько было строителей, что казалось, юноши всей страны строят Натэлле дорогу.

Вечером строители раскинули у потока палатки и, скидав пропотевшие гимнастерки, на которых белыми узорами выступила соль, принялись умываться. Натэлла, раскраспевшись, показывала, с какого камня удобнее зачерпнуть воды, торопливо собирала хворост для костра, водила поваров с ведрами к любимому своему источнику:

— Отсюда берите... Эта самая вкусная!

Потом, радостная, возбужденная, сидела у костра в кругу строителей и беседовала с пожилым инженером.

Лицо дорожника осунулось от усталости, но глаза светились улыбкой и живым дружелюбием.

— Расскажи нам теперь, Натэлла, — улыбаясь, говорил инженер, — как ты открыла олений источник?

Девочка зарделась.

— Разве это я... Его олень открыл, а я только заметила. Видно, он больной был, тот олень, а может, раненый — когда мы первый раз встретились возле источника, он хромал...

— И ты его не тронула?

— Зачем же трогать... Мне его жалко было: ему больно!.. Но потом он привык ко мне, перестал пугаться. Часто спускался с гор к своему источнику и пил, пил... Я догадалась, лечит он себя этой водой...

— И вылечился?

— Наверное... Он с каждым днем становился резвее, живее, а когда я последний раз его встретила, он уже, как ветер, метнулся в горы!

— А знаешь, доченька, как отныне будет называться эта вода?

— Как?

— Твоим именем.

— Натэлла?..

— Да, так ее называли геологи... Ведь ты открыла источник, привела их к оленьей воде... Может, дочка, и дороги сюда не было бы, если бы не это твоё открытие... А теперь скоро вырастет здесь завод минеральных вод и потечет «Натэлла» по всей стране.

В смущении слушала инженера Натэлла, ей даже страшновато стало оттого, что она как бы повлияла на судьбу дороги. Она и не подозревала, что, показывая геологам прозрачные, веселые ручейки, вызовет такой переполох, причинит столько хлопот незнакомым людям. И в то же время Натэлла чувствовала какую-то душевную гордость — ведь оленья вода пойдет теперь по всей стране, даруя людям силу и здоровье, чтобы не уходили они из жизни такими молодыми, как мама... Еле помнит ее Натэлла, видит словно сквозь облако... Как жаль, что не знала она раньше об этой целебной оленьей воде! Пусть же теперь другим принесет радость ее источник, пусть все станут здоровыми и сильными, как тот раненый олень...

— Разве вы только до источника дорогу строите? — подбрасывая хворост в костер, спросила Натэлла.

— Проложим и дальше, — ответил инженер, задумчиво вглядываясь в горы, туда, где должна пролечь его трасса. — Кто знает, пожалуй, и там ждут нас такие непоседливые девчухи со своими открытиями...

— Может, ты думаешь, выше всех забралась? — весело поддел Натэлла веснушчатый парень в тюбетейке. — Дальше есть такие селения, что и птица не залетает... Как же с ними быть? Раньше обходились козьими тропками, а нынче широкая жизнь пошла — широких дорог требует.

— А солнце какое там! — восторженно промолвил один из строителей, сухощавый, жилистый, с виду настоящий горец. — Вечно светит! Какие здравницы можно будет открыть... — настоящие альпийские.

— Вот, вот — здравницы!.. И первым делом для шахтеров высокогорную здравницу соорудим.

С восхищением слушала Натэлла строителей, ясные глазенки ее все больше разгорались. Дорога представлялась ей каким-то чудом, потоком счастья. Всем нужна эта горная трасса, все ее ждут! Колхозники повезут по ней плоды своих садов — яблоки, груши, виноград; от Оленьего источника устремятся во все края грузовики с целебной водой «Натэлла», а где-то там, в заоблачной выси, в краю вечного солнца, вырастет высокогорная белоколонная здравница...

— А как вы назовете здравницу?

Строители весело переглянулись. Один предложил:

— «Храм солнца»... Нравится?

Натэлла смущенно улыбнулась:

— Очень...

Помолчав, она продолжала:

— Отец говорил, будто там, за перевалами, спова долины и города?

— Это верно... Когда ты вырастешь, Натэлла, тоже поедешь по нашей трассе — учиться в институт. Вспомнишь тогда о нас?

Задумалась девочка.

— Вспомню...

Вечерний туман седым облаком клубился уже над потоком, сумерки сгущались по ущельям.

Вскоре к костру подошел отец Натэллы, подтянутый, выбритый, с начищенными фронтовыми медалями на гимнастерке, с бурдюком вина под мышкой. Натэлла понимала, что он сейчас чувствует. Для отца появление строите-

лей тоже было необычайным событием. Он как бы снова почувствовал себя солдатом. И хотя, кроме смуглых чернявых парней-горцев, были здесь и приезжие — русые и совсем белобрысы, хотя в их говоре, шутках, повадках чувствовалось что-то нездешнее, они отлично понимали друг друга, когда речь заходила о боях под Москвой, об Украинском или Белорусском фронтах.

Ужинали все вместе у костра. Полная луна выплыла из-за перевала и осветила округу спокойным мерцающим светом. Огромные тени таинственно притаились в ущельях, туман над водой стал серебристым; заблестели громады машин на дороге, заискрились скалы блесками минералов.

Полыхал костер; вечерней свежестью тянуло от потока.

— Луна здесь, в горах, как пигде чистая, — сказал инженер, поудобнее устроившись на камнях и наслаждаясь покоем. — Тут уж ясно видно, что луна — это шар, безжизненное небесное светило... И вроде совсем до нее рукой подать.

Добродушный увалень-механик в комбинезоне, опорожнив кружку, весело взмахнул ею в воздухе:

— Жаль, пичего не осталось: светило падо окропить бы!

И, передав кружку соседу, механик могучим баритоном затянул песню, незнакомую Натэлле, но уже звучавшую для нее как родная, оттого что мелодию подхватили дружные согласные голоса, и теперь она входила в детское открытое сердце. Взволнованная, растроганная, заслушалась Натэлла, забывая обо всем.

Раздольно, широко льется песенная река, сливаясь воедино с мелодичным шумом потоков. Заслушивались горы, окутанные лупным сляпнем, зачарованные красотой широких, никогда не видавших степей, о которых так папевно рассказывала песня.

Потом чья-то сильная рука ласково погладила Натэлу по голове, и девочка услышала над собой добрый, душевный голос. Человек обращался к отцу:

— Славная у тебя дочурка, товарищ старшина... У меня дома тоже такая, умница ясноглазая... Письмо вчера получил...

— Единственная моя хозяйка, — с грустной гордостью отвечал отец. — Только скучает здесь, долго тянутся для нее капикулы.

— Теперь не будет скучать... Каждый день может ездить в долину... Хочешь, Натэлла, прокатим тебя завтра на «газике» по новой трассе?

Просияв, Натэлла взглянула на отца: разрешит ли?

— А что же: поезжай, навести дядю Левапа.

На машине по новой дороге!.. И еще милее стали для нее после этого певучие мелодии у костра, и горы в лунном сиянии, и поблескивающий свежий щебень трассы, которая, извиваясь по карнизам скал, исчезала где-то внизу, в таинственной мгле ущелья.

* * *

Уехала Натэлла на день, однако вынуждена была остаться в долине надолго. Не отпустила ее тетя Этери: в горах разбушевались грозы, пошли сильные, страшные в эту пору ливни. Разбухший, взъяренный поток с ревом гнал в долину тяжелую мутную воду, вывороченные с корнями деревья. День за днем клубились над горами тучи, сверкали молнии и дрожали в долипах стекла от раскатов мощных горных громов. Лишь потом, когда тучи рассеялись и вновь показалось солнце, дядя Леван вывел Натэлли на дорогу и пристроил девочку на одну из попутных машин.

Шофер был знакомый, из числа строителей трассы, оп встретил Натэлли приветливо, и девочка вскоре узнала от него последние горные новости.

— Отец твой жив-здоров, он не такие грозы видел, — весело рассказывал водитель, — а вот дорогу кое-где сильно изувечило... Камней навалило, мостик было снесло... Ну, теперь порядок восстановлен.

Натэлла уже и сама видела, что здесь творилось. Там, где поток сужался, на водопадах громоздился черный бурулем, со склонов сползли на дорогу потоки глинистого ила, завалы вывороченных камней. Водитель то и дело выскакивал на дорогу, чертыхаясь, ворочал глыбы, сбрасывал их в пропасть.

Снова брался за руль, и они ехали дальше.

— А как же вы там спаслись от ливней? — спросила девочка. — Неужели в палатках сидели?

— Нет, милая, мы там не очень отсиживались, — загадочно улыбался шофер. — Да ты и сама убедишься...

И, верно, Натэлла убедилась: ни одной палатки не было у потока, не было в ложбине машин, не было и строи-

телей. Готовая, уже законченная дорога, до блеска вымытая ливнями, обогнув скалу, исчезала выше в горах, за перевалом, лишь кое-где подернутым еще клочьями влажных рассеянных туч.

— Будьте здоровы, гражданочка, — открывая дверцу кабины, шутливо промолвил шофер. — Ваш билет до этой остановки.

— А... а где же... все ваши?

— Мы уже там, — взмахнул шофер рукой вверх, куда-то за перевал. — Привет прикажешь передать? Наши тебя там часто вспоминают...

Натэлла растерянно стояла с корзинкой на дороге, в душе у нее было и радостно и грустно. Никого. Они уже где-то там, высоко-высоко... Оставили ей в подарок эту чудесную дорогу, а сами ушли...

— Передайте привет, — промолвила тихо, взволнованно. — Всем, всем горячий привет... И пусть папишут...

— Непременно, — блеснул улыбкой шофер. — Адрес известен.

Машина, пыхтя, двинулась дальше, исчезла за поворотом. Остались лишь горы, празднично зеленые после дождей, и небо редчайшей синевы, и свежесрубленная у подножья скал трасса.

День за днем потекла жизнь. Но какое-то страпное ощущение не покидало теперь дочь лесника. Горы словно раздвинулись — весь окружающий мир стал шире! Не шум потока, а сигналы машин будили ее по утрам.

Гул строительства уходил все дальше, замирая с каждым днем, — уже где-то далеко за перевалом дорожники подрывали скалы. Туда уползла девочка своими мечтами.

Не забыли и строители юную дочь лесника. Не раз, когда Натэлла умывалась утром у потока, течение приносило ей приветы оттуда, из поднебесья... Чудесные это были приветы! То ветка рододендрона, то крепкий венок из каких-то диковинных альпийских трав и цветов, до сих пор не виданных ею, таких, что цветут только там, высоко в горах, возле вечно сияющих снежных вершин.

Бескрайними ночными полями мчит машина. Уже поздно. Где-то далеко погромыхивает гром, среди туч вспыхивают молнии. В душном воздухе все явственнее ощущается запах близкой грозы.

Машина, что мчит по полю, большая, одна из тех, которые днем поражают колхозных детей своим блеском, размерами и белыми кругами на колесах. Пропосаясь через села, одна поднимает пыли больше, чем другие машины, и дети долго бегут за пей, захлебываясь в пыли и что-то восторженно выкрикивая.

Сегодня эту машину уже видели во многих местах. На бешеной скорости проносились она через села, пролетала мимо полевых станов и только под вечер остановилась под тенью верб в рыбсовхозе. Остановившись, простояла там до самых сумерек. Любопытные издали видели, как шофер, согнувшись, копался в моторе, наливал в радиатор воды, а рыбаки тем временем раскладывали на берегу костер.

Сейчас в машине, рассчитанной на шестерых, сидело всего трое: шофер за рулем, справа от него — грузный мужчина, а за спиной у них, в темноте, притаился еще кто-то третий. Этот последний подавал признаки жизни лишь тогда, когда его окликали.

Грузный мужчина, несомненно, дремал. Это было видно по тому, как опустились его плечи, как низко сидит на лбу полувоенная белая фуражка, и по тому, как равнодушен он ко всему окружающему, к тревожным вспышкам молний, к своим спутникам, к бесчисленной мошкаре, что вьется в свете фар, будто снежная вьюга, и, разбиваясь, залепляет стекло.

Боковое стекло у шофера открыто, и слышно, как свистит разрезаемый машиной степной воздух. Полевые жаворонки, вспугнутые вдоль дороги, то и дело взмывают из-под колес вверх, в вышину.

В машине молчание. Все дверцы прикрыты плотно, не дребезжат, мотор работает ровно, никакого постороннего звука. Только время от времени привычную тишину вдруг нарушает короткий, прерывистый и довольно громкий свист, совсем не похожий ни на высвистывание ветра за стеклом, ни на испуганный писк какой-нибудь пташки, внезапно вспорхнувшей из травы.

Свист, однако, был, и рождался он где-то тут, совсем близко. Иногда он слышался так ясно, что даже тот, который дремал, вдруг пробуждался, стараясь понять, в чем дело. Встряхнувшись, крикнув, он недовольно бросал через плечо в темпоту:

— Жухарев, это ты свистишь?

Из глубины машины почтительно откликались:

— Простите, Иван Петрович... Это отнюдь не я.

И Иван Петрович, вздохнув, еще ниже надвигал на лоб фуражку и снова склонял голову, будто впадал в глубокую задумчивость. Укачиваемый рессорами, он быстро успокаивался.

Однако проходила минута-другая, и повторялось то же самое: каким-то образом снова оживал рядом свист, надоедливый, раздражающий.

Иван Петрович резко поворачивал голову назад:

— Перестанешь ли ты наконец свистеть, Жухарев? Ты что, нарочно нервы мои испытываешь?

— Клянусь честью, Иван Петрович! — виновато, с покорной задушевностью допосилось из темноты. — Я даже в детстве не любил свистеть, а тем паче сейчас, при обязанностях...

Кажется, поверив в невинность одного, Иван Петрович косо взглянул на другого, на шофера, обдав его коньячным духом.

— Так, может, это ты?

— Что я?

— Свистишь... Ты?

— К вашему сведению, — обиженно буркнул водитель, — я за баранкой никогда не свищу. И спиртного в рот не беру.

— Это что, памек? — сказал Иван Петрович. — Ну, пу, давай критикуй, я это люблю... Но все-таки странно:

и ты — нет, и Жухарев — нет... Я между тем явно слышал свист. Вот здесь, у самого уха. Словно милиционер подкрался и потихоньку: «Сьрр... сьрр... сьррр...» Уже не сверчки ли в машине завелись?

— Какие могут быть сверчки? — обиделся шофер.

— Ну а что же это, по-вашему? Святой дух? Или, может, и впрямь милиционер, как ангел-хранитель, на моем плече уселся?

— При чем тут милиционер, когда это... ваш собственный сигнал.

Иван Петрович удивился.

— Не понимаю, как это сигнал?

— Очень просто: носом...

— Ну, это ты брось!.. Чтобы я своим носом... Быть того не может!

— А вот вы попробуйте еще раз задремать... Сразу и засвистит.

— Жухарев, это правда? — оборачиваясь, спросил Иван Петрович строгим тоном.

— Простите, я не расслышал, о чем вы.

— Это вот он заливает! — небрежно кивнул Иван Петрович на шофера. — Говорит, будто я сам себя разбудил собственными своими руладами... А?

— Боюсь, Иван Петрович, и в самом деле, не насморк ли у вас... У них там сыро, в рыбсовхозе, а вы еще ничего подстелить не хотели.

Иван Петрович попробовал втянуть в себя воздух.

— И впрямь, кажется, немного закупорило нос...

— У меня есть пенициллин в таблетках. Может, дать под язык?

— К чертям! — отмахнулся Иван Петрович и сладко зевнул. — Как ты думаешь, Жухарев, будет сегодня дождь?

— Согласно прогнозу не должно быть.

— А почему же тогда молнии сверкают?

— На дождь, видимо.

— И тучи все небо обложили.

— Пора бы, может, о почлегс подумать?

— Не глиняные, не раскиснем, — бодро возразил Иван Петрович. — В кои-то веки вырвались наконец в низы, а теперь чтобы под стрехой прятаться? Эх ты!

Пристыженный Жухарев умолк. Иван Петрович наклонился к приборам.

— Бензин есть?

— Да, еще с полбака.

— Ну и гони до победного конца... За сутки всю область исколесим. В случае чего и под копытой в степи заночуем.

— Кажется, далеко уже заехали, — попытался было высказать свое мнение Жухарев, но Иван Петрович оборвал его веселым, насмешливым окриком:

— Что значит далеко? От чего далеко? От «Авангарда»? Не один еще будет впереди «Авангард» и всюду нам необходимо успеть, с народом пообщаться... А если ты о почлеге, Жухарев, то не дрейфь: нас везде примут, везде нам будут рады.

Вскоре в глубине поля засветился огонек трактора. Выбравшись откуда-то из лощины, трактор стал медленно ползти на возвышенность, и казалось, что он движется по самому горизонту, под нависшими тучами и молниями, которые, вдруг вспыхивая, охватывали полнеба голубыми дрожжащими сполохами.

Расстояние между машиной и трактором быстро уменьшалось. Неожиданно на обочине дороги из мрака вынырнул силуэт полевой будки, летящий свет фар скользил по ней...

— А пу, стоп!

Остановились, вышли из машины.

Возле будки залаяла собака. Там же стояла пароконная подвода с бочками горючего. В сторонке, посвечивая огоньками сигарок, курили двое мужчин: наверное, сторож и возчик горючего... Не подходя к ним, Иван Петрович сразу же направился к трактору, который с грохотом выбирался из темноты.

Вспышки молнии то и дело освещали грузную фигуру в белом парусиновом костюме, в хромовых сапогах, шагающую по пашне тяжело, почти сердито. Это шел Иван Петрович. Раз или два он споткнулся о свежесвыроченный пласт, но это не остановило его; он двигался дальше с таким решительным видом, словно шел па подвиг.

Жухарев тем временем выскочил вперед — легкий, сухощавый, проворный, как человек, привыкший много бегать. Пока подошел Иван Петрович, Жухарев властным жестом уже остановил трактор.

На тракторе сидела девочка, круглолицая, измазанная, в замасленном комбинезоне, в багровой, как лоскут пла-

мени, косынке. Положив руку на руль, она удивленно ждала, пока подойдет тот, ради кого ее остановили.

Иван Петрович подошел, остановился, отдуваясь. Его крупные навывкате глаза по-рыбьи неподвижно уставились на девушку.

— Ну, что это ты тут? Пашешь?

— Как видите. Допахиваю.

— С парами все еще возитесь?

— Не возмися,— поправила трактористка,— а поднимаем.

— Хм... поднимаете! А сводку дали, что уже все, до последнего метра поднято.

— Такого мы не давали.

— Пыль, значит, в глаза пускаете, да?

— Не знаю, кто пускает. Мы сводки точные даем.

— А председатель где?

— Дома. Где же ему в такую пору быть!

— Ладно, я с ним еще поговорю... Ну, а ты как же?

Трактористка уже с явной неприязнью смотрела на этого грузного человека в парусиновом кителе, с бледным одутловатым лицом, которое совсем не знало загара... «Видно, человеке, редко ты оставляешь кабриост!»

— Сколько вспахала, спрашиваю?

— Все, что видите, вспахала... Да постойте: кто вы, собственно, будете?

Иван Петрович снисходительно улыбнулся.

— Сразу видно, что не была на областном совещании передовиков.

— Не раз была, да еще и выступала...

— И меня не узнаешь?

— Нет!

— Плохо же ты руководителей области своей знаешь. А еще, наверное, и комсомолка... Не годится, не годится! — по-отечески пожурив Иван Петрович трактористку и негромко, с папускной скромностью добавил: — Иван Петрович я. Слыхала?

— Нет, не слыхала.

— Странно. Должна была бы слышать. Не так пасмного, руководителей...

— Руководителей своих я хорошо знаю, а вас вот...

И вдруг, видимо, какая-то догадка осенила девушку, на губах у нее заиграла насмешливая улыбка.

— Постойте, да вы какой области?

Иван Петрович опешил.

— Как какой? Жухарев, объясни ты ей!

Жухарев что-то сказал вполголоса, и девушка громко, от души рассмеялась.

— Чего ты хохочешь?

— Ах-ха-ха-ха! Вот уж ротозей! Галопом по Европам... Да вы же совсем не из нашей области!

Иван Петрович отшатнулся, как от удара грома. Догадался. «Такой позор! Заехать не в свое! В соседнюю область забраться!» Будто на смертельного врага ощерился на верного своего Жухарева:

— Положись... доверься!.. Ну, я вам этого не прошу!

Повернулся и, втянув голову в плечи, сердито направился к дороге.

Раскатистый девичий смех, подстегивая, звучал ему вслед, звенел, казалось, на все поле.

— Вот уж доездились! Не в свое засхали! Не знают собственных границ!

Смеялась девушка на тракторе, кто-то смеялся уже и возле будки, даже закашливался.

Потом трактор снова загрохотал, двинулся полем, отваливая глыбы земли.

Жухарев, обогнав Ивана Петровича, вылетел на дорогу, крикнул шоферу, чтобы скорее разворачивал машину.

— Машина уже развернута, — слышалось в ответ, — разве не видите?

Хлопнули дверцы, одни и другие. Загудел мотор, засвистел рассекаемый воздух. Вскоре и трактор, и будка, и подвода с бочками горячего — все осталось позади.

В машине царил гнетущая тишина. Не слышно было дыхания Жухарева, словно он умер в темноте, на заднем сиденье. Потом Иван Петрович обратился к водителю:

— Так это ты сознательно завез меня в чужую область?

— О, еще я же буду виноват!

— А кто же по-твоему?

— Кто? Скорее уж сом.

— Какой сом?

— Тот, из которого уху варпили в рыбсовхозе...

— Вот возвратимся, я вам покажу сома!

— Я ж вас спрашивал, а вы все: гони да гони куда глаза глядят... Вот и гнал. Мое дело — гнать.

И хотя шофер говорил серьезным тоном, чувствовалось, что он все время улыбается в темноте и душой заодно с той насмешницей девушкой.

Сверкало над полем, гремело все ближе. Воздух свежел. На стекло кабины упали первые капли дождя.

1954

За несколько дней до открытия охотничьего сезона мы уже прикидываем: куда, кто знает наилучшие места.

Наилучшие места знает — это нам известно — обер-мастер Сахно. Нет, наверное, такого озера в нашем краю, нет такого уголка в плавнях, где бы не пугала уток его богатырская фигура. Но согласится ли обер-мастер в компанию к нам: ведь он всегда в одиночку, охотник-индивидуалист! Кроме того, среди нас есть такие, в том числе и Степа-крановщик, наш охотничий бригадир, которые неохотно идут на то, чтобы брать с собой обер-мастера. Поговаривают, что старик с грешком, что поровнит на первой охоте бить с вечера, не дожидаясь утренней зорьки. Кто-то из наших заводских в прошлом году якобы даже гонялся за ним на Шпаковом, старик будто и утку тогда не успел подобрать, бросил незаконную добычу, а сам только зашуршал в камыши. Так и не опознали точно, Сахно то был или не Сахно.

— А не поймал, не говори, что вор, — заключил Петрович, наш машинист, сорок лет гонявший заводскую «кукушку» и лишь нынешним летом ушедший на пенсию. При невзрачной фигуре и маленьком, совсем высохшем лице голос у Петровича зычный, басовитый, и для нас он имеет особое значение. Петрович советует пригласить обер-мастера:

— Если и грешил когда в одиночку, то при всех нас... Совесть разве в нем не заговорит?

— Все же коллектив, — замечает инженер Левицкий. — Должен будет считаться.

— Нет, вряд ли, вряд ли старик присоединится к нам, — усомнился Аксен, пожарник из заводской пожарной охраны. — У него «крякуха», а у нас с вами что?

Впрочем, вопреки нашим сомнениям обер-мастер согласился присоединиться к нам без особых упрасиваний:

— Самому уже не везет. Может, с вами в компании повезет.

Теперь, когда старик с нами, мы откровенно признаемся, что рассчитываем на его знание края, на то, что он покажет нам хорошие, счастливые места.

— Веди нас, Сусанин,— шутит весельчак Костя из прокатного.

— Куда же вас повести? — раздумывает старик, словно колеблется, достойны ли мы его секретов. Вздохнув, помедлив, наконец говорит с важностью, с какой-то загадочной гордостью в голосе: — Поведу я вас на Чары-Камыши.

Итак, мы едем на Чары-Камыши! Едем туда, где ждут нас роскошные охотничьи угодья со светлыми озерами, с душистым сеном, со свежестью и красотой утренней августовской зорьки!

Что за место эти Чары-Камыши? Буду там впервые, для меня они еще окутаны тайной, все там неизвестность, и в ожидании дороги я уже волнуюсь, мной овладевает чувство, подобное тому, которое, наверно, испытывали в старину мореплаватели, готовясь выйти на своих каравеллах в неведомый им океан.

Вместо каравеллы завод дает нам выдавшую виды полуторку, и в субботу после обеда, как было условлено, вся наша охотничья бригада собирается у заводских ворот.

В нашей бригаде охотники разного возраста и стажа: есть ветераны этого дела, такие, как обер-мастер Сахно и Петрович, есть помоложе, большей частью бывшие фронтовики, а есть и совсем новички вроде меня, что попал на завод сразу же после десятилетки и за плечами у которого ни стажа, ни охотничьих заслуг, кроме продырявленной вчера на пробах консервной жестянки.

И вот мы вместе. Одевание на всех странное, смешное. Может, это так нужно, может, утка любит, чтобы человек был как чучело? Я еле узнаю инженера Левицкого в каком-то кургузом пиджачишке, и длинноватого Степу-бригадира, вырядившегося в старый, совсем поношенный трофейный китель, и его товарища Костю из прокатного, тоже фронтовика и тоже в кителе, и отягченного охотничьими принадлежностями Петровича, который еще больше согнулся и будто стал даже меньше от добровольной своей ноши... А обер-мастер! На него без смеха

нельзя смотреть: на ногах какие-то ботфорты петровских времен, на голове большущая с полями шляпа, из тех, что носят наши доменщики, а на плечах брезентовая куртка, под ней вторая, а под ней, кажется, и третья, и все это, несмотря на жару, затянуто ремнями, обвешано сумками, фляжками, ягдташами... Сбоку у обер-мастера болтается деревянная «крякуха», вызывающая немало шуток, но на которую старик возлагает большие надежды. Среди всех нас лишь Аксен-пожарник, не поддавшись горячке переодевания, явился, будто на службу, в своей молодецкой форме пожарника, которую только недавно получил и не успел еще, видно, ею налюбоваться, даже на охоту, не снимает.

Ждать никого не приходится: в таких случаях не опаздывают. Располагаемся со своими ружьями и рюкзаками в кузове и...

— Ни пуха ни пера!

Машина с грохотом и дребезжанием выскакивает на Царичанский шлях, несется через заводские поселки все дальше, куда-то в степь.

Наперегонки с нами, опережая пеших охотников, мчат мотоциклисты, мчат «Москвичи», крытые брезентом «газики», торчат из них в разные стороны стволы ружей, выглядывают собаки, видны чьи-то возбужденные лица, среди которых мы узнаем немало своих же заводских. Соревнуясь с нами в быстроте, они что-то весело выкрикивают на лету, и мы им в ответ тоже кричим — так, лишь бы крикнуть, лишь бы дать знать, что и нам хорошо, что и мы торопимся туда же...

В кузове нас сильно трясет, подбрасывает, вытряхивает из каждого душу, но чувствуем мы себя отлично, на лихую езду водителя не жалуемся, пусть гонит, пусть нажимает на всю железку, ведь на Чары-Камышах мы должны быть первыми, раньше других!

Нас уже обвевает степной ветерок, небо над нами все просторней, вокруг пахнет пылью, жнивьем, бахчами. Пролетаем села. Хаты белые, внизу окрашены голубым и все до одной крыты камышом, значит, где-то тут близко уже озера, плавни, где-то близко, может быть, и Чары-Камыши... Камыш на хатах от плавней, а вот те светло-голубые наличники на окнах, они от чего? Не от неба ли?

— В такой хате в любую жару прохлада, — задумчиво говорит Петрович, обливаясь потом в своей тяжелой охотничьей амуниции.

Он сидит как раз против меня, и на поворотах или на ухабах мы с ним крепко хватаемся друг за друга и едва не стукаемся лбами. Другие тоже, когда их подбрасывает, сваливаются в кучу, весело покрикивают:

— Держись!

— «Крякуху» деду не задушите!

Мы смеемся, всем нам весело, усмехается в подстриженные усы Петрович, лишь в его светло-серых глазах, как всегда, глубокая задумчивость, даже грусть, будто и не на охоту едет человек.

Вдоль дороги тянутся колхозные поливные огороды. Из глубины их идут девочки с корзинами красных помидоров на плечах. Ветер обвеивает стройные фигуры. Увидев нас, девочки смеются, смешит их, наверное, полная машина охотников, а может быть, странное наше облачение.

В просторной ложбине слепяще блеснула вода, на воде все бело от птиц, в кузове у нас оживление, глаза разгораются.

— Стреляй, Павел, — подзадоривают меня, — стреляй, не то поднимутся и улетят!

Но хотя перед нами и не дикие, а пекинские утки и не дикие охотничьи угодья, а лишь искусственный колхозный водоем, однако уже один вид воды, камышей, птиц распаляет наше воображение, и мы долго не можем успокоиться.

Где же те Чары-Камыши?

Кажется, нам надо уже сворачивать с большака в сторону Днепра. Повороты идут один за другим, из кабины выглядывает изуродованное шрамами лицо нашего водителя Павловского.

— Где поворот?

Никто из нас этого точно не знает, даже и сам обермастер, который, оказывается, заходил на Чары-Камыши не отсюда, а добирался пешком, напрямик...

Выручает пас женщина, берущая воду у колодца при въезде в село.

— Вам на Чары-Камыши? — переспрашивает она добрым, приветливым голосом и неизвестно почему улыбается. — Так вот же на этот шляшók... Этот шляшок и доведет вас к самому месту.

Мы пьем воду из ее ведра, набираем еще и в баклаги, потом сворачиваем на едва заметный, убеленный солончаками шляшок, и он ведет нас куда-то в луга, где далеко-

далеко на горизонте мглисто сплещет за Днепром, дымит заводскими дымами наш родной город.

В небе, чистом, серебристом от солнца, уже проплывают аисты, летают степные чайки; чаек очень много, они подлетают к нам совсем близко, и Степа-бригадир суровым тоном предупреждает меня, что бить их нельзя, что убить чайку — стыд и позор для охотника.

— А цаплю?

— Цаплю тоже нельзя.

— А дрофу?

— Дрофу... Ня в коем случае.

Обер-мастер ухмыляется, прислушиваясь к нашему разговору.

— И того пельзя, и того, и того... Ты так совсем запугаешь парня, — обращается он к Степау. — А ты скажи ему, что же можно.

— До пачала открытия, — инструктирует меня дальше Степа, — хотя бы утка и на нос тебе садилась, терпи. А то есть еще и среди нашего брата...

И с сознанием своих высоких бригадирских обязанностей он подробно объясняет, за что с меня будет причитаться штраф, за что еще больший штраф и за что, может быть, и ружье отберут и с позором выгонят из общества. И это все предназначено мне, едва только взявшему ружье, не убившему ни одной утки!

Шляшок побежал через пастбища, тырловища, солончаки. То тут, то там виднеются колодцы с высокими журавлями — водопой среди пастбищ. Мы почти разочарованы: вокруг какие-то пустыри, чертополох, все выбито скотом, сожжено жарой... Где же озера светлые, угодья петронутые?

— Обождите, все будет, — успокаивает нас обер-мастер. Он уже сориентировался в здешних местах и, заметно оживившись, перебрался ближе к кабыне, чтобы давать указания шоферу.

— Хуторок вон с башней видите?

— Видим.

— То силосная башня на колхозной ферме. А за фермой будет мостик. Переедем мостик и будем держаться правее, в сторону того вон кургана.

В самом деле, за хутором есть мостик, он лежит у самой земли, перекинутый через какое-то болото, от которого бьет в нос густым запахом нагретой солнцем воды. Мостик совсем разбит, машине по нему не пройти, и мы,

соскочив на землю, ищем объезд. Объехать негде, что же делать?

— Давай на риск!

— Если засядешь, вытолкнем, нас ведь много!

Водитель берет отчаянный разгон, машина, разбрызгивая воду, доезжает до середины болота и там все-таки застревает, мотор глохнет, но мы уже здесь, наши охотничьи плечи готовы хоть гору перевернуть.

— Раз, два — взяли!

И вот забрызганная наша полуторка уже стоит на сухом, а от нашей обуви песет запахом горячего развороченного болота.

Пока Павловский копается в моторе, протирая свечи, мы тоже приводим себя в порядок, счищаем с ног палившую грязь, и обер-мастер Сахно, оглядываясь назад, говорит, что это, пожалуй, даже лучше.

— Что «лучше»? — улыбается инженер. — Что мост дырявый?

— Зато сюда теперь никто не проскочит, — объясняет обер-мастер. — Одни будем на всю плавню.

Ой, вряд ли одни! Далеко за селом, мелькая за стадами, уже рыскают какие-то мотоциклы да «Москвичи», кажется, именно из тех, что мы обогнали в дороге. Вот один из «Москвичей» уже, словно пронюхав наш след, мчит сюда, приближается к мостику и, ткнувшись посом в болото, с ходу останавливается.

— Там вам и ночевать, — говорит обер-мастер, и мы, отдаляясь, весело машем им на прощание.

Теперь мы одни. Но покамест и уток нет, не видно даже аистов да чаек степных, один громадный коршун над нами кружится, будто удивленный нашим появлением здесь.

— А коршуна бить можно, товарищ бригадир? — насмешливо спрашивает обер-мастер.

— Бейте, если попадете, — отвечает Степа.

— А думаешь, не попал бы? Думаешь, глаз ослабел? — упрямо допрашивает обер-мастер с какой-то ревливой усмешкой на устах.

На работе обер-мастер для Степана — начальство, а тут они вдруг поменялись ролями: старик сам очутился в подчинении у своего крановщика, нашего демократично избранного бригадира. Такое положение пастораживает обоих, но общая цель в конце концов и их объединяет одной заботой. Найдём ли мы тут то, чего ищем? Не за-

схали ли мы в пустые места? Это все больше нас тревожит.

Машина буксует в песке. Вынуждены снова слезать и нажимать на нее плечами.

— Раз, два — взяли!

Нет, это чудесно — провести свой выходной вот так!

Переехав через изрытый скотом песок, выезжаем на холм, и перед нами открываются... поля кукурузы! Бескрайние, освещенные солнцем поля! Левее от нас трактор гудит, пашет жпивье... Пыль встает за ним. А где же плавни? Где озера?

Бригадир острым, укоризненным взглядом смотрит на обер-мастера, тот даже теряется, по только на миг.

— Давай прямо вдоль кукурузы! — кричит он в кабину.

Мчим вдоль кукурузы.

— По-моему, никакая утка сюда не залетит, — говорит Костя, вслух высказывая горькие наши сомнения.

В самом деле: ферма, стада, колхозные поля... Где ей тут удержаться?

Солнце уже склоняется к западу, а мы все еще не можем остановиться. Пожалуй, так и будем как шальные до почти рыскать по полям.

Вскоре, словно чтобы рассеять наши сомнения, в стороне от кукурузных полей открывается луговой простор с широкими полосами камышей вдали. Накопец-то!

Я с волнением смотрю на этот открывающийся глазу простор.

Как тут свободно, как легко человеку! Птицы как-то, еле виднеясь, купаются в воздухе. Солопчаки пятнами белеют, лоснятся на солнце синеватая зелень рогоза, а дальше блестят камыши, и в тех камышах, паверное, светлые озера...

— Вот это Чары-Камыши, — гордо выпрямляясь, говорит обер-мастер.

— Чары-Камыши, ура!

Машина паша мчится к ближайшей полосе камышей. Останавливается.

Камыши высоченные, густые, словно бамбуковые заросли. Слегка шелестят листьями на ветерке... Соскочив с машины, мы гурьбой бросаемся в заросли, камыши трещат, а мы продираемся дальше, в самую чащу, в духоту, где уже и ветра нет, но где, мы знаем, неизбежно должна быть вода, а на воде, может быть, и сейчас уже спдят

стей... Дух захватывает от одного лишь предчувствия. Однако почему же до сих пор не хлюпает вода под ногами! Где же наконец вода?

Камыш кончается, глазам открывается довольно большая, окаймленная зарослями поляпа: очевидно, был когда-то тут плес, а сейчас... сухо-пресухо. Все дно затвердело, превратилось в цемент.

Мы невольно обращаем свои взоры на обер-мастера. Старик виновато разводит руками. Не дальше как в прошлом году, уверлет он, тут было воды ему по пояс, даже бредень он тут тянул, и рыбу ловил, и уток набрал, а теперь...

— Тьфу!

Мы верим ему, верим, что была здесь вода и рыба, потому что и сейчас то тут, то там поблескивают маленькие рыбки в сером закаменевшем дне.

Опустив головы, стоим угрюмой толпой над высохшим озером, над этой окаменевшей землей, и пот заливает нам глаза. Жара, духота здесь, будто в котле: сквозь камыш даже малейший ветерок не провеивает. Степа молча пробует ковырнуть поском неподатливый кусок ила, а Петрович... на нашего Петровича даже смотреть больно: потемневший, убитый горем, стоит, печально рассматривая дно озера, где совсем недавно рыба играла, а теперь твердь земная осталась, похожая на шлак. Еще больше опустились плечи у Петровича, отягченные охотничьим багажом; кепка надвинута на глаза. И так худой, а тут будто еще больше похудел. Какая печаль, какая дума его гнетет?

Тишина горячая, устоявшаяся. Вдали едва слышно урчит трактор, кузнечик где-то стрекочет...

Пока мы стоим в разогретом камыше, среди высохшего озера, словно прикованные к его мертвому дну, до нашего слуха начинают вдруг доноситься странные шумы, какое-то очень знакомое стрекотание... Долговязый наш бригадир, поднявшись на цыпочки, первым замечает опасность:

— Полюбуйтесь... Это же они!

С холма по нашим следам прямо к камышам стремительно мчат те же самые мотоциклы да «Москвичи», которые мы бросили по ту сторону мостика. Подъехали, заглушили моторы, и вот уже, смахивая обильный пот, городские охотники стоят вместе с нами на том самом месте, где должно было быть озеро и где пышет на нас

сухая, черствая, будто огнем переплавленная в мертвую, бесплодную массу земля.

Неудача словно примирила нас с теми, от кого мы так упорно до сих пор старались уйти, и теперь мы уже сообща беремся искать выход из положения.

— Надо пробираться дальше в плавни, — советует один из прибывших, летчик-отставник. — Видите, все оттуда снимаются. — Он кивает в сторону Днепра.

Мы смотрим туда. В светлом большом небе — нигде я не видел над собой такого неба! — в дальней дали, в высоком поднебесье, где, наверное, лишь реактивные летают, идут стаи птиц. Кто-то уже, видно, их там гоняет в этот беспокойный день. Однако, не долетая к нам, стаи снова поворачивают назад, значит, есть там где-то лиманы, озера: ведь не одно же это высохшее паще озеро — вся эта приднепровская местность называется Чары-Камыши.

Посоветовавшись, мы всей гурьбой направляемся в ту сторону, навстречу далеким птицам, чуть-чуть виднеющимся в небесной синеве. На пути нам встречаются ложбины, поросшие камышом, осокой, в некоторых дно тоже сухое, даже гудит, а в других еще влажное, топкое, нога проваливается: видно, совсем недавно еще тут была вода, над загустевшим, затхлым илом тучами вихрится болотная мошкара.

Цивилизация, однако, не оставляет нас и здесь. Видим какие-то хуторки в деревьях, с антепнами — наверное, полевые стапы бригад. Где-то снова гудит трактор, в другом месте — другой. Дальней дорогой через луга прошла грузовая машина — одна, потом вторая. Сначала мы думали, что они тоже с охотниками, но оказалось, что это колхозные грузовики возят с поля зеленую массу на силос. Платации кукурузы не кончаются, тянутся и тянутся вдоль лугов куда-то, чуть ли не к самому Днепру. Нет, вряд ли удержится дичь в этих обжитых, наполовину распаханых, совсем не диких местах! Некоторые из нас уже предлагают отправиться в другое место, подальше от кукурузы и тракторов, хотя знатоки уверяют, что утка будто бы трактора нисколько не боится.

Я, откровенно говоря, уже считаю свою первую охоту неудавшейся. Сорвалось. Ведь кто же знал, что именно среди этих выгоревших пастбищ да колодцев с журавлями, среди вспаханных полей да кукурузы ждет нас такая

неожиданность, ждет нас то, чего мы так долго и горячо искали...

Озеро! Оно сверкнуло огромным светлым серпом у самой кукурузы, простираясь до самой полевой дорожки, по которой мы съезжаем с холма.

Подъехав, останавливаемся, словно сами еще не верим находке. Вода! Слышим, как она пахнет. Всплескивает рыба. Не сон ли это? Не мерещится ли все это нам? Тут жнивье, тут кукуруза и тут же рядом райское это место, с живым дыханием воды, с зелеными луговыми травами да высокими камышами и даже с тенистой прохладой: группка деревьев — ветвистых осокорей, диких груш — да каких-то кустов, кажется терна, темнеет по ту сторону озера.

— Э, да в кустах там уже кто-то ест!

Присматриваемся: в самом деле есть. В кустах поблескивает металлом багажника «Москвич», невдалеке замечаем замаскированный еще один, ближе к кукурузе, почти на солнцепеке, стоит подвода с черной маслянистой бочкой горячего, наверное для трактора. В воздухе с писком вьются ласточки, стаями пропосытся легкие белокрылые крылечки, на лету выхватывая что-то из воды. На блестящей водяной глади нам отчетливо видно, как вдоль берега разгуливает разная озерная мелкота: тонконогие кулики, бекасы, а в тени под камышом то тут, то там темнеют утиные выводки. Мы их хорошо видим, они тоже, конечно, видят нас, но не боятся, как не боятся и гудения трактора, который свует и свует невдалеке за холмом. Некоторое время мы радостно разглядываем озеро с его пепугапой жизнью. Полусшепотом, словно чтобы не распугать птицу, переговариваемся:

— Крыжаки, смотри!

— Бекасов целый табун!

— Вон снялись!

— Вон снова сели!

По ту сторону у самого берега замечаем чью-то засаду: полукругом натыкал в землю камыш, брошена на землю охапка травы... Присутствие других охотников, впрочем, нас не беспокоит: озеро большое, места хватит для всех. Расходимся по берегу, лазим по камышам, распределяем, кому где стоять. Дело обходится без спора, хотя я чувствую, что иногда недалеко до этого: Степан-бригадир, скажем, наметил было себе место в конце озера, в самом тупике, за которым уже начинается на холме

кукуруза. И хотя место не отличалось особыми преимуществами, обер-мастер тоже вдруг предъявил на него свои права.

— Берите, берите, — сразу же уступил ему место Степан, который будто и ожидал, что кончится именно этим. — Засватанная дивчина всегда лучше.

А солнце садится, садится, закат разгорается, и при его красном полыхающем свете удивленная птица видит, как мы носим снизу охапками камыш — там его много кто-то накошил — и маскируем им свою полуторку. Здесь, возле машины, на виду у всего озера будет наша ночевка. На этом же камыше мы строим себе охотничью постель. Конечно, лучше было бы спать на пахучем луговом сене, о котором мечтали мы, выезжая сюда, но ничего: сухой камыш тоже чудесно пахнет! Не разберем только, чем он пахнет: один говорит — болотом, другой — свежей рыбой, а в общем, чудесно.

Солнце еще не зашло, а уже выплыла луна, как-то незаметно выступив на мгlisto-туманном небосклоне, и вот уже оба светила освещают этот тихий степной простор, который с седых времен, видимо, носит название Чары-Камыши... Какой чистый здесь воздух, какая тишина! Даже стрекотание кузнечиков, даже мелодичное та-рахтение трактора ее не нарушает.

На вечер — костер, это уж так заведено. Меня как новичка первого гонят собирать сухие кизяки, за мной подымаются и другие, ходят по выгопу, собирают. Я вижу, делать это каждому приятно.

Когда кизяки уже выложены бугорком и остается их только поджечь, обращаемся за разрешением к своему пожарному:

— Разрешаешь?

— Разрешаю, — говорит Аксеп, понимая шутку.

— А это правда, Аксеп, что, прежде чем принять в пожарную команду, устраивают поступающему экзамен: вылежит ли двадцать четыре часа на одном боку? Если вылежит, берут, а не вылежит, не подходит...

Все хохочут, и пожарный хохочет, он несколько не обижен.

— Что ж, такая профессия, — говорит Петрович. — У них, если команда лежит, это как раз хорошо — значит, все в порядке.

И вот наконец запылал он, охотничий наш огонек, далеко виднеясь с холма в мягкой сумеречной синеве. Все

вокруг словно изменилось от этого вечернего огонька, отблески от него будто легли на все Чары-Камыши, затянутые дымкой, погружившиеся в спокойную задумчивость. Да, стоило трястись в полуторке, блуждать на пастбищах, сомневаться и разочаровываться, лишь бы только провести этот вечер здесь, возле степного озера у костра!

Достаем из рюкзаков провизию и все, что к ней причитается: пора! Пришло время приступить к традиционной охотничьей трапезе. Вся компания наша в сборе, нет с нами лишь обер-мастера. Он сразу же после распределения мест ушел на свой участок ставить «крякуху», залез где-то там в камыши, и даже чаркой не удалось выманить его оттуда.

— А знаете, почему он отделился? — щурится Костя.

— А почему?

— Будет бить вечером, вот почему.

Бригадир наш настораживается.

— Ну, это пусть попробует!

— А что ты ему сделаешь?

— Тогда увидишь.

— Да он же тебе начальство!

— Тут у меня одно начальство — закон, — говорит Степа, и по его тону мы чувствуем, что ради этого закона он не остановится ни перед чем.

В небе, красноватом от заката, проходят стаи птиц. Кто-то пальнул, но очень далеко. На нашем озере тишина, мы не стреляем, терпим. Подняв головы, смотрим на вечерний перелет. Вечерняя зорька, сегодня только смотреть на нее, любоваться ее красотой.

— Благодать, — говорит инженер, и мы согласны с ним: в самом деле благодать.

Ну, а как же старик наш: пальнет или не пальнет? Мы к этому совсем не равнодушны и, разговаривая, все время прислушиваемся. Самодельная «крякуха», видно, приманивает, утки все время падают на воду где-то вблизи старпка.

— Смотрите, просто на голову деду падают, — с веселой завистью говорит пожарный. — Интересно, на сколько у него хватит терпения?

— В наше время идти на охоту с «крякухой» — это вообще варварство, — рассуждает вслух Костя. — Это же провокаторка! Сидит и приманивает. А ты только бахай да подбирай. Это не спорт, а черт знает что!

Петрович не согласен.

— А если зрение у человека уже не в порядке? — заступается он за обер-мастера. — Или, думаешь, у каждого глаз до старости, как у молодого?

Вот об этом мы и не подумали. Может, и в самом деле старик сидит там на отшибе с «крякухой» лишь потому, что зрение у него уже не такое, как раньше?

— Дело ведь даже не в утке, — говорит, разливая по второй, инженер, — главное — посидеть вот так на природе, почувствовать после нашего индустриального грохота вот эту тишину вокруг себя, этот простор, это раздолье...

Мы лежим у костра, а над нами то парами, то целыми стаями проносятся птицы. Еще довольно светло, да, пожалуй, так и будет: светит полная луна, впризу, на озере, вода все сильнее блестит. За вечерней дымкой, окутывающей луга, в заднепровской дали все отчетливей видны могучие багровые дымы нашего завода.

Тишина, приволье, пахнет дымок костра...

Глубже становится вечерняя синева, и все ярче полыхает на холмике наш огонек, будто созывая к себе всех близких и далеких. По предложению инженера договариваемся, чтобы вместо традиционных охотничьих анекдотов рассказывать только правду, только действительные случаи из жизни.

— Ну, расскажи тогда, Аксеп, как ты на Редуте охотился, — с искорками смеха в глазах обращается Костя к нашему пожарному.

— Ну что же. — Аксеп и сам усмехается, припомнив тот случай. — Иду, вижу: в конце озера между осокой стая крыжаков, вот таких... Вот бы, думаю, не спугнуть! Вот бы, думаю, подползти и трахнуть по ним на воде! В воздухе я плохо попадаю. Чтобы не заметили меня, упал на землю и давай к ним по-пластунски. Ползу, ползу, а кругом песок, колючек полно, уже весь искололся, жарко мне, как от пламени, да не обращаю внимания, ползу. Уже совсем близко к ним, уже должны были бы и спать-ся, а они сидят. Что за чудо? Наверное, не дикие, а домашние! И поднимаюсь на ноги. В самом деле, домашние: не боятся меня, сидят себе на воде. Такая досада. Напрасно столько по колючкам полз, руки исколол. Стою глазею на тех уток, они на меня, а я тогда, сам не знаю зачем, рукою мах да «киш» на них, а они крыльями ляп-ляп-ляп — и... вверх. Снялись — и будь здоров. А я стою и только чувствую, как картуз вот этот на мне подымается, подымается, ей-ей...

За смехом мы не замечаем, как подходит к нам высокий мужчина в грубом дождевике, хотя дождем и не пахнет; па руке у него что-то поблескивает — обрывок какой-то цепи. Оказывается, это металлические путы для лошадей, а сам он колхозный конюх, пасет невдалеке табун.

Пока он, присев на корточки, прикуривает от уголька, мы начинаем расспрашивать его о здешних местах, об этом озере, водится ли здесь лыска, хитрющая болотная плавуха, предпочитающая именно такие вот камыши.

— Водилась и лыска, — глухим, почему-то недовольным голосом отвечает нам конюх. — Еще я помню, озеро это было вдвое больше, тянулось аж вон туда, — угрюмо кивает он вдаль.

Курит наш собеседник как-то сердито, сплевывает, хмурится. Нам пеловко, что он хмурится, к тому же не знаем, чем он недоволен: то ли тем, что мы забрались сюда, то ли свои у него какие-то неприятности. Поднесли чарку, выпил, но и это не развеселило его. Все тем же глуховатым голосом рассказывает, что педавпо здесь даже и олени было объявились, где-то их, видимо, распугали, так они сюда перекочевали, в Чары-Камышах последнее убежище себе нашли. Колхозные косари сено косили и выкосили в траве двух оленят. Совсем маленькие были, еле на ногах держались. Забрали их девушки па ферму, выпоили молоком, как телят. Теперь их фотографировать из города приезжают.

— А матери что — не было?

Конюх пасунилса, помолчал.

— Олениху шульговские затравили. Окружили, хотели поймать, так она куда — к Днепру. Бросилась в воду и давай на ту сторону плыть, прямо на заводы.

— Ты смотри! — восклицает пожарный. — Ни домеп, ни огня не испугалась!..

— До середины доплыла, но там охотнички нашлись. Рыбаки-браконьеры какие-то с сетью бросились на нее, накинули невод на голову и... — колхозник сердито махнул цепью, — потопили.

Мы молчим, не находим слов, чтобы выразить свое возмущение, свое презрение к тем бесчестным браконьерам. Мы словно видим, как, задыхаясь, плывет затравленная олениха через Днепр, плывет прямо на черные индустриальные чащи нашего города, не пугаясь, что там до небес дым, и грохот, и зарева над домами да мартена-

ми... Не боялась этого, будто чувствовала, что нашла бы себе там и защиту и спасение.

— А те, негодяи, потом еще и шкуру принесли сдавать. Сейчас будто бы следствие ведут.

Больно и обидно все это нам слушать. Во всем этом чудится нам и упрек и предостережение. Даже неловко как-то смотреть в эту минуту на свои ружья да тугο набитые патронташи, лежащие кучей в сторонке. Невольно и слух и мысль обращаются в ту сторону, где в камышах засел возле своей «крякухи» обер-мастер и куда весь вечер падают утки. Что будет, если именно сейчас да грохнет оттуда браконьерский выстрел Сахно? От стыда мы провалились бы сквозь землю здесь, перед конюхом. А уж старику, пет, уж больше ему бы не охотиться!

Покурив, конюх уходит, позвякивая в сумерках своими путами.

Под впечатлением только что услышанного мы некоторое время молчим, потом тишину неожиданно нарушает Павловский, водитель нашей полуторки. Человек он неразговорчивый, сдержанный, и, если бы не этот вечер у костра да еще не этот конюх с железными путами, мы бы, наверно, и не узнали, что в прошлом водитель паш был танкистом, еще в первые дни войны горел в танке, а потом прошел чуть ли не все концлагеря Европы. Лежа на спине, он куда-то ввысь, словно звездам, спокойно и будто даже бесстрастно рассказывает, как их группа во главе с одним поляком бежала из концлагеря, а их преследовали с овчарками, как прятались они по лесам, а потом после тяжких мытарств наконец добрались на севере Италии к итальянским партизанам.

Сколько пережил человек, а мы, ежедневно встречаясь с ним на заводе, скромным, немногословным, так и не знали до сих пор, какой у него путь за плечами.

Рассказ Павловского павевает на нас грустные воспоминания о войне, склопает каждого на невеселые раздумья, и после этого уже как-то и разговаривать не хочется. Молча сидим вокруг угасающего костра.

Потом расстилаем камыш, располагаемся па почлег. До утрешней зорьки у нас остается не так много времени.

Ночь прозрачная, бесшумная, теплая; словно бархатом, окутывает человека этот мягкий степной воздух. Хорошо, хорошо, что мы поехали сюда зоревать! Какой бы там ни была паша завтрашняя охота, но я уже счастлив тем, что очутился с товарищами здесь, среди просторов

этих Чары-Камышей, где ночь словно и в самом деле какие-то чары таит в себе, загадочно о чем-то перешептывается с камышами, а озеро все больше светится под луной, а наши высокие заводские дымы за Днепром все сильнее отсвечивают багровым...

Ночью я просыпаюсь, разбуженный каким-то тревожным шумом. Где я? Ночь, озеро, внизу камыши шумят — шумят сильно, тревожно. Все небо в облаках, клубящихся, темных, и лишь там, поближе к луне, они стального цвета. Как все изменилось вокруг! Приподнявшись и озираясь, я не узнаю нашего места, — все вокруг стало будто иным, фантастическим, тревожащим душу, суровым. Вода на озере словно отяжелела, переливается тяжелым перламутром: ветер гонит волну. И ветер какой-то необычно теплый, будто днем. Шуршит на ветру кукуруза, бежит шум по камышам. Не этот ли тревожный шум и разбудил меня? Облака низко клубятся над Чары-Камышами, а над городом нашим в тучах бушуют огромные сполохи зарева. Никогда я не видал таких!

А товарищи спят. Кто-то даже храпит, крепко, беззаботно, кажется, наш пожарный.

Спят, однако, не все. Недалеко от машины на самом холме виднеются две человеческие фигуры: в одной из них, меньшей, ссутулившейся, узнаю Петровича с ружьем на плече, с ним еще кто-то, незнакомый, высокий, кажется, тот колхозный конюх, что приходил к нам вечером. Негромко разговаривая, они поглядывают вверх, в небо, на клубящиеся, изнутри освещенные луной облака. Речь идет, слышу, о японских рыбаках, пострадавших от ядерных испытаний на океане, от радиоактивного пепла, выпавшего на них.

— Ни за что люди пострадали, — слышу голос Петровича, — и виновных будто нету... А они ведь есть.

На горизонте ярко, еще ярче, чем вечером, полыхает багровыми дымами наш металлургический гигант. Впервые вижу его издали, впервые вижу, как небо над ним будто клокочет в могучем зареве, смотрю, и странное волнение охватывает меня: есть нечто доброе, обнадеживающее в этих наших огнях. Этой ночью отсюда завод открывается мне совсем по-новому, предстает в чем-то большем, нежели просто ковши с расплавленным металлом да вспышки горящего газа над бессемерами... Сполохи в полнеба, родной огонь за Днепром — я впервые ощутил отсюда его силу, огромную, титаническую.

В моем представлении почему-то возникает с детства знакомый обелиск, возвышающийся на площади перед нашим заводом, с чугунной фигурой Прометея вверху. Сами наши рабочие, среди которых был и Петрович, еще в двадцатые годы, в одну из годовщин революции, отлили того Прометея в память своих погибших товарищей, и с тех пор черный чугунный наш Прометей стал будто знаком завода. И сейчас это яркое, немеркнувшее зарево до самых облаков для меня почему-то сливается с его образом, мне кажется, его возносит среди этой растревоженной ночи наш трудовой, наш мирный Прометей...

Вторично я просыпаюсь от выстрела, внезапно раздавшегося где-то в конце озера. Схватываюсь, мне кажется, что уже светает и я все уже проспал. Нет, еще не светает, это луна подпалась высоко и, выпырнув из-за туч, светит мне прямо в лицо.

Степан-бригадир, тоже схватившись от выстрела, сразу же смотрит на часы: можно ли стрелять?

— Уже можно, — говорит облегченно. — Уже давно за полночь.

Кто же стрелял?

Стрелял, несомненно, обер-мастер, вырвался первым, раньше других. Ну да теперь пусть бьет: теперь разрешается. Только что он мог сейчас там увидеть в темноте?

— Должно быть, в «крякуху» свою шарахнул, — говорит пожарный, переворачиваясь с боку на спину.

Мы еще могли бы поспать, но сон уже не идет, уже каждого начинает разбирать охотничий зуд: лежим, переговариваемся, курим в ожидании зорьки.

Зорька уже скоро, хотя почь вокруг будто сгустилась: луна отодвинулась, потонула где-то в облаках. До сих пор мне зорька представлялась непременно в румянце утреннего неба, но сегодня небо на востоке облачное, и наша зорька особенная: не по рдеющему небосклону здесь определяют ее, а по чему-то своему, охотничьему, возможно, по шуму крыльев в воздухе, ибо хотя вокруг стало будто еще темнее, но уже то здесь, то там — дальше, ближе — слышим приглушенное, энергичное:

— Пильнуй! Смотри!

— Пильпу-у-й!

Торопливо расхватываем патронташи, ружья, спешим к озеру занимать свои места.

Бригадир на ходу сует мне коробку спичек.

— Забредешь в камыш — присвети!

— Зачем?

— Чтобы с той стороны по тебе кто не трахнул. Ах, вот зачем!

— А ты тоже смотри, чтоб сгоряча дрови кому-нибудь не загнал.

Все чаще раздаются выстрелы. Мне уже видно, как над камышом то тут, то там ярко-красными струями вырывается огонь из ствола, и я уже бегом бегу к своему месту. Стою в камыше у самой воды, по ту сторону озера камыш трещит, кто-то уже там ходит, покашливанием дает знать о себе. А вокруг стрельба нарастает, уже и вблизи меня, опадая, бессильно лопочет дробь па листьях камыша, травы... Волнуясь, я бросаюсь то сюда, то туда, не знаю, в какую мне сторону смотреть. В пебе еще темпо, пасмурно, я там ничего не вижу, хотя слышу, вернее чувствую, что вверху полно уток, полно летящих, рассекающих воздух крыльев. Где же они? Почему не летят на меня?

Постепенно становится светлее, и мне уже видно Степана-бригадира, который стоит левее от меня в зарослях камыша. Я вижу, как он то присядет, то выпрямится и, приложившись, бьет, бьет, и оттуда, сверху, чуть не па голову ему вдруг — гуп, гуп! — падает одна, падает вторая. Степан бежит, подбирает и, не теряя времени, спова целится вверх, куда-то за холм. Припомнив его наставление, что утки будут лететь больше всего против ветра, то есть именно оттуда, из-за холма, я тоже становлюсь лицом в ту сторону, и только стал, взвел курки, как на меня вдруг совсем низко, почти над камышом, надвинулась стая черных, упруго летящих торпед...

Ба-бах!

И, не веря собственным глазам, вижу, как, отделившись от стаи, стремительно падает вниз моя первая добыча... Бросаюсь туда, вижу, как, запутавшись в темной, густой траве, что-то белое бьется, трепещет. Беру и чувствую, как пульсирует в руках что-то горячее, и мне становится вдруг тоскливо, и я уже будто и не рад своей удаче.

Прибегает, жадно дыша, Степан. Я впервые вижу его таким взволнованным, возбужденным.

— О, утенок!.. Поздравляю! Только жив еще, подрапок... Добей!

Добить? Нет, я этого не могу. Просто не могу, и все.

Степан выхватывает у меня утенка из рук, и я, еле успев отвернуться, слышу короткий удар о приклад.

В груди у меня будто что-то оборвалось, но вскоре неудержимая охотничья горячка снова овладевает мною: начался лет! Все небо, посветлевшее, раннее, летит на нас.

Чалые летят.

Крыжии.

Широконосы.

Резвые бекасы, тарахтаны, кроншнепы!

Я бью, бью и... мажу, мажу. То ли волнуясь после первой удачи, то ли и сам не знаю, что со мной происходит.

Степан, заметив частые мои промахи, советует мне перейти к той вон заводи и попытаться бить на воде. Там такое место, что должны быть лыски.

Я перехожу туда. Присев в камыше, по щиколотку в воде, осматриваю поверхность озера. В конце озера замечаю вдруг на открытом месте силуэт одинокой крупной утки. Кажется, чалая! Дух захватывает от желания подкрасться, выстрелить, я, согнувшись, уже делаю несколько шагов в ту сторону, как неожиданная догадка озаряет меня, спасает от коффуза: «крякуха»! Это же плавает на воде выставленная обер-мастером «крякуха».

Интересно, много ли набил старик? Палил еще с ночи, а вот, не удовлетворившись тем, что набрал на воде, решил еще, видно, попытать счастья и в воздухе. Наторожившись присев под камышом, не отрывая глаз, следит за пролетающей резвой стасей бекасов, или «хвастунов», как он их пазывает. «Хвастуны» летят прямо на старика, раздается выстрел, вздрогнула вся стая, пакренилась в воздухе и, поднявшись выше... весело улетает дальше. Обер-мастер еще долго смотрит вслед, словно ожидает, не упадет ли хотя одна. Нет, не падает.

Устроившись в камыше, я начинаю наблюдать за густыми зарослями противоположного берега. Камыш там тянется стеной, местами заходит в самую воду, отражается в пей мерцающей тенью. Там, где тень, вода как темное зеркало. В одном месте в камыше разрыв, просвет, и вот туда я нацеливаю все свое внимание. Мне показалось, что там что-то мелькнуло, скользнуло по зеркалу воды. Сажу, не шевельнусь. Проходит некоторое время, и вот из камыша осторожно, как-то грациозно выглянув, выплывает на воду она, лукавая водяная озорница...

Лыска! Без малейшего звука, легким, скользким движением плывет она по зеркальной поверхности. До чего же славная, глаз не могу от нее оторвать!

Допускаю ее почти до середины заводи, прицеливаюсь, и вот уже садануло в плечо, брызнуло дробью по воде, неприятно ударило запахом дыма; рассеялся дым, п... лыски нет. Не попал! Промахнулся, ушла в камыши...

Проходит песколько минут, я, затаив дыхание, выжидаю, и вот, словно в насмешку, ее грациозная шейка и грудь уже снова лукаво показываются из камыша. Мне кажется, она выглядывает оттуда как-то даже шаловливо, чтобы подразнить меня, чтобы сказать, что она жива и здорова, а я мазила.

Она то прячется в камыше, то снова появляется; я не знаю, сколько времени длилась бы эта «война первов», если бы меня не окликнули.

— Довольно тебе, — слышу насмешливое из-за камыша. — Набил сам, оставь еще и другим!

Оглянувшись, вижу Степана-бригадира, Петровича, Аксена-пожарного. Они уже, видно, собрались идти к машине. Настроение у всех бодрое, приподнятое, даже Петрович повеселел. У каждого на боку висит связка дичи. Правда, уток немного, больше разная мелочь, бекасы.

Вот так, когда висят, они кажутся совсем маленькими, не то что в воздухе. Это я уже сегодня заметил, что птица, которую подбирают с земли, оказывается куда меньше, чем ты видел в полете.

У нашего пожарного правая щека почему-то распухла, в кровоподтеках.

— С чего это у тебя?

— Ложу слишком плотно прижимал, а заряды у меня большие... Не заметил, как и набило!

И расплывается в улыбке. Что бы там ни было, ему весело.

Медленно направляемся к машине, и только теперь я замечаю, что небо уже совсем чистое, облака рассеялись и солнце, поднявшись, начинает пригревать. Ветер, так внезапно налетевший ночью, уже совсем утих, дым после стрельбы долго плавает пизом, застывает, запах пороха слышится в воздухе.

Стрельба почти везде прекратилась, успокоились Чары-Камыши на всем своем пространстве. Лишь изредка грохнет выстрел: это какой-нибудь неудачник в веселом отчаянии пальнул по стае уток, еле виднеющейся высоко

в небе. На недостижимую для выстрела высоту поднялась птица, не достать ее там теперь. Какая красота вокруг! Бесконечная чистая голубизна — и живые крапицы птиц по ней! А над нашим озером, над тростниковыми зарослями, над светлой, залитой солнцем ширью Чары-Камышей, где недавно грохотала стрельба, лишь аисты величаво плавают, озирают из поднебесья поле боя, словно какие-нибудь нейтралы...

Возле машины уже собрались все, кроме обсерватора. Он еще не приходил.

— Может, набрал, что и не подымет?

— Давайте подъедем к нему, — шутит Костя, — чтобы прямо в кузов уток его грузить.

Это идея. Садимся и едем вдоль озера к засаде старика — это нам по дороге к дому. Бригадир ищет его глазами в камыше, а старик вдруг поднимается к нам из кукурузы: замаскированный, сидел там, на самом холме, видимо ожидая уток. Могучая фигура его не спеша движется к нам. Мы жадно ждем, пока он выйдет из кукурузы, нам не терпится разглядеть, какая же связка уток болтается на боку у старика, и, когда он подходит, мы видим, что болтается там... одна его верная, на токарном станке выточенная «крякуха»!

И это все?

Тяжело ступая своими ботфортами, старик молча приближается к машине. Подаем из кузова ему руки, он, крихтя, залезает к нам. Лицо у него усталое, раскрасневшееся, мокрое, как после плача. И в то же время оно какое-то будто просветленное, будто добрее, чем было вчера.

— Восемь крыжпей вот таких сидело возле «крякухи», — начинает рассказывать он. — Весь вечер сидели, и чего же было не ударить, а? До полдвенадцатого сидят, до без четверти двенадцать сидят, а я... бамбук. Вот уж бамбук, поискать такого.

Пока с места не трогаемся, он все ворчит, корит себя, всячески поносит, однако в этом ворчаньи его не слышится злости, и, как он ни срамит себя за упущенных крыжаков, кажется, что в душе он доволен, что сложилось все именно так. Выдержал, не нарушил закона товарищества!

Однако упущенные крыжаки, видимо, не дают ему покоя. Только взглянет на связки дичи у других, на свою одинокую «крякуху», сразу начинает ерзать, гудеть, сето-

вать. Снова мы слышим, как до полдвенадцатого не бил, до без четверти двенадцать не бил, знаем, что и дома все его родственники, все внуки да внуки не раз еще услышат об этих крыжаках, что — от такие вот! — сидели до полночи возле его «крякухи», а он, собрав всю свою выдержку, так и не выстрелил.

— Думал, до зорьки будут сидеть, а они как снялись, больше уже и не прилетали...

Мы смотрим на его крепкие старческие руки с толстыми, уже потерявшими гибкость пальцами, на глаза, которые перевидали столько расплавленного металла на своем веку, а теперь все время слезятся, и мы все больше проникаемся к старику сочувствием.

— Не грустите, Федотыч, — высоко держа голову, говорит Степан-бригадир. Он набил сегодня больше всех и поэтому в хорошем расположении духа. — Привезете и вы кое-что старухе — поделимся. В нашей бригаде такой закон: убил но убил, а делиться поровну!

И Петрович, и инженер, и все мы охотно поддерживаем бригадира. Так и сделаем!

Машина мчит через луга; все дальше поблескивает за нами озеро, все дальше камыши, тырловища и табун копей среди пастбищ у колодца, и высокий, кажется, тот, что вчера к нам приходил, колхозный конюх, держась за блестящее на солнце ведро, смотрит нам вслед...

Прощайте, Чары-Камыши!

Пусть не высохнут ваши озера, не разлетится птица, пусть ничем не омрачены будут ваши чудесные зорьки!

Сюда, на расчистку днепровских плавней, она приехала по оргнабору с партией закарпатских лесорубов, которых держалась и сейчас, хоть никому из них не доводилась ни женой, ни любимой.

«Маша-венгерка» звали ее в плавнях. И когда после работы парни-лесорубы из урочища Темного приходили купаться к плавневой речке Бузулук и шутливо заводили на том берегу:

Ой, венгерко, венгерко, венгерко,
Позич мені люстерко, люстерко...¹ —

каждый, конечно, понимал, что поется это о ней, о Маше с верховинского лесхимзавода.

Самым близким человеком Маше была подруга Стефа, вместе с которой Маша и завербовалась сюда, на днепровские работы. Казалось непонятым, что могло их так сблизить, — задорную, всегда веселую Машу и эту Стефу, угрюмую, отяжелевшую блондинку. Однако были у них какие-то свои тайны, свои секреты.

В Запорожье, в трест, завербованные добирались по железной дороге. Сопровождавший их вербовщик всю дорогу уверял девчат, что вот «вдарит телеграмму» и встретят их с музыкой, но на месте никакой музыки не оказалось, в тресте им пришлось долго ждать какого-то пачальника, а когда тот наконец прибыл, то вышло так, будто бы они же еще и виноваты.

— Вас фронт работ ожидает, а вы тут зря время транжирите! Сколько человеко-единиц теряем!

¹ Ой, венгерка, венгерка, венгерка,
Одолжи мне зеркальце, зеркальце...

Маше не понравились его «человеко-единицы», и она насмешливо спросила, что это должно означать; но такая вольность обидела пачальника, и он, нахмурившись, приказал немедленно отправлять всех на место разработок.

На автобусной остановке местные жители с почти-тельным любопытством оглядывали лесорубов, их тайстры¹, вышитые кептарики² и черные горские капелюхи-кресани³ на мужчинах. А когда подошел автобус, всех закарпатцев пропустили вне очереди, будто какую-нибудь делегацию.

На следующий день они очутились в плавнях, на далеком глухом урочище Волчиха. Впрочем, Волчихой оно пазывалось раньше, а сейчас в нарядях леспромхоза значилось просто как «квадрат восемнадцатый». Пуща, глухомань... Ах, попался бы Маше под руку этот пьяница вербовщик, насуливший девушкам золотые горы! Был обещан сказочный город-новостройка над Днепром, жизнь городская, веселая, а вместо этого корми плавневых комаров да слушай каждый вечер лягушачьи концерты.

«И в этой яме жить? — не раз думала Маша, с тоской вспоминая горы, смолисто-уксусный запах родного завода. — Одуреть можно!»

Удивительно, что до сих пор не убежала отсюда. Если б убежала, может, с облегчением вздохнул бы товарищ Писанка, мастер участка, которому с каждым днем становилось все труднее с этой упрямой закарпатской дивчиной. Вот она идет навстречу, озорно поблескивая глазами, красуясь жаркими кораллами на смуглой шее.

— Послушайте, товарищ мастер!

— Слушаю, Маша!

— Таскать колоды — женское ли дело? Женщина ведь существо хрупкое. — Она кокетливо поводит плечом. — Ей это вредно.

— А кому же это на пользу?

— Вот было бы на пользу вашему животу...

Фыркают, выглядывая из палаток, девчата. Мастер, кинув взгляд на свое круглое брюшко, которое свисает книзу, словно засунутый под рубаху арбуз, принужденно улыбается:

— Дался тебе мой живот!

¹ Тайстры — торбы (западноукр.).

² Кептарики — меховые безрукавки (западноукр.).

³ Капелюхи-кресани — шляпы (западноукр.).

— Не о нем речь. А вот на тяжелую работу больше не пойду, это я вам говорю точно!

Товарищ Писанка разводит руками:

— На тяжелую не хочешь, иди на легкую.

— И на легкую не желаю: что на легкой заработаешь?

— Вот беда! — чешет затылок товарищ Писанка. — Так куда ж мне тебя послать?

— Пошлите хворост жечь, я еще там не была. Я люблю костры разводить.

И разве ей откажешь? Пускай идет, ведь, откровенно говоря, мастеру, несмотря на его почтенный возраст, хочется, чтоб эта взбалмошная верховинка была им довольна.

И теперь самые высокие в плавнях костры — это ее, венгеркины. Жжет с девушками хворост да коряги, и, должно быть, эта работа пришлась-таки ей по праву, потому что в табор она возвращается в приподнятом настроении, будто и не устала совсем.

Выкупавшись после работы и надев, как для танцев, свои модельные, она не спеша похаживает среди палаток, словно ждет кого-то. Даже товарищу Писанке приятно смотреть, как она вот так прогуливается: и собой хороша, и походка у нее девичья... Непонятно, кого она ждет, для кого наряжается в этот предвечерний час. Ухажеров тут хватает, но Маша уже не раз давала отпор то одному, то другому, особенно буфетчику, толстому мужчине из амнистированных, который упорнее других к ней приставал, настойчиво заводя в ее присутствии речь о том, что решил наконец построить свою собственную крепкую семью.

— Стройте, кто же вам не дает! — весело отзывалась Маша. — Только, говорят, за вами уже не один алиментный лист гоняется... Ведь гоняется? — спрашивала она под обиходный хохот.

Однажды Маша получила письмо. Обрадованная, просиявшая, сбежала она к реке, принялась его читать, но, видно, письмо оказалось не таким, какого Маша ждала: прочитав, она в сердцах тут же порвала его на мелкие клочки и бросила в воду.

В ту ночь слышали девчата в палатке: плачет Маша, уткнувшись в подушку.

— Чего ты? — подсела с ней Стефа. — Еще плакать о них... Да я бы на твоём месте! При твоей красоте!.. Они бы у меня плакали, а не я!

Маша, видимо, думала об ином.

— Разве ж это любовь?! — с болью в голосе заговорила она. — Такое написать... А я ведь так ждала этого письма. Одна ругань, одни оскорбления... — Проглотив слезы, она почти выкрикнула: — Ну, а если так, не видеть ему больше меня!

— Еще найдешь по сердцу, — утешала подруга. — Слышишь, вон и сейчас ребята за Бузулуком поют, песней тебя вызывают...

За рекою па самом деле были слышны шутливые голоса: это парни из урочища Темного, несмотря на поздний час, пришли к Бузулуку купаться и горланили свою любимую песню про венгерку.

— Дурачатся, — сказала Маша, прислушиваясь.

— Кто дурачится, а кто и нет. Разве мало тут таких, что рады были б за тобой поухаживать?

— Что ж, пусть, — заложила руки под голову Маша. — Отныне свободна я, и каждому вольно за мной ухаживать.

* * *

Среди свежей открытой вырубki далеко видны палатки восемнадцатого участка: зеленый лес с его прохладой уже отступил и с каждым днем отступает все дальше — одни толстенные колоды лежат, беспорядочно разбросанные по делянке, будто павшие на поле боя. Местный лесник, который иногда заглядывает сюда, преследуя бакенщиковых коз, хмуро укоряет лесорубов:

— Ага, дорубились? Поусердствовали так, что и тени над головой не осталось? Подождите, еще не раз пожалеете, попомните мое слово!

Бакенщиковы козы и сейчас тут, им тоже жарко, и они в поисках тени забрались в палатку, отведенную под красный уголок. Оттуда сквозь оконце выглядывают их любопытствующие мордочки.

Солнце стоит почти в зените, земля горячая, кажется, что и синева неба тоже раскалилась. У палаток, под кое-как сбитым деревянным навесом, пахнет борщом: люди обедают.

За прилавком буфета хозяйничает буфетчик, опрятный бритоголовый мужчина с черными усиками; над ним висит облепленная мухами липучка, и, выпрямляясь, он каждый раз касается ее лысиной.

Неподалеку время от времени с пронзительным визгом перещит точило: пока люди запяты борщом, точильщик патачивает им инструменты.

В одну из пауз, когда точило, остановившись на миг, перестало визжать, ухо товарища Писанки (он тоже обедал) уловило другой звук — отдаленный звук директорского глissера на реке. Выскочив из-за стола, мастер тяжеловатой рысдой бросился к берегу, помощник его — растрепанный парень с фотоаппаратом и набитой фотографией полевой сумкой (он этим тут подрабатывал) — побежал следом за мастером.

Из-за поворота реки навстречу им вылетел леспромхозовский глissер. Перед табором он сделал крутой вираж, подняв над собою светлый вихрь водяной пыли — даже небольшая радуга заиграла в ней.

Когда глissер остановился, кроме моториста Мишки, на берег сошел молодой человек, которого тут мало кто знал: высокий, худощавый, в фуражке летчика, в расстегнутом кителе без погон.

— Инструктор райкома Шелюженко, — шепнул Писанко помощник.

— Нет, не инструктор, — легко избегая на холм, улыбнулся приезжий и, здороваясь, отрекомендовался председателем рабочего комитета леспромхоза.

— Здравствуйте, здравствуйте, пожалуйста! — любезно заулыбался ему Писанка. — Просим поглядеть. Видите, как живем: в полотняных хатах!

Полотняный городок пышет жаром. Брезепт некоторых палаток с боков приподнят, там видны полуголые люди, отдыхающие после обеда.

У витрины с пожелтевшим номером газеты «Лесная промышленность» Шелюженко остановился, чему-то улыбнулся, потом, сопровождаемый Писанкой, зашел под навес.

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравствуйте.

Воцарилось молчание. Исподлобья рассматривая приезжего, застыл буфетчик, положив большие мясистые руки на прилавок; примолкли лесорубы, которые только что встали из-за стола и курили тут же, в тепи; стихли и голоса обедавших девчат.

У края стола над миской с горячим борщом сидели Маша и Стефа, ожидая, видимо, когда борщ немного остынет. Стефа с нескрываемым любопытством

рассматривала Шелюженко, а Маша только блеснула на него своими белками из-под черных выгнутой бровей, явно недовольная тем, что приезжий застал ее за таким прозаическим занятием — у миски с борщом, за грубо вытесанным, неуклюжим столом.

Товарищ Писанка, стоя сбоку, видел, что взгляд приезжего, как, впрочем, взгляд каждого, кто впервые попал сюда, невольно задержался на Маше, на ее смуглом лице и черных густых волосах, волнами спадающих на плечи. Маша сегодня явно не в настроении: сурова, замкнута. Загорелая рука ее небрежно лежит на столе, пальцы пощипывают надорванную пачку печенья «Украинское».

— Что же это вы, девчата, борщ с печеньем едите? — улыбнулся Шелюженко.

— Приходится! — буркнула Стефа. — Сладко живется, ничего не скажешь.

— А где же хлеб? — обернулся Шелюженко к мастеру.

Писанка поспешил объяснить: не секрет, дескать, перебси с хлебом бывают, хоть и не его в этом вина.

— Но и не моя! — сердито подал голос из-за прилавка буфетчик.

— Может, желаете отведать? — предложил Писанка, заметив, что Шелюженко внимательно разглядывает стоящий перед девчатами борщ. — Вы ведь не откажете, девчата?

Стефа, вытерев ложку, положила ее перед Шелюженко. Маша молча подвинула к нему надорванную пачку печенья.

Взяв ложку, Шелюженко взглянул на Машу.

— Ну, а вы?

Она кинула на него взгляд, глубокий, проникновенный, словно решалась на что-то необычайное. Потом взяла ложку.

И вот они начали есть. Это похоже было на причащение, так неспешно, торжественно действовали они ложками, молча, с какою-то значительностью поднося их к губам, а потом, под взглядами присутствующих, то насмешливыми, то серьезными, подкусывая печенье. Тихо было вокруг, и, только когда они, отложив ложки, переглянулись, мастер позволил себе пошутить:

— Знаете, товарищ рабочком, какая у нас тут, у лесорубов, существует примета?

— Какая?

— Когда двое вот так приобщаются из одной миски, мастеру не миновать хлопот: думай уже про отдельную для них палатку...

Маша, смутившись, потемнела от густого румянца.

— Чем без толку болтать, — сурово взглянула она на мастера, — лучше бы коз из красного уголка повыгопали: всю вашу агитацию пожуют!

Лесорубы и девчата засмеялись, а помощник мастера и в самом деле бросился выгонять из палатки коз, сердито замахиваясь на них фотоаппаратом.

Чтоб венгерка не добавила чего-нибудь порезче, — от нее всего можно ждать! — мастер сам поспешил завладеть разговором с Шелюженко. Он пачал во всеуслышание расхваливать лесорубов. На совесть, мол, работают, подгонять не приходится.

— Особенно эти закарпатцы. — Он показал на столпившихся под навесом гуцулов, которые, несмотря на жару, не разлучались со своими кептариками. — Любят трудиться. Только к гонгу их никак не приучишь, сами себе режим дня установили.

— В чем же он заключается?

— А в том, что только заря загорится, их уже никого в палатках не застанете: рубят, пока прохладно. Днем же, когда жара, спят в лесу, отсыпаются за то, что почью недоспали. А вечером опять рубят до темноты и па гонг полъ внимания!

— А то как же? Мы не баловаться сюда приехали, — заметил пожилой, красивой горской стати гуцул.

— Яць Дидук, вожак нашей лучшей бригады, — отрекомендовал его мастер. — Вместо четырнадцати кубов ежедневно по двадцать дает.

Шелюженко с уважением взглянул на гуцула, который с независимым видом попыхивал своей большой резной трубкой.

— Привыкли тут у нас?

— Лесоруб ко всему привычный. Вербоматку, правда, валить труднее, чем смереку¹, или даже бук, но зато ведь и платят красно.

— Зарабатываем по-шахтерски! — весело откликнулся из толпы молодой гуцул с орлиным носом.

¹ Смерека — пихта (западноукр.).

— Не потому ли и папирсы все «Шахтерские» курпте? — пошутил Шелюженко.

— А «Шахтерские» курим потому, что других в буфете не бывает, — стали объяснять лесорубы. — Разве кому жена посылкой «Верховину» пришлет.

Шелюженко достал блокнот и сделал в нем какие-то пометки.

— И про кино запишите, — громко сказала Стефа, следя за его карандашом. — Никогда кино не бывает.

— А почему в субботу не поехали? — возразил ей мастер и, повернувшись к Шелюженко, стал объяснять этот случай: — Требуют: дайте, мол, машину, поедem культпоходом в Покровское в кино. Дал им машину. Так, думаете, поехали? Набилось в кузов столько, что рессоры трещат. Въехали бы на паром, так и паром потопили бы... Шофер говорит: «Половина сойдите!» А кто же сойдет? Ни тот, ни этот не хочет. Так весь вечер и простояли на месте, пели, хохотали допоздна.

— А почему сюда не пришлют передвижку? — стояла на своем Стефа. — Что мы, дикари какие-нибудь? Загнали в чащу, корчуй да корчуй, будто в этом все счастье!

— Такое производство, — возразил мастер.

— Производство! — вдруг отозвалась молчавшая до сих пор Маша. — На производстве и клубы, и лекции, и кино, и волейбол, а тут... По вечерам только и слышишь, как лягушки квакают.

— И от комаров спасения нет, — выходя из палатки, заметил заспанный, взъерошенный шофер Самарский. — На пятнадцатом участке хоть брезент каким-то раствором обрызгали, а у нас, сколько ни говори, все как об стенку...

Заинтересованные разговором, из палаток один за другим выбирались растрепанные, с заспанными лицами трактористы, электрики и все теснее обступали Шелюженко. Он заметил, как в сторонке несколько лесорубов, окружив Дидука, энергично уговаривают его, своего бригадира, сказать еще что-то, вероятно, очень для них важное.

— Про вагоны скажи, про вагоны!

Шелюженко спросил, о каких вагонах идет речь.

Гуцул выпрямился и, доверчиво глядя Шелюженко в глаза, стал излагать суть жалобы. На заработанные деньги лесорубы закупают хлеб в здешних колхозах и хотят организованно отправить его домой, в Мукачев.

— Закупаем не потому, что там, дома, бесхлебье, — объяснил гуцул, заметив удивленный взгляд Шелюженко. — Просто тут пшеница больно уж хороша, а колхозы охотно продают нам излишки... Когда вербовались, вербовщик обещал, что для отправки хлеба нам помогут достать вагоны, а теперь никто не хочет сушить себе этим голову. Директор обещал, заместитель обещал, а сейчас вот к вам...

«Еще и вы, мол, пообещайте», — так понял Шелюженко то, что лесоруб хотел сказать.

— Хорошо, мы вам поможем, — пообещал он.

Пока он, склонившись над краем стола, записывал, Маша через стол вопросительно, серьезно смотрела на него, на вылинявшую летную фуражку, на сосредоточенное светлорубое лицо с мальчишескими ямочками на щеках. Станным казалось, что даже сейчас, когда он не смеялся, эти детские ямочки все еще словно улыбались на его щеках.

Сквозь толпу лесорубов к Шелюженко пробрался буфетчик.

— Сейчас спросит, имеет ли он право строить тут свою крепкую, здоровую семью! — насмешливо бросила одна из девчат.

Но не успел буфетчик заговорить, как от речки донесся звонкий голос моториста Мишки:

— Гляньте: коршун! Коршун на рыбу охотится!

Все высыпали из-под навеса на солнце, остановились на круче у реки. В светлом небе одиноко кружился большой плавный коршун. Вот он стремглав ринулся вниз, на плес реки, коснулся воды и снова поднялся вверх с живой рыбой в клюве: она еще билась, трепетала, поблескивая.

— Ого, какого сазана схватил! — крикнул мастер и стал рассказывать Шелюженко, как на днях тут разыгралась целая баталия: коршун, бросившись вот так сверху, загнал когти в щуку, но щука оказалась таких размеров, что потащила и пернатого за собою в воду. Спустя некоторое время, свившись в клубок, вынырнули оба: один захлебнулся, вторая погибла в когтях.

— Довоевались! — хмуро сказал пожилой гуцул, прикуривая у Дидука от его резной трубки.

Неподалеку от Шелюженко, не вступая в разговор, стояли в обнимку Маша и Стефа. Задумчиво смотрели они в пространство перед собой, где уже и коршуна не

было, а только тапцевали шершни... Как будто поддавшись их построению, Шелюженко тоже загляделся в пустое небо, которое по-августовски тускло на горизонте.

У буфета ударил гонг: пора было на работу.

* * *

В тот вечер все разговоры в таборе велись вокруг посещения «белобрысого рабочкома», как пазвала Шелюженко Стефа. Выполнит ли он свои обещания, не забудет ли о пометках, которые делал в блокноте?

— Разве он первый приезжает? Разве ему первому жалуемся? — разглагольствовал буфетчик во время ужина. — Наивный народ! Для него вы человеко-единицы, не больше!

Приятель буфетчика шофер Самарский тоже был настроен скептически.

— Вот дядька Яцко еще вагопов от рабочкома ждет, — насмешливо указывал Самарский на Дидука. — Ведь ждете, вуйко? ¹

— Жду, — твердо отвечал гуцул.

Маша, слушая эти разговоры, сама, против обыкновения, участия в них не принимала, молча сидела на пеньке у своей палатки. Можно было подумать, что ей нет никакого дела ни до посещения рабочкома, ни до въедливых разглагольствований буфетчика и Самарского. Просто сидит и смотрит на угасающий за плавнями закат. А между тем ей очень хотелось, чтобы Шелюженко все же сдержал свое слово, чтобы остались в дураках этот буфетчик и его подпевала.

Утром, еще до восхода солнца, в табор прибыла машина с горячим, только что из пекарни, хлебом, во время обеда привезли свежие газеты, и хоть это, возможно, просто совпало, но Маша сразу приписала все Шелюженко: это он, он!

И почувствовала в душе что-то похожее на гордость за него.

А когда вскоре на участке получили еще и волейбольную сетку с мячом, места для сомнений не осталось — теперь даже Стефа должна была согласиться, что это его, рабочкомовская, забота. И хоть внимание, проявленное

¹ В у й ко — дядя (западноукр.).

Шелюженко, относилось, конечно, к коллективу в целом, Маша воспринимала его заботу так, словно он хотел всем этим — и хлебом, и газетами, и волейбольной сеткой — оказать внимание ей, Маше, прежде всего. Почему-то верилось, что среди своих бескопечных рабочкомовских хлопот он хоть изредка, да и вспомнит о ней, вспомнит, как причащались они вот тут борщом из одной миски, закусывая его сладким печеньем.

Волейбольную сетку Маша взялась натянуть сама — ей казалось, что парни делают это слишком медленно. А когда сетка была уже натянута, Маша повытаскивала из палаток всех «барсуков»:

— Играть!

Товарища Писанку тоже вытащила из его палатки и — как был, простоволосого, — поставила на площадке своим противником.

Что за веселая была эта игра! Товарищ Писанка то запутывался, как карась в сетке, то, бравируя, пробовал отбивать мяч даже головою, а один раз, на потеху зрителям, с разгону попал сквозь сетку прямо в объятия Маши.

Иногда игроки менялись, а Маша, казалось, решила всех переиграть; ее крепкие загорелые ноги сверкали то на одной стороне площадки, то на другой, жаркие цыганские кораллы так и танцевали на шес — казалось, они вот-вот оборвутся и рассыплются по земле.

Вероятно, играли бы до ночи, но приехал кассир, и все бросились получать зарплату.

— Много оторвала? — спросил буфетчик, когда Маша, скомкав деньги, запихала их в свою маленькую городскую сумочку.

— С меня хватит!

— Если не хватит, обратиться ко мне.

— А ты мне кто: муж или кавалер?

— А разве плохой кавалер? — Буфетчик молодецки тропул пальцем черную щеточку своих усов.

— Никто не спорит, хорош. Как кот разъелся, только мышей не ловишь.

И, помахивая сумочкой, она пошла между палаток, как по проспекту.

Это было в субботу, и многие из местных, получив зарплату, разъехались по домам. Из всей девичьей палатки остались в таборе только двое: Маша и Стефа.

Перед сном Маша взяла тлеющую головешку, обкурила в палатке дымом, чтоб выгнать комаров, но вскоре их снова налетело полно. Они так и впились в лицо.

Раздраженная Стефа, кляня и комаров, и мастера, и плавни, опять завела разговор о том, что к черту все это, пора бежать. Еще до приезда Шелюженко между ними было решено: дождутся получки и убегут отсюда. Попадутся в Каховку, или на другую новостройку, или же обратно к себе, в Карпаты. И вот теперь, когда их деньги лежали в Машинной сумочке, Маша ошеломила подругу неожиданной просьбой:

— Останемся, Стефонька, еще!

Стефа ушам своим не поверила.

— Остаться? Ты передумала?

— Да.

— Но почему? В волейбол пангралась? Кино обещают? Да ведь глушь, дебри как были, так и есть! Где-то музыка, танцы, веселье, а наша с тобой молодость тут отцветает!

— Да я уж как-то привыкла. И работа мне по душе.

— Чем не счастье! Все порму давай, все корчуй да корчуй, а плавням и конца не видно.

— Эх, Стефонька! — Маша, вскочив, стала опять выкуривать головешкой комаров. — Разве нормы страшны?.. Если б можно было заставить одного человека полюбить меня, я бы одна все плавни выкорчевала!

* * *

Середина августа. В плавнях цветет синим васильковым цветом железняк. Последнее, с чего пчелы берут мед. Утром, едва разгорится восток, в небо над плавнями, снявшись где-то со степного аэродрома, устремляются реактивные самолеты. Пролетая быстрее звука, они оставляют за собой ослепительно-белую дымовую тесьму. Когда Маша выходит ранним утром из палатки, взор ее прежде всего обращается туда, в небо, к реактивным. Она думает об отважном летчике, который промереживает небо, и все почему-то он предстает перед ней в образе белявого, в пилотской фуражке председателя рабочкома Шелюженко.

Земля в этот ранний час вся в росах, густых, обильных. Синий цвет железняка, папоротник, щавель, заячий холодок, разросшаяся, будто лианами перевитая, плавне-

ная зелень и даже черный кабель, что ужом тянется в траве от передвижных электростанций,— все чуть не плавает в это время в росе. Когда Маша идет лесом, лесорубы шутя бросают ей вслед нараспев:

— Пошла Маша в росах по пояс...

А днем жара, повсюду визжат электропилы, с тяжелым шумом падают вековые деревья. Все дальше отступает плавневый лес, все больше открытых, вырубленных деленок. В последнее время в плавни нагнали много техпнки, на лесных реках понастроили паромов, и теперь всюду можно проехать и пройти. Лесовозы не успевают вывозить распиленное дерево, и его тут же, на лесосеках, укладывают в штабеля, крепят кольями или вяжут в плоты, готовя к будущему половодью. Правда, плавневый лес своеобразный, на строительный материал он мало пригоден, и потому лишь часть его идет в штабеля, остальное же — в огонь.

К вечеру все плавни окутываются дымом, на всем их пространстве пахнет гарью и нагретыми за день озерами. Горят облитые мазутом могучие, так называемые неликвидные, вербы, горит вырубленный хворост, и там, где костер раскладывает Маша, пламя взвивается выше осокорей. Она любит, чтоб ее костер был выше всех, ей кажется, что тот, кого она ждет, по этому буйному, высокому пламени сразу угадает, где работает она.

Как-то через их участок шел грузовик на урочище Темное, и на подпожке его, ухватившись за дверцы кабины, стоял Шелюженко. Около девчат грузовик остановился.

Шелюженко, соскочив с подпожки, подошел к девушкам и, не замечая ревнивого, настороженного взгляда Стефы, радостный, веселый, направился к Маше.

— Я сразу угадал, что это ваш костер.

— Как?

— Приметный. И водитель говорит: самый высокий — это ее, венгерки.

Маше даже жарко стало от его шуток.

— А почему вас так долго не было?

— Да стыдно было появляться, пока не добыл вагонов, как обещал...

— А теперь разве добыли?

— Добыл.

Маша была мало заинтересована в этих вагонах. Это больше заботило ее пожилых, хозяйственных земляков,

но известие, что вагоны есть, что он сдержал слово, достал их все-таки для лесорубов, обрадовало Машу так, что она и сама не ожидала. Будто для нее он старался, для нее добывал...

Шелюженко разговаривал с нею всего несколько минут, потом, вскочив на подножку грузовика, поехал дальше. Когда машина скрылась в лесу, Маша в радостном возбуждении кинулась к Стефе, сжала ее в объятиях.

— Вот увидишь, — горячо шепнула она подруге, — он придет опять!

Шелюженко приехал в тот же вечер, возвращаясь с урочища Темного. Лесорубы, пошабавши, собрались у озера, которое еще совсем недавно было лесным, а сейчас лежало среди открытой вырубki, обмелевшее, беззащитное. В нем было полно рыбы, и, чтоб добро не пропадало, мастер организовал коллективный лов. Делалось это просто: засучив штаны, лесорубы во главе с мастером залезали в воду и, хорошенько взбаламутив ее, запускали руки в теплую озерную гущу. Издали можно было подумать, что они выбирают из мутной воды большие белые чаши лилий для девочек, которые толпились на берегу. Однако Писапке и его помощникам лилии были ни к чему, они равнодушно топтали их, а вместо лилий на берег летело что-то тяжелое, как кочаны, только и слышно: шлеп, шлеп, шлеп!

Это была рыба. Она уже кучами билась на сухой земле, и девочки, подбирая улов, тут же припимались ее потрошить.

Не только Маша, все здесь были рады приходу Шелюженко.

— Не умирала ваша доля! — весело кричал ему из воды Писанка. — Уха будет первый сорт!

— Раз вагоны есть, и уха покажется вкуснее, — вылезая на берег, приветливо подмигнул Шелюженко бригадир лесорубов Дидук.

— Может, последняя уха в этих плавнях, — заметил Писанка, выбравшись вслед за лесорубами из воды, и, пока девочки готовили уху, он, присев на коряге, стал рассказывать, как прибыл сюда весной с горсточкой первых «десаптников», как все здесь было тогда залито водой — не сразу нашли даже островок, где можно было пристать и выгрузить первый трактор, электростанцию, палатки. — А теперь вот последние озера высыхают, и плавням скоро

копец. — В голосе его зазвучало что-то похожее на сожаление.

— Сами рубите и самим жаль? — спросил Шелюженко.

— А конечно, жаль, — согласился мастер. — Что касается меня, я б его и совсем не рубил. Разве это лес? Больше в огопь идет, чем в штабеля. А для климата в борьбе с засухой этот лес, ого, какую бы службу сослужил! На юге это ведь единственный у нас такой лесной массив!

— Но водохранилище-то надо строить?

— Да никто же не говорит. Строй, да с толком. Вырубить — это проще простого. А чтоб вот помозговать... Человек от океана сумел дамбами отгородиться. Та же, скажем, Голландия благодаря дамбам вся ниже уровня моря живет, а мы? При такой силе, при такой технике, когда земснаряды за сутки горы земли намыывают, и не применить дамбования, не попробовать спасти эти леса? Нет, не по-хозяйски это, не по-хозяйски.

Дамбы, дамбование — это было что-то новое, над чем Шелюженко до сих пор не задумывался. А что, если этот Писанка, который так неприятно поразил его при первом знакомстве заискивающим тоном и чинопочитанием, что, если именно он рассуждает сейчас, как постоянный хозяин? А мы спешим, торопимся, иногда, не разобравшись, рубим сплеча, рубим только потому, что так удобнее, проще инженерам-проектировщикам, а каковы будут последствия...

— Уха готова, просим! — сказала Маша, и Шелюженко, встретившись с ней взглядом, был поражен необычайным блеском ее глаз.

Только стали рассаживаться у чугуна с ухой, как откуда ни возьмись подбежал к лесорубам знакомый пес Кудлай, а вслед за ним подошел и сам хозяин — лесник Кушугум, суровый, степенный, с ружьем на плече и, несмотря на годы, сохранивший молодцеватую выправку. Все на нем подтянуто, хорошо пригнано, борода и усы аккуратно подстрижены, на картузе отчетливо поблескивает эмблема — два золотых дубовых листочка. На мгновение все почувствовали себя неловко, будто он застал их за каким-то запрещенным занятием. Чтобы скрыть смущение, его пригласили на уху, но лесник не отозвался. Постоял, поглядел на костер, на выпотрошенную рыбу,

которую даже не всю использовали для ухи, и молча зашагал через вырубку дальше.

— Чудной человек, — сказал после молчания шофер Самарский, глядя на удалявшегося в сумерках лесника. — Давно бы ему уже переселиться на высшую горизонталь, а он все тут, как сыч, кружит, никак не может расстаться со вчерашним днем.

— А тебе было бы легко? — заступилась за лесника Маша. — Столько лет тут прожить, всю жизнь этот лес беречь, а теперь...

Фигура лесника уже едва виднелась на угасающем фоне заката. Скоро она совсем исчезла, утонув в синих плавневых дымах, стелившихся низко над землей.

— Ну, садитесь же, девчата! — скомапдовал Писанка.

Стефа, усевшись первой, ревниво следила, где сядет Маша. А Маша, веселым взглядом окинув круг, не спеша, смело подошла к Шелюженко и, улыбаясь, села рядом.

* * *

Потом была полная луна в пене и белоснежные лилии на озере, и далеко разносились в плавневом безмолвии задумчивые гуцульские песни...

К полночи постепенно стали расходиться — кто к табору, кто за табор, и у озера вскоре остались только двое: Маша и Шелюженко.

Это был их вечер! Светлая лунная ночь, озеро, тишина будто заколдованных плавней... Не так от чарки за ужином охмелели, как хмелели сейчас от счастья быть вместе, от возможности наконец свободно почувствовать свою близость. С пахлынувшей неожиданно откровенностью Маша рассказывала ему о себе, о горьком своем детстве, которое прошло в карпатской колыбе¹, об отце-бокорахе², погибшем на Белой Тиссе еще молодым.

А он, Шелюженко, волнуясь, тоже открывался ей, рассказывал, как недавно еще был «приписан к небу», летал штурманом на самолетах и видел эти плавни с высокого, можно сказать, орлиного полета. Буруны серебристых верб, озера, урочища, неожиданные среди степного края плавневые леса, переплетение светлых днепровских рука-

¹ Колыба — зимнее жилище лесорубов-гуцулов, без окон, с отверстием в крыше для дыма.

² Бокорах — плотогон.

вов, одинокие домишки бакенщиков и лесников служили ему своего рода ориентирами — их было немало обозначено на его штурманских картах. Не заметил, как поделился даже своей мечтой: вот вырубят плавни, разольется здесь море, и станет он, как его старший брат, водником, будет водить флот по этим затопленным урочищам. Нигде ему так не хотелось жить и работать, как в этих родных местах, среди просторов нового степного моря. Голос его звучал доверчиво, почти нежно. Дома он не открывал этих своих намерений, а ей, еще вчера почти незнакомой, раскрывается, все доверяет.

Лунным маревом, светлой поволокой окутана земля. Все вокруг таинственно примолкло. Даже колоды на вырубке лежат поблескивая, будто живые притаившиеся существа.

Было уже за полночь, когда Шелюженко и Маша подошли к притихшим, погруженным в сон палаткам.

Писанка еще с вечера пригласил Шелюженко к себе почевать. Маша слыхала это, но теперь, когда они уже стояли рядом с палаткой мастера и осталось им только проститься, руки Маши вдруг ласково легли ему на плечи.

— Не пушу!

— Почему?

Она смеялась, но в глазах было что-то невеселое, отчаянное, даже опасное.

— Убежим отсюда!

— Что ты говоришь, Маша? Куда? Зачем?

— Куда угодно,— она решительно встряхнула головой,— лишь бы только вместе: ты и я.

— Это невозможно, Маша. У меня семья, у тебя муж где-то...

— Был, да сплыл!..

— Как это «сплыл»?

— А так! Пока был в армии, я все его ждала и сюда вот, может, с тоски по нем вербовалась, а он... Думает, не сама я сюда завербовалась; думает, обманываю его и другой тут спит со мной в палатке! А со мною тут, как на исповеди тебе говорю, никто еще не спал! Не верит, ругается в письмах, оскорбляет. Ну, раз так думаешь обо мне, ищи себе другую! А я тоже свободна и буду кого хочу любить. Вот хоть тебя!

— Меня?

— Да, тебя.—Опа прильнула к нему.—Тебя одного хотела бы в себя влюбить. Ой, как бы хотела!

— Но ведь не свободен я, Маша...

— Освободись! Брось ее, ты мне дороже! Все мне в тебе так нравится: и глаза, и голос, и эти вот ямочки на щеках.—Опа погладила его ладонью по щеке.—Или ты боишься меня? Над тучами взлетать не боялся, а меня боишься?

— Не боюсь, Маша.—Он крепко обнял, прижал ее к себе.

— Так почему же? Пусть буду твоя. Куда хочешь за тобой пойду, а то даже тут, в плавнях, буду жить с тобой!

Ее горячая искренность, готовность идти на все и хватывала его, и отзывалась болью в душе. Он смотрел на Машу, на ее возбужденное, еще более красивое, чем днем, лицо и с горечью думал: почему, почему не встретила она ему раньше, когда он еще был свободен и мог бы так искренне и чистосердечно ответить на ее чувства? А теперь... Чем он мог ответить ей теперь? Крадепой любовью, которая унизила бы их обоих?

И хоть он ничего ей не сказал, она его поняла без слов. Упала головой ему на грудь и забилась в рыданиях. Он еще нежнее прижал к себе Машу, целовал ее душистые волосы, целовал шею, от которой пахло солнцем, чувствовал соленый вкус ее слез на своих губах.

* * *

Сквозь дыру в палатке мастера Писанки виден кусочек звездного неба. Шелюженко глядит на этот звездный кусочек и с горечью думает о том, как, по существу, неудачно сложилась его семейная жизнь. Женитьба его была случайной и необдуманной. Та, которую он взял в жены, оказалась жепщиной тяжелой, грубой, сварливой. Старше его на несколько лет, она была уже замужем за летчиком из их авиагородка: летчик этот погиб во время аварии. Разница в возрасте не давала ей покоя, она все время подозревала Шелюженко в каких-то связях и после устроенных ему сцен сама же бегала жаловаться на него то командиру части, пока жили в авиагородке, то секретарю райкома, когда после демобилизации Шелюженко стал работать в здешнем райкоме. Она требовала, чтоб Шелюженко любил ее, и паивно полагала, что к этому его могут

принудить, хоть сама давно уже утратила к мужу настоящее чувство и если и держалась за него, то больше, вероятно, ради его заработка, ради положений.

У них есть сын шести лет, но и для него у нее не хватает ласки, она охотно сбывает ребенка с рук, и мальчик месяцами живет у бабушки с бабушкой — родителей Шелюженко. Она считает Шелюжепко неудачником, и то, что его перебросили на работу сюда, в глухой, отдаленный леспромхоз, для нее лучшее этому подтверждение.

Город, вернуться в город было ее настойчивым требованием. Сейчас она жила с сыном тут же, в плавнях, в леспромхозовском «плавучем санатории», как шутя называли на разработках подплицкую брандвахту, которая была получена от днепровского землечерпального каравана. С месяц назад водники провели эту брандвахту по днепровским рукавам в глубины плавней, и теперь она используется под квартиры леспромхозовского начальства. Брандвахта стоит на якоре в живописном месте: лес, вода, чудесный воздух — другие женщины чувствуют себя здесь как в санатории, а она и тут успела перессориться с соседками, и когда Шелюженко возвращается домой, ему каждый раз приходится конфузиться за ее грубость, брапчливость. Брандвахту она называет не иначе как гауптвахтой, и самому Шелюженко брандвахта со временем тоже стала казаться чем-то вроде гауптвахты.

И, может быть, именно потому, что такой горькой была для него жизнь на брапдвахте, такой желанной казалась эта неожиданно встреченная Маша. Маша! Казалось, что еще с юности он мечтал именно о ней и вот теперь, хоть и поздно, наконец встретил, отыскал ее. Щедрая, горячая, открытая душа! Какое счастье было бы жить с нею, каким надежным другом была бы она на жизненном пути!.. А может, еще не поздно? Может, как раз время сломать, перестроить все, что было так неудачно построено, и, дав себе волю, откликнуться на ее зов? Все лучшее в его душе всколыхнуло, пробудила Маша своим волнующим признанием, своим горячим, страстным зовом, который так смело прозвучал среди этой лунной плавневой ночи. Стало ясно, что до сих пор он жил не так, как надо, что надо жить иначе. Но стоило ему представить, какие скандалы поднимет жена при первой его попытке пойти на разрыв, сколько заявлений на него посыплется, и все словно оборачивалось против него, все

складывалось так, что потерпевшей будет она, а виноватым останется один оп. Но, может, стоит пройти и через это? Пройти ради того, что будет?

Он представил себе Машу: она, должно быть, как и он, лежит сейчас в своей палатке и, глотая слезы обиды, думает о нем, об его отказе на ее горячее, самозабвенное «убежим». А что, если ты напрасно не послушался ее, что, если из-за своего, может быть, ложного понимания долга теряешь сейчас нечто такое, о чем потом будешь жалеть всю жизнь?

Словно в непролазной чаще, путались, билась мысли, искало новых путей растревоженное сердце, но и в этом состоянии полного душевного смятения Шелюженко чувствовал себя безмерно счастливым — счастливым, как при первом вылете в небо. Чувство счастья наполняло его от одного сознания, что совсем близко, в нескольких шагах от него, в соседней палатке, есть человек, готовый пойти за ним хоть на край света, человек, о существовании которого он недавно даже не подозревал и который вдруг стал таким близким, незаменимым, дорогим...

Только выйдя, только тихонько оклики, и она в тот же миг с готовностью выпорхнет к тебе из палатки, и высокий звездный шатер пеба раскинется над вами, пад вашей любовью.

* * *

Срочная командировка в управление новостройки заставила Шелюженко на следующий день покинуть леспромхоз. Командировка отняла у него больше недели.

Все это время Маша была сама не своя. Не стало слышно в таборе ее заливистого смеха, пропала охота играть в волейбол, по вечерам приезжало кино, но и ему она уже не радовалась. Рано ложилась спать, но — слышно было — уснуть не могла. «Влюблена!» — перешептывались между собой девушки, и весь табор уже знал об этом и сочувствовал венгерке, только буфетчик при ее появлении злорадно ухмылялся. А когда он бросал ей вслед старую лесорубскую шутку: «Пошла Маша в росах по пояс», это звучало в его устах двусмысленно, нехорошим намеком на ту лунную почь, которую она провела у озера с Шелюженко.

Словно после болезни изменилась Маша: похудела, под глазами легли синие теши, — но работала она с еще

большим рвением. Вечерние костры стали еще выше, еще заметнее среди других: она раскладывала их так, словно хотела, чтобы их было видно за дальними озерами, за темными урочищами, там, где был сейчас он, ее милый...

Однажды после работы она предложила Стефе пройти, как бывало раньше. Пошли и пошли и не заметили, как очутились далеко от табора.

Солнце было на закате, а с севера подымалась, заходила темная туча. Вскоре и солнце нырнуло в тучу, и там, где было оно, пылала только бушующая огненная пропасть. Облитые багровым пламенем, рваные тучи лохмато свисали над полосой потемневших плавневых лесов, над пнями пустынных вырубок, навевая неясную тревогу.

— Когда смотришь вот так на закат, всегда почему-то грустно-грустно становится, — сказала Маша и, вздохнув, неожиданно спросила: — Скажи, Стефа, могла бы ты стать матерью чужому ребенку?

Стефа удивилась:

— Что это ты?

Маша настаивала:

— Нет, скажи: могла бы?

— А ты?

— О!.. Я бы его так любила, так лелсяла...

Вырубка кончилась, за ней шумела, билась па ветру вербовая чаща, сквозь ветки поблескивала вода. Место было незнакомое, и Стефа предложила вернуться. Но Маша с непонятым упрямством уверенно шла дальше.

— Тут где-то у протоки их брандвахта стоит, — сказала она, и по глазам ее было видно, что приходит она сюда не впервые.

— Зачем тебе брандвахта? — удивилась Стефа.

Маша, не отвечая, пробиравась вперед.

Вскоре сквозь нависающие ветви верб проглянула па воде неуклюжая, обвешанная пеленками брандвахта, похожая больше на плавучий барак. На берегу играли в жмурки дети, то с шумом собираясь, то разбегаясь по кустам.

— Погляди, какой славный! — взволнованно схватив Стефу за руку, показала ей Маша на светловолосого круглолицего малыша, который, заметив их, настороженно застыл неподалеку. — И ямочки на щеках, смотри, даже когда не смеется... Мальчик! Как тебя зовут, мальчик?

Малыш, пахмурившись, попятился к брандвахте.

— Ну, скажи, как же тебя звать? — взволнованно спрашивала Маша, идя за ребенком и не сводя с него глаз.

— Эй, вы там! Чего пристаёте к детям? — послышалось вдруг с брандвахты.

Кричала толстая женщина в цветастом халате, вышедшая снять белье и заметившая Машу со Стефой.

— Своих надо иметь, — продолжала она так громко, словно между ними пролегло расстояние в километр. — А то бродят, заглядывают, как кукушки! Такие вот и разбивают семьи!

Она говорила еще что-то грубое, оскорбительное, но Маша уже, видимо, не слыхала этих слов. Отступив к Стефе и словно ища у нее защиты, она застыла на месте, пораженная. «Она! — В глазах Маши появился вдруг педобрый блеск. — Та, что имеет на него законное право, та, что всегда может видеть его, называть своим! За что, за что ей такое счастье?»

Женщина не упиралась. Размахивая тряпьем, она все обличала тех, которые зарятся на чужих мужей, вместо того чтобы поискать себе неженатых дураков...

— Пойдем! Пойдем! — Стефа дергала Машу за руку. — Охота тебе слушать эту скандалистку! Да провались она!

Так и отступили они в чашу, сопровождаемые криками, все еще разносившимися над брандвахтой.

Туча быстро надвигалась, закрывала небо над лесом, пришлось торопиться. Когда подходили к табору, Маша вдруг сказала, словно подумала вслух:

— И это к ней он приковап на всю жизнь... Такой орел!

Палатки гудели от ветра: их трепало, дергало, срывая с места.

Рабочие, сбившись под навесом у буфета, смотрели на бурю, идущую над плавнями, и слушали юного гармониста Стася, который недавно приобрел гармонию и теперь не выпускал ее из рук. Все свободное время пиликал и пиликал, наигрывая одно, а папевая другое:

Ще два рочки я полегіною,
Потім на венгерці я ся ожечю¹.

¹ Еще два годочка я погуляю царнем,
Потом на венгерке женюсь.

Весело было тут, одна только Маша весь вечер стояла в сторонке, под столбом у самого края навеса, не принимая участия в веселье. Расходясь по палаткам, рабочие все еще видели у столба ее высокую, грустно склоненную фигуру.

* * *

Всю ночь ветер хлопал брезентом палаток, всю ночь гонял тучи по небу, а дождя так и не пагнал. Только пыль поднялась в воздухе такая, что и на другой день стояла над степью, над плавнями.

Песок скрипел у Шелюженко на зубах, когда он в вихрях пыли примчался на мотоцикле к переправе и взялся за трос, чтобы помочь паромщику переправить паром на ту сторону. Стальной, с колючими оборванными проволоками трос больно врезался Шелюженко в руки, но он тянул так, что в глазах темнело, а сердце его дрожало от радостного нетерпения скорее перебраться на ту сторону. Там Маша, там она ждет его, ждет! Оттуда уже словно глядят на него ее возбужденные, радостно блестящие глаза. Блеск ее глаз в ту ночь был самым прекрасным, что видел он за всю свою жизнь.

С твердым, неотступным решением ехал сегодня Шелюженко на урочище: на этот раз он встретится с Машей, чтоб больше никогда с нею не разлучаться. Решение пришло само собою во время поездки, когда он так много передумал о Маше и еще острее почувствовал счастье, которое она ему принесла.

Уже собираясь домой, Шелюженко случайно встретил на новостройке своего старого друга-летчика, который еще по авиагородку хорошо знал жену Шелюженко и был искренне удивлен, узнав, что Шелюженко до сих пор с нею не порвал.

— Я был уверен, что ты давно уже решил этот вопрос, — сказал товарищ, сочувствуя Шелюженко. — Невыносимый ведь человек!

Они долго разговаривали об этом, и поддержка со стороны товарища еще больше укрепила Шелюженко в его решении: друзья его понимают, друзья поддерживают его новое чувство!

Когда паром пристал к берегу и Шелюженко припаялся выкатывать мотоцикл, он заметил, что руки у него в липкой крови, в одном месте ладонь чуть не до кости порезана тросом.

— Подождите,— бросился куда-то паромщик,— паромщик надо приложить.

Но Шелюженко не стал ждать. Все то же радостное нетерпение заставляло его торопиться, гнало вперед. Маша своей улыбкой все звала его, звала...

Мотоцикл, подпрыгивая, мчался по разбитой дороге, проложенной на 18-й квадрат. Те ли это плавни? За время его отсутствия все здесь до неузнаваемости изменилось. Вырубки стали шире, лес отступил еще дальше, в прорубленные просветы виднеется Днепр, холмы на том берегу, далекий городишко, а по эту сторону, на песчаной косе, уже виден оголенный домик бакенщика с красными корпусами сигнальных знаков, развешанных вокруг него, а там вон, в глубине плавней, забелела на опушке хата лесника, которая до сих пор, как гнездо, пряталась в чаще, теперь же вдруг очутилась на открытом месте. Туда и сюда идут тракторы, лесовозы, заблестало знакомое озеро... А где же костры? Где самый высокий, самый яркий в плавнях костер?

Не видно костров, не дымятся на опушке дымы, не было, как оказалось, и... Маши.

— Ищи ветра в поле! — не то сердито, не то виловато сказал встретившийся на опушке Писанка.— Еще вчера были, а сегодня... Пустая постель осталась в палатке после нее да Стефы!

Шелюженко приближался к Писанке с таким видом, будто собирался его ударить.

— Где же она может быть?

Мастер развел руками: кто ее знает. Может, еще сидит со своей Стефой на станции без билета, ведь сорвалась ни с чем, даже кассира не захотела ждать. Может, в Каховку махнули? Стефа как-то проговорила с девчатами, что они с Машей хотели бы научиться работать на этом высоком, что как журавль,— на экскаваторе то есть. «Мы, верховинки, любим высокое»,— шутила она накануне.

Шелюженко подошел к мотоциклу, тяжело положил свои израненные руки на руль. Заведенный мотор взревел, будто хотел разорваться. Взымнулась, взвихрилась пыль — мотоцикл помчался на станцию.

Станция — это уже в степи, и пыль вихрится тут еще сильнее. В запыленном скверике, под звенящими на ветру акациями, дремлют на узлах какие-то женщины. Шелюженко бросился к ним. Будто от сумасшедшего, испуган-

по отплатывались они, когда он, пробегая, засматривал им в лица. Не было Маши ни в скверике, ни на перроне. За открытым семафором исчезал хвост товарняка.

В буфете, куда забежал с перрона Шелюженко, сидел, склонившись над кружкой пива, один-единственный пассажир: лесник Кушугум.

Шелюженко с порога бросился к нему с вопросом, не видел ли он двух пассажиров, плавневых девчат.

— Что, убежала? — Лесник насмешливо повел кустистой бровью. — Не сумел удержать? Плохо, значит, держал. Эге! Или, может, это тебе, как наши бабы говорят, за грехи?

— За какие?

— Еще и за какие! Такой лес пустить под нож! Полтора-два тысяч гектаров леса уничтожить в наше время — это тебе что? Сажал, берег, за столько лет ни одного лесонарушения не имел, а теперь вы сами да ваши инженеры это неслыханное лесонарушение учинили. Судить бы вас, судить! Новых машин, кусторезов нагнали, все топочечки мои, что в прошлом году сажал, сейчас, как косилками, косят. А я вот поеду и добыюсь, всем расскажу, как вы тут хозяйничаете! — В голосе его послышалась угроза.

С тяжелым сердцем вышел Шелюженко из помещения станции, сел на мотоцикл. Далеко внизу, в огромной, как море, впадине, блестят наполовину вырубленные плавни, уходят к горизонту, скупо освещенные солнцем с неприветливого, по-августовски потускневшего неба. Только пыль курится над землей да черные коршуны мечутся в воздухе.

Маша... Где ее теперь искать, где?

Появилась, чтоб взбудоражить душу, всколыхнуть жизнь и снова оставить с глазу на глаз с окутанными пылью плавнями, с тяжелой брандвахтой, угрюмо поджигающей его на якоре на плавневой речушке Бузулук.

* * *

Вода, вода, вода!

До самых далеких степных балок наполнился ею весь плавневый край. Там, где были реки, переправы, где шумели вековыми вербами урочища Волчиха, Темное, Скарбное, — всюду теперь разлилось молодое степное море, бушующее на ветрах, выкидывая в шторм на берег огромные коряги «неликвидных» верб. Море и море — миллионы

кубометров пресной воды! Лишь кое-где напоминанием о прошлом торчат из воды кусты, потемневшие остатки плавней, которые тогда, очевидно, не успели вырубить и сжечь.

С ранней весны и до глубокой осени идут среди просторов нового моря караваны судов, груженные рудой, зерном, камнем из днепровских карьеров.

Вторую навигацию на буксире «Отважный» ходит помощником капитана Шелюженко, водит по новым судоходным трассам баржи-рудовозы. Даже в темную осеннюю ночь, когда крутая, поднятая степными ветрами волна доплескивается на самую палубу, не жалеет он, что выбрал себе этот нелегкий путь. Стоя на мостике и следя за огоньками бакенов в разбушевавшемся ночном мраке, вспоминает, как строилось тут море, как горели плавни и затягивало предвечерними дымами делянки вырубок, урочища, озера.

Давно уже расформирован леспромхоз, куда-то на другие разработки отправился Писанка, а Маша... Маша-венгерка, где она? Прошла сторопою, промелькнула зарницей, словно только для того, чтоб осветить его жизнь и, позвав к любви настоящей, большой, навсегда освободить от оков брандвахты.

Живет Шелюженко теперь с родителями, вместе с ними воспитывает сына, которого летом берет с собою в рейсы.

Трасса его лежит через знакомые урочища, где пылали когда-то разложенные Машей костры.

Щемящая боль и тоска ранят сердце, когда проплывает он тут, по знакомым местам, которых едва не касаются днищами его тяжелые баржи-рудовозы. «Верховинка, она любит высокое...» Проходят годы, а Шелюженко все не может забыть ее, все не теряет надежды встретить.

Сквозь штормовой ветер ему как будто слышится ее голос из глубины затопленных плавней, из просторов подводных урочищ. Где-то там, в глубинах, как и в его сердце, продолжают жить и маревые лунные ночи, и теплые плавневые озера, и высокие костры, которые она раскладывала в предвечерний час.

Морозом сковало степь, но вдруг все развезло — ни проехать, ни пройти. Грейдеры лежат с глубоко развороченными колеями. Тут — чернозем. Тяжелый черпозем.

Середина зимы, а вокруг — будто осень: снега нигде нет; земля в полинявших красках; небо — в холодной растревоженности туч; в голых деревьях посадок буйствует тугой степной ветер.

Безлюдьем своим и злыми порывами ветра эта мокрая, пабрякшая предвечерняя степь напоминает море в штормовую погоду. И кажется, тут вовсе нет жизни. Однако степь живет. И не та ли крохотная далекая точка даст ей жизнь?

По разбитому грузовиками грейдеру, ныряя в глубоких маслянисто-черных колеях, упрямо пробивается куда-то маленький «газик», до самого брезента забрызганный грязью. Говорят, что даже там, где ничто не пройдет, он проходит, этот неказистый степной труженик.

В «газике» за рулем — водитель Кожущенко. Это пожилой уже человек, но в нем еще чувствуется сила. Упругая, в вечных трудах каленная сила. Этой силой налиты его руки, прикипевшие к баранке, налиты его и плечи под фуфайкой, и шея. Руки водителя и весь он — в напряжении: машина идет неровно, норовисто, скользит, приплясывает в яминах. Взгляд Кожущенко устремлен все время вперед — сквозь стекло, густо обляпанное грязью, — на разбитую дорогу.

— Доедем ли? Успеем ли? Спасем ли? — время от времени нервно обращается к водителю его сосед.

Кожущенко, не отрывая глаз от стекла, глухо бросает в ответ:

— На локтях доползем.

Подоспели сумерки, но они почти незаметны. Степь светла: откуда-то из-за спины, блуждая в тучах, светит полная луна. Крохотные льдинки поблескивают в колеях. Колеи — бескопечные, причудливо извивающиеся траншеи; голые, словно бы из проволоки, посадки да мачты высоковольтных линий до самых туч... Вот тот мир, где они вдвоем пробиваются.

Сосед Кожущенко — юноша с худощавым лицом и острым продолговатым подбородком. Его буйная шевелюра не помещается под маленькой кепчопкой, ниже ушей кияжальчиками торчат темные бакенбарды. На нем новый, из добротного сукна пиджак с серым каракулевым воротником. Ему должно было быть тепло, а он все время ежится, втягивает голову в воротник, будто его продувает. Это — Серега, сын председателя колхоза. В прошлом году он закончил десятилетку, поступал в институт, но не поступил и теперь временно заведует колхозным клубом.

Не жалеет ли он, что поехал с Кожущенко? Ведь он по собственному желанию вызвался!

Еще несколько часов назад в селе и не предполагали, что может случиться такая беда. Был воскресный день. Люди свободны от работ. Детвора носилась на коньках по льду залива, вылетая иногда и дальше, на простор замерзшего Каховского моря. Там, на седых просторах моря, сколько обнимал глаз, тоже маячили фигуры людей: где поодиночке, а где неподвижными темными группами. Все это были рыбаки, неутомимые щукари, энтузиасты подледного лова. Ссутулившись над своими лунками, они с самого утра высиживали там, не замечая стужи. А под вечер случилось...

Шквалом оторвало огромную льдину и погнало вместе с рыбаками в море. Было их там, на ледяной площадке, полсотни человек. Горе коснулось почти каждого дома, ворвалось чуть ли не в каждую семью. На буграх, у села голосили женщины, в конторе суматошно звонили в район, но не могли дозвониться: видно, ветер оборвал где-то в степи телефонные провода. Оставалось одно — послать «газик» Кожущенко.

Когда этот «газик», вылетев на пригорок, на мгновение остановился в толпе, где был председатель колхоза, женщины, все еще вопившие в сторону моря, одновременно обернулись к этой брезентовой палатке, глядя на нее, как на последнюю свою надежду и спасение. В этот миг

председателей Серега вдруг крикнул отцу, что он тоже поедет.

— Пробьемся, всех там на ноги подымеи!

Это было сказано в искреннем порыве, сказано, может, потому, что в эту минуту Серега видел перед собой наполненные слезами глаза любимой — ее отец также находился среди тех, кого на льдине уносило в море.

И вот они едут час, второй, третий... Буксуют, застревают, выбираются на колею и снова едут. Мысли их — все время о тех, что на льдине. Живы ли они еще? Выдержит ли их льдина до того, пока об этой беде узнают в районе?

— А может, наши все-таки догнали их на баркасах? — высказывает предположение Серега. — Ты слышал, отец распорядился баркасы послать вдогонку?

— Пока те баркасы стянут с берега, знаешь, куда их отнесет? Это ж море!

— И сколько раз их предупреждали... Ну и народ!

— К чему людей обвинять, ежели они в беде! Не о том теперь думай.

— Ветер, кажется, крепчает.

— Может, подморозит.

— Ну и разрыли же здесь... Когда уже нам дороги такие, как следует, построят?

— А кто их построит, если сами не возьмемся?

— Да вот хотел же я поступить в автодорожный, так им производственный стаж подавай. А я бы тут таких дорог понастроил!

— Ну, твоя дорога только начинается.

— Это еще как придется... Знаешь ведь, как бывает: комсомолом начинаем, собесом кончаем...

— Рано тебе о собесе думать.

Машина спускалась в буерак. Степь да буераки — такой здесь ландшафт. На дне буерака — прихваченное льдом озерцо; «газик» с разгону прошуршал по нему, пошел на подъем. Мотор завыл. Это был один из тех подъемов, когда, кажется, мотору не хватает какой-то капельки силы, чтобы взять его, и люди в машине невольно напрягаются всем телом, словно бы стараясь подтолкнуть самих себя, передать мотору силу своих мышц, помочь ему вытащить их. Однако сил не хватало, и где-то с половины подъема водитель вынужден был дать задний ход, спуститься назад в балку и снова с разгону бросить машину вперед, как на таран. Опять мотор задохнулся на

том самом месте, и машина пошла назад, чтобы снова взять разгон.

Так повторялось несколько раз. Водителю уже ничего не было видно: ни подъема, ни месива дороги — стекло перед ним сплошь было залеплено грязью.

Остановив машину, Кожущенко вышел из кабины, протер стекло, стал осматривать дорогу. Для него она была не в диковинку, эта бездорожная дорога. На них прошла его добрая половина жизни, много он их повидал. Видел фронтовые, когда водил свой грузовик со снарядами по хворостяным пастилам у Днепра, по тяжелым, вязким пескам, а позже в горах, когда пробивался зимой по руслам горных речек все выше и выше. Шофер считал это обычным и был удивлен, когда в Карпатах вручили ему медаль «За отвагу». Не ждал он легкой доли и на колхозных дорогах. Лето за летом проходило в пылище, в ветрах. Тучи пыли вставали над степью, когда возил хлеб на элеваторы. А осень... Осенние дороги всегда с боем берутся степным шофером. Не привыкать ему ночевать в степи, не привыкать возвращаться домой забрызганным по пояс, но сейчас он не может ни возвратиться, ни заночевать здесь. Он должен торопиться, во что бы то ни стало пробиваться вперед. Каждая потерянная минута мучит его, как преступление, ибо этот злой ветер, что бьется сейчас о машину, обжигает и тех, потерпевших, гонит их куда-то в ночной простор, навстречу гибели. Он знает, почему «газик» не в силах преодолеть подъем, — лысые скаты. И разве не глупо, что из-за этих лысых, изношенных скатов (никак не может добиться пых) где-то там должны погибнуть люди! Из-за такой мелочи! Нужпо бы хворосту какого-нибудь, палок, веток набросать под колеса, но кругом — ни кустика. Перед войной в этой балке рос терп, а теперь и его нет.

Кожущенко спял с себя фуфайку, со злостью бросил ее под переднее колесо «газика».

Сереги рядом не было, он в это время стоял сзади, готовясь подталкивать машину. «Газик» рванулся вперед, замолот колесами, пошел, пошел и наконец выбрался на ровное место.

Они постояли возле машины, еще не веря в свою победу. Серега по самый воротник был в грязи, которая била в него из-под колес, как из брандспойта, когда он подталкивал машину, но, несмотря на это, лицо его сейчас светилося радостью: выкарабкались!

Тут, на пригорке, они еле держались на погах — такой ветер налетал на них из степи. Резкий, порывистый, он пронизывал насквозь, и Кожущенко, сутуливший могучие плечи, без фуфайки, в одной вельветовой куртке, казался беззащитным.

Перед тем как тропуться дальше, он сбегал за фуфайкой к тому месту, где бросил ее под колеса, и, возвратившись, сузил под сиденье уже не сухую одежду, а нечто вовсе на нее непохожее — пуд круто замешепной колесами грязи.

Посхали дальше. Луну задернуло тучами, в лучах фар стали пролетать снежинки — косые, быстрые, как градины.

Выбравшись из глубоких колеи на обочину, они помчались по озими, где до них, видать, проезжали уже не раз.

С каждым километром все больше подмерзало — это чувствовалось по тому, как машину все чаще и чаще заносило, бросало из стороны в сторону. В одном месте их вдруг так повело, что «газик», крутнувшись на месте, стал задом наперед.

— Плохи дела, — сказал Кожущенко, — не слушается.

И, выровняв машину, он снова пустил ее вперед с нарастающей скоростью. Ехать им еще было далеко. Десятками километров измеряются степные перегоны. А снег густел, ветер задувал его в кабину сквозь щели в брезенте.

Перед ними опять возник буерак. Хотелось перескочить его одним духом. Машина, пущенная на полную скорость, казалось, выскочит на противоположную сторону. Но вдруг ее понесло на обочину грейдера, и они почувствовали, что уже летят кубарем куда-то вниз. Когда опомнились, в первое мгновение не могли сообразить, что с ними произошло и не искалечены ли они. Однако оба были целы и невредимы. И машина стояла на колесах. Выбравшись из нее, они увидели, что оказались на самом дне буерака. Глубокий — без помощи им отсюда не выбраться. Крутые косогоры, скользкие, как стекло, — их прихватила гололедица.

Снежные вихри носились в буераке, заволакивали небо и степь.

— Что же делать? — Серега сквозь снег пытался разглядеть Кожущенко.

— Пойдешь пешком, Серега

— А ты?

— Я останусь возле машины. Может, кто вытащит — догоню...

— До утра я не дойду. Ночь, метель...

— Придерживайся дороги. Высоковольтных...

— Я не могу. Я не пойду. Меня заметет! — Он почти выкрикнул последние слова испуганно, по-детски.

Кожущенко приблизился к нему вплотную — лицом к лицу.

— А тех — не заметет?

— Как хочешь, но я не могу. У меня повреждена нога, сначала не чувствовал, а сейчас вот чувствую — болит!

Кожущенко, насупившись, помолчал.

— Тогда я пойду. Оставайся.

И не успел Серега сказать что-либо, как Кожущенко в легкой не по сезону вельветовой куртке уже скрылся в волнах метели.

Мотор работал на малых оборотах. Постояв некоторое время возле машины, Серега залез на сиденье, плотно прикрыв за собой дверцу, словно бы заслоняясь этим стеклом и брезентом от ночи, метели, от бушующей непогодью степи. Не раз слышал он, как гибнут люди в степи, как после буранов находят, выкапывают из-под снега окоченевшие тела, бездыханные останки того, что раньше жило, дышало, смеялось... Нет, он не хочет быть таким. Ведь он только начинает жить, его любят девушки, а та, ради которой он отправился в этот путь, еще вчера вечером целовала его — он и сейчас, казалось, чувствует, как ее руки нежно, ласково плывут по его юношеской густой шевелюре... Он не погибнет! Как бы там ни бесновалась непогода, у него есть убежище — ему дает надежное затишье этот темный отцовский «газик», согревающий его своим мотором. Но долго ли будет греть? Он глянул на шкалу — бензина было еще полбака. А когда выгорит? Есть ли запас? Стал искать канистру и вдруг наткнулся внизу на что-то мокрое, липкое, холодное. Кожущенкова фуфайка! Забитая грязью, тяжелая, и, хотя на дороге из нее было выдавлено все тепло человеческого тела, она, однако, сохраняла в себе что-то от Кожущенко, и от него дохнуло на Серегу таким укором, что он даже отпрянул. Все как-то сразу встало перед ним в подлинном свете. Почему он отказался идти? Зачем соврал, что у него повреждена нога? Неужели он трус? Неужели это были

только слова, когда хвалился девушке, что пойдет в Антарктику, что ему не страшны ни самые низкие в мире температуры, ни вековые льды?

Первым желанием его было догнать Кожущенко, вернуть, пойти вместо него. Он выскочил из машины и сразу же провалился в снег — возле «газика» уже вырос сугроб. Небо пропало. Ни неба, ни дороги, ни высоковольтных — был только океан снежной сумятицы, удары ветра, завывание метельной степной ночи. Через минуту он снова сидел в машине, и снег таял на нем, одежда увлажнялась, становилась мокрой.

Мотор работал. Шкала светилась, и от ее скупого света становилось как-то уютнее. Серега представил Кожущенко, как он идет по степи без фуфайки, пробиваясь сквозь ветер; как в конце концов, обессиленный, падает он в глубокую колею, похожую на солдатский окоп, и там его постепенно заносит снегом, и уже дух Кожущенко, его тепло бесследно разносит ветер по степи. Еще почему-то вспомнился из недавней кинохроники об Антарктике тот последний кадр, когда тракториста Ивана Хмару вместе с его трактором поглощает на глазах у всех ледяная бездна океана... А те, потерпевшие? Где сейчас их льдина? Куда гонит ее ветром среди открытого степного моря? Может, давно разломало, раскромсало? Может, их уже поглотила пучина, и некого больше спасать, и Кожущенко напрасно рпскует? Но ведь если не дойдет, не пробьется Кожущенко, то погибнет здесь и он, Серега, ибо, по всему виду, метель разгулялась надолго. Покамест ему тепло, его одолевает дремота. Поднял воротник, чтобы меньше слышать завывание ветра, чтобы еще больше отгородиться от непогоды, — он как бы погружался во что-то теплое, беспечное, домашнее. Другая степь поплыла перед ним — летняя, солнечная. Пшеница и пшеница, комбайн плывет в хлебах. Плывет километр, другой, а хлебам не видать конца, и комбайнер, остановившись, удивленно спрашивает: «Не заблудился ли я?»

Когда проснулся, мотор уже не работал. Нажал на стартер, стал заводить — напрасно. В конце концов этого следовало ожидать. Без тепла, без мотора, один... В машине становилось как-то светлее; видать, уже приближалось утро. Попробовал открыть дверцу — не открывается: замело! «Газик» замело!

Ужас охватил Серегу. Он почувствовал себя как в гробу, в белом снежном гробу. Кто же его отыщет

здесь? Кто откапает? Зачем было оставаться? Нужно было идти, идти — ведь он молодой, на нем теплый пиджак, — пускай бы Кожущенко остался тут в своей вельветовой куртке!

Просунув руки сквозь брезент, он стал отгребать снег, с огромным трудом открыл дверцу; протискиваясь боком, вылез из машины.

Было утро. За буераком, где-то за снежными сугробами, угадывалось солнце. Угадывалось оно по тому разливу света, который наполнял небо над столбами снежной пыли. Этот расплескавшийся по небу свет и был посланцем солнца, был стихией более сильной, чем буря, — он все сильнее пробивал серебристую развихренную муть.

Чудилось, что ветер немного ослаб, и скоро появится солнце, и степь занграет под его лучами белой чистотой укрошенных снегов.

Проваливаясь в сугробах, Серега побрел на грейдер и на другой стороне его, на дне балки, увидел в кустах чей-то полузанесенный, перекосившийся грузовик. Охваченный радостной надеждой встретить живую душу, бросился туда...

Но в грузовике никого не было. Люди, сорвавшись ночью под откос, видимо, оставили машину и дальше пошли пешком, как и Кожущенко. В кузове лежали канистры, и Серега, схватив их, тут же разочарованно отбросил в сторону, — бензина в них не было.

Солнце не появлялось весь день. А под вечер метель разбушевалась с еще большей силой. Наступила вторая ночь, и Серега встретил ее, угнездившись в своем «газике», не имея даже того малого тепла, которое было вчера: бензин копчился, мотор заглох, шкала потухла.

Холод и темепь в кабине, коченеют ноги, мучит неизвестность. Дверца снова не открывается, стекло залепило снегом; кажется, гору снега намело над ним, навсегда придавило на дне буерака его остывший «газик».

В эту ночь Серега не спал. Потому ли, что боялся замерзнуть, или потому, что все время тревожили воображение, появляясь перед глазами, то отец, то мать, то девушка с заплаканным, таким дорогим лицом, — появлялись и все спрашивали, пытались выяснить: «Почему ты так поступил, почему не пошел по той дороге, по которой пошел Кожущенко? Испугался за свою жизнь? Но ведь ты можешь лишиться ее и здесь, лишиться бесславно,

а мог бы отдать с честью, побеждая стихию, спасая людей. А мы ведь думали о тебе иначе. Ты в клубе был такой видный, веселый, пользовался таким успехом у девчат. Когда ты появлялся на ферме, молодые доярки тотчас же расцветали. И отец у тебя мужественный человек, храбрый солдат — представь его на своем месте: разве он поступил бы так, как ты?»

Казалось, ночи этой не будет конца, и никогда не утихнет эта метель, и никто не проложит дорогу через степные заносы к засыпанному снегом «газику».

Однако дорогу кто-то проложил. Еще было темно вокруг, когда Серега услышал на грейдере радостный, спасительный гул трактора.

Трактор шел по грейдеру! Шел к нему, за ним! Но трактор прогремывал, направляясь куда-то дальше. То ли он не заметил «газика», занесенного снегом, то ли он шел вовсе не для спасения его, а для выполнения какого-то другого задания. А Серега не мог подать ему голос, не мог сообщить о себе, потому что, пока он бился в своем «газике», стремясь открыть дверцу, трактор уже пророкотал, скрылся за бугром. Это было похоже на смертный приговор. Никто его не откапает, никто, быть может, и не знает, что он тут погибает, — может, и Кожущенко не дошел, и у них теперь нет пути к живым людям.

Однако спустя некоторое время снова послышался гул трактора, — он, видно, вернулся, разыскивая кого-то в этом буераке. Серега бил кулаком в дверцу, кричал, но чувствовал, как голос его замирает, гложет под снегами.

И все же его, кажется, услышали. Трактор остановился, гомон людей зазвучал в темноте, и стали отчетливо слышны такие дорожные слова:

— Трос! Давай трос!

Стальной трос дважды обрывался, пока наконец удалось сорвать с места примерзший к земле «газик» и вытащить его на грейдер.

— Привет снежному человеку!

Так попутили они, эти незнакомые, приведенные Кожущенко люди, с интересом рассматривая в скупом предрассветном освещении найденного, выкопанного из-под снега Серегу.

Он стоял перед ними на грейдере, и бакенбарды его почти не были заметны — так он успел зарости. («И де-вушка не узнает», — подумал Кожущенко.)

— А как те, наши? — это было первое, о чем он спросил Кожущенко.

— Спасены. Вертолет вызвали из Запорожья, всех подобрал...

* * *

На том же самом «газике» ночью едем мы степью. Высокий месяц бредет в тучах.

Кожущенко, положив руки на руль, спокойно рассказывает мне эту историю: Серега лежит еще в больнице с обмороженными ногами, но вскоре выпишется.

Мысли мои сейчас, однако, не о нем, не о Сереге, они о Кожущенко, мужественном, закаленном солдате, о многих таких, как он, преодолевающих в эту ночь бездорожье.

Снега уже нет — опять развезло дороги. Вижу перед собой бесконечную степь, и в ней где-то далеко-далеко — маленький огонек. Он движется. Огонек — это человек. Приветствую тебя, неизвестный огонек! Я рад, что ты есть. Пока ты есть — степь жива, ты — душа этой степи, без тебя она была бы ночной бездорожной пустыней. Я жду, пока ты приблизишься. Каким увижу тебя?

Всего лишь раз я видел его, было это в Будапеште.

Венгрия праздновала пятую годовщину освобождения. Вечером в помещении парламента состоялся правительственный прием. Праздничные столы, сверкание огней, музыка, шум, и вот все стихло, все взгляды — ко входу, откуда степенно приближается он, богатырь Севера, с улыбкой на устах, в ореоле седин. В руке у него палка, однако она не делает его старым, а как бы еще больше подчеркивает природную величавость его осанки. Седина серебристая, чистая, она прямо сияет над крупной головой с большим выпуклым лбом, а в зорких, по-молодому блестящих глазах — приветливость, улыбка и доброжелательность человека, который сам изведal в жизни много горя и поэтому-то желает другим много добра.

Радостно было смотреть, как его здесь любят, уважают. Специально приглашенный на праздник молодой Венгрии, он, несмотря на преклонный возраст, пересек несколько границ, чтобы приехать сюда. Всемирно известный писатель, ветеран международного рабочего движения, здесь, на этом празднике, он желанный и дорогой гость.

Здесь, в парламенте, нас и познакомили. Был он на полвека старше меня, но у нас нашлось о чем поговорить; и хотя эти оставшиеся у него за спиной полвека известны мне были только из его прекрасных книг и жизненный опыт этого человека был огромен, однако ведь и он, человек преклонных лет, кое-чего не видел из того, что видело мое поколение. Скажем, не видел, как пылал этот город в огне гигантского сражения, когда на протяжении многих дней и ночей здесь грохотала война и вулканической

силы пламя до самого неба вставало на этих дунайских берегах.

Великий труженик литературы, он вызывал к себе глубочайшее уважение, я смотрел на него и думал о его нелегкой жизни, о юности его и детстве, о том, как он с веселым мужеством прошел свой путь и как бы вобрал в себя живую историю, мудрость и поэзию борьбы своего народа.

Это была моя единственная встреча с ним.

Потом его не стало.

Когда его уже не было на свете, мне довелось посетить его страну и побывать даже на том острове, обдуваемом суровыми, северными ветрами, где проходило его детство.

Всю ночь плыли мы в сторону острова по взбудораженному осеннему морю, плыли на стареньком пароходе с моим спутником Петером, копенгагенским рабочим, активистом Общества дружбы с Советским Союзом. Пассажиров почти не было, мы сидели в освещенном салончике за бутылкой пива, слушали непрерывный голос бушующего ненастного моря и до поздней ночи тихо беседовали с Петером о его славном соотечественнике, чья батрацкая юность прошла как раз в этих краях.

На острове, к которому мы пристали перед рассветом, нас встретил художник, руководитель местного отделения Общества дружбы.

Еще темно было вокруг; глухо гудело море, ударяясь о скалистые берега, свистел с севера ледяной, обжигающий ветер.

Художник сел за руль своего маленького автомобиля, и мы втроем поехали в глубь острова. На голове художника была тибетейка, настоящая наша узбекская тибетейка. Жизнерадостный и энергичный хозяин рассказал о пей целую историю: на каком-то международном конгрессе в знак дружбы он отдал узбеку берет в обмен на этот восточный головной убор — и с той поры зимой и летом на его крепкой голове сидит эта бухарская тибетейка, веселя друзей и своими яркими красками словно бросая вызов консервативным вкусам местного бюргерства.

Тяжелые тучи низко плывут над островом. Сеется изморось. Остров, славящийся своей живописностью, выглядит сейчас хмурым, каким-то зловещим. Словно казармы, краснеют кирпичные строения разбросанных в полях ху-

торов. На вершинах гранитных скал северного побережья мрачно высятся мачты военных радиостанций. Промчалась мимо вереница грузовиков с солдатами...

Рыбачий поселок на краю острова. Жмутся под скалами убогие халупы рыбаков. На одной из гранитных террас прилепился домик нашего хозяина — ателье легкого летнего типа. Нелегко здесь жить художнику! Собственными руками выламывал он скалу, создавая место для жилья. Носил землю, сумел даже развести садик на своей каменной террасе. Виноград, винная вишня, персик... Будто распятые, прижались к стене сарайчика деревья, упрятанные в спокойном местечке от леденящих северных ветров.

Шумит море внизу, едва виднеется серый туманный горизонт.

Остров привлек художника, по его словам, своеобразным освещением, которого не найти в других местах страны: возможно, что большая влажность воздуха на острове, затерянном среди морских просторов, как раз и создает это редкостное освещение. Множество картин написано здесь художником. Работы его известны во многих странах Европы. А в мастерской по-прежнему нестерпимый холод: электрическая печка не может обогреть встхое помещение со стеклянной крышей. Здесь они и живут, художник и его жена, живут так с молодых лет...

Двадцать лет назад приехал художник на этот остров. Приехал юношей, а сейчас перед нами — в тюбетейке, с трубкой в зубах — уже пожилой, седоватый человек с волевым, мужественным лицом труженика. Друг рыбаков, он и сам похож на простого рыбака: обветренный, коренастый. А зоркостью взгляда, жизнелюбивым характером, манерой разговаривать он напомнил мне своего соотечественника, того самого, которого я видел в Будапеште.

Вечером у нас должно состояться собрание Общества дружбы, а до этого есть несколько свободных часов, и мы решаем посетить город детства великого писателя. Снова дорога в глубь острова.

Мрачно, неприветливо.

В развалинах замков — отзвуки старинных саг, их суровость.

Небо — как скалы, скалы — как небо.

Тяжелая сырость сгущается, давит на душу. Пейзажи хмуры, и тени шекспировских героев, средневековые

призраки кажутся здесь почему-то реальнее, чем где бы то ни было. Может быть, потому, что перед этой поездкой я как раз осматривал замок Кронберг, по преданиям принадлежавший когда-то принцу Гамлету.

Остров небольшой, и везде на автомагистрали чувствуешь дыхание моря — дыхание холодное, зимнее, проливающее. В такую пору море обрушивается на остров штормами, рыбаки с мотоботов возвращаются домой продрогшими, мокрыми с головы до ног, а нередко море выбрасывает на берег и щепки разбитых судов.

Художник рассказывает, что несколько лет назад к острову подошел советский корабль и оставил здесь неожиданно заболевшего матроса и что за время лечения матрос подружился с рыбаками, научил их своим песням, и они и по сей день с теплотой вспоминают его, а в их рассказах у него есть имя: Поющий Матрос.

То тут, то там краснеют кирпичные постройки, а мысль все о том же: возможно, на одной из таких богатых ферм батрачил в годы своей юности писатель, родной город которого мы скоро увидим. Этот город посит его имя, но не потому, что он переименован в честь писателя, а потому, что писатель сам взял себе фамилию по названию этого маленького, никому не известного островного местечка, подписал им свои первые произведения и прославил это имя на весь мир.

Вечер. Небо словно опускается, налегает на остров низким серым сводом.

Вот и городок. Исхлестанный морским ветром, краснокирпичный, старинный... Мне казалось, что каждый из жителей будет гордиться здесь именем своего великого земляка. Я даже не допускал мысли, что кому-нибудь его имя может быть ненавистным.

А именно на таких, видимо, мы напали.

Они только что вышли из бара и темной группой застыли у витрин, красномордые, налитые бюргеры. Исподлобья выслушивают наши расспросы о нем. Я чувствую их неприязнь, чувствую, что становлюсь для них врагом уже потому только, что осмелился о нем спросить.

— Где он жил? Где его дом?

Они делают вид, будто не понимают, о ком идет речь. Пожимают плечами. Переглядываются. А когда мы уходим, хохочут вслед, тупые и самодовольные.

Возле другого бара то же самое: лавочники, скупщики рыбы, мясники... О, да я уже узнал вас! Это же вас он изобразил в своих произведениях, высмеял вашу заносчивость, алчность, тупость... Сильные мира сего, нынешние «отцы города», они сердито падуваются, едва заслышав его имя, они хотели бы стереть его следы, им невдомек, что он бессмертен даже в их ненависти. Ненависть к нему передается у них, как наследство, из поколения в поколение. Возможно, они хотели бы даже гордиться им, получать барыш от его славы, но они не в силах превозмочь свою злобу, ненависть к тому, кто высмеял их и заклеил навеки.

Я вспомнил, как чествовали его в другой стране, на берегах Дуная, вспомнил, как любят его люди моей страны; и они, эти кучки пьяных, разбухших от пива тюленей, которые темными группами толпились возле баров, показались мне жалкими и слепыми в своем проклятии: тому, кто по-орлиному поднялся над ними, пад их убогой, сытой жизнью...

Мы все же разыскали дом, который нас интересовал. В том окне, откуда он, может быть, выглядывал мальчишкой, чинно висела беленькая занавеска, а на окно нынешний владелец дома как раз опускал снаружи тяжелые жалюзи. Мы попросили разрешения войти осмотреть помещение, бывшее жилье славного сына острова, но хозяин пробормотал в ответ что-то невнятное, и мы уже увидели только багровый толстый загривок и услышали грохот железного бюргерского жалюзи, которое опустил хозяин, словно бы отгораживаясь им от нас, от читателей его книг, и от могучих ветров Балтики, что напористо рвутся на остров с вечернего моря.

Мы уехали бы отсюда в угнетенном настроении, если бы не еще одна встреча. В стороне, у автомастерской, стояла группа рабочих и рыбаков с только что прибывшего мотобота. Узнав, кто мы и чем интересуемся, они встретили нас приветливо.

— Это действительно тот дом, в котором родился Мортен Красный,— сказал рабочий в комбинезоне,— но владелец дома никого туда не пускает. Он боится даже духа Мортена Красного.

Рабочие были все молодые, энергичные, обветренные, и было в их руках, в их силе, в их юморе что-то от Мортена времен его молодости. Мы стояли с ними на

взморье, смотрели на огромные валы, которые пенисто росли, белая в предвечерних сумерках, и нам не было холодно от влажных порывов ветра: притихшие, мы вместе слушали ритмичные удары волн.

И вдруг стало совершенно ясно, что никому не уничтожить здесь его следов, ибо его душой здесь полнится небо, ветрами его молодости свистит весь простор, а море, ударяясь о берег, шумит и шумит вечным шумом прибоя, в ритмах которого слышится мне:

— Нек-се... Нек-се...

Остров Борнхольм — Киев
1960

В тропическом городе Рапгуне, где молодые смуглолицые солдаты стоят с автоматами на постах в своей зеленоватой, цвета джунглей одежде, в городе золотых пагод-храмов, устремившихся в небо стогами оранжевого жатвенного блеска, в городе, над которым ночь опускается очень рано и в сумраке дворца, словно выхваченного из сказок Шехерезады, вдруг промелькнет лицо с прекрасным профилем камени, а на сцене, сверкающей восточным великолепием пластики, руки танцовщиц поют, ткут песнь любви под звуки удивительного инструмента (название которого так и осталось тебе неизвестным!), в тот знойный, тропически влажный рапгунский вечер, полный волшебных мелодий, красоты и безудержных грез, мне вспомнилась почему-то эта давнишняя история, история иных широт...

Лето было, первое послевоенное лето, виноградники зеленели, и первые снопы поблескивали на полях.

Ослепительный день, жнивье светится, и по степной дороге, ведущей от нашего лагеря до ближайшего местечка, рысцой идут кони, артиллерийские наши кони. Только не пушку тянут они за собой, не в артиллерию впряжены, а в обычную бочку-водовозку. Высоко на ней в пилотке набекрень, в медалях во всю грудь восседает Диденко Сашко, артиллерист. О демобилизации думает хлопец, по-иначе. Все мы в эти дни только тем и живем, что скоро домой, а там каждого из нас ждет любовь. Того своя, этого своя, а кого еще и просто неведомая, туманная. Насвистывает, напевает солдат, небрежно выпустив на лоб прядь пшеничных волос. Дунайское небо шелковистой

голубизной переливается, лето горит, полыхает, пьянит хлопца.

Какое же раздолье вокруг! Во время войны, когда доводилось ему очутиться где-нибудь в степи либо в горах скалистых почью, в ненастье ли, в метель, не раз подмывало его крикнуть, аукнуть, гогокнуть, да так, чтобы эхо прокатилось по всем Карпатам. Но тогда нельзя было. В те годы люди жили таясь, настороженно, молчком. Передний край шума не любит. Зато сейчас Диденко, выехав за пределы лагеря, волен горланить во всю мочь.

— Го-го-го-го-о-о-о!

— Поешь? — смеясь, спрашивает встречный водовоз из соседнего полка.

— А что, плохо?

— Да нет, не плохо. Точь-в-точь как волк в степи...

— Давай вместе!

— Давай!

Теперь уже в два голоса:

— Го-го-го-го! Го-го-о-о! — звучит, разносится по полям, пока друзья и не разъедутся, а жнецы издали, выпрямившись, в веселом неудомении поглядывают на шпях.

Никто не откликается на Диденково гогоканье.

А хмель солнца будоражит душу, пьянит, и в голову лезет всякое такое, что приходилось не раз слышать: про любовь фронтовую, про знакомства в медсанбате, а то и с местными грешницами — везет же людям! А ему — что ему выпадало! Пушки одну только и знал в жизни, с нею прошел полсвета, сколько грязищи перемесил! Выше туч с нею поднимался, плацдармы держал, за пушечной пальбой на девчат некогда было оглянуться. И вот теперь он въезжает в пылающее зноем лето на своей водовозке, изжаждавшийся, одинокий!

Жнивье, свежие, точно литые, клады из снопов, кругом снопы и снопы — все отливает золотом, все сверкает под палящими лучами жатвенного солнца.

Только одна кладь еще не завершена, не увенчана короной. Вдруг что-то — как живое пламя, ярко-красное, быстрое — мелькнуло и исчезло позади этого золотого сооружения. И вот уже показались смуглые руки, завершающие свой снопастый труд — ставят шапкой на кладь последний сноп, и он так весело, так задиристо кверху торчит!

Показалась из-за клады и жница; поправляя сноп, она поглядывает на шпях, улыбается солдату. Красная, как

жар, кофтенка полыхает па ней. Волосы темные свободно спадают на плечи. Юбочка короткая — загорелые ноги блестят. Взяв в руки кувшин, жница запрокидывает голову и пьет, но и тогда она, кажется, не перестает одним глазком весело косить на дорогу. Опустив кувшин, она смело улыбается солдату, словно подзуживает, подзывает к себе этой улыбкой: «Иди, напою и тебя...»

И еще две или три жницы появляются около ее копны и давай подшучивать, давай поддразнивать солдата. Хотят, показывают что-то жестами, обольщают, манят намеками...

Но тех он как будто и не замечает, впился взглядом лишь в ту одну, что стоит между ними и не участвует в их проделках, в ту, что улыбкой позвала его первая...

А проказницы все не унимаются, визжат, вертят подоломи: что ты, мол, за герой, если боишься полюбезничать!..

— Тпру-у!

Бросает вожжи, соскакивает, и вот уже трещит под сапогами жесткая стерня, бросаются с лукавым испугом и смехом врассыпную жницы, только она остается на месте — неподвижно стоит под своим тугим золотым снопом.

И хотя она первая послала ему улыбку и солдат побежал сюда, тоже настроенный на веселье, на шалость, по сейчас уже не было улыбки на ее устах, не было игривости в ее взгляде. Было нечто иное. Что-то совсем другое теперь светилось из глубины ее погрустневших, карим солнцем налитых очей... Ах, эти очи, в которых затаилась бездна страсти и нежности, и эта кофточка алая, ветхая, что расплзается на смуглом теле, и эти орошенные жатвенным потом, полуоткрытые, полуоголенные перси... Ничто в ней не боялось его, все как будто только и ждало этого мгновения, этой встречи с ним, и в доверии своем становилось ему родным.

Указала на кувшин меж снопами — напейся, мол, — Диденко поблагодарил, но к кувшину не прикоснулся.

— Звать тебя как? — спросил. — Маричка? Юличка? Ресницами на миг заслонилась от него.

— Лорп...

— А! Лариса по-нашему!..

Золотую соломинку смущенно вертела в руках. Диденко бережно взял у нее эту соломинку — отдала, не сопротивляясь, только вспыхнула, зарделась густо. Чувствуя,

как у него захватывает дух от нежности, взял ее руку, маленькую, твердую в свою большую, грубую. Она не отдернула руки, не вырывалась, а широко открытыми глазами, ясными и лучистыми, как бы благодарила за то, что он обошелся с нею так ласково.

— Лариса... Лариса... — тихонько повторял он.

А она глядела на него так преданно, как будто всю жизнь ждала именно его.

В черной волне волос, рассыпавшихся по плечам, заметил серебристую ниточку, и это больно отозвалось в его сердце: что так рано ее посеребрило? Какие беды, какие печали? И он исполнился еще более горячим чувством к ней, желанием сберечь, защитить ее, разделить с нею то горе, которое она, видимо, уже извела в жизни.

Были сказаны какие-то слова — он говорил их по-своему, она — по-своему, и хотя это более походило на язык птиц, да и слова предназначались не для того, чтобы их понять, однако и этот счастливый разноязыкий лепет сближал их еще больше.

Вдали косарь звучно отбивал косу, и перепел профорчал в воздухе, как тяжелый осколок, а здесь, возле нее, солнцем пахли снопы, и она сама, казалось, источала аромат солнца и снопов. Всю бы жизнь не выпускал он ее руки из своей, глубина ее глаз манила, влекла, густо-вишневые губы были так доверчиво близко.

Солдат припал к ним.

А она как будто только и ждала этого порыва, пылко обвила парня руками и, запрокинутая на снопы, отдала ему жарким поцелуем — поцелуем страсти, благодарности и отваги. Снопы разлезались, растекались под ними как золотая вода, опьяняли обоих запахами солнца, а они пили этот напиток сладостно, ненасытно...

Не замечали, что день вокруг них плывет, что по дороге кто-то едет, а рядом давятся смехом жницы, завистливо выглядывая из-за соседних копен...

Еще не выпустил он ее из объятий, еще глаза ее были полны пьяного солнца, как вдруг она вся съежилась, дернулась, испуганно вскрикнула, и голос ее был полон ужаса и тревоги... «Смерть!» — именно это, наверное, крикнула она ему в предостережение, и солдат, обернувшись, увидел, что и впрямь неминуемая смерть летит на него в образе разъяренного жнеца с серпом в руке. Догадался: муж! Ибо только муж мог мчаться к ним с чувством такой слепой правоты. Бежал прямо на Диденко, тяжело

дыша, с черным лицом, с безумными, помутневшими глазами... Серп, выступавший сейчас уже отнюдь не орудием труда, сверкал ослепительно, и с приближением этого смертельного блеска в воображении Диденко в один миг промелькнуло виденное им недавно: молодой боец лежит на винограднике, затоптанный, поруганный, с перерезанным горлом... «Полоснет! Распорет обоих!» Все время чувствуя за собой съезжившуюся женскую фигурку, артиллерист привычным рывком выхватил из кобуры свой тяжелый трофейный пистолет...

Грянул выстрел.

В тот же день Диденко сидел на гауптвахте.

Гауптвахта находилась на опушке леса.

В прошлом лес этот был собственностью какого-то графа, а теперь его как будто откупило за сколько-то тысяч пенго наше командование, чтобы устроить в нем лагеря. Здесь мы живем. В глубине леса — уже наша солдатская цивилизация — посыпанные песочком аллеи-линейки, грибки, красные уголки, целые кварталы аккуратных офицерских и солдатских землянок, и ясное дело, гауптвахте (или «губвахте», или просто «губе») там не место; она выпесена в сторонку, вот сюда на опушку. Сооруженная наскоро, она, однако, крепко сидит в земле, чуть торчит бревепчатым гребнем, приземистая, лобастая, напоминающая темной суровостью облика давних своих пращуров — те сторожевые курени, которые когда-то запорожцы ставили где-нибудь на Базавлуке или Волчьих водах. Дверь тяжелая, из дубового неотесанного горбыля. Засов на двери да пломба, словно тут склад со взрывчаткой. И никакого окошечка, только узенькая над дверью щель-прорезь, на амбразуру похожая, чтобы миска с постной кашей раз в день сквозь ту амбразуру пролезла.

Тот первый, кто пришел допрашивать Диденко, был уверен, что всему причиной вино. Винных погребов в местечке много, хозяева сейчас как раз допивают прошлогоднее, освобождают тару под молодое. Случается, что и солдат отуманивают...

— Лучше не крути, Диденко, выкладывай начистоту: в подвалах перед тем побывал? — И серыми холодными щелками глаз пронизывал солдата, полагая, разумеется, что видит его насквозь. — Говори, хмель виноват?

— Хмель, да не тот, что вы думаете, — отвечал солдат.

— А какой? Говори, какой? Ну?

— Не нукайте, не поедете,— спокойно отвечал Диденко. «Ты же сапог, крыса тыловая, разве тебе это понять?» — с презрением думал он и не пожелал ничего больше для протоколов рассказывать. Сколько тот ни бился, а он сидел, насупившись, а порой даже песенку угрюмо напевал — про Лизавету из кинофильма.

Перед гауптвахтой плац, «потешное поле», то есть вытоптанная бурая земля, где происходят наши воинские занятия, стоят спортивные снаряды, «кобылы» да «козлы», через которые солдат прыгать должен; еще дальше, за нашим «потешным полем», буйно, как в тропиках, зеленеют виноградники — это уже не паша зона.

Пока мы муштруемся на плацу, пока, обливаясь ручьями пота под нещадным солнцем, вышагиваем, как гусаки, туда-сюда, узник с гауптвахты неотрывно следит за нами. Сколько ни продолжаются занятия, все выглядит из прорези над дверью белый Диденков чуб. Иногда мы даже слышим его подбадривающие выкрики:

— Давай, давай, гвардейцы! Выше погу!

Стоит ли говорить, что симпатии солдатские были целиком на стороне узника? Ведь посажен на «губу» не кто-нибудь, а Диденко Сашко, верный товарищ, один из лучших артиллеристов, золотой хлопец. Да, он под замком, а ты на часах сторожишь его, но разве так просто забыть, что с ним вместе всего хлебнул: и чужих рек, и карпатских туманов, и пылающих плацдармов, где держались до последнего, расстреливая фашистские танки в лоб... Если бы воля хлопцам, они бы наверняка и дня не держали Сашка Диденко в этом арестантском курене. Да и так ли уж страшно то, что он натворил: один выстрел, а перед тем миллионы, миллиарды выстрелов были сделаны по человеку! Не крал, не грабил, из лагеря самовольно не отлучался, а что тому ревнивцу, которого черти откуда-то под руку поднесли... так не в зубы же было ему глядеть, не ждать, пока он серпом распорет гвардейца! Конечно, было бы лучше, если бы старик не скапустился (на следующий день он умер в больнице, хотя Диденко об этом так и не знает), но ведь — нет худа без добра! — Лариса теперь свободна.

Ларисой зовут ее — это было единственное, что знали мы, друзья Диденко, про его любовь. А он, хоть и видел Ларису один только раз, мог рассказывать о ней без конца. С каким упоением, столпившись у землянки, мы слу-

палп вечером сквозь амбразуру его страстные, влюбленные рассказы о ней, о его Ларисочке, о его счастье... У нас прямо дыхание перехватывало, когда он вспоминал те снопы золотые, и пламя кофтепки, и пылающие уста... Ее глаза, ясные, лучистые, солнцем налитые... Только почему в них было столько грусти и боли? И мы сообща создавали легенду ее жизни: за нелюба отдапа. Бесприданница, наверное, красотой только и была богата, вот и досталась кулаку тому, выжиге старому, который ей, молодой, жизнь загубил... И рисовало дальше солдатское воображение, как безрадостно жилось молодой женщине с немилым, с каким чувством потянулась к юноше незнакомому, который мимо на водовозке проезжал... Наверно, с первого же взгляда поняла: «Он! Судьба мне его послала!»

— Вот это женщина! Да за такую стоит и в огонь и в воду! — говорили о ней возле гауптвахты. — Вспыхнула, мол, в один миг, пренебрегла всеми условностями, безоглядно отдала солдату свою любовь. Он победитель, ну, а она разве не ровня ему? Разве не одержала и она победу над своим рабством семейным, сплетнями, пред-
рассудками? Ведь и впрямь доказала, взбунтовавшись, что свобода и любовь для нее превыше всего!

— Долго ты ждал, браток, зато ж и подвезло тебе! — говорили Диденко друзья. — Это тебе награда за все!

— Орден вечного счастья, — шутил кто-то, а Сашко улыбался.

Слышали хлопцы и раньше, что любовь делает человека сильным, что в любви душа людская расцветает, а тут выпал им случай самим в этом убедиться. Был их друг, как и все, и внезапно из обыкновенного стал необыкновенным, стал сказочно богатым, богаче любых царей, королей! И это был их Сашко Диденко! Словно опоенный чарами, ко всем добрый, он только и жил теперь своими видениями, ее красотой, только и ждал, когда выйдет с гауптвахты и снова махнет к своей цыганочке (так он свою мажорочку называл)...

— Главное, чтобы водовозку мне вернули, — доверчиво говорил он часовым. — Сяду — и галопом к ней! Посажу ее рядом с собой, и айда через весь город: глядите — это паша свадьба, теперь мы уже с пею муж и жена! Часовых тревожила его безоглядность.

— Закон этого не позволяет, — мягко возражали ему.

— Какой закон? — удивлялся артиллерист, точно с луны свалился.

— Не можем мы жениться на иностранках... Таков закон.

— Против любви закон?! Не может быть такого закона! Какой дурень его выдумал! Увидите, я своего добыюсь...

Заметим, кстати, что Сашко Диденко оказался в этом провидцем: отменен был этот закон. Но произошло это значительно позже.

А пока что — небритый, без ремня — похаживает в своем курене неутомимый возлюбленный Ларисы, а разводящий на смену одним часовым приводит других, все более суровых. Некоторые, особенно из свежего пополнения, стоят на посту строго по уставу, с арестованным не якшаются, сказано им, что караулят важного преступника, — какое тут может быть панибратство? Ложка каши, кружка воды — вот и все, что тебе положено. И удивляло их, что после всего этого он еще и папеваает, словно ничто его не страшит, словно надеется завтра же выйти с гауптвахты.

Диденко и впрямь жил в эти дни необычной жизнью: те снопы золотые, они и по почам в темпоте землянки ему сняли. Не подозревал парень, какие тучи собираются над ним.

Тот трагический случай, окончившийся смертью старого ревнивца, вскоре приобрел широкую известность в стране, о нем подняла страшный шум западная печать. Видите, мол, какой разбой чинят советские оккупационные войска, среди бела дня на жатве убивают честных католиков, насилуют их жеп. К командованию, которое и не отрицало, что подобный поступок сам по себе непростительный, шли депутации, требовали для виновника тягчайшей кары. Все складывалось не в пользу Диденко. Страна шла навстречу своим первым послевоенным выборам, страсти разгорались, и всюду на бурных предвыборных митингах поступок солдата снова и снова оказывался притчей во языцех, о нем кричали до хрипоты. Тщетно на одном из таких митингов в местечке, где разлые партии скрестили свои мечи, сама Лариса взяла Диденко под защиту, крикнула в глаза лидерам: «Лицемеры вы, лгуны! Это мой грех, слышите, мой, а не его!» Ее не хотели слушать, а разъяренные род-

ствеппики и родственпицы мужа чуть косы ей не оборвали. И оборвали бы, сменяли бы с землей, если бы не вступился старый священник, которому она исповодовалась.

— *Omnia vincit amor!*¹ — крикнул он взбешенной толпе, и хоть его и не поняли, но это подействовало, как заклятье, спасло Ларису от самосуда.

В такой атмосфере, день ото дня накалявшейся, когда сама жизнь Диденко стала выглядеть как бы абстрактной, оказалась на гребне иной волны, иных разбушевавшихся страстей, дело его рассматривал военный трибунал.

За содеянное убийство Диденко был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.

Теперь только один человек в государстве мог помиловать его.

Дело пошло в Москву.

Пока ждали ответа, осужденного держали все в той же землянке на опушке.

Диденко, по-видимому, так еще и не постиг до конца, что его ждет. Вся эта история с убийством, судом и приговором касалась как будто совсем не его, все происшедшее представлялось ему тяжелым, кошмарным недоразумением, которое вот-вот должно развеяться.

И хотя теперь уже не слышно было его беззаботных напевов, однако духом он не падал, держался со спокойным достоинством, только, правда, сон потерял: с самого рассвета, задолго до начала занятий на плацу, он стоит и неотрывно глядит сквозь амбразуру на плац, на виноградники.

Что ж, был хмель, а теперь похмелье.

Однажды утром, едва только заалела на востоке заря, а чащи огромных виноградников все еще темнели, покрытые седой росой, подернутые нежпейшей утрепней дымкой, из этих росистых зарослей вдруг вышла... она. Появилась, как будто вызванная силой его воображения, но не призрачная, а самая что ни на есть настоящая, вынырнула из тумана, из тех виноградных джунглей. Не пламенела только на пей кофтенка, одета она была во все темное, босая, мокрая от росы, волосы небрежно лохматились. Очутившись на безлюдном плацу, беспокойно огляделась и, видимо, зная уже, куда ей падо, направилась быстрым шагом прямо к гауптвахте.

¹ Любовь побеждает все! (лат.)

Часовой, новичок из числа пополненцев, совсем не склонен был подпускать незнакомку к гауптвахте.

— Стой!

Растрепанная, одичалая, она съежилась и в ответ лишь ускорила шаг.

— Стой! Стрелять буду!

Щелкнул затвором и так нахмурил брови, что пельзя было не остановиться. Парнишка-часовой, несомненно, слышавший уже о Дидепковой истории, догадался, кто она, стал прогонять; как она ни молила, как ни заламывала руки, он все же прогнал ее прочь, за лагерную зону. Но и там несчастной женщине, наверное, слышно было, как неистово колотил в дверь обезумевший от любви к ней человек, как содрогается землянка от грохота его страшных ударов, от ливня проклятий, вылетающих из его амбразуры...

А она! Весь день отгоняли ее часовые. Только отгонят в одном месте, она вынырнет в другом, мечется, бродит, исчезает и снова появляется, как призрак, как неистребимый дух этих буйно разросшихся виноградников.

К вечеру вахту усилили, однако именно теперь, когда в наряде выпало быть артиллеристам, лучшим друзьям Диденко, они, взяв перед разводящим грех на душу, решили влюбленным повидаться.

Словно с креста снятая — такой была она, когда под взглядами часовых подходила к гауптвахте. Часовым Лариса не показалась красавицей — просто измученная, истрадавшаяся женщина с ввалившимися глазами, горящими, как у тяжелобольной, а вот для него, Диденко, была она, видно, совсем иная. Припав к амбразуре, бедняга даже заплакал, когда она подошла, — заплакал от счастья, что видит ее.

Лариса протянула ему сквозь амбразуру свои руки, темные, будничные руки, знавшие, видно, всякую работу, а он, схватив их, стал иступленно покрывать поцелуями.

Часовые из деликатности отвернулись, но все равно до них доносился то ее голос, лепетавший что-то нежно, то его, исполненный глубочайшего чувства: просто не верилось, что те же самые уста, которые только что извергали брань, посылали проклятия всему свету, теперь тают в любовном шепоте, захлебываются соловьиной нежностью.

— Зорепька моя! Цыганочка! Ясочка! Ластопька! Моя горлинка! Счастье мое, чернобровое! Оченй мое каре!

Откуда только брались у него, грубого артиллериста, эти слова-ласки, эти папевы души, песни ей, той единственной, которая как будто и в самом деле принесла ему счастье, подняла своею любовью на какие-то доныне не ведомые вершины... Что знал он до сих пор, что видел, чем жил? Смерть одну только видел, воронки, да грязь, да смрад войны, только и умел что снаряды фуговать, а вот появилась опа, как с неба, солнечным духом снопов, дыханием самой жизни овевала тебя...

Часовые через какое-то время стали напоминать Ларисе, что уже пора уходить, но она вроде и не слышала, вновь становилась на цыпочки, тяпулась всем телом к амбразуре, утопив в ней худое, увитое прядями волос лицо... Что она видела там? Синие огоньки глаз, крутой солдатский лоб, теперь уже остриженный, да широкие скулы посеревшие — вот и все, что могла она там разглядеть, а никак не могла наглядеться: ведь, может, это и было для нее то самое дорогое, один только раз отпущенное ей на земле.

Просунув руки в амбразуру, опа гладила ладонями лицо любимого, трепетно голубила, ласкала, и нестерпимо было смотреть часовым на эту нежность, смотреть, как, приблизив лицо к лицу, уже плачут они оба — и он и опа. Как будто предчувствовали то, что уже недалеко было.

Ночью был получен ответ: приговор оставить в силе. Подлежит немедленному исполнению в присутствии военных и гражданских.

Теперь спасти Диденко могло только чудо.

Моросило, и предосенние тучи облегали небо, когда батальоны хмуро выстроились — не на плацу, а на другой глухой опушке над яром, — чтобы вместе с гражданскими, родственниками погибшего, принять участие в последнем трагическом ритуале. Представители местных властей тоже прибыли сюда — все в черном, как бы в знак траура.

В старых армиях (а может, где-то и теперь) перед казнию к осужденному заходит священник или пастор на последнюю беседу. Тут таких не было, и тяжесть этой миссии легла на комбата Шадуру, бывшего Диденкова командира. Старый артиллерист, отмеривший, как и Диденко, полсвета со своими пушками, па стволах которых уже и звездочки не помещались, вошел в землянку понурый, с опущенными усами. Не зная, как вести себя, по-

кашлял и, втянув голову в костлявые плечи, присел с краю на холодном земляном лежаке. Не знал комбат, с чего пачать, как надлежит отпускать грехи этому несчастному Диденко, которого он даже любил: ведь добрым был он солдатом. А теперь вон как все обернулось: сгорбившись, стоит перед ним артиллерист, без ремня, в безмедальной, пеподпоясанной гимнастерке смертника. Неужели это прощальный разговор? Комбату как-то и самому не верилось в реальную неизбежность этого сурового приговора. Однако же он должен был что-то сказать... Что им, смертникам, говорят в такой час?

Понурился Шадура-комбат. Вынул кисет с табаком, взял себе щепотку и Диденко подал, и они молча закурили, как будто где-то на огневой между двумя боями.

— Ну вот, Диденко. Воевали мы с тобой, брат, добрый ты солдат был. Я помню, как там, под дотами... и под Верблюжкой... и под Бартом... под Эстергомом,— все помню. Там пуля миновала, а тут... Что же это получается? На смерть за отчизну шел, а теперь сам ее запятнал? — Он взглянул на Диденко, ожидая возражений, но тот стоял молча, сгорбясь под накатом землянки, трещал цигаркой.

— Что же ты молчишь?

— А что говорить?

— Тысячу раз жизнью рисковал ты за нее в боях, тысячу раз мог за нее голову сложить. Так разве ж теперь испугаешься? Если в самом деле запятнал и только кровью и можно пятно это смыть,— разве не смоснешь?

И снова ждал ответа.

— Эта жепщина... Кто хоть она такая? Это у вас серьезно?

Диденко с жадностью, раз за разом затягиваясь, дотянул цигарку до огня, потом сказал вполголоса, твердо:

— Я люблю ее.

Комбат вздохнул, кашлянул, и снова они помолчали.

— Если любовь, тогда другое дело, Диденко... Но сложилось плохо...

— Вы ведь меня знаете, товарищ комбат. Родипу, самое святое у человека... разве ж я хотел опозорить... И раз уж так получается... Раз выходит, что только смертью и можно то пятно смыть... Так что ж: я готов.

Спустя полчаса осужденный уже стоял перед войсками над яром, и темные косматые тучи плыли над ним. Дочитывались в суровой тишине последние слова, когда внезапно пронзительный женский крик всплеснулся, как выстрел, над виноградниками и разорвал тишину до туч.

Что можно добавить к этой истории? Как чудо произошло? Как вздрогнули сердца от внезапного вопля-крика безоглядной тоски и любви, и как опустились дула виптовок, и как улыгнулись те, что пришли сюда быть свидетелями казни? И, пакопец, как он, помилованный, шагнул от своей смертной ямы навстречу товарищам, друзьям, командирам, навстречу ей, своей бесконечно любимой, которая, раскинув руки для объятий, бежала-летела в счастливых слезах к нему? И как после этого целую ночь веселились, ликовали войска, и виноградное местечко, и счастливейшие в мире — он и она?

Только чуда не произошло. Вскрик был, и минутное замешательство, и женская в лохмотьях фигура в самом деле выбежала из виноградников, мелькнула перед ошеломленными войсками — да только на миг... Нарушенный порядок быстро был восстановлен.

Тучи над яром плыли, как и плыли. Свершилось все, что должно было свершиться.

1964. Рангун — Киев

Дальше уже ничего нет — только простор и беспредельность. Кромка суши, узкая коса, отделившись от степи, протянулась в открытое море. Пронзила горизонт, прошла сквозь небо и устремилась вдаль — нет ей конца.

Затерялась в дымках.

Коса длинная, узкая, с промоинами. Зимой в пору штормов косу эту иногда и волна переплеснет, а сейчас она сухая, в сухих пылающих песках, в колючей растительности, в щебете пернатого царства.

Множество птичьих гнезд, которых никто не разоряет; океан воздуха, не отравленного ничем; гармония бытия, в которой ощущаешь себя только частицей чего-то великого — крупницей этой беспредельности, этой синей вечности.

Самый крайний край земли, заповедность, чистота.

Стоит человек на самом краю, на грани реального — кольцует птиц. Маленькая девичья рука берет из корзины один за другим легкие алюминиевые перстни, надевает на птичью ножку, ловко застегивает — как амулет, как символ союза человека и птицы... Лети.

Окольцованных пускаешь из руки в раздолье моря и небес, в безграничную синь и голубизну, пускаешь, и кажется тебе, что не будет им смерти, этим птицам, что взлетают они с твоей ладони на вечную жизнь.

Любимая работа, душевное равновесие, добрые люди, и эта бесконечная бурая коса с ветром, с солнцем, с длинными песками и крепким привкусом свободы — не о чем-то таком ли мечталось во тьме студенческого общежития, когда после дневной беготни падала ночью на подушку, не находя и в постели спасения от раздумий, сомнений, томительных студенческих рефлексий, когда душа горела от

жгучих обид неразделенной любви. Мучительно, иступленно ждала: скорее бы хоть куда-нибудь! Подальше отсюда!

После биофака, как отличница, была оставлена в столице, но продолжалось это недолго,— потом все так сложилось, что опомнилась только здесь — на краю земли, где одни птицы митингуют.

Что ж, иногда мечты сбываются и так. После чада и грохота автомобилей, уличной суеты, после неистовства городской жизни с ее сногшибательным темпом начинаешь наконец приходить в себя, начинаешь слышать тишину, упиваться раздольем и простором.

Выйдешь утром — солнце всходит, на берегу моря делаешь гимнастику, стоишь, в чем на свет родилась, ветерок ласкает упругое тело...

Ничто здесь не ограничивает тебя, никто никуда не подгоняет. Иное течение времени, иные измерения, иные абсолюты. Здесь — вечность. Вечность и в виде чистых, никем не заплыванных песках, ее улавливаешь и в дуновении ветра, и в спокойном парении птиц, в неторопливом шуме моря, которое не смолкает и ночью.

Каждое утро стоишь с глазу на глаз с солнцем — ты по эту сторону моря, оно — по ту, делаешь свою еще студенческую физзарядку, перед тобой в густой морской синеве — кучегуры белого сверкают! То — лебеди! Не выдуманные, не книжные, а настоящие, живые, которые дышат с тобою одним воздухом, гнездятся в твоих владениях и не пугаются тебя. Лебединые, снежно-белые сугробы — ведь такое можно увидеть разве что в детских снах! Для тебя же они реальность, светлая улыбка утра, здоровье и чистота мира, — наверное, только здесь и осталась такая непуганая чистота!

Фрегаты утренних, перламутрово-белых облаков вдоль линии горизонта величаво стоят.

Идешь на них. Одежду прихватишь на руку и идешь, как Ева этих белых безлюдных песков. Ощущаешь нежность утреннего ветерка, под ногами из-под волны уплотняется влажный песок и тают купы белого кружева пены морской. Километры можешь идти вот так вдоль косы, не рискуя никого, кроме птиц, встретить. А твоя одежда остается лежать кучками на берегу — там туфли, там платье, — хоть и целый день так пролежит, некому ее тронуть.

Михаил Иванович далеко па берегу, в степной части заповедника, скирдует сено; сам он на скирде, сено укладывает, утаптывает, а снизу ему вилами подает жена, Прасковья Федоровна, верная подруга его заповедного одиночества, которое им самим, пожалуй, одиночеством и не кажется. Правда, оба немного одичали, как и все здешние сторожа, сначала их молчаливость даже отпугивала Ольгу, все думалось: не сердятся ли? Но они не сердились. Просто не привыкли и не любят лишнее говорить. А еще больше не любит Михаил Иванович писать. Должность его требует, чтобы он вел дневник, во всех подробностях записывал в казенную книгу птички прилеты и отлеты, фиксировал малейшее изменение местной жизни, все капризы природы, а он, глядишь, нацарапает строчки две и ставит точку. Сделаешь ему замечание, растолкуешь, как за птицами надлежит паблюдать, как надо вести дневник, а он только прячет в усах смущенную улыбку.

— А что про них писать? Мне и так о них все известно.

И в самом деле, он знает птиц не хуже любого учебного-орнитолога, головы не поднимая, скажет, что за летун над ним пролетает, какая именно птица в этот миг режет воздух своим крылом.

А сейчас дневник, видно, и вовсе забыт, так как у Михаила Ивановича — сеноуборка. Бывает, что в этом деле и практиканты ему помогают или совхоз какой людей пришлет, но пока Михаил Иванович убирает сено один. Иногда, вместо зарядки, Ольга тоже берет вилы. Нанизывает сухое душистое сено и навильник за навильником подает туда, паверх, где Михаил Иванович молча и как-то особенно плотно утаптывает его, чтобы не загло от ненастных осенних дождей.

Однажды утром Ольга работала па скирдованье; согнувшись, нанизывала сено, как вдруг каким-то десятым чувством ощутила пад собой, совсем близко ощутила — лёт! Подняла лицо, и небо на нее сверкнуло сказкой: лебеди! Приближались, ослепительно падали на нее. Целая стая, и так неимоверно близко! Михаил Иванович, стоявший на скирде, казалось, мог бы их рукой достать. А он даже головы не поднял, продолжал утаптывать сено.

Неторопливые, царственные, пролетели они прямо над Ольгой, над скирдой, над черным, загорелым Михаилом Ивановичем, потянулись па лиманы и где-то там если

спокойно за косой па воде. Ослепительная белизна их пуха, шелест воздуха, стронутого величавым взмахом крыльев, мудрая эта непуганность, доверие к человеку — все это взбудоражило душу Ольги, целый день она была под впечатлением лебединого лёта. Жене Михаила Ивановича и сторожам с других пунктов спа без усталости рассказывала, как они летели:

— Вот так над головой! Чуть рукой не достала! Слышен был даже шорох крыльев!

И еще, смеясь, добавляла, как Михаил Иванович, топчась на скирде, и усом в их сторону не повел.

— Да нет, я все-таки их видел, — оправдывался Михаил Иванович с застенчивой улыбкой, — даже успел пересчитать. А вот вы, Ольга Васильевна, посчитать, наверное, и не догадались?

А она и впрямь не догадалась, это правда, — вся была поглощена тем ослепительным зрелищем, — ведь впервые увидела так близко распростертые чуть не на полнеба живые лебединые крылья, сияние их приближалось, как солнце, — впервые так близко наблюдала она движение этих крыльев, собственными нервами ощутила волшебство и поэзию лёта.

Такой это край. Лебеди живые из-за плеча у тебя вылетают, а завтра, может, появятся над домишком сторожа и розовые африканские фламинго, пропахшие тропиками, прошумят над его крольчатником да над этой прозаической скирдой.

Приехал в тот день агроном из соседнего совхоза. Верхом на пузатой кобыле, и в шляпе-сомбреро, похожей на ковбоя из прерий, и опять небритый, в рыжей щетине (впечатление такое, что он никогда не бреется). На радостях Ольга и ему стала рассказывать про лебедей, а он из-под своего сомбреро только хмыкнул небрежно:

— Что за диво! Первого мая они в райцентре у нас над самыми трибунами пролетели, вся площадь им аплодировала... Вот это был номер.

Приезжий, не слезая с копы, все поглядывал на скирду, расспрашивал Михаила Ивановича, не слышал ли тот, когда приедут сено в заповеднике распределять.

— Тут главное не прозевать, — объяснял он Ольге. — Да какое же сено! Зеленое, пахучее... Кажется, сам бы ел!

Принюхивался, мял в руке сено, шутливо задабривал Михаила Ивановича:

— Если нам эту скирду отпустите — магарыч будет!

— Кому скажут, тому и отпущу,— гудел Михаил Иванович в ответ.— Я его не распределяю.

— Так имейте же нас в виду, не то воды не дадим! — крикнул агроном, отъезжая.

Колодца на косе нет, давно уже обещают выбить артезиан, да все «только языком бьют», как говорит Михаил Иванович. А пока ему приходится ездить с бочкой по воду к совхозному артезиану.

Сегодня после обеда он тоже проделал такое путешествие, а вместе с ним побывала в совхозе и Ольга — ей нужно было на почту.

Ничем почта девушку не порадовала, и, возвращаясь домой, на косу, Ольга сидела на подводе скучная, съезжившись возле бочки, в которой тяжело плескалась вода.

Где-то на полдороге им повстречался всадник. Может, настроение у Ольги было такое, или сама душа ждала чего-то необычного, только, когда всадник тот вымахнул из-за горизонта, вынесся, словно из времен татарщины, из казачества, и быстро стал приближаться, сердце девушки зашло в непонятном волнении. А тот уже подлетел к ним — и весь был смуглость, мужество, обветренность! Круто осадил своего конька перед неуклюжей фурой Михаила Ивановича, блеснул белозубой улыбкой так, что девушку даже в жар бросило: оттуда он, оттуда! Из тех времен рыцарских, далеких! Профиль орлиный и сам как орел! Только и не хватает разве что сабли на боку да шапки казацкой... Но хоть и казался он пришельцем из далекого прошлого, однако сигареты потреблял вполне современные: наклонившись, стал «Шипкой» Михаила Ивановича угощать. Закуривая, похвалился, что у них на Байрачном опять охотничье хозяйство организуется, в районе только что решили, и его уже егерем назначили.

— Егерь — это ж звучит?!

И глаза его, улыбочато-прищуренные, неотступные, заставили Ольгу покраснеть.

— А вы остерегайтесь,— бросил он ей.— Все ходит вдоль моря в костюме Евы... Думаете, безлюдно... Аи нет! Солнце-то светит, далеко видать. И кто-то, может, по ту сторону лимана, в камышах, залег и — в бинокль... У нас красоту любят!

И опять блеск улыбки Ольге, вспыхнувшей, покрасневшей до ушей, и уже конь вздыбился, выгнулся и, под-

пав облако пыли, умчал своего всадника, как будто его и не было.

Но ведь он был! И остался с ней и теперь! Потому что когда пошла она вечером, перед сном, к морю купаться, то не сразу решилась снять с себя одежду. Как будто чувствовала на себе глаза того всадника, которые из-за лимана, из ночных камышей так пристально и жарко на нее глядели. А ночь была ясная. Лунная дорожка стлалась по морю в даль планеты. Что-то русалочье было в этой ночи, весь мир был окутан ее чарами, проникнут ее прозрачностью, околдован светлым царствованием луны над морем и степью. Так хорошо, так уповательно хорошо было, что девушка, даже ощущая на себе тот странно-волнующий, обжигающий взгляд из камышей, все же стала раздеваться. Медлительно, значаще, как перед брачной ночью, сняла с себя все, оставшись лишь в лунный свет одетой... Любуясь, милый! Для тебя эта краса, чистота и святость тела...

И вот он уже приблизился, как там, на дороге, когда с «Шипкой» нагнул, и повеяло от него на девушку горячим духом коня, пота, пыли, духом дороги и ветра...

Через несколько дней приехал и тот, от кого, видимо, зависело распределение сена. Автомашине редко удастся пробиться сюда через песчаные барханы, через вязкие солончаки между лиманами, а на этот раз ухитрились пробиться два «газика» и «Волга». Заинтересованных в сено было много, прибыла целая компания руководителей близлежащих и отдаленных степных хозяйств. Купались. Обедали. Опять купались. И все время не переставали спорить о сене, о скоте, которого уже поразводили столько, что и в хлевах не помещается, того и гляди, придется оставлять на зимовку под открытым небом. И не осуждала их Ольга за голый практицизм этих споров, за кипение страстей вокруг столь будничных тем, — не так уж трудно ей было постичь, что вопрос о сене, скоте, зимовке, кормах тут самый главный, он для этих людей — сама жизнь, с ним связаны все их радости и горести, от него зависит их настроение, благополучие семьи и положению хозяина, а порой даже и сама его гражданская честь. «А может, это узко? Может, их заедает практицизм? Не докатишься ли и ты когда-нибудь до того, что тебе уже и на лебедей лень будет голову поднять? Они пролетят, а ты

в это время будешь равнодушно утаптывать сено, уставившись под ноги...» Так размышляла она, стараясь найти аргументы, оправдывающие этих людей, сложившийся уклад их жизни, ибо все-таки не ты, а они всех снабжают и всех кормят!

Тот, от кого зависело распределение сена, хотя и носил фамилию лихую и веселую — Танцюра, оказался человеком мрачным, был почему-то в унынии, скрипел протезом и глаз не поднимал, когда с каждым здоровался за руку. Был он уже седой, с серым потухшим лицом. Лишь за обедом он слегка оживился, проявил внимание к Ольге, расспрашивал о столице, об учебе, о том, как их министерство распределяло, а когда узнал, с каким перескоком попала она сюда, даже усмехнулся со списходительным превосходством:

— Жизнь, она научит... Научит калачи с маком есть.

— Ничего себе калач, — заметила жена Михаила Ивановича, которой Ольга представлялась не иначе как жертвой чьего-то произвола. — Мать больна, мать одинока, а дочку воп куда посылают... Был бы дядюшка в министерстве — сюда бы не направили!

— Ничего, — говорил гость, — здесь тоже наша земля, наши люди.

— Мы-то дубленые, привыкшие, а ей тут будет как-по? — стояла на своем хозяйка. — Придет зима — хоть волком вой. Дожди, бураны, море до самой хаты добивает... Хозяин мой на баркас да на всю ночь за рыбой, а я дома до утра не могу глаз сомкнуть, мысли всякие: может, его уже и живого нет. Утром прибредет — облебенелый весь, одежда на нем, как железо, грохочет, с лица — черный, и слова не может сказать... Вот она какова, наша жизнь!

— Значит, есть где характер закалять, — говорил гость Ольге. — Надеюсь, вы же за этим прибыли? Стальной характер вырабатывать?

«Зачем я приехала — мне знать, не ваша это забота, — хмурилась Ольга. — А что стойкость, орлиность души каждому нужна, то это правда, это меня в людях привлекает...»

О чем бы и с кем бы Ольга ни говорила, она все время думала об одном: почему нет его здесь, между ними? Кажется, ведь должен бы быть! Ни разу не видела его после той встречи в степи, и хоть только в мыслях, в игре воображения представлялся он ей ночами, лишь в видениях лунных грезилось ей то русалочье что-то, объятия на бе-

регу и пылкие ласки, — все же они будто и наяву были, и он становился ей все ближе и роднее...

Танцюра как бы угадал мысли Ольги.

— Где же егерь? Почему не вижу моего друга? Послать за ним мои колеса!

И послали.

После обеда купались. Танцюра купался пемного в стороне от остальных, и на влажном песке были видны глубоко впечатанные следы его тяжелого протеза.

После обеда всей гурьбой пошли вдоль косы по берегу, и так было здесь славпо, привольно, вольготно, что и спорщики наконец примолкли, взоры людей смягчились, подернулись хмелем очарованности. Танцюра, светя сединой, солидно ковылял впереди, скрип его протеза и крик чайки были едва ли не единственными звуками в этом мире. Танцюре, по-видимому, нравилось быть в роли вожака, он шел повеселевший, уверенно ведя вперед всю компанию, протез его увязал, глубоко ввипчиваясь в песок.

Море выплескивает волну за волпой, моет и моет косу, простершуюся низко, бурым пластом уходящую в синеву моря. Где-то там, на острие ее, должен быть маяк. Если бы не дымка, белую башню его было бы видно и отсюда — ясным утром она сверкает, белеет на горизонте. Впрочем, и сейчас все вглядывались в марево зноя: не покажется ли, случаем, где-то там, на краю неба, белая башня маяка? Люди суши, а почему-то не оставляло их такое любопытство.

Полно было диких птиц. Клекотали в воздухе, отдыхали стаями на воде, желтели беспомощными птенчиками в бурьянах, где повсюду валялась скорлупа, покинутая одежда тех, что уже повыскакивали на волю. Лебеди белеют далеко в море, намного дальше, чем утром. Их разглядывали в бинокль, прихваченный одним из молодых смотрителей.

Углубились далеко на косу, когда их догнали еще двое: шеф Ольги, ссутулившийся кандидат наук из конторы заповедника, да тот самый красавец, чубатый егерь. Ольгу он как будто и не заметил. Широко ступая в своем потертом егерском галифе, глазами все пас начальство, и в руке его было — Ольга глазам не поверила — охотничье ружье. Что это? Кто ему позволил?

Ольгин шеф в ответ на ее осуждающий взгляд объяснил с кривой, не свойственной ему усмешкой:

— На косе, кроме полезной живности, как известно, водятся и хищники...

Егерь поспешил к старшóму.

— Виктор Павлович, — окликнул он Танцюру. — А ну-ка дуплетом... Как тогда, на Байрачном!.. Дуплетиком!.. Вы же умеете, как никто! — И в голосе егеря вдруг появился такой мед, такое холопское подобострашие, что Ольге стало мучительно стыдно за него.

Ружье было передано Танцюре. Тот взял его, осмотрел с видом знатока. Потом вскинул глаза на Ольгу, но из них уже исчезла бывшая приветливость, они стали холодными, чужими. «Зачем здесь эта девица? — как бы спрашивал он присутствующих. — К чему нам ее осуждающий взгляд? Не интересуют меня ее достоинства, скорее раздражают. Я хочу видеть привычные, приемлемые для меня глаза вот этого парня-егеря, преданного и смекалистого. Устраивает меня и угодливое поблескивание ваших очков, товарищ кандидат наук... И даже нейтральная веселость агронома вполне приемлема. А вот она...»

Ничего и сказано не было, однако все почувствовали, что эта вчерашняя студентка здесь лишняя. Да и сама она это поняла. Осталась стоять на месте, не пошла с ними, когда они, перейдя вброд промоину, снова отправились вдоль косы.

«Неужели раздастся выстрел? — мучилась Ольга, глядя им вслед. — Неужели будет спущен курок? Все зависит от этого: будет выстрел или нет?»

И все вокруг ждало. Тишина стояла какая-то беспокойная, хрупкая. И светлая беспредельность казалась хрупкой... «Все, все зависит от этого, — не давала ей покоя мысль. — Может, даже само будущее и ценность твоих идеалов, и все эти неслыханные взрывы, ужасы, о которых теперь столько думают, пишут, говорят, — все какую-то тончайшей связью связано с его ружьем браконьера, с его курком, с тем — будет выстрел или нет?»

Компания почти скрылась в овраге за кустарником, пустынно стало на косе. Ольга медленно побрела домой. Ей почему-то все время вспоминалась фраза, брошенная Танцюрой за обедом: «Пошлите за ним мои колеса...»

То есть машину пошлите. И эти бессмысленные колеса теперь сверлили и сверлили ей мозг: «Пошлите за ним мои колеса...»

И вновь она видела угодливо-заискивающую улыбочку егеря, снова чувствовала жгучий стыд за ту патоку в его голосе, которая так не шла к бравой фигуре этого красавца степняка...

Что и говорить, не рыцарем чести и достоинства явился он перед ней. Ох, совсем не таким она его себе вымечтала, не таким представляла! Будто обокрал ее в чем-то, горько, глубоко обидел...

Внезапно Ольга вздрогнула, и вся кромка горизонта как будто вздрогнула: где-то там, в глубине косы, прозвучал выстрел.

К вечеру, когда компания вернулась к дому Прасковьи Федоровны, у Танцюры большое что-то белело под мышкой.

Лебедь-шипун белел.

Тяжеленный, с белым пухом, с обвисшими метровыми крыльями, с безжизненными палками ног.

— Получайте, Прасковья Федоровна, на ужин, — с подчеркнутой веселостью, которая Ольге показалась напускной, обратился Танцюра к хозяйке.

Но та не приняла дара. Выпрямилась обиженно:

— Эта птица святая... У нас ее не едят.

Танцюра попытался было обратить все в шутку: «Ведь мы же с вами безбожники!» — и предложил лебеда жене другого сторожа, приехавшей с детьми и мужем погостить. Но и она отказалась:

— Вам же сказали — птица святая. Не едят такую у нас. — И прижала к себе детей.

Дети — две девочки и мальчик — только сопели, неприязненно поглядывая из-под материнской руки на протез Танцюры, упорно топтавшийся возле них.

Никто не захотел взять лебеда, отказались под тем или иным предлогом все. Кандидат наук даже напраслипу на себя взвел, сказав, что он вегетарианец, хотя, не далее как за обедом, уплетал крольчатину; уклонился от подарка и агроном, пошутив, что ему участковый милиционер штраф припечет, не поверит никаким оправданиям.

Один лишь егеря увивался вокруг Танцюры, утешал:

— Домой повезете, какой гостинец будет!..

Теперь Ольга уже просто возненавидела егеря, возненавидела и ту вспышку своего слепого чувства к нему и с

ужасом подумала, что этот бесхребетник мог стать из-бранником ее сердца.

Брошен был лебедь в машину, и ружье сверху на него было брошено небрежно, как ненужный хлам.

Вечером, перед отъездом, уже усевшись в машину, Танцюра подозвал Ольгу:

— Осуждаешь? Жаль тебе этого черпогуза? — спросил с недоброй усмешкой. — План педовыполнишь или одним меньше окольцуешь?

Ольга молча кусала губы. Глаза стали малепькие, алые.

— Может, довести на меня хочешь?

— Нет. Этим не занимаюсь.

— А чего же надулась?

— Чего? Знать хочу: откуда у вас вера в свое право — бить? Право делать то, что запрещено другим? Почему вы считаете, что вам можно переступать закон?

— Все? Выказалась?

— Почему вы ведете себя так, как будто вы последний на этой земле? А ведь вы не последний! И после вас — будут!

Холодным стал его взгляд; серым, как пепел, казалось в сумерках лицо.

— А может, все мы последние? Или ты такая вот напшлась... Надеешься повторить цикл? Две жизни собираешься прожить?

— Вы циник. И ваши рассуждения — циничны. И отвратительна мне ваша философия браконьерства!

— Погоди, не умничай... Жаль тебе этого черногузика? — Он умышленно называл черногузым лебедя, видимо, чтоб оскорбительнее было. — На! Возьми! — И поднял из полутьмы машины кипу того белого, тяжелого, прямо за шею поднял. — А то кролей поразводили, как в Австралии, норами все перерыли. Бери, бери, не сердись. Мясо у него сладкое.

Широкое скуластое лицо девушки горело от возмущения.

— Эта птица... Она и для меня святая. А где ваши святыни? Или вы уже освободили от них вашу жизнь?

— Что ты знаешь о нашей жизни? — вздохнул Танцюра. — Откуда тебе знать, как трудится наш брат... Как выматывает работа... Другие на рыбалку, в театр, а мы до ночи... Хотя и с температурой... Хотя и ноют раны... До

полста не дотянув, инфаркты хватаем! — И сердито стукнул дверцей.

До поздней ночи ходила Ольга по косе. Небо было в звездах, небосклон растаял, линия горизонта исчезла... И впрямь, как на краю планеты. Дальше, за небосклоном, уже тьма и безвестность, и как бы на краю души человеческой стоишь, души, прежде столь изученной, ясной. А дальше что? На что годна? К чему устремится? Каким запасам добра и зла скрыты в ее арсеналах? И почему, оказавшись на грани зла, человек так легко и безболезненно эту грань переступает? «Абстрактно, — слышит она чье-то возражение, — глубокая философия на мелком месте!» Но это говорите вы, те, кто не видел сегодня его ружья, его самоуверенности и его решимости (как он тем протезом землю перед нею вывертывал, впикивал в нее каждый свой шаг, каждый свой притоп!).

Недели через две, опять проездом, оказалось здесь все то же общество. Танцюра, непривычно добрый какой-то, чрезмерно разговорчивый, хвалился бодрым голосом перед женами сторожей и словно бы еще перед кем-то:

— Жена чуть было из дому не выпала с той добычей. Только увидела моего черногуза — и в крик! Вот женщины, всюду одинаковы... Как будто с вами сговорилась: «Зачем в квартиру принес? Это же птица святая!» Даже соседи отказались. Еле помощнику своему навязал. Человек темный, принял за гуся...

Всем было неловко его слушать, но Танцюра как будто и не замечал общей неловкости, вновь и вновь возвращался к теме «черногуза», да что подстрелил он его почти случайно, да что он, горе-охотник, рассказывает теперь, навсегда зарекается бить... Суровые, прокаленные солнцем люди слушали его, понурившись слушали; а верят они ему или нет — трудно было по их замкнутости отгадать.

Вперед, в заворсклянскую низменности, в раздолье лугов неоглядных, теряется наша дорога. Ухаби́ста она, разбита, разворочена, хоть и безлюдно сейчас на ней. Минувшей ночью здесь прошел ливень, и снова, кажется, быть дождю: парит. Солнце предзакатное еще горит, прогревает воздух, а на другом краю неба уже показалась туча, сурово затемнила горизонт.

Оди́нокий грузовик обогнал нас и — напрямик через лужи! — дальше помчался с необычным своим грузом: полный кузов ящиков с водкой. Видно, как в ящиках решетчатых, будто в клетках, взбалтывается в бутылках «Московская», а сверху на ящиках сидят трое совершенно трезвых уставших людей — наверно, грузчики. В темной рабочей одежде все трое, несмотря на духоту. Сидят молча, курят, раскачиваются на ухабах и снова, возвращаясь в равновесие, спокойно созерцают мир. Равнодушно взглянули и на нас с высоты своего трона: застрянем или нет? Но и мы вслед за ними успешно форсируем огромную лужу. Нужно было бы остановиться, протереть стекло, сплошь забрызганное грязью, но надо торопиться: туча заметно растет, набухает дождем, и вроде посвежело, и где-то вдаль на черте горизонта уже видны вспышки в глубине туч. Дорога наша едва виднеется на равнине, раскинувшейся по обе стороны до самого неба озерами, камышами, солончаковыми пустырями. Туча подгоняет — то и дело поглядываем на нее. Почва клейкая, скользкая, тут только брызнет дождем — и не выберешься. Мощеная дорога начнется не скоро.

Успеем ли проскочить до дождя?

Юрко обеспокоен этим будто бы больше всех, но по лукавым его глазенкам видно, что хочется ему совсем

другого, не терпится ему, чтобы нас накрыло дождем и чтобы мы все же застряли в какой-нибудь луже, а потом почевали где-то в курене с незнакомыми людьми под шум ливня, под вспышки, сполохи и грохот громовой ночи. Ему, озорному этому созданию, дорога тем и привлекательна, что таит в себе возможность приключений. Ночь обещает опасности и тревоги, ожидание грозы таинственно волнует детскую душу, глазенки светятся смешанным со страхом любопытством к этим просторам, камышам, тихим плесам, к нахмутившемуся небосклону. Оттуда, из потемневшей дали, пока еще бесшумно, но все сильнее вспыхивают зарницы сухим неуловимым пламенем.

Въезжаем в село, уже по обеим сторонам от нас сады, хаты, неуступчиво раздвигается огненно-рыжее стадо коров, у колодцев в любопытстве приостановились женщины с ведрами, с коромыслами... Насыпь дороги перекрыта шлагбаумом, пужно объезжать, но куда? Слева, прямо в разлив грязи, ведут чьи-то глубоко развороченные колеи, и мы пускаемся по этим колеям.

— Не туда, не туда! Там не проедете!

Это нам кричат — кричат и от колодца, и от стада, и из дворов выбежали, дают советы, лица напряженны, а в голосах искреннее беспокойство. Олазывается, нам надо объезжать не с этой стороны насыпи, а с противоположной, и, когда мы туда сворачиваем, папутствующие, кажется, даже облегчение почувствовали, лица их светлеют, и мордашка Юрка тоже светлеет.

— Добрые люди тут живут, — говорит он задумчиво, когда мы уже выезжаем из села, нигде не застряв, выбравшись с объездов снова на дорогу.

У крайней хаты стоит молодая женщина с ребенком на руках, рядом сидит на корточках, по-видимому, муж ее, в засаленном комбинезоне, должно быть, с работы только возвратился, — присел на корточки и курит.

— Как село ваше называется?

— Бродщина, — с готовностью, словно ждала нашего вопроса, отвечает женщина. — Это Малая Бродщина, а там дальше будет еще Большая...

И улыбается нам на прощанье.

Значит, это Бродщина! Как же я ее не узнал? Потому ли, что садами так заросла? Я оглядываюсь, хочу узнать что-то из прошлого и не узнаю — все новое, новое... Много домов, фермы тянутся друг за другом, а по другую

сторону дороги виднеется школа и еще какое-то большое кирпичное здание, очевидно магазин, потому что грузовик, который то перегонял нас, то отставал, стоит там, забрызганный грязью, словно отдыхает после гонок.

Рассказать бы Юрку, как здесь было, когда мы наступали, когда пробивались к Днепру по этим местам, где-то там ночевали целым взводом в бродщанском сарае, в осепную почь, в непастье... Где же тот сарай? Где та женщина, которая картошку в мундирах на ужин нам варила среди двора? Теперь и не разберешь, где это было,—все, все заросло садами.

— Так это та самая Бродщина, Юрко...

Но внимание мальчишки привлечено другим: птицы летят. Над Бродщиной — Большой и Малой, — над лугами, озерами, поймами... Непсчисливо, словно на зависть охотникам, идут волна за волной дикие утки, стаи бекасов, кажется, даже дикие гуси плывут в высоте... Все небо заполонили, над целым миром летят! Выстрела — ни единого. Можно представить, что делается здесь в день открытия охоты!..

А пока тихо. Небо какое-то ласковое. Совсем низко просвистит одинокий крыжак, упруго пропзая воздух, а выше его дикие собратья косяками, гуськом — стаями летят и летят в теплом ласковом небе. Над полями сражений, над погибшими, над тишиной вечного покоя летят куда-то на другие озера. Почему перелет? Согнал ли кто? Иль буря тревожит, вернее, предчувствие ее? Тревожит, может быть, этот горизонт, что уже становится темно-бурым, грозным, — град предсказывает, или просто пыль где-то взметнуло, подняло ее высоко, все взбаламутив. Молнии сверкают и сверкают, но ни грома, ни ветерка изпод туч. Все еще тепло. И тишина. И птицы.

И сумерки.

Туда, в мутные сумерки, лежит наша дорога. Рассказать тебе, какие зарева здесь небо кровавили? Как мало нас из целого взвода после той ночевки осталось? И птиц над нами тогда не было, никаких птиц. Только вороны смерти.

Человек стоит у дороги. Путник. Лицо худое, в черной пестрине. Плащ на руке, дынька желтеет в авоське. Темной скрюченной рукой незнакомец «голосует».

Теперь в машине у нас дыней пахнет, как в курене, и еще быстрее мчит — под птицами, перелету наперерез — наш «курень передвижной».

Лицо попутчика измученное, со следами перенесенных страданий, а глаза между тем светятся каким-то веселым светом — светом счастья.

— У вас радость какая-то?

— Да. Из дому уходил калеккой, от боли выть хотелось, а домой возвращаюсь — смеюсь. Каждый стебелек, каждая букашка радуется.

— Где же вы были? Кто вы?

— Рабочий человек я. В цехе, на горячих работах, вот уже скоро двадцать лет. А тут вдруг так скрутило, что хоть в могилу. Боли в голове такие, что падал в цехе, сознание терял. Ноги начали отниматься. В заводской больнице лежал, и на курорт посылали — ничего не помогает, врачи только руками разводят. Один говорит — нервное, другой подозревает опухоль мозга. Прописывают одно, прописывают другое, а мне все хуже и хуже, «скорая помощь» дважды в день приезжает, по комнате уже без палки пройти не могу. И вот тогда наши заводские ребята посоветовали мне: бросай все, Павел, и поезжай к деду. Есть, говорят, такой там, за Бродщиной. Сып его в Москве в медицинской академии, а он здесь один в родимых местах живет, травами и уколами людей лечит... Я к нему. Возле двора его целая ярмарка. Того несут, того ведут, тот сам на костылях скачет. Под руки меня к нему на верапду ввели. В душе черная безнадежность, злость и отчаяние, а как только он на меня глянул, улыбнулся, осмотрел, выслушал, сразу как будто легче стало. Не подумайте, что он какой-нибудь темный знахарь. Еще в первую войну он фельдшером был, а во время этой войны в тылу врага помогал партизанам. Поверил я в его всемогущество. И, как видите, на ноги поставил. Никакой, говорит, опухоли, глупости все это. Сильная простуда у тебя. А у меня действительно была глупая привычка: выбегу мокрый, разгоряченный — и голову под холодный кран... Полежал я у него, полечил он меня своим методом, и вот сегодня я ему свой костыль на память оставил. У него там целая коллекция этих палок да костылей — на веранде в углу стоят. Такой это человек.

Попутчик наш улыбается, глаза сияют, так и льется из него радость, трепетное первоощущение жизни, он сам даже как будто не совсем еще верит, что уже выздоровел, что возвращен к жизни.

— Вот таким бы памятники ставить, — не может он сдержать себя. — Как-то дед этот и сам заболел, потому

что ему уже под восемьдесят, в саду на раскладушке лежит, а людей назад не отправляет. «Ведите,— говорит,— буду принимать. Не какой-то там бюрократ...» Просто у человека есть в душе такая потребность — до последнего помогать другим. Вот еще и дыньку дал мне в дорогу. Хочешь дыни, Юрко?

И от разрезанной дыньки в машине уже пахнет бахчой.

Всколыхнулся камыш у дороги, ветер пробежал, буря приближается. Но приближается и мощепая дорога...

Грузовик, который, казалось, отстал от нас в селе (а может, то был другой?), снова каким-то образом оказался впереди нас. Вынырнул, выбрался с боковой дороги и помчал лугами вперед. Не объезжает луж — видим, как из-под его задних колес то и дело выстрелпвает грязь. Но вот колеса перестали мелькать — остановился. Что там у них случилось? Скат лопнул? Но шофер, высунувшийся из кабины, и грузчики, которые восседают в кузове на своих деревянных клетках, смотрят не на колеса, а почему-то вверх, задрав головы в небо. Что они там рассмотрели?

— Снова птицы! — кричит Юрко. — Посмотрите, сколько их!

Остаиваемся возле грузовика, и экипаж его встречает нас доброжелательно, шофер кивает вверх:

— Вот это налет!

— А высоко как! — добавляет один из грузчиков. — Что это, по-вашему?

Если уж им, здешним, это в диковинку, то что говорить нам... Никогда не видел я такой тьмы тьмущей птиц, больших, незнакомых, чем-то растревоженных в этот предвечерний час. Они бурлят в вышине, ходят кругами, перемешиваются, ныряют-всплывают в своем небесном круговороте и, хоть вроде в беспорядке носятся на одном месте, все же понемногу продвигаются всей своей подпобесной ярмаркой в сторону Большой Бродщины...

— Галки не галки, но и не скворцы, — раздается с высоты кузова. — И не чайки степные.

— Великоваты для чаек, — замечает водитель грузовика, который уже совсем выбрался из кабины. — Может, журавли?

В самом деле, не они ли, редкостные в этих краях, палетели откуда-то и сбиваются в стаю, готовясь в дальнюю дорогу?

Бурлит, кипит птицами все предвечернее небо. Живые крылатые существа в непрерывном движении, как будто беспорядочном, непонятном для нас, и в то же время чувствуется какая-то цель в этом бурлении-кипении, в этом терпеливом поднебесном танце жизни.

А на земле, возле нас, уже идет разговор об охоте. Грузчики рассказывают, как в прошлом году, когда после дождя тут невозможно было проехать на мотоциклах, здешние механизаторы потащились на озера трактором — не могли же они пропустить открытие сезона!

Однако пора двигаться. Люди с грузовика, правда, не спешат. «Нам уже недалеко», — говорят они и остаются на месте, снова задрав к небу свои просветлевшие лица, до конца провожая взглядами подвижный венчик птиц, уже едва видимый под тучей над далекими озерами.

Ночь, надвигаясь, гонит нас вперед, потому что вот-вот она уже громыхнет, ударит ветром, вспыхнет несопо-во-синими сполохами, открыв на мгновение глубины второго и третьего неба; стихия тьмы и света объединит небо и землю в единое целое, и в этом вселенском хаосе, в грандиозных таинствах ночи начнется могущественная работа природы, работа вечная, суровая, каждый раз па-вевающая человеку мысли о чем-то предвечном и о грядущем тоже...

А пока мы смотрим на помутневшее, взбаламученное небо, совсем близко нависшее над нами градом или ливнем. Нам видно, как, растворяясь в поднебесье, исчезает это загадочно бурлящее облако диких птиц, а вслед за ним уже летят другие птицы, плывут величавые аисты, запоздавшие крыжнии торпедами мчат с одних вод куда-то на другие озера.

Впервые загремело — глухо, далеко.

Юрко прислушивается.

— Как будто поют где-то, — говорит он в задумчивости и уже фантазирует: — Куда же довадется песня, когда ее пропоют? Может, она и после этого не исчезает, а летает себе и летает?

Ах, вот он о чем! Это он о тех песнях, что мы с ним сегодня так много паслушались. Где-то за девятым оврагом, за десятым холмом осталось село и родственники, которых мы ездили проводить, большая родня, в которой Юрку нелегко было разобраться. Кто чей да кто кому кем приходится... Одна тетка — вдова, и другая тетка — вдова, и еще ее дочь с фермы — тоже вдова, хоть и молодая,

да еще ее двое девочек-подростков, которые уже помогают матери на ферме, и Павло-тракторист, и высокий Грицько, возвратившийся из армии... Такие они все разные, и даже не прочь кольнуть при случае друг друга острым словечком, еще немного, казалось, и ссориться начнут, но как только зазвучала песня, когда, уже прощаясь, стояли посреди двора, то стала она вдруг царицей всего, и уже не было ни старых, ни молодых, все сравнялось перед нею, и Юрко смотрел на поющих людей ошеломленно, слушал с дикой зачарованностью, потому что действительно нигде так не поют, как там! Далеко осталось село с вишняками, с подсолнухами, с пышной зеленью верб, скоро, паверное, нас еще дождем и тучами разделит, а песни, которые там пели сегодня, еще сюда к нам доносятся, все время вдогонку как птицы летят.

А вот уже и ночь. И первые капли бьют по стеклу, но и колеса — слышно — уже упруго на камнях подпрыгивают.

— Каменка уже под нами, — говорит наш попутчик. — Видишь, Юрко, обошлось без приключений.

— Нет, с приключениями.

— Какими же?

— А птицы! Сколько птиц над Бродщиной... Никогда столько не видел...

Мальчонка замолкает на какую-то минуту, прислушивается к свисту ветра за стеклом.

— Что же их подпяло? Куда они улетают?

И снова задумался малыш, прислонившись лобиком к стеклу. Капли бьют. Наш спутник с блаженной улыбкой смотрит на них, словно это высшее счастье, что капли дождя перед ним, что есть на свете тучи и птицы, что наши глаза видят развороченный ветром камыш придорожный.

Все притихли, каждый думает о своем. Бьются, буйствуют под ветром бамбуковые заросли темных камышей вдоль дороги, небо обрушивается тяжелым ливнем, оно уже совсем потемнело, слилось в сплошной хаос, в котором, впрочем, те бродщанские птицы где-то еще и поныне летят.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТАТЬИ

ВЕЧНОЕ СЛОВО

Заметки писателя

Из бесчисленного множества книг, с которыми имеет дело история мировой литературы, особо выделяются те, что вобрали в себя мудрость веков.

К таким книгам принадлежит «Кобзарь» Тараса Шевченко, книга, которую народ украинский поставил на первом месте среди унаследованных им из прошлого национальных духовных сокровищ.

Поистине удивительна судьба этой книги. Стихотворения, входящие в нее, слагались на тернистых дорогах жизни поэта, писались то в страстностях, то в казематах, слагались при свете белых ночей Севера и в песках пустынь закаспийских под одиноким солнцем изгнания. И хотя большинство стихотворений написано за пределами родного края, в каждой строке струится светлый образ Днепра и мерцает синяя даль украинских степей. На случайных листках бумаги и в захалявных¹ книжечках рука поэта украдкой, тайком записывала строки, которые станут дорогими для всего народа и сквозь все преграды донесут до него вещице и вечные слова.

Книга формировалась постепенно, год за годом создавала ее сама жизнь поэта, и все самое существенное из великой жизни украинского крепостного Тараса Шевченко — со дней его юности и до последнего дыхания — вобрал в себя этот томик стихов, который в минуту творческого озарения был назван «Кобзарем». С тех пор па

¹ Несмотря на строгое запрещение Николая Первого, Т. Г. Шевченко продолжал писать стихи в маленьких самодельных книжечках, которые называл «захалявными» потому, что прятал их за халву (голеньище) сапога.

протяженной десятилетней книга эта станет настольной для каждого украинца. И не случайно, что лучшие умы других народов с самого начала по достоинству оценили необычайность этого великого творения.

В «Кобзаре» поэт выразил прежде всего самого себя, свою личность, от первой и до последней строки книга наполнена индивидуальным чувством поэта. Тут его, Тараса Шевченко, темперамент, его искренняя и незащищенная в своей открытости душа. Тут мысли, им выстраданные, боли, им пережитые, тут картины именно его, Тараса, детства. И язык его, и только ему присущий тембр голоса. Тут не заимствованные знания, а его собственный, в развитии воссозданный разум мыслителя, могучий интеллект, который жадно доискивается истины, проследивает жизнь во всеобъемности — в конкретной судьбе сестры-крепостной и в исторической судьбе целых народов. Однако искусство потому и является искусством, что оно способно творить чудеса: личный, внутренний мир Тараса Шевченко, перелитый в литье художественных обобщений, предстал в лирике и поэмах «Кобзаря» в таких художественно образных проявлениях, в такой правдивости и глубине индивидуальных переживаний, что в них и сам народ узнал свою душу, прочел свою историю, заглянул в свое будущее.

Острейшие социальные драмы и тончайшие нюансы интимного, боль бесправия, неволи, минуты отчаяния, которые поэт также испытал, тоска-кручина искалеченной жизни, голос поруганного и пробужденного человеческого достоинства, сила непокорности, не раз переходящая в крик проклятия, в грозные взрывы прометеевского титанизма, — все клокочет, все слилось, переплавилось в художественную цельность книги-исповеди, от начала и до конца проникнутой огнем едва ли не самого сильного чувства поэта:

Я так, я так ее люблю,
Украину, мой край убогий,
Что прокляну святого бога
И душу за нее сгублю!

(Перевод А. Суркова)

Именно из этой любви выросла правдивая, высокого накала поэзия «Кобзаря», именно это, никакими стужами не остуженное сыновнее чувство и питало тот дух протеста, антикрепостничества, каким насыщена книга Тара-

са Шевченко. Из ее тираноборческой суровости, во вспышках грозových ее разрядов во всем величии встает образ поэта-борца, поэта-революционера.

Подвиг Тараса Шевченко, всю взрывную силу его поэзии невозможно постичь, не представив, среди какой мертвенной тишины она прозвучала, против какого «чудовища стозевного» подпала свой меч. Это была эпоха, которая вешала декабристов, убивала на дуэлях величайших своих поэтов, угоняла в кандалах в рудники Сибири благороднейших своих сыновей, методически растерзывая их. Это была духота, от которой люди немели, атмосфера, где царили страх, ненависть, подозрение, допросы, общее оцепенение, где официальная ложь становилась привычкой и не считалась бесчестьем, а слово правдивое, слово свободное обгагралось кровью.

Воспеть свободу в условиях крепостнического государства, среди свинцовых будней жандармской действительности — это значило выразить (а для многих даже и открыть) ведущую, самую важную истину жизни, поведать людям в стихотворной форме то, что для них было в тех условиях самым существенным.

Непреоборимость человеческого духа проявляется в том, что бесстрашных певцов свободы рожают самые мрачные времена. Чем темнее почва, тем ярче в ней маяки. Рядом со свободолобивыми произведениями Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, в живой перекличке с ними поэзия Тараса Шевченко появилась на гребне века как бунтарский голос наиболее обездоленных социальных слоев, голос тех, которые уже ощущали потребность «всем миром обух закалить», в его стихотворениях угнетателям слышался отзвук неизбежной расплаты, голос возмездия.

Бурное свободолобие — это, пожалуй, самая примечательная черта «Кобзаря». Вершина поэзии Шевченко — гимн свободе, первой и непременной предпосылке человеческого прогресса, благосостояния и счастья. Слово «воля» поэт сопровождает самыми дорогими эпитетами, доминирующее настроение многих стихотворений — тоска по утраченной свободе и порыв к ней, к «свободе святой»:

Встанет правда, встанет воля,
И тебя, великий,
Будут славить все народы
Вовеки и веки¹.

¹ Здесь и дальше отрывки из поэмы «Кавказ» даны в переводе П. Аптокольского.

Излюбленный герой стихотворений Тараса Шевченко — впрямь народный, бунтарь-гайдамак, казак-запорожец, выступающий защитником родного края, носителем народной правды и чести. Острые знаменитой шевченковской сатиры, оружия, которое становилось в его руках таким метким и разящим, направлено прежде всего против всякого рода угнетателей, пришлых и доморожденных, против царей и их сатрапов-прислужников, против помещиков, чей крепостнический произвол не знает границ, против душителя и предателя, который «за лакомства несчастные» готов отречься от самого святого. В стихотворении «Чтоб палачи их покарали» поэт в форме горького афоризма еще раз отчеканит свою заветную мысль: «...где воли нет для человека, не будет там добра вовеки...»

«Кобзарь» принадлежит к самым свободолюбивым книгам всех времен, он насквозь пропитан стремлением к свободе, предчувствием ее неизбежности. Стихи «Кобзаря» проникнуты верой в неистребимость человека, верой в то, что человек никогда не смирится с несправием, рабство никогда не станет для него нормой существования.

Понятие свободы чаще всего встает у Шевченко не в виде туманно-абстрактной мечты, а воспроизводится как категория социально-конкретная, насыщенная революционным содержанием, призывом к действию, к солидарности народов. Если бы Шевченко не написал ничего, кроме своей гениальной поэмы «Кавказ», он и тогда был бы достоин вечного преклонения потомков. С первой же строки поражает энергия стиха, образная насыщенность: «За горами горы, тучами повиты, засеяны горем, кровию политы...» Эпическое раздолье зачина плавно и естественно переходит в высокую патетику прославления Прометея, потом, как бы увидев врага, слово поэта вдруг переходит в иной тон, ударяет градом обвинений, разоблачений, жгучих сарказмов:

К нам в обученье! Мы сочтем,
Научим вас, хлеб-соль почем,
Мы христиане: храмы, школы,
Вся благодать, сам бог у нас!
Глаза нам только с а к ля колет:
Зачем она стоит у вас,
Не нами данная... и то,
Что солнце светит вам бесплатно,
Не нами сделано... за то
Чурёк не кинем вам обратно,
Как псам...

Если мы хотим сказать, что такое реализм в поэзии, так вот это и есть он, поэтический реализм в одежде будничного, по-народному едкого слова. Если хотим видеть, как сильная мысль диктует соответствующую ей художественную форму, видоизменяет рисунок стиха, вызывает наиболее целесообразные с художественной точки зрения ритмы, интонации, то это также хорошо видно здесь. Чурек и сакия впервые входят в лексикон украинского языка, он обогащается также церковнославянизмами, которые отнюдь не архаично звучат в контексте поэмы («на всех языках все молчат: все благоденствуют!»), обыкновеннейшие, казалось бы, характерные для повседневного употребления слова обретают вдруг алмазную твердость, торжественно-призывное звучание:

Слава синим горным кручам,
Подо льдами скрытым!
Слава витязям великим,
Богом не забытым!
Вы боритесь — поборете!

Неудержимая революционная страсть «Кобзаря», весеннее половодье раскованных чувств не могли уместиться в узконациональных берегах. И в «Кавказе», и в художественных образах поэмы «Сон», написанной с непревзойденным сатирическим блеском, остроумием и свободным полетом фантазии, в мужественных строках «Юродивого», «Неофитов», «Еретика», в таких стихах, как «И Архимед и Галилей», «Царям, всесветным шинкарям», и других огненных стихах-молитвах, стихах-стонах, пророчествах клокотало море народной боли, выразительно ощущались подземные толчки могучих сил, придавленных пятой самодержавия.

Своей народностью стихи украинского поэта были, как известно, особенно близки его боевым побратимам — русским революционным демократам, передовым сыновьям всех угнетаемых народов тогдашней царской империи. Не случайно же на стихах «Кобзаря» точно так же, как на произведениях Чернышевского, Добролюбова, Герцена, воспитывались целые поколения революционеров, закалялась воля тех, кто впоследствии будет штурмовать цитадель реакции, до самых оснований потрясет крепостные стены ненавистной тюрьмы народов.

Тарасу Шевченко принадлежит исключительная роль в сплочении передовых сил украинской нации, в развитии

и формировании сознания украинского народа. «Кобзарь» охотно воспевае прошлое, но устремлен он в будущее. С творчеством Шевченко связано становление нашего литературного языка; с выходом «Кобзаря» открывается новая эпоха в развитии украинской художественной литературы, которая отныне неизмеримо расширяла свои тематические и философские горизонты: Шевченко воистину выводил родную литературу на просторы общечеловеческие.

Современники поэта при характеристике «Кобзаря» восторженно отмечали именно его народность, которая воспринималась как открытие, как новое слово в искусстве. И дело не только в том, что первые юношеские стихи Тараса Шевченко написаны, как тогда принято было говорить, простонародным стилем и отличались песенной легкостью (не случайно же многие из них позднее станут народными песнями), еще более важно то, что поэт последовательно каждое явление жизни рассматривает как бы глазами народа, с позиций народа, каждое событие прошлого и настоящего поэт измеряет мерой народной морали, чистотой и целомудрием души трудового человека.

Муза Тараса Шевченко в крепостной одежде; обращаясь к человеческому сознанию, к чувству справедливости, она впервые вводит в литературу толпы тех безмерно униженных людей, которые населяют «Кобзарь», — несчастных вдов, клейменых варнаков, побитых, этих погубленных крепостных мадонн, которых поэт рисует прекрасными даже в их горе, рисует словно бы кистью великих мастеров Возрождения.

Давно развеено измышление о малообразованности Тараса Шевченко. Из его стихов поры художественной зрелости, из его дневника, где мы находим россыпи прозрений ясновидца и размышлений мудреца, встает человек всесторонней культуры, широких знаний, художник, который мыслит независимо и оригинально, имеет свои сложившиеся взгляды на жизнь, на историю, на явления отечественного и мирового искусства. Все это так или иначе отразилось на поэтике «Кобзаря».

В своем творчестве Шевченко никогда не увлекался внешними эффектами. Новое слово в искусстве, его свежесть, стилистическая новизна начинаются с оригинального видения мира, с интенсивности мировосприятия. То,

что мы пазываем новаторством, коренится в самой силе художественного мышления. Шевченко во всем естествен, как правда. Муза поэта — скромная, пекрикливая, однако она сознает всеобъемлющую силу своего призвания:

...Возвеллчу
Рабов и малых и немых!
Я стражем верным возле них
Поставлю слово...

(Перевод М. Голодного)

Рассматривая поэтику «Кобзаря», исследователи непременно подчеркивают ее простоту, ясность, органическую связь с народным песенным творчеством. И это несомненно: народная песня была матерью поэзии Шевченко. До появления Шевченко украинский народ уже имел многовековую культурную традицию, устное и письменное творчество, сокровища летописей, богатейший фольклор с величавым эпосом казацких дум и несравненной красотой лирической песни, имел, наконец, величайшее сокровище своей национальной культуры — язык, такой образный, певучий, ярко поэтический, язык, который был словно создан для поэтов. Разве могли не взволновать юную фантазию поэта сказания о чумаках и гайдамаках, услышанные в детстве от бабушки, разве могло пройти бесследно для его впечатлительной души знакомство с летописью Величко или с философскими псалмами Григория Сковороды, ходившими в списках, звучавшими в корчмах, на ярмарках? Вместе с многоголосьем живого для все это питало творчество Шевченко, все это входило в мир его поэзии.

Но хотя поэтика «Кобзаря» во многом действительно выросла из фольклорной стихии, сохранив песенную вольность, раскованность, грацию, ритмико-интонационное разнообразие, нетрудно заметить, что в сравнении с фольклором стихи «Кобзаря», в особенности же произведения более позднего периода, представляют новое художественное качество. В них с отвагой гения воссоздавалась новая художественная картина действительности, многокрасочный мир искусства, в котором с удивительным художественным тактом синтезировались в единое целое непосредственные впечатления жизни и символика народной песни, бурная фантазия народной мифологии и богатства мировой культуры, сокровища знаний, раскрывшихся для художника-профессионала.

Человеку присуще привыкать ко всему, в том числе и к произведениям искусства. «Злою вражескою кровью волю окропите» — с детства знакомые слова, настолько знакомые, что не всегда и замечаешь художественную новизну образа: ведь «злою кровью», или, скажем, «грешный рай», или «красой пренепорочно-молодой», или «учи пеложными устами» — такого не найдешь в фольклоре, так мог сказать только поэт, создающий свой неповторимо индивидуальный стиль. В молодости Тарас Шевченко писал «Ветер буйный, ветер буйный, с спним морем споришь» в чисто фольклорном духе, а впоследствии из-под его же пера все чаще будут появляться усложненные образы книжно тяжеловатых, но не менее вдохновенных строк:

Пророчъ лукавым о возмездье,
Что, злые, пропадут они,
Что их измена, и бесчестье,
И криводушие — огнем,
Кровавым пламенным мечом
Отмечены на душах тайно...

(Перевод М. Зенкевича)

Тараса Шевченко не без оснований называют революционером художественной формы, указывая на то, как смело отходил он от литературных канонов, хотя вряд ли он ставил своей целью сознательное разрушение установленных художественных форм. Словесные эксперименты были не для Шевченко. Врожденное чувство прекрасного, чувство гармонии подсказывает художнику те пути, по которым нужно было двигаться, чтобы, пробираясь сквозь чащи литературных условностей, нести людям свое свежее, свободное, поистине раскрепощенное слово.

У него появляется не ведомая ранее, оригинальная, шевченковская композиция поэм, до неузнаваемости изменяются известные ранее литературные жанры, с классическими ямбами и хореями поэт обращается совершенно свободно, его поэтическая метрика, разнообразие стихотворных размеров еще и сегодня приводят в восторг исследователей, причиняют немало хлопот переводчикам. Своей мелодикой, ритмической виртуозностью стихи Тараса Шевченко создают автору славу одного из самых музыкальных поэтов мира. В своей стихийной силе творца он, кажется, не хотел знать никаких законов, кроме

тех, которые диктовала ему его собственная художественная интуиция, сила замысла, огонь темперамента. Бурная поэтическая экспрессия, переполняющая «Кобзарь», помирилась ни с какими ограничениями, сносила на своем пути все преграды условностей, и все же было бы ошибочным видеть в этом лишь произвольное кипение эмоций, ничем не контролируемую художественную стихийность. Поэт всюду остается хозяином своего настроения, каждой своей строкой «Кобзарь» оттачивает, совершенствует художественный замысел.

Цельность достигается не однообразием средств и художественных приемов, а именно умением естественно, с исключительным артистизмом соединить вещи, казалось бы, удаленные одна от другой, достоверно сблизить их в ряду гармоничных ассоциаций, сомкнуть в единый образный строй грубый прозаизм выражения и приподнятость призыва или рассудительный тон философского размышления. Через выпуклую поэтическую деталь автор «Кобзаря» способен открыть глубинную сущность будничного; в точности, предметности его образов, в их художественной пластике угадывается воспитанник академии, человек взыскательных эстетических вкусов. И вместе с тем неоспорима близость Шевченко к музыке — в благозвучности, в ласковой папевности шевченковского слова и даже в чеканных ритмах его самых суровых стихов все время звенит музыкальность народной души; в переливах интонационных рисунков, к которым поэт то и дело прибегает даже в пределах одного произведения, перед нами впрямую проступает как бы самый психологический процесс творчества.

На разных регистрах — от грозových раскатов «Кавказа» с его печально-трагичным зачином до нежнейшего лирического пианиссимо «Хто се, хто се...» и «Лилей» — все подвластно поэту, ничто не нарушает закона гармонии, закона художественного соседства. Интонации, казалось бы, совершенно несовместимые, совершенно разные по своей окраске, часто соседствуют в «Кобзаре», возникают одна из другой, переливаются одна в другую.

И вы также прочитайте,
Чтоб неспящим снились
Все неправды, чтоб могилы-

Курганы раскрылись
Перед вашими глазами,
Чтоб вы расспросили
Мучеников: где, какого
И за что убили?

(Перевод В. Державина)

И сразу же эта суровая интонация переходит в доверительный призыв, мольбу:

Обнимите ж мепьших братьев,
Как братья родные,
Мать пусть ваша улыбнется
За века впервые!

(Перевод В. Державина)

Эмоциональная насыщенность шевченковских образов, широта его ассоциативного мышления, проникательное творческое использование фольклорных мотивов, образов народной символики, предметно-реалистическая мощь стихов Тараса Шевченко — все эти черты, эти «поэтические гены» оказались плодотворными и для новейшей поэзии XX столетия. Поэтика Шевченко оказалась куда более сложной, чем упрощенные представления о ней, с течением времени она находит все больше и больше точек соприкосновения с современным искусством и его художественными поисками.

«Кобзарь» не стал и, надеемся, никогда не станет книгой архаической. Это книга, без которой и сегодня духовная жизнь человека была бы неполной, — это книга из тех, которые адресованы каждому поколению живущих. Современный человек, если он носит в душе высокие идеалы, неизбежно войдет в духовный контакт с творением украинского гения.

Человеческая боль интернациональна, как интернационален и вечный порыв человека к счастью, к свободе, к свободному творчеству.

Врага не будет, супостата,
А будут сын и мать, и свято
Жить будут люди на земле...

(Перевод В. Бугаевского)

Поэт с такой верой в душе, поэт с такой энергией выражения — великий поэт. Дерево его поэзии выросло из национальной почвы, но ветвями своими оно простирается теперь на все континенты, ибо творчество поэта гу-

мапистично, интернационально, общечеловечно по своему глубинному содержанию.

Разные буржуазно-националистические толкователи силились в прошлом, тщатся кое-где и сейчас фальсифицировать творчество Шевченко, истолковать его на свой враждебный лад. Тщетные потуги! Напрасное запяtie! Ведь хорошо известно, как, скажем, относился Шевченко к эксплуататору-шляхтичу и как — к польским революционерам; теплоты его сердца хватало и на горемычных киргизов, и на дружбу с артистом-негром; известно также, что никогда поэт не отождествлял царизм с русским народом, с великой русской культурой, которая так много значила для него в жизни. Светоч украинской поэзии, провозвестник семьи вольной, новой, он был и остается в глазах поколений убежденным поборником дружбы народов.

В стране социализма достижения культуры, духовные сокровища каждого народа получают достойную оценку. Сегодня произведения Тараса Григорьевича Шевченко переведены на десятки языков братских народов Советского Союза, слово Кобзаря с его обновленной родины доносится до отдаленнейших уголков земного шара. Гениальное произведение нашей классической культуры, художественная гордость украинской социалистической нации, «Кобзарь» из года в год вырастает в своей мировой славе, чему способствует и возросший международный престиж Советской Украины.

Шевченковский форум в Киеве с новой силой подчеркнул, какое впечатление производит энергия «Кобзаря» на каждого, кто попадает в его силовое поле. «Проникаешься таким чувством, будто перед тобой вулкан, — свидетельствует один из иностранцев, — вулкан, из кратера которого сквозь массу раскаленной, пылающей лавы вылетают огромные нерасплавленные глыбы камней, скалы и горы гнева, несправедливости, отчаяния...» «Кобзарь» называют явлением феноменальным; творца книги, ставшей национальной святыней украинского народа, относят к числу величайших поэтов человечества.

Когда-то Тарасу Шевченко было строжайше запрещено писать и рисовать, поэзию «Кобзаря» пытались искусственно замалчивать. Все запреты и казematы оказались бессильными перед словом поэта, перед его всепроникающей правдой. Пример «Кобзаря» является примером бессмертной природы творческого и непокорного чело-

печеского духа, который из всех испытаний неминуемо выходит победителем.

Каждый, кто, открыв томик «Кобзаря», окунется в буйный мир его образов, проникнет в его раскаленные недра, почувствует, что книгу эту написал человек, который воистину выстрадал свои открытия, человек, который на крутых поворотах жизни поднялся к вершинам мудрости, на высокогорье человеческого духа. Поэтому с его творческих высот открывались разные времена и народы, в «Кобзаре» словно бы аккумулировались духовные сокровища поколений, в нем сквозь человеческую боль, сквозь личное то и дело проступает общее, интернациональное: библейская даль истории здесь мудро беседует с современностью. В этом смысле «Кобзарь» — книга неисчерпаемая, книга на века. Новые грядущие поколения будут находить в ней синтез народного и общечеловеческого опыта, как мы находим его в книгах древних, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Слово вечное, слово бессмертное своей правдой, неувядающей своей художественной красотой — это и есть «Кобзарь».

Август, 1968

Иван Петрович Котляревский принадлежит к числу тех долгожителей планеты, которые вместе с созданиями своего духа уверенно переступают рубежи столетий, далеко уходят за пределы им отведенного времени. Два века живет на свете бессмертный автор «Энеиды» и «Наталки-Полтавки», поэт, веселый мудрец, в личности которого как бы воплотился оптимизм народа, его здоровый, неунывающий дух, патриотическое чувство, одаренность, нравственная чистота.

Радостно видеть, как широко отмечает страпа 200-летие со дня рождения зачинателя новой украинской литературы. По решению партии и правительства был создан Всесоюзный юбилейный комитет. Первого украинского классика чествуют сегодня все братские народы нашей многонациональной социалистической родины, дату рождения Котляревского — по решению ЮНЕСКО — отмечают во всем мире.

Что же привлекает в Котляревском его потомков? Для нас он неотделим от своего народа и от той почвы, которая питала его творчество. Написал «Энеиду», конечно, Котляревский, авторское право принадлежит ему, это голос его личности, и все же вместе с ним и «Наталку-Полтавку» и «Энеиду» создавал еще один автор, имя которому — украинский народ, его жизнелюбивый и мужественный характер, его поэтичная и мягкая душа. И это нисколько не умаляет индивидуальности писателя, органическая слитность его характера с нравственной сущностью народа скорее возвышает славного полтавца

¹ В основу статьи положен доклад на торжественном вечере в Москве в Большом театре.

в наших глазах. То, что мы называем пародностью, было в высшей степени присуще Котляревскому, и, видимо, именно здесь секрет долголетия его произведений, тайна их удивительной жизнеспособности.

Передовая русская общественность доброжелательно встретила самобытное слово Котляревского, и это о многом говорит. Он стоит у истоков дружбы наших братских культур и этим особенно нам дорог.

Многое роднит Котляревского с его великим земляком, который относился к автору «Энеиды» с глубоким почтением, — имеем в виду Николая Васильевича Гоголя. Роднило их не только происхождение, обстоятельства личной жизни и тот врожденный юмор, в котором просвечивает неповторимый национальный характер, — еще больше их роднит сыновья любовь к народу, его поэзии, его героической истории, обостренное чувство патриотической гордости. Тот, кто создал образ отважного казака Энея, и тот, кто воспел Тараса Бульбу, происходят от единого корня, оба они в толковании понятий долга и чести всегда находят общий язык. И если жизнь их предков посвящена была походам, боевому товариществу, сабле, то они, рыцари искусства, с такой же рыцарской верностью посвятили себя оружию еще более острому — перу, самозабвенно отдали себя творчеству, которое полностью вобрало в себя личную жизнь одного и другого. Конечно, каждый из них неповторим, развивались они — Котляревский и Гоголь — каждый своим путем, и все же нельзя не заметить, что в образах «Энеиды» и, скажем, «Вечеров на хуторе» есть общий источник, навеяны они общими преданиями, есть нечто созвучное в перекликающихся мотивах, интонациях, в яркости красок, в свободной размашистости письма... Когда по воле одного храбрые души сподвижников Тараса Бульбы после боя возносятся на небо, где-то на полпути они встречают богов Олимпа в казацких одеждах, которых веселый автор «Энеиды» в это время как раз низвергает с неба на землю для участия в земных житейских делах. Несомненно, опыт Котляревского, его смелая интерпретация античной литературы произвели впечатление на молодого Гоголя, в записной книжке которого находим более двадцати выписок из «Энеиды», некоторые из них он потом использует в качестве эпиграфов к отдельным главам «Сорочинской ярмарки». Но главное даже не в этом. Отношение к родине, к народу, его обычаям, воспевание здоровых нравств-

пленных устоев народной жизни — вот что больше всего роднит Котляревского с его великим собратом, придает образам «Энеиды» и ранних повестей Гоголя явственно ощутимую внутреннюю созвучность.

Патриот, человек долга, Котляревский в молодости не раз оказывался в самой пучине страстей своего века. Мы видим его участником штурма турецких крепостей, видим потом шагающим по улицам Дрездена, после того как он с энтузиазмом формировал из числа своих земляков казачий полк для борьбы с наполеоновским нашествием; Котляревский равный в кругу просвещенных, демократически настроенных людей своего времени, и этот образ молодого храброго офицера, весельчака, пасмешника, человека передовых взглядов, близкого по духу декабристам, их республиканским идеалам, нам следует запомнить, чтобы в патриархальной тишине его полтавских предзакатных лет не затерялся реальный облик автора «Энеиды» и «Наталки-Полтавки».

Родился он в городе певучем и мужественном, в маленьком полтавском домике на горе против собора — в старинной украинской хате, из окон которой было видно далеко. Во всю ширь за Ворсклой открывались живописные, уходящие за горизонт просторы родной Украины, оттуда под самые окна подступало море народной жизни, с ее горестями и радостями, с колдовскими южными вечерами, полными поэзии, трогавшей душу то задумчивой песней, то лукавой шуткой, то щемящей слезой... Человек острого наблюдательного ума, Котляревский живо интересовался окружающим. Будучи после семинарии, которая дала ему хорошее знание классических языков, учителем в помещичьих домах, он, по свидетельству его биографа, бывал «на сходьбищах и играх народных», прилежно вслушивался в народный говор, записывал песни, изучал язык, нравы, обычаи и обряды, предания украинцев, как бы подготавливая себя к предстоящему труду.

Был на исходе XVIII век — период один из самых тяжелых в истории украинского народа. Вводилось крепостничество. Людям, вчера еще вольным и независимым, надлежало стать рабами, прикованными к помещичьей земле. Украинское панство, казацкая верхушка, изменяя своему народу, с жадностью бросились в царскую столицу «на ловлю счастья и чинов», соревнуясь с придворными

в ловкости и угодливости перед царицей, этим «Тартюфом в юбке», по выражению Пушкина, стремясь как можно больше урвать жизненных благ, дворянских привилегий, дарованных сел с тысячами закрепощенных землячков.

Мужича правда есть колюча,
А панська на всі боки гнуча...

Не из тогдашних ли наблюдений Котляревского как раз и родился этот его горький афоризм?

Вместе с крепостничеством наступало невежество. Исчезали народные школы, которые перед тем были почти в каждом селе, содержались на средства самого населения. Об ужасающем упадке народного образования на Украине в этот период расскажет, столетие спустя, с трибуны Государственной думы Г. И. Петровский, по поручению Ленина обличая в своей знаменитой речи колониальную политику царизма. В 1804 году издан был указ о запрещении учиться на украинском языке. Еще раньше, в 1769 году, то есть в год рождения Котляревского, святейший синод отказал Киево-Печерской лавро в просьбе дать разрешение напечатать украинский букварь. Ночь была глубокой, лишь зарницы народных волнений — пугачевских и гайдамацких — рассекали ее тут и там, да еще острый луч благородной мысли Радичева прорезал этот екатерининский самодержавный мрак.

Вся огненная правда об этом времени будет сказана позже, и скажет ее Шевченко. Поднявшийся из самых недр крепостнического раскаленного ада, он, великий Тарас, с прометеевской силой обличения бросит в глаза царям, панству слово гнева, слово проклятия и презрения, он расскажет о глубочайших социальных конфликтах, потрясавших империю, о страданиях человека, лишенного человеческих прав, скажет и о коварной расправе над «казацкой республикой», как называл Маркс Запорожскую Сечь, с разгромом которой ушли в прошлое последние казацкие вольности.

То, о чем Шевченко скажет в полный голос, со всей беспощадностью поэта-революционера, Котляревский лишь затрагивает при случае, хотя, судя по картинам ада в «Энеиде», не приходится сомневаться, на чьей стороне были симпатии писателя, человека гуманных демократи-

ческих убеждений. Насаждение крепостничества, разгул бюрократии, ее самодурство, продажность — все это было ему отвратительно, и недаром Эней, путешествуя в аду, среди первых грешников видит притеснителей народа:

Панів за те там мордували
І жарили зо всіх боків,
Що людям льготи не давали
І ставили їх за скотів.

Родившись в Полтаве, этом полковом казацком городе, где еще чувствовался вольнолюбивый дух казачества, Котляревский, бесспорно, и в детстве был много слышан о том, что происходило внизу, на Запорожье. Он был мальчиком, когда подверглась разрушению Запорожская Сечь, и ее свежие руины, рапавшие тогда многих, вряд ли могли не волновать его юное воображение. Может, именно из этих ассоциаций и рождался замысел — обессмертить повергнутую запорожскую Трою, под именем античных героев воспеть этих неизничтожимых троянцев с Днестра, чья удаля в столь своеобразном преломлении заиграет в поэме щедрыми красками жизни. Гонимые новой непривычной судьбой, многие запорожцы в это время еще блуждали по свету, Котляревский даже встретился с ними в задунайском походе, и кто знает, может, этот мотив блужданий как раз и ассоциировался для поэта со странствиями троянцев после падения Трои. Все это можно представить, зная, что для Котляревского, человека чуткого, впечатлительного, героическое прошлое его народа не было пустотой.

В античные условия, в древние мифы увел он своих запорожцев, но они от этого не перестали быть запорожцами. В обитателях Олимпа мы без труда узнаем украинских крестьян, казаков, старшин, под именем олимпийских богинь предстают перед нами типичные украинские молодницы. Как не узнать в Юноне, например, — по ее ухваткам, по голосу, по речи — задорную полтавскую казачку?

Поэма Котляревского при всей ее непринужденной легкости не была любительской забавой, это был сознательный труд писателя-гуманиста, неравнодушного к судьбам родной культуры. Уже само обращение к живой народной речи — в тех конкретно-исторических условиях — было актом гражданского мужества, явлением исключительно прогрессивным. За шутливо-озорным тоном

поэмы современники верно угадывали ее серьезное назначение. Именно так была прочитана она декабристами, журнал которых «Соревнователь просвещения и благотворения» назвал ее произведением, «преисполненным остроты и оригинальности». В этой искрящейся солнцем, кипящей земными страстями вольнолюбивой поэме, в которой, кстати сказать, от Вергилия, кроме фабулы, ничего не осталось, была не только полемика с сухостью классицизма, с аскетическими литературными самоограничениями, еще больше здесь было от самой жизни, которой насыщена вся ткань поэмы, весь юмор ее, порой переходивший в гневные взрывы разящей социальной сатиры. Это была победа художественного реализма в литературе, в которой поэт впервые узаконил и живую сочную народную речь, и полнокровный народный образ.

В 1821 году, по рекомендации Гнедича, известного переводчика «Илиады», Котляревский был избран почетным членом «Вольного общества любителей российской словесности». Этим избранием передовая русская интеллигенция признавала высокое значение литературного труда, свершенного Котляревским.

У Котляревского были предшественники. Был Иван Вышенский, страстный украинский полемист-сатирик, был знаменитый философ Григорий Сковорода со своими мудрыми песнями-каптами, к числу предшественников автора «Энеиды» можно отнести и тех безымянных дяков-бакаляров, «мандрильных» бурсаков, беспокойных интеллектуалов того времени, создавших целую сатирическую литературу, ходившую в списках, остроумные пародии на библейские сюжеты, вертепную драму — духовный процесс в предшествующие века отличался бурной активностью.

Котляревский, однако, начал писать с красной строки: его поэма — это явление уже новой литературы, это разлив живой народной речи, освободившейся от церковной книжности, от сковывающих правил латинских поэтик, это новый силлабо-тонический стих, так прекрасно выявивший возможности украинского языка, его певучесть и музыкальность. И если в языке Котляревского встречаются порой элементы старокнижности, то используются они скорее в качестве художественного приема, воспринимаются, как стилистическая архаика, окрашенная юмористически, толкуемая в чисто народном духе (вспомним канцелярский язык Возного в «Наталке-Полтавке»).

«Энеида» — творение поистине удивительное: сплав реализма с фантастикой, подробнейшее бытописание наряду с вольным полетом воображения, начало фольклорное и книжное, — все это, переплетаясь, органически слившись, дало новое поэтическое качество. Перед нами не просто шуточный перепев античного сюжета, а нечто более сложное, оригинальное и причудливое, своей художественной необычностью заставляющее вспомнить и Рабле и Свифта.

Так бурлескно-травестийная поэма стала поэмой народной, высокохудожественным классическим произведением, случай, как замечает известный шведский ученый Енсен, возможно, единственный в мировой литературе, ибо «Энеида» Котляревского поистине превзошла все произведения этого типа в европейских литературах. Она светит не отраженным, а своим собственным светом.

Поэма Котляревского широко известна не только на Украине. Трижды переводилась она на русский язык, и русский читатель знает ее в переводах И. Бражнина (1955), К. Худенского (1957, 1961) и Веры Потаповой (1961). В 1955 году «Энеида» вышла на чешском языке в переводе М. Марчановой, Яна Туречека-Изерского и Здепки Ганусовой. Совсем недавно поэма Котляревского прозвучала для белорусских читателей на их родном языке в переводе замечательного поэта Аркадия Кулешова.

Все любящие Котляревского гордятся тем, что его «Энеида» на украинском языке была в личной библиотеке В. И. Лепина.

«Энеиду» любил Горький. Известен факт, что эта жизнелюбивая поэма поддерживала дух молодогвардейцев. Вспомнил о пей в заснеженной Уфе и Максим Рыльский, написавший в самые трудные годы войны:

У «Енеїди» владний сміх,
Полтави тихої коропа...

Значение не меньшее, а в чем-то, может, даже и большее, чем выход «Энеиды», имело для нашей культуры еще одно произведение Котляревского, его знаменитая «Наталка-Полтавка» — эта праматерь украинского театра.

«Наталка-Полтавка» и «Москаль-чаривный» — эти пьесы были написаны Котляревским для Полтавского театра, которым он руководил с 1817 по 1821 год. Это был

один из лучших театров того времени, его репертуар сам за себя говорит: пьесы Фонвизина, Капниста, комедии Мольера, Шеридана, опера «Севильский цирюльник» — вот что ставили тогда в Полтаве. Одним из актеров этого театра был Щепкин. Дружба Котляревского и Щепкина — замечательная страница в истории нашей культуры. Именно на пьесах Котляревского оттачивалось реалистическое мастерство будущего великого реформатора русской сцены.

В «Наталке-Полтавке», этом эмоционально насыщенном, на редкость гармоничном произведении, особенно чувствуется личность автора, его натура, совестливая и поэтическая, ум тонкий и возвышенный, как тогда говорилось. Разве мог человек такой души, такой впечатлительности спокойно взирать на бесправие людей труда, видеть народ родной Украины перед лицом произвола почти беззащитным, к тому же народ трудолюбивый, одаренный, заслуживающий куда лучшей судьбы! В образах Наталки и ее матери, в характерах Петра и Миколы, в их честности, их дружбе-побратимстве запечатлены лучшие черты людей труда.

«Наталка-Полтавка», эта любимейшая пьеса украинского народа, выросла на почве народного творчества, многое вобрала из украинского фольклора. Котляревский обладал даром как бы обновлять и усиливать уже созданное до него. Щедро черпая из сокровищницы духовных ценностей своего народа, он умело использует в пьесе и меткость народной пословицы, и сатирическую песню Сковороды, и народные романсы, песенную лирику, созданную безымянными авторами, неизвестными влюбленными девушками, воспевавшими свое чувство. Впрочем, имя одной из них теперь известно — это Маруся Чурай, украинская Сафо, дочь полтавского сотника времен Хмельницкого. Личность полугендарная, но именно ей, Марусе Чурай, пошедшей на смерть из-за своей трагической любви, народная традиция приписывает авторство песен «Виють витры», «Чого ж вода каламутна», «Ой не ходы, Грицю» и казацкий марш «Засвіт встали козаченьки»... Жемчужины, выхваченные из этой народной песенной стихии, в восприятии многих неотделимы от «Наталки-Полтавки».

В пьесе Котляревского впервые на сцену вышли, вместо лубочных поселян, живые народные типы, между честными тружениками появляется уже и образ первого

крючкотвора-бюрократа, каковым является Возный, в персонажах пьесы, в каждом их жесте, слове, диалоге отражена реальная жизнь. Блещущий умом юмор автора, его лирическая теплота, искренность, естественность интонаций придали драматургии Котляревского такую жизненность, которая не иссохла, не угасла до сих пор.

Вот уже 150 лет не сходит со сцены эта бессмертная «Наталка», поныне она чарует нас своей первоизданной свежестью, красотой чувства. Миллионы людей, встречаясь с образами Котляревского, получают эстетическое наслаждение. Давшая начало нашему национальному театру, ставшая его утренней зарей, «Наталка-Полтавка» явилась отличной школой для великих мастеров сцены; в ролях пьес Котляревского выступали такие блестящие мастера, как Мария Заньковецкая, Саксаганский, Кропивницкий, а в наше время Оксана Петрусенко, Иван Козловский, не говоря уже о множестве тех, которые то в роли Наталки, то в роли Петра выступают на клубных сценах, в самодеятельных коллективах, — ведь на Украине каждое поколение проходит через эту пьесу как через своеобразную эмоциональную школу, черпая из нее науку чувства, находя здесь эталоны нравственности, душевного благородства.

Котляревский всегда будет дорог Украине. Ведь именно в те годы, когда, по выражению академика А. И. Белецкого, царизм поставил вопрос: быть или не быть украинской культуре, украинскому слову, Котляревский своим творчеством ответил: быть! Огромная заслуга Котляревского заключается в том, что он своим творчеством указал самый плодотворный путь развития украинской литературы как литературы демократической, кровно связанной с жизнью народа, его думами и чаяниями. Историческое значение, действительность этого благородного примера трудно переоценить.

Некоторым из современников Котляревского — к тому же благожелательным к нашей культуре — его «Энеида» показалась *итогом*, «памятником языка, принадлежащего народу некогда славному», языка, который — так представлялось тогда, — вероятно, «будет жить в одном этом памятнике».

Оказалось же, что не итог, а только начало! Не заключительный аккорд, а лишь пролог, предвещавший могучее развитие культуры народа в будущем, — вот чем оказались «Энеида», и «Наталка-Полтавка», и «Москаль-чарив-

ных», творения веселого и жизнестойкого гения! Никогда, видимо, нельзя спешить с мрачными предсказаниями, коль дело касается творческого потенциала народа, созидательных сил его. Они, согласно своим внутренним закономерностям, только накапливались, зрели, чтобы в таком весеннем половодье разлиться, как это увидела история позже, особенно в дни ленинской революционной весны народов, когда культуры наций больших и малых явились миру в своей обновленной и возрожденной силе.

Нравственным подвигом можно назвать то, что свершил Котляревский во имя своего народа, во имя человеческой культуры. В атмосфере неслыханного гнета у него хватило силы духа с позиций убежденного гуманиста встать на защиту человека, увидеть высокие достоинства трудового народа, ощутить красоту народной речи. Благодаря Котляревскому народный язык впервые становится языком литературы. Слово, от которого порой спешили отказаться, прозвучало из уст Котляревского и сильно и достойно. В «Энеиде» и «Наталке-Полтавке» отчетливо можно было увидеть, как начинает формироваться украинский литературный язык, как из множества струящихся родников рождается богатейшая поэтическая речь Украины, будущий могучий Днепр ее певучей и сверкающей мовы! У Котляревского современный наш литературный язык уже явственно проступает в своих основных чертах и свойствах, хотя потом еще много предстоит сделать Тарасу Шевченко, Ивану Франко, Лесе Украинке, Михаилу Коцюбинскому, а после революции — Павлу Тычине, Максиму Рыльскому, Остапу Вишню, Юрию Яновскому и другим писателям Украины.

В 1838 году, в год, когда Полтава прощалась с Котляревским, Шевченко в стихах, посвященных его памяти, назвал Котляревского «батьком», то есть отцом:

Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!

В этом слове Кобзаря определено значение Котляревского для украинской культуры.

Один из самых любимых писателей нашего народа, он с нами сегодня своим творчеством. Близким становится Котляревский всей многонациональной семье народов нашей социалистической отчизны, все больше друзей нахо-

дит он и в других странах. Из нашего космического века вглядываемся мы в этот удаленный от нас образ бессмертного полтавца, и не перестает удивлять нас жизненность его творений, их неувядаемая утренняя свежесть. Сквозь века слышим мы смех Котляревского, и его грусть, и его мудрый задушевный совет.

Наша страна — цитадель гуманизма, культуры, советские люди умеют ценить тех, кто в прошлом, — порой в тяжчайших условиях, — отдавал силы ума и порывы сердца справедливому делу народа, делу человеческого прогресса.

В ряду таких — достойный сын Украины Иван Котляревский.

1969

Каждым словом, каждым лучом своей мысли живет в душе нашего народа человек, имя которому — Лесья Украинка. Не из такого уж далекого прошлого, но словно сквозь дымку легендарности видится нам образ поэтессы, образ нежный и чистый. Чаще — в задумчивости или в печали, но веселым — почти никогда. Старый фонограф донес нам даже голос ее, случайно сохранившийся в пробной записи. Голос еле слышный, далекий, глубоко волнующий: ведь это говорит Лесья...

Родилась она сто лет назад в семье Косачей, чтобы стать для мира Лесей Украинкой. Своей исключительностью и своей обычностью — всем она дорога для нас. Ясно, прежде всего, что была она просто человеком и, ведя «тридцатилетнюю войну» с приступами болезни, не имела какой-то дополнительной защиты против боли и физических страданий, можно понять, как хотелось ей обыкновенного человеческого счастья, когда она, прикованная к постели мучительным недугом, радовалась даже лепестку яблони, занесенному в окно дуновением весеннего ветерка.

Откуда же все-таки тот дух необоримый, который в самых суровых испытаниях судьбы не дал победить себя? Откуда та сила, которая подняла эту хрупкую девушку над своим временем, над своей мрачной эпохой?

Обращаясь к образу Леси Украинки, к этому феномену человеческой стойкости, видим, какой силой может стать для человека высота его помыслов, значительность

¹ В основу статьи положен доклад на торжественном вечере в Киеве, посвященном 100-летию со дня рождения Леси Украинки.

жизненного идеала, безграничная любовь к своему народу, к человеку и человечеству.

В стихах Леси нередко звенит металл. Однако было бы упрощением представлять себе поэтессу, словно выкованную из стали, видеть в ней личность, не ведавшую колебаний, сомнений, душевного смятения или горестного отчаяния, — сама поэзия Леси Украинки говорит, сколько глубоких драм терзало ее тонкую и ранимую душу, сколь беспощадной была к ней жизнь, где «счастье и горе так мучительно переплелись...». Однако — при всей утонченности и ранимости натуры — усилием воли, мысли и доброты поэтесса поднялась над личным своим горем, смогла услышать других и, проникнувшись тяжким положением своего народа, достигла такого внутреннего с ним согласия, что даже интимная боль, сокровенные переживания поэтессы становились общественно значимым явлением. Горечь ее, и жалость, и сарказм, сама интонация кованной Лесиной строки приобрели народное звучание.

Как личную трагедию переживала поэтесса порабощение своего народа, несправие его культуры. Душа поэтессы, ласковая от природы, закипала гневом, сталкиваясь с произволом, колониальным притеснением, поэтесса задыхалась в атмосфере царского деспотизма, в среде, отвратительной бациллами рабства.

Прометей — любимый герой Леси Украинки. На протяжении всей творческой жизни воспекает она человека-борца, победителя, человека непокоренного, который во имя высокой цели способен жертвовать собой. Для Леси и сам поэт представляется прежде всего в образе бесстрашного, кровно связанного с народом подвижника, человека долга, рыцаря свободы и справедливости.

Поэтессе присущи были именно такие качества. Говорят, была она скромна, застенчива, не очень и выделялась среди людской толпы, но какую непримиримость проявляла, когда речь шла о судьбе, чести и престиже народа, его культуры, о святом и заветном!

«Со времени Шевченковского «Поховайте та вставайте...» Украина не слышала такого сильного, горячего и поэтического слова, чем из уст этой слабой здоровьем девушки». Эти слова Ивана Франко исчерпывающе определяют место Леси Украинки в нашей истории, особенно если к ним добавить, что между Кобзарем и Лесей могучим мостом единения поднялся титанический труд самого Франко, дух вечного революционера.

Все, кому дорога была наша литература, с восторгом следили, как восходит поэтическая заря Леси Украинки. Для некоторых появление юной поэтессы было почти загадочным: она не училась ни в каких гимназиях — и вдруг такая высокая образованность, эрудиция; постоянная борьба с коварным недугом — и в то же время этот мощный, борющийся, на тяжких огнях закаленный дух; чувство целомудренное, открытое, доверчивое и вместо с тем эмоциональная раскованность, испепеляющая сила страсти, которая превращала юную поэтессу в сестру бескомпромиссных античных героинь. А превыше всего и словно вопреки телесной немощи, словно вызов судьбе такое редкостное здоровье души, которое бурлит в ее поэзии, внутреннее мужество, которое позволило тому же Франко сразу выделить молодую поэтессу из толпы литературных вытиков, назвав эту больную девушку едва ли не единственным мужчиной на всю тогдашнюю соборную Украину.

Леся была щедро одарена от природы. Кроме исключительных поэтических способностей и всеми признанного в ней таланта к языкам, она чувствовала себя свободно и в стихии музыки (даже одно время колесилась, не посвятить ли ей себя целиком), и это же она, Леся, еще будучи совсем юной, написала первый на Украине учебник по истории древних народов; на протяжении многих лет с любовью собирала украинские народные песни, обнаружив вкус и старательность этнографа... Но, пожалуй, ярче всего одаренность Леси раскрывается в ее буйной фантазии, неудержимом полете воображения, дававшем возможность поэтессе охватывать взором самые далекие вершины мировой истории, входить в души людей, которые жили тысячи лет назад, проникаться их страстями, будто своими собственными. Фантазия, эта сестра поэзии, уже с детских лет увлекала Лесю в таинственный мир народных легенд и сказок, в волшебные чащи волинских лесов, в почную тишину озер, окутанных лунным сиянием, где богатое воображение видело русалок и колдунов, мавок и потерчат, весь тот причудливый Олимп народной мифологии, который позже с такой красотой отобразит поэтесса в своей «Лесной песне».

На Волини и сейчас вам покажут урочище Нечимное, которое будто бы стало местом действия «Лесной песни», покажут и поляну, где стояла хата пасечника дядька Лева, — у его родственников одно время останавливалась по-

этесса. В этом урочище под открытым небом львовские студенты недавно показали «Лесную песню» для земляков Леси Украинки. Заботливо берегут волыняне знаменитый Белый домик в Колодяжном, где Леся трудилась, и кадуб-криницу, из которой пила она родниковую воду... В детстве одаренная девочка играла со сверстниками среди руин Луцкого замка, где ее юное воображение волювали образы «рыцарского века», образы людей чести и мужества, которых она не устанет воспевать на протяжении всей своей жизни.

Леся пазывала Волинь прекрасной колыбелью своих страданий. И в самом деле чудесен этот край с его лесами, зелеными топелями дорог, плантациями вьющегося хмеля (тут его культивируют издавна), с синевой чистых лесных озер, светящихся ночью мягким серебристым светом. В этом краю, где ясные воды озера Свитязь привольно раскинулись среди диких лесов, где жизнь требовала от человека огромной выдержки и мужества, молодая Леся боролась с тяжким недугом. Здесь слышала она песни, героические предания и стоны подневольного народа.

У эллинов, великих поэтов античности, прекрасные создания рождались из моря, из пены морской. О нашей же поэтессе можно сказать, что она вместе со своей поэзией рождена была морем народной жизни. В ее произведениях, полных неисчерпаемой энергии, клокочет нарастающий гнев народный, бьется мятежная мысль, извечное стремление человека к свободе.

Росла и воспитывалась Леся в среде демократически построенной украинской интеллигенции, родословную свою вела от людей достойных, внутренне так никогда и не принявших рабства: дедушка Леси был декабристом, тетки — связаны с народовольцами, дядя ее Михайло Драгоманов, любимый наставник Леси, вынужден был жить в эмиграции, продолжая дело, начатое когда-то Герценом. Иван Франко, композитор Лысенко, драматург Старицкий были в числе тех, с кем дружила семья Косачей. Добрым словом надлежит вспомнить сегодня заботливого отца Леси — Петра Аптоновича Косача, и мать поэтессы — известную писательницу Олену Пчилку, гражданский темперамент и волевой характер которой передались и ее гениальной дочке. Без преувеличения можно сказать, что одновременно с близкими людьми будущую поэтессу формировала, воспитывала и готовила к творческому подвигу вся тогдашняя передовая Украина.

Волинские и полтавские впечатления, киевские обыски, эхо краснопресненских баррикад — все это звало Лесю к тому труду, которому она посвятила себя до конца.

Десять томов произведений оставила она своему народу, десять томов, вобравших в себя ее интенсивную, горящую, необыкновенно богатую духовную жизнь.

Где бы ни была поэтесса: в Болгарии, Египте, под небом Италии или в приветливой Грузии, ставшей для нее родной, из каких бы времен ни черпала она темы, сюжеты, мотивы своих произведений — все в них каждым душевным порывом, каждым взлетом мысли было связано с Украиной, с народом, дочерью которого она являлась и которому хотела быть максимально полезной в его духовном развитии, в борьбе за социальные и национальные права. Причастность к судьбе трудового человека, раздумье о будущем своего народа — именно это являлось для Леси Украинки стимулом поисков новых путей, которые привели ее к рабочему классу, к социал-демократам, к «Манифесту Коммунистической партии». Любовь патриотки наделила ее даром ясновидицы, она была среди тех, кто предчувствовал неминуемую социальную бурю, неизбежность грядущей революции. Поэзия Леси Украинки всегда обращена в будущее, туда, где за булыжниками угрюмой казарменной действительности взгляду поэтессы открывались новые времена, солнечные ландшафты жизни.

А пока зажигала она «предраассветные огни» своей поэзии среди мрака самодержавной ночи. Хорошо знала она эту полярную ночь сатрапов и полицмейстеров, допосчиков и словоблудов, где каждая живая мысль была закована в кандалы казенности, где тюрьмы были переполнены, и само слово поэтессы, язык ее народа подвергались постоянному гонению и преследованиям. Какую же нужно было иметь силу и отвагу духа, чтобы и среди той, казалось бы, вечной общественной заledenелости взывать к живым, воодушевлять их и поднимать своей поэзией на борьбу. Говоря о положении своего поколения, поэтесса с горечью признавала:

Хоть крылья гордые за нашими плечами,
Но мы к земле прижаты, как рабы.

Однако и для тех, кто сомневался, находила она слово поддержки, товарищам, оказавшимся в беде, приносила сестринское утешение. Заветные мысли, наверное, полнее

всего поэтесса раскрывала в таких произведениях, как «Прочь, осенние думы седые!», «Мечта, не предай», или в цикле «Невольничьих песен». 1905 год, весенний шквал революции вызвал страстный порыв поэтессы: «Я хочу пламенеть, я хочу жпть твоею весною...»

Цензурные притеснения были одной из причин, которые побуждали Лесю Украинку обращаться к внешне далеким от повседневной действительности мировым сюжетам. Художественное мышление поэтессы-интернационастки охватывало разные времена, жизнь разных эпох и народов. Но вдумчивый читатель узнавал в одеяниях старины окружающую действительность, он понимал язык аллегорий поэтессы, те «пылающие знаки», которыми она клеймила непамятный угнетательский Вавилон. Моументальные обобщенные образы мировой литературы привлекали поэтессу еще и тем, что давали емкий, высоких копцентраций материал для философских размышлений о коренных вопросах человеческой жизни, о тех, так называемых «вечных проблемах», что постоянно волновали и волнуют художников. Вглядываясь в египетские или вавилонские времена, создавая характер аптичной девушки или раба-неофита, вводя в украинскую литературу таких героипь, как Мириам или Кассандра, Леся Украинка всюду оставалась певцом человека, страстной гуманисткой, для которой превыше всего была самоценность человеческой личности. Не признавая пикаких форм порабощения, она исследовала место простого человека в мировой истории, в борьбе за прогресс. Художнические симпатии Леся отдавала тем, чей дух не покорялся серым будням, пела хвалу натурам цельным, стойким, тем, кто, порываясь к светлому завтра, мог бы сказать о себе устами одного из персонажей «В катакомбах»:

Не я один томлюсь духовной жаждой,
Не я один изголодался сердцем...

«Одержимая», «Вавилонский плен», «На руинах», «Кассандра»... Нет, не легла печать забвения на эти гениальные создания, горячим дыханием опаляют они и нас, людей космической эры.

Из года в год, в условиях, которые никак не пазовешь благоприятными, продолжалось поэтическое восхождение Леси Украинки к мировым вершинам искусства. От первых простеньких мелодий ее поэзия поднимается до тех вершинных художественных симфоний, какими можно

назвать ее психологически-философские поэмы и гениальные драматические произведения, которые были сплошь новаторскими для украинской литературы и в смысловом и в тематично-жанровом плане. «Лесная песня», «Каменный властелин», «В пуще», «В катакомбах», «Оргия»... А еще и чарующей красоты лирика. Художественная проза. Блестящие статьи о литературе, которые поэтесса печатала в петербургском журнале «Жизнь», том самом, где выступали со статьями Ленин и Горький. А еще и богатейшее эпистолярное наследство, к которому сейчас только прикасаются исследователи. И ко всему многочисленным художественным переводам с русского, польского, английского, немецкого, французского и других языков — в этом самоотверженном труде тоже предстает перед нами пламенная патриотка, убежденная интернационалистка, поборница единения народов.

С творчеством Леси Украинки в нашу литературу входили целые миры, неизвестные или малоизвестные раньше, открывались новые тематические горизонты, однако ценными для нас являются не только ее смелые вторжения в разные эпохи, к разным народам, важнее для нас то, что, даже используя известные «бродячие» сюжеты, мифы и отстоявшиеся в веках огромной обобщающей силы характеры, она толковала их каждый раз по-своему, наделяла их новыми качествами, оригинальной философской трактовкой, придавала им поэтическую свежесть.

Мало кто выходил на такие океанические просторы, достигал таких масштабов художественного синтеза. У нас часто вспоминают Шекспира, тревожат его тень каждый раз, когда хотят подчеркнуть павысшую ступень достижений художника. Но если где и оправданы эти ассоциации, если где и уместно говорить о силе шекспировских страстей, о глубине и объемности характеров, о смелом философском искании тех «вечных», изначальных истин человеческого бытия, то об этом уместно будет говорить именно тогда, когда думаем о Лесе Украинке, когда входим в мир ее героев, монументальных художественных творений. Ее поэтике свойственна ясность форм, природность интонаций, афористичность выражений. Слово Леси Украинки никогда не позирует, ему противопоказана вычурность, в художественном языке поэтессы нет места для риторики, — искренностью чувства, глубиной мысли пленяют читателя ее произведения.

Наряду с Тарасом Шевченко, Иваном Франко, Папасом Мирным, Михайлом Коцюбинским и другими классиками Лесья Украинка последовательно развивала украинский литературный язык, совершенствовала художественную стилистику. Поэзия Леси вобрала в себя красочное разнообразие народных диалектов, говоров: Волянь и Надднепрянская Украина, Карпаты и Галичина были для нее источником того богатейшего словесного материала, который путем художественного отбора, благодаря безупречному лингвистическому чутью поэтессы становился потом общенациональным достоянием. Нет, не удовлетворил бы ее серый набор штампов, сотня-другая уродливых канцеляризов, бескровного литературного «язычия», которым пользуется кое-кто и в наши дни. Лесья сознавала свою писательскую ответственность, поэтому постоянно заботилась о стилевом, лексическом и синонимическом обогащении родного языка, и в этом тоже ее заслуга перед нашей культурой.

Самоотверженные, мужественные, одержимые, такие, как Франко, Грабовский, Лесья, поддерживали духовную жизнь нации. Под свирепым огнем царских указов, ограничений, запретов находились героические плацдармы украинской передовой культуры, на одном из которых, рядом со своими соратниками, с юных лет и до последнего вздоха стояла наша прекрасная Лесья Украинка, стояла с воинственным щитом в руке, словно легендарная девушка-витязь, закованная в кольчуги своего бесстрашия, достоинства и правоты.

Слово — оружие, готовое к бою,
Мы не погибнем напрасно с тобою!

Провозвестница революции, она хотела завершить свой жизненный путь так, как и начинала: с песней на устах!

Рано оборвалась ее песня. Печально короткое расстояние пролегло от первого рассвета, что поднялся для Леси среди живописной природы украинского Полесья, и до того последнего смертного заката, что догорал для нее в далеком горном Сураме. Сорокадвухлетней ушла она из жизни, ушла несломленной духом, и образ ее живет и будет жить для нас — исполненный достоинства, прекрасный своей человечностью и великим творческим горением.

Эпоха, в которую довелось жить Лесе Украинке, не слишком щедра была к своим лучшим поэтам, не спешила увенчивать их лаврами. Будущая крылатая слава поэтессы тогда еще только трепетно билась у ее ног, и голос ее поэзии, иногда, казалось, падает вблизи, угасает будто в тумане.

Нужно было время, чтобы во всей истинности открылся потомкам огромный подвижнический труд Леси Украинки. Нужен был Октябрь, баррикады революции, Сиваши и Перекопы, чтобы в корне изменились исторические судьбы целых народов, чтобы уже не раздираемая на части, а единая, воссоединенная под ленинским знаменем братства новая, социалистическая Украина всенародно, с чувством национальной гордости чествовала свою любимую дочь, свою гениальную Лесю.

Творчество поэтессы давно уже вышло из украинских берегов. Ее лирика, поэмы, пьесы, будучи переведены на десятки языков народов Советского Союза, поистине приобретают второе цветение, слово Леси Украинки идет к нашим друзьям в социалистические страны и на все континенты. Юбилей поэтессы вместе с нами сегодня, по постановлению ЮНЕСКО, отмечает весь культурный мир. Даже и там, где обжигающий ветер пустыни когда-то обвевал одинокую фигурку женщины с Украины, печально смотревшую, как замечает хамсин горькую долю феллаха, а над далеким Нилом, раня душу поэтессы, с наглым свистом вышагивали пришельцы-колонизаторы, — сегодня на тех широтах, под пальмами Египта, победно шагает художественная краса «Лесной песни», воыпская Мавка чарует людей!

Вот такие коррективы вносит история. Вот так распорядилась она, воздав должное истине и неразлучной с нею красоте.

Когда думаешь об Александре Петровиче Довженко, о корнях его удивительного творчества, каждый раз почему-то представляется такая вот картинка. Еще он мальчик, впервые едет с отцом в город. Выехали ночью, и уже в дороге начинается рассвет; зеленые луга Придеснянского края купаются в росах, быстро рассветает, и вдруг, ошеломив мальчонку, предстает перед ним по горизонту чудо какое-то, утренний мираж, сверкающая сказка, которая, однако, не рассеивается, существует в действительности: это открылся на горе древний Чернигов, белые гроздья его соборов на экране утреннего неба.

Можно себе представить, какую эмоциональную бурю в душе впечатлительного сосницкого мальчика должна была вызвать эта первая его встреча с чудом искусства, рукотворным чудом старинных водчих, с архитектурными черниговскими ансамблями...

Как эти тысячелетние архитектурные ансамбли, точно также не могли не всколыхнуть душу юного Довженко мудрые народные предания, обычаи и легенды людей, которые мужественно боролись с врагами, в трудных условиях чумаковали; не могли не поразить будущего художника кровавые драки дядек за межу, и материнские плачи, и звездные ночи на пастбищах у озер, где, возможно, зацветает папоротник, и высокие купальские огни, которые каждое лето зажигает его поэтическая Сосница. Все окружающее питало и стимулировало художественное развитие всесторонне одаренного парнишки, а в особенности же, наверное, щедро черпал жадный дух его из моря песен пародных, ибо этот песенный разлив окружал его с колыбели.

Духом отваги, мужества, древней славы оваян край, где родился Довженко. Вспоминаются здесь слова Карла Маркса, который, отмечая прогрессивную роль Запорожской Сечи, «христианской казацкой республики», подчеркнул, что оттуда, с Сечи, дух казачества разливался по всей Украине. Крутой волной докатывался этот дух до сел и городков Черпиговщины, перабского края, который испокон веков привык к звуку щитов и сабель воинов. Стайте в любом месте, прислушайтесь, и вы услышите: седой эпос говорит отовсюду. Века говорят повсеместно могучим голосом искусства, и оно здесь зримо, ощутимо, то в камне творческом живет, то в красе вышивок, то в петлепности мелодий, — многообразное художественное искусство является здесь частицей бытия, как самый воздух, как тополя у дороги, как синие эскадры облаков, которые, полные громов, молний и обильных высоких дождей, все лето мощно крейсируют над довженковским краем.

Довженко и род его, пачинная с далеких пращуров, — типичные сиверяне. Вполне вероятно, что предки его могли быть дружинниками князя Новгород-Сиверского, в шлемах, со щитами ходили в степные полынныя походы, ибо разве же не их — довженковский! — дух улавливаем в самой поэтике «Слова о полку Игореве».

Где-то там его корни, откуда-то из тех седых времен берет начало его родословная. Однажды неподалеку от Соспицы пришлось мне видеть косарей на сенокосе. Не косари — витязи шли: рослые, высокие, как на подбор, шаг за шагом шли петоропливой походкой людей, знающих свою силу, надолго взяв разгон, почти торжественно, с трудовым достоинством совершая свой, казалось бы, будничный труд. Глаз невозможно было отвести от этой «походки витязей»: когорты вооруженных косами людей, движущихся в едином ритме, плавном, размашистом, — невольно возникали ассоциации с дружинниками Игоревых времен. И невольно подумалось: «Так вот откуда он! Вот откуда и характер его, и рыцарство, и мужественная горделивая осапка...» Кто-нибудь из этих косарей мог быть отцом Довженко, степенным хлебобобом, каким мы знаем его по фотографии: да, хлебобоб, крестьянин, человек тяжелого физического труда, и одновременно чувствуется, что перед нами патура глубоко творческая, мыслитель, труженик, полный естественного достоинства, — в глазах светится

проникновенность и незаурядный ум, лицо отмечено тонкими чертами духовности.

Оказывается, не беспредметная фантазия — все те мудрые довженковские деды, которые взглянули на человечество с экрана, это могущество духа пародного, человеческая величавость, которой был так поражен мир с выходом на экран кинопоэм Довженко. И хотя сила фантазии Довженко всем известна, но, оказывается, героев своих, характеры их он менее всего выдумывал, они шли к нему в фильмы из жизни, как пришел из Ромэн пайденный им Шкурат, печник и артист, натура в самом деле эпическая. В, казалось бы, обыкновенных явлениях, Довженко умел видеть необычность, в, казалось бы, «будничных» людях открыл их глубинную внутреннюю поэзию, взглядом гуманиста увидел значительность каждой человеческой жизни. Так появляется «Земля» с ее социальным драматизмом и мягкой улыбкой старого человека, который, прощаясь с миром, залюбовался красотой яблока. Так появляются неубиваемый рабочий-арсеналец и Божепко, проплывающий под трагические звуки невенковского «Завещания» в степи над хлебами, так появляется поэтический образ самого народа. Довженко-художник увидел народ свой сыновним вдохновенным взором, увидел его и воссоздал с такой художественной выуклостью, с таким богатырским размахом, которого до него, пожалуй, не знал наш экран.

Довженко во всем поэт, и это выделяет его из числа многих как художника. Он поэт в мышлении, в красках, в изображении характера человека, во взгляде на природу, на букашку, на цветок...

Недавно один из московских знакомых рассказывал мне, как он, проезжая мимо дачи Довженко в Подмосковьи, каждое лето видел у него на огороде венец расцветшего подсолнуха, смотревшего куда-то на юг... Как герб художника, как знак любви его детских лет.

Киноклассикой стали довженковские подсолнухи, довженковские яблоки, которые, немало уже наплодив эпиготов, сами в первоизданной свежести обошли мир в лентах «Земля», «Арсенал», «Звенигора»... Довженко окрестили романтиком, хотя вряд ли укладывается в это понятие великая правда его реалистического — поистине крылатого — творчества; паверное, тесповато в рамках таких определений его полнокровным пародным характерам, его художественной смелости, размаху довженков-

ской поэтической символики, и уничтожающей дождевковской сатире, и нежнейшей лирике, обращенной к ласковой деснянской воде, к реке, любимейшей из всех рек...

Именно высокой народностью, поэтической силой, художественной свободой и привлекает нас творчество Довженко, вырвавшееся на почве острейших социальных конфликтов. На его долю выпало быть свидетелем кровавейших войн, быть непосредственным участником значительнейших событий своей эпохи. Увиденное, пережитое получало в его труде редкостно яркое художественное отображение. Из жизненной активности, из огня жизни выкристаллизовывалась поэтика Довженко, его сочный стиль, его пылающая образность.

Наверное, встреча с живым Микеланджело не произвела бы впечатления большего, чем то, которое осталось после встречи с ним, автором «Земли» и «Арсенала».

Величавость.

Крылатость.

Могущество духа.

«Вот такими, наверное, были люди эпохи Возрождения», — подумалось тогда о нем. В самом деле, он был духовным побратимом титанов той расцветающей эпохи, где часто в одном лице сочетались целые гроздья талантов, где гениальный живописец одновременно мог быть и астрономом, и механиком, и зодчим, где рука, которая днем рисовала бессмертные фрески, ночью бралась за циркуль математика или наводила в небо телескоп.

Таких напоминал он своей щедрой всесторонней одаренностью, полифоничностью натуры. С такими рождался он масштабностью, размахом творческих замыслов.

Он обладал неисчерпаемой духовной жаждой: все хотел постичь, испытать, ко всему, казалось, имел дар. В молодости он был учителем, был художником-карикатуристом, позднее стал всемирно известным мастером кино, драматургом, писателем, а мог бы, наверное, стать и конструктором, творцом садов, как Симиренко, мог бы, соревнуясь с Корбюзье, проектировать города будущего, и тогда не только на экране, но и на земле возводились бы его поэтические аэрограды. Впечатление было такое, что ему всегда тесно, что душа его жаждет огромных площадей, моря человеческих лиц, к которым он мог бы об-

ратиться: не потому ли и избрал он самое массовое из искусств?

Создавалось впечатление, что творческая сила его не знает границ. Мыслящий, вечно беспокойный, Довженко жил интенсивной, до предела напряженной духовной жизнью. Бывал он спокойным внешне, но внутренне, кажется, никогда.

«Довженко всегда переполнен идеями», — говорили о нем, и это было действительно так. Свежие красивые мысли, фантастичнейшие проекты — сколько он их рассыпал повсюду, щедро бросал мимоходом, об одних быстро забывая, другие вынашивая в течение многих лет. Помоему, не было такого вида искусства или области человеческих знаний, которых не коснулась бы его пытливая, все время бурлящая мысль.

Известно его пристрастие — строить, перестраивать, улучшать, совершенствовать. Строительство Крещатика, новые гидростанции на Днестре, проблемы украинского садоводства, народная медицина, межпланетные путешествия — за все он переживал, на все смотрел взглядом и художника и строителя.

Ему хотелось, чтобы героическая история парода была на виду у поколений, чтобы, воплощенная в грандиозных монументах, говорила она с берегов Днепра, обращаясь к будущему, к потомкам. Вот он проезжает шлюз на Днепрогэсе, осматривает бетонные стены, в которых медленно оседает пароход:

— Вот здесь бы на стенах шлюза высечь десять, нет — двадцать тысяч имен строителей Днепрогэса. Представляете, с каким чувством читали бы эти фамилии через тысячу лет!

Или:

— В Никополе нужно поставить колоссальный памятник Богдану Хмельницкому, — ведь именно отсюда он начал с казачеством свой освободительный поход... Поставить на дамбе, на самом видном месте, чтобы экскурсанты сразу видели, куда прибыли.

— В Каховке должен стоять величественный монумент героям революции: пулеметная тачанка с лихими конями на самой круче Днепра...

Кстати сказать, ныне славная тачанка уже стоит под Каховкой, на высоком степном кургане.

Во все он чувствовал потребность вмешаться, огромным был круг его разнообразнейших увлечений, но все

же преимущество он отдал кино: из всех муз, которые были благосклонны к нему, он посвятил музе десятой годы своих высочайших творческих взлетов. Случайность? Нет. Издавая принимаем версию (кажется, самим же Довженко и пущенную) о том, как он, Довженко, пришел в кино. Принимаем ту его решительную почу, когда, после тяжких сомнений, молодой художник собрал чемодан, запер свою харьковскую комнату, бросил все и с первым поездом отправился прямо в мировое кино. Что и говорить, шаг, конечно, был решительный, отважный, довженковский, но все же, паверное, не одна почу раздумий, и взвешиваний, и всматриваний в будущее предшествовала этому «прыжку тигриному» в совершенно новую художественную сферу. Вряд ли мгновенным был этот выбор, в котором в самом деле проявила себя натура художника, его темперамент, дух и отвага первооткрывателя. Впередсмотрящий! — вот кто он был в искусстве.

Довженко — сын своей эпохи, этим прежде всего объясняется и его окопчательный выбор, и многое другое из его творческой жизни. Не только лавры ждали его. Испытал он и драмы, и глухоту непонимания, бывало, что шедевры его новаторских творений шутовски высмеивались в фельетонах, — Довженко и это выдержал с мужеством и достоинством человека, убежденного в своей правоте.

Эпоха сделала его таким, каким он есть. Народ был для него высочайшим мерилом, неизменным увлечением его души. Созданная Довженко галерея современников его донесет к потомкам высокую и драматическую правду наших дней. Не один день он прожил где-то там, уже в веках грядущих, коммунистических, — это видно из его дневников, из произведений, направленных мощными лучами в будущее.

Известно, что задолго до полета Гагарина Довженко, выступая на съезде писателей в Москве, посвятил свои размышления космической теме, и это показалось тогда кое-кому беспредметным фантазированием. Вспоминается, как, стоя на трибуне, чертил он размашистым жестом «кривую Гаусса», рисовал картину освоения далеких миров, увлекшись настолько, что кое-кто в президиуме начал снисходительно улыбаться и, кажется, напомнил седовласому мечтателю о регламенте, и, вспоминается, как резко он тогда оглянулся, бросил быстро:

— Если президиуму неинтересно, он может уходить: я обращаюсь к съезду...

И развивал свои мысли дальше, и съезд слушал его внимательно, ибо стоял на трибуне не только блестящий оратор, это давал простор своей фантазии мыслитель, для которого проблема человека и космоса уже не была абстрактной, в изложении Довженко она получала глубоко гуманистическую, художественно-философскую трактовку.

Приходилось видеть Александра Петровича и гневным и ласковым, веселым и опечаленным, и никогда он не утрачивал своей сущности, всегда видно было, что перед тобой — человек чистый и требовательный, богатой впитанной культуры, красоты и благородства.

Не знаю, каким он был в молодости, а в годы послевоенные он часто бывал задумчивым, углубленным в себя, хотя при этом трогательно, с душевной деликатностью тянулся к товариществу, к людям, с которыми хотел поделиться своими размышлениями и творческими замыслами. Помню, как, находясь в ирпенском Доме творчества, он ходил из комнаты в комнату, читал то одному, то другому фрагменты из тогда еще неизвестной нам драмы «Потомки запорожцев».

А вечером он сидит в кругу друзей у костра под ирпепскими соснами и часами рассказывает о путешествиях своей молодости, о том, как разъезжают они с Фадеевым по Дальнему Востоку, идут с рюкзаками в тайгу. Известно, как увлекательно умел Александр Петрович рассказывать. Сидя у осеннего костра, он и тут словно бы создавал фильм, рисовал яркие эпизоды, пленял своими впечатлениями присутствующих. Речь его быстрая, энергичная, фразы крепкие, часто афористичные. Слушаешь его, и, как живые, возникают перед глазами колоритные образы украинских теток-переселенок, которые, попав в тайгу, боялись изюбров («они рогатые, как черти») больше, чем тигров, таскавших у них коров.

— За тиграми тетки эти с коромыслами гонялись, — улыбаясь, говорит Довженко.

В этой чуточку лукавой улыбке, в этой характерной довженковской детали весь он — Довженко-художник. С коромыслами на тигров — деталь, что так и просится в кинокадр, юмором и колоритностью передавая предмет

постоянного увлечения Довженко: сильный и цельный народный характер.

На эти темы — о народе, его обычаях и традициях, о лучших и худших чертах национального характера — он мог говорить бесконечно, с бесчисленным множеством оттенков в интонации — то с любовью и гордостью, то с юмором, а иногда даже с болью и осуждением.

Вот он уже рассказывает, как в одном селе на Черниговщине в дореволюционные годы крестьяне пригласили богомазов расписать в церкви иконостас. Богомазы требуют натурщиков для «Тайной вечери», но тут вдруг среди крестьян возникает спор: пикто не хочет быть Иудой. Эти же богомазы в образе одного из святых — не за взятку ли? — изобразили местного богатея.

— Этому «святому» пикто из крестьян потом не хотел поклоняться, потому что кто ни подойдет, а перед ним из-за лампы — знакомая рожа мироеда, паука, известного всему селу грешника.

Нужно было видеть и слышать, как артистично все это умел передать Довженко.

Мы не знаем, что здесь было от народного анекдота, а что в нашем же присутствии он импровизировал, но какой богатый сюжет, какую галерею народных характеров можно было тут развернуть!

— ...А то еще, помнится, снимал я картину в Ярьсках, набираю крестьян для групповых сцен. Вот подходит Грицько Иваница, сельский борец, гигант, в цирках выступал, а теперь живет дома. Усы подстрижены щеточкой, руки мускулистые, роскошные.

«Вот пришел к вам, Александр Петрович... Хочу, чтобы вы завтра сняли меня за работой».

«Что же вы собираетесь делать?»

И раздается ответ торжественный, гордый:

«Я буду молотить хлеб для человечества».

И уже, словно бы на экране, предстает перед глазами эта сцена.

А вот рассказ о пареньке, которого Довженко, видимо, имел возможность близко наблюдать.

— Шестнадцать лет ему, учится плохо, а уже задумал жепиться, как Митрофанушка. Увлекается боксом. Приходит однажды со свидания ободрапый, как пес, который только что в такой драке побывал, что с него шерсть клочьями летела...

«Что с тобой?»

«Да напали на меня... Я повалил одного, другого, а остальные все-таки насели и били по морде».

«Кто же они такие?»

«Не разглядел. Только думаю, что шоферня с грузовиков».

«Почему же — шоферня?»

«Потому что кулаки беззипом пахли».

Всякие истории, народные анекдоты, короткие, из жизни выхваченные повелки — он знал их бесчисленное множество. В его передаче они обретали какую-то особую художественную выпуклость и значительность. Возможно, все это были фрагменты его будущих произведений, сюжеты рассказов, почти выкристаллизовавшихся, многие из которых, к сожалению, так и остались незаписанными.

При всем богатстве собственной фантазии Довженко, однако, не полагался лишь на нее, а всегда отдавал предпочтение услышанному из народных уст, почерпнутому из гущи народной жизни.

Народность — это, видимо, было то качество, которое он выше всего ценил в искусстве. Прекрасным доказательством тому являются его собственные произведения, его киноэпос. Зато малейшую фальшь, любую разновидность хуторянской ограниченности, псевдонародности Довженко беспощадно высмеивал.

Однажды встречаю его на улице; идет сердитый, оказывается, только что смотрел выступление какого-то ансамбля.

— Что они делают с народными танцами? Превратили их в какое-то радение... Гопак танцуют, будто соревнуются, кто сильнее топнет, быют в землю так, словно задалась целью пробить земную оболочку. — Он тут же на улице показывает этот процесс, топая по асфальту ногой. — А «перепляс»? (Он снова показывает, притопывая ногой.) Слово бы один говорит: «Я глуп», а другой: «А я еще глупее...»

Артистизм в самом высоком смысле этого слова был присущ его характеру, искусство было его родной стихией, но он никогда не превращал его в самоцель, оно было для него только формой служения народу.

Помню, заглянул он однажды в Союз писателей Украины. Речь зашла о творчестве, о драматургии, о новой комедии одного уже известного автора, который решил написать пьесу на колхозную тему.

— Вы читали, Александр Петрович?

— Читал.

— Ваше мнение?

— Да так, ничего. Там даже юмор есть. Только непостоящий он какой-то. Похож на тот цветастый горошек, которым, знаете, когда-то посыпали кулички на пасху. Этаким юмор-горошек...

Подумал, и после паузы:

— А вообще я принципиально против того, чтобы сейчас писать комедии о колхозном селе (это было вскоре после войны, и село переживало тогда еще большие трудности). Время для колхозных комедий, по-моему, еще не настало.

Можно было соглашаться или не соглашаться с его соображениями, особенно зная, что в оценках он порой был слишком эмоциональным, но каждого, кто тогда его слушал, не мог не поразить этот неожиданный ход мысли: выбор жанра для него не является чем-то произвольным и случайным, произведение своей художественной формой должно полностью соответствовать основному — содержанию пародной жизни.

Орлиный полет мысли, крылатость — без этого невозможно представить себе Довженко. Художник широких горизонтов, самых смелых замыслов, он с редкостной полнотой воплотил в себе характерные черты советского человека-творца, черты самого парода, пробужденного социалистической революцией к активному историческому творчеству.

Народ с его мудростью, красотой души, с его глубокой человечностью и способностью на подвиги во имя настоящего и во имя будущего — этот народ был главным героем его произведений. Вспомните пьесу «Потомки запорожцев», или «Щорса», или «Поэму о море», эту лебединую песню Довженко. Произведение строится как дума народная, как фильм-симфония, и мы его воспринимаем именно так. При всем многообразии художественных средств произведение пленяет зрителя своей внутренней целостностью и сквозной поэтичностью. Меткость и глубокий подтекст диалогов, непревзойденным мастером которых был Довженко, объемность и выпуклость образов, которые нередко достигают силы художественного символа, сочетание будничности и крылатости, даже условность некоторых эпизодов — все это органически сливается в единую реалистическую картину народной жизни. Художник увидел эпоху в ее самом существенном

проявлении — в героике, в бурной красоте созидания, в подвигах своих современников.

Довженко был настоящим певцом нового мира, поэтом коммунизма, провозвестником звездной эры человечества. Пришел он в искусство из огненных бурь освободительной революции, как пришли Микола Кулиш, Павло Тычина, Юрий Яновский, Лесь Курбас, как целое поколение художников, поднявших украинскую культуру до уровня значения мирового. Как гармонировали его настроениям, его мироощущению тычининские строчки, которые он повторял с глубоким чувством.

Гукнем же в світ про наші болі!
Щоб від планети до зорі —
Почули всі пролетарі,
За що ми б'ємся тут у полі...

Ведь собственная жизнь его была полем битвы, битвы за человека, за его достоинство, за его будущее.

Мастер крупного образа, емкого поэтического символа, он писал по-гоголевски смелой и размашистой кистью, художественные образы его представляются нам отборными плодами, краснобокими яблоками светят они с экрана непривычно и поражающе.

Художник творит своих героев — по крайней мере самых значительных — по образу и подобию своему. И если Довженко не терпел персopaжей сереньких, мелких, людей-нулей, пудных посредственностей, а создавал натуры могучие, яркие, титанические духом, то это потому, что и сам он был таким. На дорогах истории такие, как он, становились народными трибунами, пророками, странствующими певцами, создававшими немеркнущие полотна героического народного эпоса. В новейшие времена он мог стать среди потока людей чудачком, и все же не стал, — слишком много в жизни поэтов душой, они понимали Довженко, ловили каждое его слово на студиях, в творческих коллективах, они толпами ходили за ним в Каховке по горячим, разметанным строительством пескам.

Каховка была его любовью. Он любил ее молодость, созидательную энергию, любил людей, творящих красоту новой жизни. Довженко был своим человеком здесь, на берегах Днепра, в строительной суматохе, часто приезжал сюда, жил здесь месяцами.

Однажды я встретил его вечером у каховской гостиницы. Александр Петрович сидел на скамейке, отдыхал,

невдалеке за песчаными холмами играла музыка, веселилась молодежь. Это было в ранний период стропительства, когда водопровод лежал прямо на поверхности, среди виноградников, а молодежь пастила доски на песке, чтобы можно было танцевать, не увязая в нем. Довженко только что прибыл, ехал сюда степью, он сидел запыленный, обветренный и заметно уставший с дороги, хотя в настроении усталость не чувствовалась.

— Вот здесь жизнь. Вот здесь отдыхаю душой...

И чуточку погода:

— Какую реплику сегодня услышал... «Товарищ проверенный, а работать не может...» Не умеет то есть. Как сказапо, а?

Видно было, что в самом деле здесь он отходит душой после городской суеты, вдохновляется творчески, глядя на этот молодой город, на его энергичных, жизнерадостных строителей, съехавшихся сюда со всей страны. О Днепре — великой реке своего народа, — о Новой Каховке он запишет впоследствии в своем дневнике, что она стала родиной его сердца, родиной самых дорогих его чувств. Ей он пропоет свою лебединую песню — «Поэму о море».

Каховские строители высоко ценили художественный вкус Александра Петровича, с уважением относились к его советам, и некоторые из них навсегда воплотились в архитектурном оформлении города. Надеемся, когда-нибудь здесь будет установлен ему памятник.

Годы брали свое, здоровье ухудшалось, — сказывалась нервная, до предела напряженная творческая жизнь. «Вечереет мой день...» Сколько боли и грусти в этих словах человека, который еще далеко не исчерпал себя, далеко не все осуществил из своих богатейших замыслов.

Довженко никогда не утрачивал мужества, о своих болезнях он не любил говорить, и когда в последние годы приезжал на Украину, то лишь по грусти в его глазах, по неожиданной задумчивости, в которую он вдруг, даже среди веселья, погружался, можно было догадаться о той вечерней тревоге, которую он уже носил в себе.

Однажды приехал он в Киев в дни золотой осени, в воскресенье были мы за городом, где-то в тех местах, где впоследствии вырастет поселок Конча-Озерная. Победав под деревом, по-походному, мы долго бродили по лугам, где было так прозрачно, и над озерами стоял уже светлый осенний покой. Вот он остановился, простоволо-

сый, над обрывом, в черном пальто, с палочкой в руке, и задумчивый взгляд его поплыл куда-то вдаль. Неподдающаяся годам стройность осанки, умные искристые глаза, пад высоким челом — непокорная, довженковская, совсем белая, аж сияющая, седина. Таким он запомнился.

Паутина повисла на склонившихся травах, успокоенно застыла осенняя вода в озерах, покрытых кувшинками, на далекой опушке, в лучах солнца горят-полыхают дубы ярким багрянцем. Эти дубы, и луга, и копны сена, освещенные скупым осенним солнцем, наверное, напомнили ему картины детства, родную Десну, все дорогое, самое близкое.

— Вот здесь бы бросить якорь...

Без соснических духовных вдохновений, безлупных почей, Придеснянского края не было бы Довженко-художника, по крайпей мере такого, каким его зпают пароды. Мир детской чистоты и святости, с такой силой воплотившийся в «Зачарованной Десне», он носил его, оказывается, в себе всю жизнь: от отцовской Сосницы начинался его путь к планете, к человечеству, о котором он так напряженно думал, для которого так самоотверженно и вдохновенно творил.

До сих пор еще есть на Черниговщине, висит на веревочных подвесках в простой крестьянской хате та самодельная, потемневшая от времени колыбель, из которой вырос Довженко.

На белой стене этого обыкновенного украинского жилища (превращенного ныне в музей) в гармоническом соседстве с аккуратной соломенной стрехой сверкает бронзовое литье барельефа с гордым орлиным профилем человека, о котором ныне говорим: славный сын Украины. Один из величайших художественных гениев современности.

Двух гениев дала нашей культуре Черниговщина, двух удивительных художников послала она в художественную жизнь XX века — Тычину и Довженко. Тычина и Довженко — это тема, еще ждущая своих исследователей. Автор «Солнечных кларнетов» и автор «Земли» — какие разные творческие индивидуальности, и одновременно как много между ними общего. Оба принимали к неисчерпаемому источнику, имя которому — поэтическое творчество украинского народа, оба выросли, творчески сформировались как наследники и продолжатели могучего

духа творцов народных дум, героического эпоса, как новейшее перевоплощение тех странствующих гомеров, чьи имепса теряются в туманах прошлого, где-то в далеких полях истории. Творчество одного и другого поднялось на гребне революции, в атмосфере весеннего пробуждения народных сил, и характерно, что обоих — пускай в разное время и в разных поэтических видениях — привлекала космическая тема, выявляя устремления современного человека в будущее. Поэтика одного и другого свежая, многокрасочная, необычайно яркая, и общим для нее источником является имепло мироощущение народа. И еще роднит их, Тычину и Довженко, высота помыслов, музыка их творчества, ее могучее звучание, где все время гармонически сочетаются и бетховепские оды радости, и высокий трагизм, и что-то чистое, «яблоневоцветное», словно бы навеянное девичьей песней. Творчество обоих — это поющая сила самого народа, его дума, экран души.

Искусство Довженко, его поэтический мир сейчас изучают, исследуют ученые разных стран, разных народов. Он мастер, посивший в себе как бы целую киноакадемию. Из смелого полета мыслей, из интуиции, из многолетнего опыта рождались его художественные открытия. Вспомипаю, как поразил он однажды, делясь мыслями, которые он, видимо, выпашивал и, наконец, сформулировал как «закон художественного соседства». Речь шла о художественной гармоничности, созвучии и взаимоусилении образов в произведении, которые, даже контрастируя, не должны отрицать друг друга, а тем более самоуничтожаться, что порой случается там, где автору изменяет художественное чувство.

Современная мировая культура немного может называть художников такого широкого дыхания, такой дерзновенной мысли и смелости поисков, какие были присущи Довженко. По самой своей природе он — открыватель, экспериментатор, художник, чьи произведения, будучи остросовременными, одновременно были словно бы предпазначены для грядущих поколений, — к ним, самым отдаленным, стремился оп донести страсти людей своего времени, шквалы эпохи, ее грозы, интеллектуально-философское папряжение. Довженко — не однотонная текучая мелодия, он всеобъемлющ, универсален в самом лучшем смысле этого слова, весь в бурях драматизма, в столкновениях, в борьбе могучих социальных сил эпохи. Довженко обладал счастливым даром жить в состоянии по-

стояннoй творческoй влюбленнoсти, видел отдельные явления в контексте всей пароднoй истории. Он из тех художников, которые, охватывая взглядом жизнь пародов и человечество в целом, не теряют в нем отдельную личность, выше всего ставят самоценность и вершинную красоту человека.

Творчество Довженко свидетельствует нам о силе убеждений, силе идейных, моральных философско-эстетических идеалов художника. Художественную самобытность его произведений невозможно понять в отрыве от той национальной народно́й почвы, соками которой они питались, из которой так буйно вырастали.

«Благословенна будь, моя петронутая девица Десна! — обращается он к Десне, да и не только к ней. — Счастливы, что родился на твоём берегу, что пил в позабываемые годы твою мягкую, веселую воду, ходил босиком по твоим петронутым, чистейшим пляжам, слушал рыбацкие сказки на твоих челнах и сказания стариков про глубокую древность...»

Солнцем родной Украины паюены его лучшие творения — и те, которые принадлежат к сфере кино, и те, которые стали классикой украинской литературы. Смотрят с экрана золотые, полные живого цвета подсолнухи, цветут, не отцветают. Бьётся героический «Арсенал», кони мчатся по снежной равнине среди степных просторов, и женщины стоят на окраине села, ждут не дождутся родных своих, «как в песне или в старинной думе».

Мчатся по экранам в будущее довженковские кони, и нет им преград, — стремительно, буйно проносятся они по просторам, взрывая снег, песут творца своего в жизнь, которой не будет конца.

Апрель, 1971

**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА,
ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ**

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Берег его детства — V, 391 | Мир Довженко — V, 463 |
| Бессмертный полтавчанин — V, 433 | Модры камень — I, 453 |
| Весна за Моравой — I, 460 | На косе — V, 410 |
| Вечное слово — V, 431 | Наша Лесь — V, 454 |
| В летнюю ночь — V, 326 | Перекоп — III, 5 |
| Всегда солдаты — I, 471 | Подсолнухи — V, 302 |
| Дорога за облака — V, 316 | Птицы пад Бродщиной — V, 422 |
| Жаворонок — V, 285 | Пусть горит огонек — III, 471 |
| За миг счастья — V, 397 | Таврия — II, 191 |
| Земля гудит — II, 7 | Тронка — V, 7 |
| Знаменосцы — I, 29 | Усман и Марта — I, 493 |
| Илонка — I, 479 | Циклон — IV, 295 |
| Маша с Верховины — V, 355 | Чары-Камыши — V, 333 |
| Микита Братусь — III, 463 | Человек в степи — V, 381 |
| | Человек и оружие — IV, 5 |

СОДЕРЖАНИЕ

Тропка. Роман в новеллах

Ты — летай. Перевод Изиды Новосельцевой . . .	7
Азбука Морзе. Перевод И. Карабутенко	25
Красная торпеда. Перевод И. Карабутенко . . .	47
Лукня, председатель рабочкома. Перевод И. Карабутенко	66
Мамайчук. Перевод И. Карабутенко	92
Предчувствие океана. Перевод Изиды Новосельцевой	113
Пикетажистка. Перевод И. Карабутенко	136
Капитан Дорошенко. Перевод И. Карабутенко	162
Железный остров. Перевод И. Карабутенко . . .	183
Здесь много неба. Перевод Изиды Новосельцевой	212
Полигон (История одной любви). Перевод Изиды Новосельцевой	239
Тропка. Перевод И. Карабутенко	261

Рассказы

Жаворонок. Перевод Л. Шапиро	285
Подсолнухи. Перевод Л. Шапиро	302
Дорога за облака. Перевод автора	316
В летнюю ночь. Перевод И. Карабутенко . . .	326
Чары-Камыши. Перевод автора	333
Маша с Верховины. Перевод Л. Михаловской . .	355
Человек в степи. Перевод И. Карабутенко	381
Берег его детства. Перевод К. Григорьева . . .	391
За миг счастья. Перевод Изиды Новосельцевой	397
На косе. Перевод Изиды Новосельцевой . . .	410
Птицы над Бродщиной. Перевод К. Григорьева	422

Литературные статьи

Вечное слово. Заметки писателя. Перевод И. Карабутенко	431
Бессмертный полтавчанин. Перевод автора . .	443
Наша Лесь. Перевод автора	454
Мир Довженко. Перевод И. Карабутенко	463
Алфавитный указатель	478

Гончар О.

Г65

Собрание сочинений. В 5-ти томах. Т. 5. Тройка. Роман в новеллах. Рассказы. Литературные статьи. Пер. с укр. Худ. Е. Ганнушкин. М., «Худож. лит.», 1975.

480 с.

«Тройка» принесла О. Гончару широкое читательское признание и высокую литературную награду — Ленинскую премию (1964 г.). Роман привлекает масштабностью изображаемых событий, постигшие народными цельными характерами, искренностью повествования, своеобразием формы и стиля.

«Тройка» переведена на многие языки мира. Небезынтересен и тот факт, что в Болгарии роман был признан среди читателей самым популярным произведением 1965 года.

Кроме «Тройки» в пятый том вошли рассказы и литературные статьи, написанные О. Гончаром в разные годы.

Г 70303-006
028(01)-75 подписное

С(Укр)2

Александр Терентьевич
ГОНЧАР

Собрание сочинений
Том 5

Редактор С. Князева
Художественный редактор
В. Горячев
Технический редактор
Л. Титова
Корректор Э. Тихонова

Сдано в набор 24/IV 1974 г. Подписано
в печать 19/XII 1974 г. Бумага № 1.
Формат 84×108¹/₃₂. 15,0 печ. л. 25,2 усл.
печ. л. 26,24 уч.-изд. л. Тираж 100 000
экз. Заказ 1436. Цена 1 р. 20 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26